

НОВОБЫТЪ
МИРО

8

1955

1955
НОВОБЫТЪ
МИРО

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 8

Август, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ. В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА | 3 |
| ЮРИЙ НАГИБИН — Новый председатель | |
| ВАДИМ ЛУКАШЕВИЧ — В селе Тарасково | |
| И. ГОРЕЛИК — Инженеры | |
| АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Грозная пуща, повесть в стихах. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского | 33 |
| БОРИС ГОРБАТОВ — Алексей Гайдаш, повесть. Окончание | 91 |
| НИКОЛАЙ ДУБОВ — Сирота, повесть. Окончание | 169 |
| ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ | |
| Н. ФЕДОРЕНКО — Встречи с китайскими писателями | 203 |
| ПРОБЛЕМЫ НАУКИ | |
| Член-корреспондент Академии наук СССР В. ЕМЕЛЬЯНОВ — Рассказы об атоме | 219 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| ГЕННАДИЙ ФИШ — На колхозную тему | 235 |
| Б. РУНИН — Ветер истории | 256 |
| КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| В. Тендряков. Очерки о колхозных буднях. — Евг. Долматовский. С доброй улыбкой. — П. Антокольский. Новое о Пушкине. — А. Дирингерова. Характер и творчество. — А. Анфиногенов. Репортаж об Арктике. — Ал. Исбах. Летопись французского Сопротивления. — Л. Лазарев. Слово и зрелище. | 254 |
| РЕПЛИКИ | |
| И. Эвентов. Эти книги нужны. — С. Макашин. Об архиве Герцена и Огарёва. — Ю. Завадский. Выставка и производство. — Ив. Розанов. О памятнике Грибоедову. — А. Ахметьев. Реплики услышаны. | 283 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 287 |

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

В июле этого года

«Творческие силы работников сельского хозяйства неисчислимы. нужно активнее приводить их в движение», — сказал Н. С. Хрущёв на сентябрьском Пленуме Центрального Комитета КПСС.

Постановления Пленума и последующие решения партии и правительства, направленные к тому, чтобы круто поднять сельское хозяйство страны, двинули сотни тысяч, миллионы людей на осуществление этой исторически важной и глубоко человеческой задачи.

По всей стране началась перестройка сельскохозяйственного производства. Через два года она привела уже к серьёзным хозяйственным успехам и заложила прочный фундамент для дальнейшего могучего роста.

Эта перестройка оказывает великое действие и на самих людей — она раскрывает их таланты, выпрямляет их судьбы, воспитывает в них новые навыки, рождает новую энергию.

Сейчас в разгаре великая борьба за урожай — за зерно, за корм для скота, за кукурузу, за хлопок, — борьба, которая приведёт к победе.

Ниже мы публикуем литературные материалы о том, как живёт и работает, как преодолевает немалые трудности и всё-таки идёт вперёд один из рядовых районов нашей страны — Каширский район под Москвой.

* * *

ЮРИЙ НАГИБИН

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

— Нет, я не был добровольцем, — сказал в ответ на мой вопрос председатель колхоза «Энергия» Алексей Николаевич Русаков. — Три с лишним года сопротивлялся я попыткам горкома направить меня на работу в колхоз...

Уроженец одной из деревень Каширского района, Русаков ещё семнадцатилетним парнем, окончив среднюю школу, перебрался на жительство в Каширу. Здесь он работал в сберкассе, отсюда уходил на военную службу, здесь же в пору войны возглавлял штаб МПВО, в 1944 году вступил в партию, а по окончании войны целых девять лет руководил районной конторой связи.

Районная контора связи — это крупное, разветвлённое учреждение, это двести служащих. Но Русаков сумел так подобрать и расставить людей, так организовать работу, что всё шло как бы само собой, без запинки и задоринки. Сидя в своём служебном кабинете, он лишь следил за правильным, ритмическим движением этого хорошо налаженного механизма.

Русаков сроднился с городом. Спокойная, «непыльная» работа, собственный домик в конце тихой, заросшей лопухами Малой Посадской, жена, дети, репутация дельного руководителя — чего ещё нужно человеку?

Хорошо было сидеть в конторе, где летом тянет прохладой от крытых масляной краской стен, а зимой держится ровное тепло хорошо протопленного помещения; хорошо было вечером на партактиве поговорить

о разных районных делах; хорошо было съездить по партийному поручению в колхоз на посевную, на сенокос, на уборочную, помочь советом, сказать зажигательную речь, сдобрив её всегда приятным народом юмором, а при случае и самому взять в руки косу и пройтись белоствольной берёзовой рощицей.

Но особенно хорошо было — и с годами это забирало всё сильнее — покопаться на своей домашней земле. Невелик участок, но если умело взяться, какие можно там поразвести чудеса! Тут тебе и огород, и фруктовый садик, и парничок. В городе было немало умелых огородников, но куда им до Русакова! К нему нередко шли люди за семенами, за рассадой, но Русаков, вообще человек отзывчивый, тут бывал неумолим: потрудитесь, мол, с моё — и у вас то же будет! Иные обижались, иные посмеивались, и до ушей Алексея Николаевича нередко долетало прозвище «Огородник». Он отмахивался от него — досадливо, но без обиды. Нескольким соткам тщательно возделанной, научно ухоженной земли, покрывавшейся по весне дружной зеленью всходов, держали сердце в постоянной сладкой заботе.

Каждый человек, живущий не в полную душевную силу, рано или поздно обзаводится какой-нибудь страстишкой. Впрочем, сам Алексей Николаевич несколько не подозревал, что живёт, по сути, как обыватель. Он считал, что всё у него в порядке...

И вот, когда ему однажды предложили возглавить один из колхозов, он был неприятно удивлён. Разве он не справляется со своей должностью руководителя районной конторы связи? Не ведёт общественной работы? Не выполняет партийных поручений? Не платит аккуратно членских взносов? Ему ответили, что в колхоз посылают не худших, а лучших людей. Он хороший руководитель, член партии с большим стажем, человек, с детства знакомый с крестьянским трудом, — кому же и предложить эту трудную и почётную должность?

Но Русаков стал отнекиваться.

— Скажи прямо, Алексей Николаевич, — спросил его второй секретарь горкома, — почему не хочешь ехать?

— Не справится мне...

— Ты на своих сотках вон какие чудеса развёл, а там у тебя сотни гектаров будут! Кто-кто, а уж ты-то знаешь, на чём хлеб растёт. Да и к людям у тебя подход есть. В колхозе, на большом, сложном деле, ты и свой собственный рост узнаешь.

— Здоровье не позволяет, — сказал маленький крепыш, отводя голубые, чуть навывкате, глаза.

Началась долгая борьба, которую по всей справедливости можно назвать борьбой за человека. Но ни разговоры по душам, ни пример товарищей, ни обращение к партийной совести не могли побудить Русакова выполнить свой долг. Маленькое, обывательское прочно привязывало его к домику в конце заросшей лопухами улицы.

Наконец бюро горкома ясно и недвусмысленно сказало Русакову: либо клади партийный билет на стол, либо иди туда, куда тебя посылает партия, принимай колхоз. Он думал всю ночь, а наутро пришёл в горком бледный, с набрякшими подглазными мешками и хрипло сказал: «Согласен...»

Русакова направили в колхоз «Энергия», под Каширой. Некогда довольно зажиточный, этот колхоз за последние годы оскудел. Его престарелому председателю стало не по плечу руководство объединённым многоотраслевым хозяйством.

Первое представление о делах в колхозе Русаков составил себе по тому, как проходили выборы. Их откладывали трижды: колхозников дере-

вень Баскачи и Хворостинки никак не удавалось собрать в Терново, центр колхоза.

— Теперь понимаете наши трудности? — жаловался председатель. — Вот так же и с выходом на работу: иной раз целый день потеряешь, а не соберёшь народ.

— А зачем же их собирать? — удивился Русаков. — Надо, чтобы сами выходили, для себя же работают!

Тот лишь усмехнулся: молодо-зелено...

Наконец колхозники собрались и дружно проголосовали за Русакова. Новая кандидатура обнадёживала: если уж большой районный работник, старый член партии пожелал принять на себя колхозное беспокойство, значит верит, что справится. Колхозникам невдомёк было, сколько труда стоило уговорить этого районного руководителя...

Так стал Алексей Николаевич Русаков председателем колхоза «Энергия».

— Поглядел я, послушал, познакомился с людьми и с делами, — говорит Алексей Николаевич, — и сказал себе: перед тобой настоящая золотая жила, но её почему-то не разрабатывают вширь да вглубь, а корябают с самой поверхности. И так обидно мне стало...

Русаков помолчал, словно прислушиваясь к себе.

— Да, именно обидно, — повторил он. — Ну, и злость, конечно, взяла. Земля есть, люди есть, под рукой такой мощный источник энергии, как Каширская электростанция, а колхоз год от году хиреет. Что это за порядок? А я, знаете ли, прежде всего люблю порядок...

Я не стану передавать долгий и обстоятельный рассказ Алексея Николаевича о том, как налаживалось пришедшее в скудость колхозное хозяйство; как вернулись у колхозников интерес к делам артели; как они убедились в том, что предоставленные им решением ЦК КПСС льготы, касающиеся личного хозяйства, — лишь подспорье, а настоящая зажиточность придёт к ним только через колхоз; как укрепили дельными людьми важнейшие узлы производства; как, опираясь на этих людей, на колхозное правление и сильную парторганизацию, которая за короткое время возросла почти вдвое, он в первый же, причём неблагоприятный, засушливый год добился немалых успехов...

До прихода нового председателя колхоз выдала на трудодень 170 граммов зерна, 500 граммов овощей и 60 копеек деньгами, а на следующий год, при Русакове, — килограмм зерна, 2,5 килограмма овощей, 500 граммов грубых кормов и 4 рубля деньгами. Доход колхоза за тот же год вырос с 350 тысяч рублей до 800 тысяч. Урожайность зерновых культур повысилась почти вдвое. Выросла и урожайность овощей, обеспеченных теперь искусственным дождевальным поливом. Сильно увеличился надой на молочной ферме, оборудованной электродоилкой, автопоилками, подвесной дорогой. Словом, не было такой отрасли колхозного хозяйства, которая не испытала бы подъёма. Большим подспорьем колхозу явилось теплично-парниковое хозяйство, работающее на отходах промышленного тепла Каширской ГРЭС. Колхоз приобрёл пять автомашин, построил силосную башню, заложил силосные ямы, впервые за многие годы «вышел» со своими кормами...

Конечно, никакого чуда не было в том, чего добился за один год колхоз «Энергия» под руководством бывшего начальника конторы связи. В самой природе колхозного строя заложена возможность неограниченного преуспеяния. Надо только хотеть и уметь использовать эту возможность, любить — или полюбить — самое дело, найти верный подход к людям. А уж остальное приложится.

Вот и оказалось, что горком партии знал Русакова лучше, нежели он знал себя сам.

Каково же было теперь душевное самочувствие Алексея Николаевича Русакова, человека, который не хотел идти в колхоз и до такой степени боялся этой ломки своей жизни, что горьком вынужден был поставить его перед выбором: либо партбилет на стол, либо принимай колхоз!

Это и было целью моей поездки в колхоз «Энергия»: мне очень хотелось узнать, что вышло из такой сложной психологической ситуации как для дела, так и для человека. В успехе дела я уже не сомневался, а вот что случилось с человеком?..

И я решил на некоторое время стать тенью Алексея Николаевича.

Зная распорядок дня председателя, я в восемь утра явился в правление. В этот час он после короткого рапорта бригадиров просматривает финансовые ведомости, затем принимает людей. Но оказалось, что в колхоз только что прибыли в помощь рабочие и служащие из города и Русаков отправился с ними на посадку капусты.

Вскоре в сених послышались голоса: высокий, на верхах срывающийся в звон голос председателя и юношески басовитый — старшего агронома Фролова. Уже по голосам их можно было понять, что дело с капустой наладилось. Значит, сейчас председатель начнёт приём. Я поспешил в его кабинет.

Едва мы уселись за крошечным, под стать кабинету, письменным столом, как вошёл первый посетитель. Это был очень высокий, худой, жилистый старик в застиранном холщовом костюме и мягкой шапке. Он был так древен, что короткая редкая борода его ударяла в прозелень.

— Разреши войти, председатель?

— Пожалуйста.

Старик снял шапку, вздохнул и сел на лавку.

— Подтянул бы ты учётчиц, председатель, неладно у нас с учётом получается.

— Что-то не замечал. По-моему, учёт добросовестный.

— Почему же у моей старухи трудодней больше моего записано? Нешто это статочное дело? Я воду возил? Возил. Овражек за рощей выкосил? Выкосил. А сколько моих трудов на фикаль положено? У старухи же только и делов было, что на машине с минеральными удобрениями взад-вперёд кататься. Вся недолга...

— Да ведь она и на посадке капусты работала.

— Много старуха в шестьдесят семь лет нарабатывает... Ты глянь, — старик протянул пёструю, как кукушечье яйцо, руку и сунул под нос председателю бумажку с каракулями. — Вчерашний день у ней 1,3 начислено, а у меня 0,98. Выходит — я хуже своей старухи работаю?

— Тебе сколько лет, дедушка? Восемьдесят будет?

— Откудова? Мне на Покрова семьдесят девятый пойдёт...

— Семьдесят восемь! И почти полный трудодень наработал. Да ты настоящий герой труда, дедушка, куда только деньги девать будешь?

— Найду куда! Мотоцикл себе куплю...

— Ладно, дедушка, я проверю, всё по справедливости будет.

Когда старик вышел, Русаков сказал с удовольствием:

— Видали? Старик из Хворостинок пришёл, не поленился. Вот какое стало отношение людей к трудодню!..

— Товарищ Русаков? — В дверях возник человек лет под тридцать, в брюках с велосипедными зажимами, в рубашке-ковбойке, чернявый и сухопарый.

Две или три секунды Русаков исподлобья разглядывал парня, затем поднял голову.

— Я Русаков, входите.

— Насчёт работы... — проговорил парень.

— С Каширской?

— Ага.

Не знаю, как Русаков, но я ощутил трепет. За дни, проведённые в колхозе «Энергия», я уже заразился той страшной тоской по рабочим рукам, которая, казалось, разлита здесь в самом воздухе. Во многом нуждается «Энергия», но более всего — в людях. При Русакове в колхозе прибавилось каких-нибудь восемь — десять человек, но как ценил, как гордился этими людьми председатель! Ведь в «Энергии» работает вполсилы меньше людей, чем требуется для её многоотраслевого хозяйства. И вот я присутствую при торжественном моменте: человек с производства просится в колхоз...

Но Русаков не побледнел от радостного волнения, не обнял пришельца. Он ещё раз внимательно поглядел на парня, и лёгенькая складка прорезалась около носа: словно он принохивался.

— Жена в Кашире или в Ступино?

— В Ступино.

— Понятно... Шофёр?

— Слесарь. Но права имею, могу шофёром.

— Когда получил?

— С месяца... Я слыхал, вам водитель на цистерну требуется.

— Только водитель классный. Разве можно такую машину неопытным рукам доверить? Это машина трудная.

Эх, что-то не то говорит председатель! Сейчас этот славный парень, которому так хочется работать в колхозе, обидится и уйдёт. Но славный парень не обиделся или сумел спрятать обиду.

Он нагнулся, поправил зачем-то свои велосипедные зажимы и сказал:

— Да чего ей сделается? Буду осторожно ездить.

— А это нам ни к чему! Машина для того, чтобы быстро ездить. А ты поедешь быстро — сам убьёшься и нас без машины оставишь.

— Может, вы меня на «ГАЗ-51» посадите?

— А Мамедова куда?

— Его на цистерну.

— Говоришь, на производстве работал! Разве у вас в гараже обезличка? Машина закреплена за Мамедовым, он взял обязательство сто тысяч без капитального наездить. Если мы станем шофёров с машины на машину кидать, что же получится? Полная безответственность. Нет, дружок, так мы с тобой не сладим.

Парень забормотал что-то оправдательное.

— Жену сюда заберёшь, в колхоз? Будет в поле работать? — вдруг спросил председатель.

— Не знаю, как она... — смущённо ответил шофёр.

— Ну вот: если жена вступит в наш колхоз, я тебя, так и быть, посажу на полторку, когда она из ремонта вернётся. В общем, выясняй свои семейные дела, тогда и поговорим.

Человек неловко откланялся и вышел.

— Зачем вы его так сурово? — сказал я Русакову. — Сами же плачетесь, что людей нет.

— Это верно, — ответил Русаков задумчиво, — люди нам во как нужны! — Он резанул ребром ладони по горлу. — Только лю-ди, а не отсевки. Ведь этот для чего на машину просится? К жене в Ступино ездить. На грёвской машине он не рискнёт, а колхоз всё стерпит. Нет, нам такие халтурщики не нужны. Коли идёшь к нам, так уж всерьёз, со всеми пстрохами. Не хочешь — попутный ветер!..

Приём окончен. Алексей Николаевич отправляется на ферму, я, как верная тень, слеую за ним.

Из коровника несётся песня. Девичьи голоса поют «Уральскую рябину» под аккомпанемент тихих, сосущих всхлопов электродоильных

аппаратов и сухого звона бьющих в подойник струй молока, добираемого вручную.

В сенях молоденькая светловолосая девушка в платье с цветочками, Фаина Дядина, студентка ветеринарной академии, проходящая в колхозе практику, проставляла на разграфлённом листе бумаги, висящем на стене, показатели дневного надоя.

— Поёте? — сказал Русаков, внимательно читая цифры.

— А чего не петь! — отозвалась Фаина. — Работать веселей!

— Веселей-то, веселей, — неожиданно высоким голосом заговорил вдруг Русаков, — а сегодня опять недобор! Смотрите, не взять нам по три тысячи литров! — И резко спросил: — Рацион?

— По норме, — чуть смешавшись, ответила девушка.

Мы вошли в коровник. Остфризы в причудливых пятнах — словно куски чёрной клеёнки наклеены где попало — или лежали, умиротворённо перекатывая во рту жвачку, или тянулись мордами к автопоилкам, или стояли в рабочем виде, отягчённые присосками доильных аппаратов. При нашем появлении песня разбилась, замерла, истаяла.

— Это от песен коровы меньше молока стали давать, — заметил Русаков.

Фаина рассмеялась.

— Может, мы не те песни поём? Может, они арии оперные любят?

Я тоже подумал, что Русаков шутит, но неожиданно он получил поддержку в лице старой доярки, которую я тут же узнал: несколько минут назад я видел её портрет на колхозной Доске почёта. Это была Анна Алексеевна Федотова, старейшая и лучшая доярка колхоза.

— Точно, Алексей Николаевич, — сказала она, массируя вымя крупной коровы, по кличке Милка. — Я им сколько раз говорила: корова шума во время дойки терпеть не любит, да разве меня послушают!

— Условились, девушки? — сказал Русаков. — Самодеятельность развивать, но только вне коровника...

— Алексей Николаевич, — тихонько позвала его Федотова. — Как решили-то?..

— А что, задело за живое? — улыбнулся Русаков. — Небось, лаврам Генераловой завидуешь?

— Я лавровый лист и в щах не уважаю, а ты молод надо мной потешаться, — сердито отозвалась доярка. — Я тебя делом спрашиваю. Слух-то уж прошёл, бабы на меня косятся...

— Пусть не косятся. Скажи им: не пойдём мы на это — и точка!

— Ну и слава богу! — с облегчением проговорила старуха. — Мысленно ли это? — продолжала она, обращаясь почему-то ко мне. — Одним коровам всё: и корма, и режим, и уход. А других — побоку, вроде бедных родичей. Нет, как хочешь, Алексей Николаевич, а я на это не пойду, хоть с фермы гони.

— Сказано же тебе, Анна Алексеевна, — с этим делом точка! Чего же ты расстраиваешься?..

Качая седой головой, повязанной белой косынкой, старая доярка отошла.

— Не мешало бы районным руководителям прислушаться к голосу рядовых колхозников, — заговорил Русаков, когда мы вышли из коровника.

Я и виду не подал, что это маленькое вступление что-то приоткрыло мне в сегодняшнем, новом Русакове...

— Район хочет, чтобы у нас, как в колхозе у Фалина, была своя Генералова. Вы, верно, слышали о ней, её портреты по всему району висят. Лучшая доярка, взяла обязательство надоить шесть тысяч литров. А знаете, как это иногда делается? Берут группу сильных коров и ставят в особые условия, что, конечно, сразу же сказывается на остальных

коровах. Я против Генераловой ничего не имею, девушка замечательная, работающая. Но Генералова надоит свои шесть тысяч литров, заслужит звезду на грудь, а молоко в Москве всё-таки три рубля литр. Почему? Да потому, что другие, рядом, двух тысяч не натянут. Всё внимание рекордам, а круглый счёт забыт. У нас к июлю надой на каждую корову превысил две тысячи, а к концу года будет не меньше трёх тысяч. Это, конечно, далеко не рекорд, но если бы вместо рекордов все колхозы Подмосковья добились этой цифры, молоко стоило бы не трёхшниц, а рубль. А это — повышение реальной заработной платы рабочего и служащего. Вот так будет по-государственному. И Федотова, старая женщина, доярка, понимает это лучше, чем иные районные руководители. Поумнели колхозные головы, теперь людей ради цифр и треска работать не заставишь. Люди ради жизни работать хотят, дело всерьёз идёт...

Да, путь, пройденный Русаковым от Малой Посадской до колхоза «Энергия», не измеришь километрами!

На грузовом «ГАЗ-51» мы отправились на Горку, где расположилось тепличное хозяйство колхоза. Навстречу нам грозно дымили трубы Каширской ГРЭС. Дым уходил поймой реки в сторону левобережья и там, вдалеке, светлел, таял, растворялся.

Вот и жарко блещущие крыши теплиц. За ними — открытые парники, в сторонке посверкивают сложенные штабелями рамы. Две девушки подвязывают помидоры, их пальцы с удивительной ловкостью копошатся в путанице зелёных отростков. Это Маша Никулина и Люба Лаврова, первая окончила семилетку, вторая — десятилетку.

— Ну как, Люба, решила? — спросил Русаков, подходя к Лавровой.

Девушка не ответила. Она склонила голову, и на лицо упала прядь русых, выгоревших на солнце волос.

— Это неплохая специальность, Люба, — с мягкой настойчивостью говорил Русаков. — Поступай на заочный, год поработаешь у нас, и я ручаюсь, тебя переведут на очное отделение. Мы поможем. Вернёшься к нам с дипломом агронома.

— Я в город уеду, — тихо произнесла девушка.

— Ты отлично работаешь, не верю я, что ты не привязалась к делу, к тому же у закрытого грунта большое будущее. Ты умная, развитая девушка, должна же ты понять, что чем дальше, тем больше людей требуется в деревне, специалистов с высшим образованием. И у нас будет хорошая жизнь, настоящая жизнь, подумай об этом, Люба.

— Не знаю... Не знаю...

Русаков продолжал убеждать девушку, и по всей справедливости надо сказать, что это тоже была борьба за человека. И вёл эту борьбу тот самый человек, который менее года назад нехотя, вынужденный необходимостью, ступил на колхозную землю...

Мы снова в пути. Машина идёт кукурузными полями. Росточки редкие, слабые. Десятка два грачей долбят землю железными клювами.

Русаков резко тормозит машину, соскакивает на землю, я спрыгиваю с другой стороны. Размахивая руками, он бежит на грачей, но они словно приросли к земле. Казалось, Русаков уже мог ухватить за хвост ближайшего грача, когда тот наконец прервал свою работу и, лениво взмахнув крыльями, полетел прочь. В земле белело зёрнышко кукурузы, выковырянное грачом. Опустившись на колени, Русаков аккуратно закопал зёрнышко.

— Беда наша — эти поля! — огорчённо сказал Русаков. — Сеяли поздно, вот и результат.

— Что же будете теперь делать?

— Только уход: подкормка, междурядное рыхление... По двенадцать тонн возьмём.

— При обязательстве — тридцать?

— Зато у нас на пойме по сорок—пятьдесят будет.

— Один умный человек говорил мне, что в колхозном деле «зато» не бывает.

Замечу, этот умный человек был сам председатель.

— Да что мы можем поделать? — не то с болью, не то с раздражением отозвался Русаков.— Перепахивать? А где гарантия, что ещё хуже не будет? Время-то упущено! А подсев ручным способом, извините, товарищи, на это у нас свободных рук нет!

Слово «товарищи», невольно сорвавшееся с губ Русакова, сразу подсаказало мне, с кем он ведёт полемику. Накануне в МТС было совещание с участием секретарей горкома партии, председателей колхозов и старших агрономов. О чём бы ни заходила речь, всё кончалось кукурузой. От колхоза «Энергия» на совещании присутствовал старший агроном Фролов. Когда он закончил своё краткое сообщение, первый секретарь горкома Кандрёнков спросил его в упор:

— Будет кукуруза?

— Будет, — ответил Фролов.

— По тридцать тонн с гектара дадите?

— Должны дать, — ответил Фролов, и его юношеское, обожжённое солнцем лицо стало кумачовым. — По двадцать пять — тридцать.

— Двадцать пять — не тридцать, — веско произнёс секретарь и, обращаясь ко всем присутствующим, стал говорить о мерах, которые необходимо принять на кукурузных полях с большими выпадами. Перепахивать и засеивать заново, а если нет нужды, то производить подсев ручным способом, используя все наличные силы колхоза: полеводов, животноводов, счетоводов, кладовщиков...

— Что же я должен делать? — взволнованно размышлял вслух Русаков. — У меня посадка капусты идёт, уборка клеверов началась. Всюду рабочие руки нужны. Забрать народ с молочной фермы? Да ведь сейчас решается годовой надой. Доярки так запарились, что дочек своих на подмогу приводят!.. Без кукурузы мы не останемся. Двадцать пять — не тридцать, это верно, но ведь надо и другие отрасли хозяйства вытягивать!

В том, что говорил Русаков, была своя логика. Но за этой логикой, за этой маленькой правдой скрывалась большая неправда. Говоря о том, что колхоз ещё в прошлом году «вышел» со своими кормами, Русаков делал оговорку, что с концентрированными кормами у них было попрежнему неважно, зато, добавлял он, «озимая солома даже осталась». Последнее замечание весьма характерно. Озимая солома должна служить лишь в качестве подстилки для скота, и то, что её зачисляют в корма, показательно для положения с кормами в районе. В большом колхозе имени Кагановича на зиму скармливают коровам даже соломенную крышу коровника...

В колхозе «Энергия» до этого дело не доходило. И всё же естественные пастбища колхоза невелики, площади под клевером, тимофеевкой и другими травами хоть и значительны, но при условии роста поголовья (а колхоз имеет для этого возможности) будут также недостаточны. Лишь кукуруза может дать устойчивую и надёжную базу для колхозного животноводства. И никак нельзя было рассматривать кукурузу в ряду других культур, выращиваемых колхозом, она требовала особого, преимущественного внимания. Поэтому большая правда — на стороне горкома...

Миновав отличнейшую рожь и пшеницу, о которой Русаков не без гордости выразился: «что твоя кубанская!», мы снова двинулись кукурузными полями. Но эта кукуруза была совсем на иной манер. Свежие бороздки земли между рядками дружных всходов говорили о том, что здесь недавно прошёл культиватор. По полю разгуливали грачи. Я обратил на них внимание Русакова,

— Нет, это добрый грач — он вредителей истребляет.
— Откуда вы знаете?

— Так он же гуляет! — удивлённо посмотрел на меня Русаков. — Там он сидел сиднем и зерно вышелушивал, а тут, видите, всё время ходит — за всякой дрянью охотится. Здесь-то мы в срок сеяли, земля коркой покрылась, ему до зёрнышка не добраться... А тракторист — тоже хорош грач! — проговорил он вдруг, останавливая машину.

Русаков шёл по бороздкам, нагибаясь, поправляя росточки кукурузы, подгребая к ним землю.

За кустом, посреди дороги, стоял трактор с культиватором на прицепе. Тракторист возился в моторе. Заслышав наши шаги, он повернулся и, точно в знак приветствия, провёл рукой по лицу, оставив на щеке радужную масляную полосу.

— Поуже брать надо, товарищ тракторист, — сказал Русаков, — всходы портишь.

— Я и брал поуже, — с ленивым раздражением отозвался тракторист. — Мне Фролов шире велел...

— Выходит, Фролов — вредитель?

— А я что — вредитель? — в тон отозвался тракторист.

— Выходит — ты. Неужто трудно оглянуться и посмотреть, что у тебя получается?

— Мне оглядываться нечего, мне план выполнять надо!

— Вот-вот! — сказал Русаков, обращаясь к трактористу, но взглядом приглашая меня в свидетели. — Вот главная наша беда, механизаторы думают только о плане, на качество работы им наплевать. Когда вы, братцы, поймёте, что в колхозе нельзя работать подённо? Вы же обесцениваете всю вашу технику!

— А вы нас как обслуживаете? — завёл волынку тракторист, продолжая копаться в моторе. — Вчерась бачка с водой не подвезли...

— Так то вчера! Ну ладно, разговор у меня с бригадиром вашим будет. Больше мы некачественную работу принимать не станем. Понятно?!

...Короткий перегон — и мы у конечной цели нашего путешествия.

Посреди лужка стоит самолёт. Старый, выдавший виды «ПО-2», знаменитый «кукурузник» военных лет, как бы вернул себе прежнее прозвище: он снова имеет дело с кукурузой, хотя и в ином качестве.

Несколько немолодых колхозников во главе с бригадиром Титовой выгружают из грузовика бумажные мешки с минеральным удобрением. Лётчик, юноша лет двадцати трёх, в выгоревшем синем костюме и лётной фуражке, подходит к Русакову. Если бы не фуражка, его не отличить от колхозников: во всех его жестах, словах, в обыденном выражении лица такая привычность к колхозной работе, словно он конюх, шофёр или тракторист. И самолёт его, видимо, так пообвыкся здесь, что приобрёл что-то общее с терпеливой крестьянской лошадыю.

— Давайте облетим поля, — сказал Русаков лётчику и первым вскарабкался в самолёт.

Короткий разбег, взлёт, и «кукурузник», развернувшись, берёт курс на кукурузу. Видно, как по зеленым, чуть отставая, бежит его светлая тень, затем и самолёт и тень скрываются.

Колхозники кончают сгружать мешки. Титова велит уложить их поровнее, чтобы быстрее грузить в самолёт. Это простое распоряжение вызывает короткий спор. Худошавый, низкорослый человек в халате и брезентовом фартуке обвиняет бригадишу в бюрократизме, но она твёрдо стоит на своём, приходится переложить мешки.

Трудно себе представить, что почти все эти люди помнят ту пору, когда даже плуг был редкостью. На их глазах вошёл в сельскую жизнь трактор,

комбайн и многие другие сложнейшие машины. А теперь и самолёт вошёл в колхозную повседневность.

Слышится стрекозиный стрекот «кукурузника», и самолёт подруливает на старое место.

Русаков подходит к бригадирше и о чём-то советуется с ней.

В их разговор то и дело встречается маленький человечек в брезентовом фартуке. То и дело он вставляет: «А я тебе что говорил?!»

Наконец председатель не выдерживает. Он смотрит на человека и, точно радуясь своей угадке, говорит:

— А ты хватил с утра, Ефремыч!

— Уж и хватил,— с достоинством и вызовом отвечает Ефремыч.— Сказал бы лучше — вчерашний парок играет!

— Нет, дрожжи свежие,— повёл носом Русаков.

— Если не гожусь, могу и вовсе уйти,— обиделся вдруг Ефремыч, но председатель уже не слушает его. Он сговаривается с лётчиком: полетит тот сейчас или прежде пообедает.

— Надо бы подрубить малость,— говорит лётчик.

— Тогда поехали, я скажу кладовщику, чтобы вас с механиком оформили на довольствие.

— Кто же у самолёта останется?

Председатель обводит глазами колхозников.

— Ефремыч постережёт. Он мужик сердитый — к нему не сунешься!

— Ты это серьёзно? — растерянно говорит Ефремыч, как-то разом забыв о своём кураже.— Самому плохому человеку и такую машину доверяешь?

Хмель разом соскочил с него, из-под шутовской маски проглянул человек.

На обратном пути нас застиг дождь. Сперва он хлестнул мелким бисером, затем крупными кляксами испещрил пыльное лобовое стекло.

— Этот дождик мне нужен,— с удовольствием говорит Русаков.— И минеральные удобрения скорее в почву вгонит и капустке в самый раз!

У правления мы расстаёмся — обеденный перерыв.

Возвращаясь через два часа в контору, я ещё издали слышу злые, спорящие голоса.

Посреди конторы верхом на стуле сидит Русаков. Вращая белками и неистово жестикулируя, что-то объясняет ему шофёр Мамедов, азербайджанец, оставшийся работать в колхозе после службы в армии, которую проходил в Кашире. Вдоль стены стоят пять или шесть здоровенных молодцов в майках-безрукавках с загорелыми мускулистыми руками. Присмотрев среди них тракториста, работавшего на кукурузе, я понял, что это тракторная бригада.

— Пойми, Алексей Николаевич! — горячится Мамедов.— Не мог я его подвезти. Я на цистерне ехал — инструкция запрещает на цистерну сажать!

— Инструкция! — презрительно замечает рослый тракторист в ярко-красной майке. — Тебе рубль нужен, я бы дал тебе рубль.

— Рубль?.. Моя комсомолец!.. Моя свои деньги имеет, моя премию получает, моя больше твоего имеет!.. — коверкая от волнения язык, кричит Мамедов.

— погоди, Мамедов,— останавливает его Русаков.— Отчего это, ребята, стоит вас только поправить в чём-либо или требование предъявить, как вы тут же заводите про какие-то обиды? То не накормили вас, то бачок на поле не доставили, то с поля вас не подвезли. Почему же вы сами об этом не скажете? А то выходит: один напортачил, потому что Мамедов его не подвёз, другой — в отместку за бачок. Некрасиво получается!

— Обслуживать надо как следует! — крикнул молоденький тракторист.

— Правильно. Мы и стараемся, учитываем ваши требования. Шофёрам велю вас подвозить...

— Я на цистерне не повезу! — упрямо сказал Мамедов. — Инструкция не разрешает!..

— Ладно, ладно... Скажите, чем вы ещё недовольны?

Трактористы что-то проворчали про себя, но ничего не ответили.

— А коли так, — заключил Русаков (и я понял, что этот маленький человек может быть грозным), — чтоб больше халтуры я не видел! Стыд и срам! Механизаторы! Мы должны у вас культуре труда учиться, а вы работаете, как подёнщики или больные! Больше я с вами разговаривать не стану, просто сообщу в МТС! Всё, можете идти!..

Решив рассказать час за часом день председателя колхоза, я только теперь понял, что взял на себя непосильную задачу. Хотя и существует точный распорядок дня, жизнь подсовывает ежедневно столько непредвиденных и неотложных вопросов, требующих немедленного решения, что было бы слишком сложно и путано идти без отступа в след председателя. Возьму хотя бы такой пример.

Обеспокоенный некоторым снижением надоя, председатель собрал работников молочной фермы и животноводов, чтобы сообща отыскать корень беды. После недолгого обсуждения пришли к выводу, что главная причина — перекорм скота. Непривычный избыток кормов породил излишнюю щедрость. Решили пересмотреть рацион. Но пока шло это коротенькое деловое совещание, председателя отвлекали не менее десятка раз.

Входит Мамедов.

— На чём барду везти? Бензин только на доньшке.

— На нём и довезёшь.

— Не довезу.

— Довезёшь. На воинском самолюбии довезёшь. Конец месяца, сам знаешь, по всему району с бензином труба. Действуй.

Мамедов, привычный к воинской дисциплине, вздохнув, выходит.

Вслед за ним — другой шофёр.

— Молоко сдавать надо? — спрашивает он председателя.

— Обязательно надо.

— А на чём везти? Бензин кончился.

Председатель советует одолжить у самосвалов, завтра отдадим. Но у этого шофёра иная повадка, чем у Мамедова, он начинает доказывать, что у самосвалов самих нет бензина, и канючит до тех пор, пока председатель не звонит на нефтебазу и после долгих уговоров вымалывает десять литров.

Животноводы уходят, председатель садится за работу с Фроловым, но и теперь ему не дают покоя: кого назначать на непредвиденную работу?.. Люди с утра распределены по участкам, а тут привозят стройматериалы — некому сгружать; привозят суперфосфаты — та же история. С птицефермы просят косаря, на стройку — разнорабочего. Приходится выкручиваться. При этом то и дело мелькает фамилия Балакина, молодого парня, недавно пришедшего в колхоз с производства. У меня создаётся впечатление, что речь идёт о каком-то сказочном богатыре, способном не только выполнить работу десяти человек, но ещё и пребывать в разных местах одновременно.

И всё же даже двужильный, вездесущий Балакин не способен заменить всех и вся. Кончается тем, что агроном Фролов идёт что-то разгружать, практикантка ветеринарной академии Шура Истомина — косить рожь на подкормку своим цыплятам...

Конечно, благородно и прекрасно, что люди, не считаясь ни с чем, берут на себя любую работу, но вместе и обидно, что специалистам приходится заниматься не своим делом. Люди и люди — вот что сейчас так нужно колхозу!..

Когда были подведены последние итоги дня, уже наступил вечер. Окна подрумянились закатом, где-то вдалеке заиграл баян. Алексей Николаевич продолжал сидеть за столом, в задумчивости щупая руками своё побледневшее, в лёгкой испарине, лицо. Видимо, дневные заботы ещё владели им, не отпуская уставшее сердце. И, продолжая наш разговор, начатый в день знакомства, я спросил:

— Так как же, Алексей Николаевич, где всё-таки лучше работать: в конторе связи или в колхозе?

— Какое сравнение!..— проговорил он, очнувшись.— Конечно, в конторе. Там нормальный рабочий день: в девять пришёл, в шесть ушёл. Вечерком на огороде повозился, а то в кино ходил. А тут хлопчешь с зари до зари, не то что детей, жены не видишь. Ешь где и что попало, выходными ни разу не пользовался, об отпуске думать забыл. И потом — никогда меня столько не ругали. В конторе связи работал — только похваливали, премиальные шли, благодарности выносили. А тут — первый секретарь кроет, второй кроет, на общем собрании жизни дают, с людьми воюешь... Добро бы с плохими, а то ведь с хорошими! Нет, какое может быть сравнение!

— Выходит, вы бы не прочь вернуться на старое место?

Лицо Русакова затекло медленным румянцем, он ответил не сразу, каким-то извиняющимся тоном:

— Да, ведь поймите разницу... Здесь всё живое, всё дышит, всё растёт. Кислорода и питания требует. Не дашь — в голос ревёт, а бессловесное — сохнет... Поди, отлепись от этого! Только с мясом... — он беспомощно развёл руками.

Я так и не услышал прямого ответа на свой вопрос. Но день, проведённый бок о бок с председателем, ответил мне убедительнее всяких слов.

В этот день я видел Русакова на земле и в воздухе, я видел его за баранкой руля, в разговорах и ссорах с людьми, за картой полей и на полях, в коровнике и за председательским столом, видел его радующимся, довольным, гневным, огорчённым, думающим и принимающим решения. Но где бы и каким бы я его ни видел, мною неизменно владело чувство, что я вижу счастливого человека. Да, счастливого. Человека, который знает, что он делает нужное, главное дело, который, отходя ко сну, знает, что день прожит им не зря. Человека, который, раскрепостившись от маленького, узколичного, обывательского, идёт столбовой дорогой жизни. И как бы трудно, горько, даже отчаянно ни бывало ему порой, он уже не сменит эту трудную и большую жизнь на прежнее существование.

ВАДИМ ЛУКАШЕВИЧ

В СЕЛЕ ТАРАСКОВО

1

Назначили собраться правлению в семь, но собирались до половины десятого.

В конторе потолки оклеены бумагой, а стены — голубыми обоями; и бумага и обои отстали, кое-где порвались. Полы некрашенные, в щелях; длинные доски прогибаются, а дом вздрагивает, когда ходят.

Заседание получилось долгим — за полночь — и шумным. Не раз переходили в крик. Лёдовский бригадир Синюшин кричал, что не повезёт он своих в Тарасково сажать капусту на пойме.

— Городские на вас работают, так ещё и лёдовских надобно?

На это председательница ревизионной комиссии Анна Петровна Хорикова весьма пронзительно возражала, что всякий тщится, чем бы пожи-

виться! Подошло время луку, и колхознику надобно себя оправдать, потому что на это и усадьба ему дадена... И уж чья бы корова мычала, а лёдовская помолчала: и они не кладут охулки на руку, не хуже иных-прочих торят дорожку на московские рынки!

Тогда негромко заговорил Степан Елизарович Волков, председатель колхоза, а в недавнем прошлом директор завода. Все смолкли и услышали его слова о том, что в Тараскове ежедневно работали в овощной бригаде двадцать пять человек, а теперь стали выходить семеро; посадка капусты по этой причине затянулась, и, видно, сажать придётся до половины июля... Агроном вставил, что вырастут у них лопухи вместо капусты. Председатель продолжал, что хотя и приезжают всякое утро на двух машинах трикотажницы, но двадцать колхозниц стоят на такой работе пятидесяти горожан. Получается, что колхозники благодумствуют в Москве, торгуя луком, а в Кашире закрыли на два дня трикотажную артель, чтобы работать за колхозников.

Несмотря на поздний для деревни час, пришло в контору много активистов, им не хватило стульев и скамеек, опоздавшие уселись на полу, в небольшом тамбуре без двери, пригороженном у входа, чтобы не так дуло зимой. Превозмогая сон, курили что у кого было — сигаретки, папиросы, махорочные самокрутки, отчего люди виделись, как впросонках, в сизом тумане, а в комнате тревожно пахло жжёной бумагой, словно затлелись где-то голубые обои.

Заканчивая, председатель сказал, что раз трикотажницы отдают два рабочих дня, то и колхозникам нельзя не отозваться и надобно завтра всем выйти на капусту: и конторе, и каким можно животноводам, и дальним бригадам — из Благова, Грабиловки и Лёдова — приехать в этот раз на пойму.

Помолчав, председатель спросил: а как всё-таки быть с теми самовольщиками, которые, не сказавшись бригадиру, уезжают в Москву? Может быть, составить списки, чтобы властью правления оштрафовать каждого на несколько трудодней?

Невнятный шум послышался в комнате. И тогда заговорила заместительница председателя Лида Сергеевна, как её называют в колхозе:

— Легче составить, кто не был, Степан Елизарович. Двое таких и есть в колхозе: вы да я!

А Хорикова, призывая к сознательности, как если бы она была не в правлении, а на митинге, скорбно провозгласила:

— Это ещё ягодки да огурчики не поспели! Только лук.

Словом, она зывала к сознательности, но спорила против управы на самовольщиков и выходила правой на обе стороны. Вроде бы и поддержала, а вроде бы и помешала: не разберёшь! Зато от громкого крика могло померещиться, что Анна Петровна самозабвенно отстаивает справедливость. А ей только этого и требовалось.

Понемногу картина дорисовалась, и стало ясно, что, несмотря на решение общего собрания увеличить обязательный минимум до ста пятидесяти трудодней, невзирая и на то, что колхоз пошёл в гору и уже прошлый год набрал без пятидесяти тысяч миллион рублей дохода, колхозник всё-таки держится за рынок, как припаянный оловом.

Агроном выразился так:

— У нас стихия в колхозе. Луковая!

2

В Подмосковье, оказывается, есть свои степи, подобные южным, только уменьшённые в масштабе. В такой холмистой степи с далёкими горизонтами, в непрерывном пении жаворонков, в слабом полевом ветре, в крике перепелов стоит деревня Тарасково.

Слышно здесь на многие километры; иные звуки доходят слабыми, как воспоминание. Где-то далеко-далеко шумит мотор, и невозможно понять — самолёт ли летит, работает ли трактор; певучее жужжание полевых мух заглушает его на время.

С зоотехником-практиканткой Валей Никулиной, которая с февраля проходит здесь свою последнюю практику перед государственными экзаменами, мы ездим по фермам и бригадам в зелёном вездеходике, который умеет лазить даже через канавы.

Уже побывали в летних лагерях для кур и цыплят. На высоких шестах висят страшные тряпки: пугают ястребов. Цыплята бегут за Валей с весёлым писком, как за наседкой, и девушка довольна. Она признаётся, что больше всего любит не певчих птиц, разных там жаворонков да соловьёв, не уток с гусями, а кур.

— А спросите меня: пробовала я курятину? Ни разу. Приеду, бывало, домой, а у мамы курица сварена. «Ну вот, говорю, хотите, чтоб я голодной осталась?!»

Это она заставила построить деревянные бараки-птичники посреди клеверного поля, сбить корытца для корма, чтобы не кормить птицу с земли. Зато отход цыплят был всего пять процентов.

— Трудно мне было сначала! — говорит Валя. — Вижу: начинается на ферме расклёв. А вы знаете, что такое расклёв? Не знаете? Это когда куры вдруг делаются кровожадными, набрасываются на одну, могут её насмерть заклевать. Ну, я приняла меры: велела сейчас же дать курам костной муки, повесить берёзовые веники. Меня подняли на смех: откуда к нам такая дурочка приехала? Сроду не вешали никаких веников... Ну, я побуянила с ними, а веники повесила сама. Пошли на меня жаловаться председателю, он выслушал и говорит: делайте, как она скажет, она знает. Спасибо ему! А то другие практиканты жалуются: никакой поддержки от председателей, смотрят, как на чужих.

Вот здесь и сказалась у Волкова промышленная выучка: привычка поддерживать новаторов и доверять начальникам цехов, без чего, как известно, на заводе и работать нельзя. А кроме того, на Валю Никулину, наверно, никто до конца её жизни не сможет посмотреть, как на чужую: не умеет она быть в очевидцах, непременно ей надо влезть в самую гущу, чтобы и распорядиться и делать самой.

В Благове нас и вовсе обступила степь. Старых деревьев здесь нет, жиденькие сирени да берёзки теснятся в палисадниках перед домами; позади изб кое-где виднеются зелёные шатры яблонь.

Свинарник здесь ветхий, со всклокоченной соломенной крышей, со сгнившими в проходе полами, на которых стоит жидкая грязь. Но уже отремонтированы, заново сделаны стойла для свиней, и свиньи с поросятами на заглядение: сытые, весёлые, чистые.

Валя неумолчно говорит, обращаясь к маткам и поросётам; она заходит в стойла, уверенно и нежно берёт малюток за ножки, поднимает, рассматривает, и визгливые эти младенцы почему-то молчат в её маленьких руках. Успокаивается и матка, которая подняла было морду и грозно захрюкала, готовая защищать поросёнка.

В этот полуденный час скот в Лёдове был пригнан на фермы, дойка закончилась и доярки разошлись по домам, чтобы пообедать; даже дежурная куда-то ушла. Уже снаружи было слышно, что коровы звучно жуют и время от времени вздыхают. Мы заглянули в ворота и увидели два ряда вяло поматывающихся хвостов и стоящего в проходе грузного быка; казалось, казалось, казалось.

— Бык отвязался! — вскричала Валя и, отважно шагнув вперёд, махнула рукой, как на курицу: — Кш! Пошёл! Пошёл на место!

Бык опустил голову.

— Осторожней, Валя!

— Ступай, ступай! — всё-таки сказала она дрогнувшим голосом.

Наконец, фыркнув, будто усмехнувшись, бык медленно отвернулся от девушки: в этом были сразу уступка и презрение. Но Валя не стала больше воспитывать быка, тем более, что послышались громкие голоса доярок, возвращавшихся на ферму. Валю сразу обступили, зашумели, засмеялись, заговорили.

Одна из доярок поглядела из-под руки вдаль:

— Москвичи идут!

По дороге медленно поднимались люди.

— Почему «москвичи»?

— Ездили в Москву торговать... — рассеянно объяснила доярка, всматриваясь. — Вон Колька идёт! — воскликнула она, оживляясь. — Ишь ты, полмешка луку несёт обратно. Зачем несёт, а не выкинул? Несёт для отчётности своей хозяйке: вот, мол, смотри — ничего не пропил, а не удалось продать... Да уж такая у него хозяйка. Строгая!

И вдруг, прервав рассказ, закричала:

— Коль! А Коль! Ты что ж, обратно несёшь?

«Москвичей» было человек десять; запылённые, явно истомившиеся, они проходили мимо, переговариваясь; вид у них был усталый.

— А на капусту много вышло нынче народу?

Разговор сразу смолк, на меня посмотрели и не ответили. Я повторил.

— Нам откуда знать? — отозвалась наконец доярка. — У нас вон своя забота мычит. Спросили б вот этих!

И она кивнула вслед «москвичам».

3

Мы едем, и нам всё шире, всё полнее открывается сложное хозяйство колхоза. Тут есть всё для быстрого роста, многое уже начато и теперь каждое лето будет требовать всё больше рабочих рук... На пригорке торчат прутики с листьями: будущий сад, разбитый без малого на сорока шести гектарах; через два-три года он станет нуждаться в особых заботах. Конечно, большой промысловый сад в Подмосковье — это крупные доходы, но где возьмёт Волков людей в садовую бригаду?

Говорят, что в прошлом году в колхозе подняли двадцать девять гектаров своей целины и ещё осталось тридцать восемь гектаров залежей и перелогов. Их тоже надобно поднимать и засеивать какими-то культурами.

Мы приезжаем на берег реки Беспуты. Она крутится по степи без пути и так глубоко зарылась в землю, что до последнего мгновения кажется, что приближаешься к обыкновенному сухому оврагу. Здесь начали сенокос на почти лысом месте, в то время как рядом стоят нетронутыми тучные клевера и уже начинают черстветь.

— Понимаете, — объясняет Валя, — в этом году травы наполовину хуже прошлогодних. Вот и решили: убрать побыстрее, дня за три, на этих сенокосах, пробороновать да подкормить, чтоб трава отросла для второго укоса. По-моему, правильно!

С сенокосом в Каширском районе запаздывают. Хоть и ведут его тракторными косилками и граблями, стогометателями, а всё-таки надобно и сюда дать в помощь колхозников. А тут ещё начинает зацветать картофель раннего приекульского сорта, и в каждый день цветения будет он отращивать по пяти центнеров клубней на гектаре. Числа пятнадцатого рассчитывает председатель убрать этот картофель: очень нужны деньги на строительство!

Мы с председателем идём по улице.

Тарасковская улица круто переходит с холма на холм меж совсем украинских плетней, мимо изб, крытых по-южному соломой, да старых вётел и тополей. А с каждого подъёма чуть-чуть по-другому открывается просторная пойма Оки. Воды отсюда не видно. Просто стоят по горизонту, на горах левобережья, щетинистые тёмные леса, и за лесами густо дымит двухтрубная фабрика.

Степан Елизарович неторопливо повествует, что родился он на восточной степной Украине, в Кировоградской области, и батька его был крестьянин. И было у них так, как пели тогда кобзари: «Есть на світі доля — а хто її знає? Есть на світі воля — а хто її має?» А потом была революция и гражданская война, и Степан Елизарович долго служил в Красной Армии. После демобилизации работал директором овцеводческого совхоза, организовал на селе коммуну, а вот поучиться, как и большинству его сверстников, Степану Елизаровичу не привелось, и вышел он, как говорится, «не вчѐний, та товчѐний». Ещё год назад был Степан Елизарович директором спиртоводочного завода, но только — по симпатиям и вкусам — директором «безалкогольным». Он удивляется:

— Чего люди водку пьют? И так, глядишь, дурень, да ещё прибавляет себе дурости... Мне, например, нету в ней радости; пробовал: голова становится деревянная, а сердцу скучно...

Услышав, что партия посылает людей из города в колхозы, вызвался Степан Елизарович поехать в деревню.

Тарасковский колхоз считался одним из худших во всём Каширском районе. На трудодни почитай что ничего не давали, постыдную мелочь, и жили колхозники своими усадьбами, вот этими самыми, что лежат за плетнями под жарким июльским солнцем и крепко пахнут «закуской» — луком.

— Первые три месяца я прямо больной был... — рассказывает Степан Елизарович. — Замучили проклятые алкоголики. И при мне на заседания правления сперва приходили выпивши, шумели, матерились, били кулаками по столу. Чтоб это прекратить, установили мы в новом правлении порядок: кто пьяный буянит — с того штраф в двадцать трудодней на культработу, кто матерится — пять трудодней. И очень меня в этом поддержали женщины!

Над Тарасковом стоит дробный перестук плотничьих топоров: строят сразу гараж и коровник на двести голов; только что закончили пристройку к конторе: осталось покрыть крышу и вставить стѐкла; собираются строить птичник; роют силосные траншеи. С помощью правления колхозник Фалин поставил себе новый дом... Большое нынче строительство в колхозе имени И. В. Сталина! Впервые за много лет.

— Надо было самому поразобраться в людях, — говорит Степан Елизарович. — Вон Лида Сергеевна и у Жиглова была заместительницей. Смотрела-смотрела, как они пьют, да и пошла в горком к первому секретарю. Андрей Андреевич, конечно, вызывает их. Заявляют в один голос: ничего подобного, никто и в рот хмельного не берѐт, злобная клевета!.. Проходит время, ничего не переменялось. Лида Сергеевна опять идѐт в горком. Ну, вскоре прослыла она неудобным человеком, склочницей и всё такое... Когда меня выбрали председателем, мне советовали: «Ты её лучше снимй!» А я говорю: «Посмотрим, с этим спешить нечего». — «Ладно, говорят, пусть будет на твоѐ усмотрение». Потом я пригляделся и вижу: человек она честный, преданный, работник старательный. Опереться можно... Лида Сергеевна, Иван Николаевич — эмтэсовский агроном — очень они мне помогли... С чего я начинал? Начинал я с разговоров со стариками — организаторами колхоза, потому что пола-

гал, что должны они больше других болеть за колхозные дела. И не ошибся! Кого пригласил в правление, к кому домой пошёл: один был слепой, другой в постели лежал, болел. Поверите ли, даже заплакал старик: «Вот, говорит, и о нас, старых, вспомнила партия! И нас, старых, спрашивает». Они же главное знают — людей. И землю в этих местах они знают лучше всяких профессоров: жизнь на ней прожили, тут родились, тут помирать будут и, сколько жили, всё её, матушку, пахали... Кое-что они мне посоветовали. Не задавался прежде в колхозе картофель. Старики говорят: «Не там сажаем! Надобно вот где».

Издадека слышно приближение машины; густое облако пыли волочится вдаль по деревенской улице.

— А в хозяйстве я начал со свиноводства и картофеля: они быстрее всего отзываются на внимание. Поставил свиней на откорм, стал следить за привесом, за выращиванием поросят. И уже в тот год сумели мы взять без малого миллион рублей дохода, а на трудодень впервые за долгое время выдали по килограмму зерна, три кило овощей, два кило сена, по восемьсот граммов соломы, по двести граммов молока и по два рубля тридцать две копейки. И надобно сказать, что две трети колхозников выработали тогда больше трёхсот трудодней на каждого. Ну, помогло, конечно, что были хорошие урожаи многолетних трав — тридцать два центнера с гектара, кормовых корнеплодов — по сто девять центнеров. В общем, неплохо! И надой удалось дать выше плана: по две тысячи четыреста пятьдесят два кило на фуражную корову! Выходит, что были возможности и раньше, да в руки не давались.

5

Сегодня вышла на работу кассирша Маруся Жукова. И хотя до этого я видел её только мельком, на мой взгляд, она будто бы похудела.

— А-а! Наконец вернулись! — приветствовал её председатель. — Уехали на один день, а сколько не были?

— Два дня не была, Степан Елизарович.

На самом деле она уехала третьего дня с обеда.

Когда председатель ушёл, Маруся сказала:

— Сейчас бы я заснула на двое суток без просыпу!

Она ездила в Москву, возила два мешка луку, — значит, кило семьдесят, — а на рынке кругом «один живой лук», распродаться за день не удалось; три ночи не спала, ночевала с другими колхозницами на Даниловском рынке, прямо на торговом прилавке.

— Почему на прилавке? Есть же гостиница для колхозников?

— А потому на прилавке, — возразила Маруся, — что неизвестно ещё, как расторгнемся, и денег жалко: заплати за гостиницу, сдай товар на хранение и тоже заплати, а утром бегом беги брать товар да занимать место. А тут мы при своём месте и своём товаре: соберём понемногу сторожу — и всё!

— Вот так, значит, и ночевали на торговом прилавке, — продолжала Маруся. — Зори нынче холодные, а я даже тёплой кофточки не взяла. Намёрзлась, намучилась; прилавок жёсткий... Ездила со мной ещё подруга; та в Москве даже заболела... Как просидели мы с ней в первую ночь до пяти утра на тротуаре, прямо на камне, — гляжу, побледнела моя Нюрка, говорит, что ей нездоровится; пошла куда-то спать... Потом ничего: отошла!

Нелёгкое дело — возить лук в Москву.

Я спросил кассиршу Марусю, какая же нужда погнала её торговать луком.

— Почему нужда?! — удивилась Маруся. — Не нужда, а маменька сказала, что если кому из нас, сестёр, чего нужно, так чтобы продавали лук и покупали.

— Чего же вы купили, Маруся?

— Тащила два полных мешка, а всего купила купон креп-сатена на платье. И всё! Он весь вот такой...

И Маруся показала, будто держит в руке небольшой комочек.

После обеда подошла и Валя Никулина, как всегда возбуждённая, подвижная, быстрая, а на этот раз ещё и разъярённая. Оказывается, она жалилась над своей старухой квартирохозяйкой и пошла с ней за реку в Ступино: торговать на рынке картошкой.

— Ну и как?

— Вот отныне и вовеки... Чтоб я ещё раз?!

Рассказывает: подойдёт покупательница, стоит, перебирает, ещё ногтем колупнёт, говорит, что, мол, картошка чёрная, гнилая, а надо отвечать, что картошка вкусная, а не гнилая и вовсе не чёрная, хоть она и в самом деле чёрная...

— А сама будто не выбираешь? — усомнилась Анна Николаевна.

— Я сама никогда не перебираю, беру, какая есть.

— Значит, плохая ты хозяйка! — решили женщины.

А одна колхозница объяснила, что торговать — хитрое дело:

— Хочешь продать за пять, говори: семь! Скажешь: пять — дадут три. Три запросишь — дадут два, а то и вовсе не станут брать, подумают, что товар порченый.

Впрочем, это «хитрое дело» — частная торговля — никому из присутствующих, выясняется, не по душе. А у Вали Никулиной такое настроение, словно она замаралась и теперь надо будет отмываться.

6

Утром в пустой конторе всё время слышатся в тишине слабый шорох и потрескивание: это жук-точильщик ест дом, как пряник. Он уже почти съел его... Вот ещё одна беда и забота, до которой у людей не доходят руки. А надо бы!

Спрашиваю председателя, как они используют своё право планировать. Отвечает отчего-то неохотно.

Беру с бухгалтерского стола номер журнала «Достижения науки и передовой опыт в сельском хозяйстве». Показываю статью председателя колхоза из Воронежской области М. В. Батухтина «Новый порядок планирования в действии».

— Вот, Степан Елизарович, прочтите: «Решили заменить уже в 1955 году яровую пшеницу более урожайной в наших условиях озимой пшеницей».

— Да, — говорит председатель, — я уже думал: если бы в прошлом году заняли всю площадь озимой пшеницей, взяли бы зерна на четыреста семьдесят пять центнеров больше...

— С кормами, — говорю, — у вас теперь полегчает: кукурузы у вас много! Она возместит все недокосы и недоборы в травах нынешнего года.

— На холмах у нас кукуруза добрая, а вот в пойме чего-то бледная, нездоровая... С кукурузой мы, конечно, сразу в гору пойдём по всему животноводству.

— А что, Степан Елизарович, слышал я: говорят, будто у вас два плана по животноводству?

— Так один план предварительный, мы сами его составляли, а потом передали в район. Там рассмотрели, изменили, прислали нам. Ну, мы обсудили его и приняли. Так что план-то один. А то был предварительный.

— И намного вам увеличили план, Степан Елизарович?

— Не увеличили, уменьшили.

— Почему же, Степан Елизарович?

— Уж этого не знаю! То ли меня жалеют, боятся, что не вытяну; то ли не доверяют нашим возможностям; то ли не желают, чтобы мы слишком вылезли вперёд: тогда остальных придётся тянуть за нами!

И, прерывая неприятный разговор, вдруг оживился, стал рассказывать, как вчера вечером, когда ехал в машине из города, вдруг догадался, что могут они этой осенью выполнить план 1960 года по сдаче свинины. Он уже ездил с утра в Благово на свинарник, смотрел и советовался. И представьте себе: как будто бы всё верно!..

Надо же было в это время прийти овощному бригадиру Ивану Логиновичу Королёву, да ещё с таким заявлением:

— Я, Степан Елизарович, в Москву поеду! На один день...

— Как же тебе уезжать, — возражает председатель, — когда ты ещё не кончил сажать капусту? Ты же руководитель! Пошли кого-нибудь из семьи.

— Да чего они там сделают!

— Ты сколько раз ездил в Москву?

— Два раза.

— Не два, а пять. Хватит!

— Должны быть у колхозника выходные дни или как?

— У колхозника выходные, когда работа сделана. А у тебя?

Но Королёв не слушает, орёт своё со злостью, почти с ненавистью, вскакивает, идёт к двери и неожиданно спокойным голосом не то заявляет, не то спрашивает:

— Я тогда самовольно, Степан Елизарович?

— Это ты можешь! — раздражённо отвечает председатель. — Будем тогда разговаривать на правлении...

Бригадир ушёл, но настроение уже сломано.

7

Воздух в конторе застоявшийся, пропитанный старым табачным перегаром. Тихо. Понемногу председатель успокаивается, и мы продолжаем беседовать.

— Теперь об этом не говорят, а есть ещё в деревне спор между частным и общественным. Плохой колхоз — это тот, где общественное ослабло и оттого почти все хаты разом оказались с краю. Не знаю, слышали вы, а может, нет: был здешний колхоз когда-то передовым в районе и ещё в войну работал очень неплохо. А вот где и когда он пошатнулся и вниз пошёл — никто толком не разобрал. А разобрать было б поучительно: чтоб другие сумели во-время затулить дырку и вычерпать воду, а не тонуть. Сейчас у нас в колхозе этот спор поднялся до высокого напряжения, потому что легли частные огороды с проклятым луком поперёк многим нашим общественным планам. Да и то не дело, что мы отрываем городских рабочих от их прямого труда, от производства товаров, которые и нам нужны. Сейчас уже говорят, что слишком мы много забрали людей из деревни в город, — перебрали, так сказать, — и теперь, конечно, приходится помогать деревне рабочей силой. Так-то это так, но я думаю, что есть ещё в деревне резервы рабочих рук, если как-то решить этот спор частного с общественным. Но колхозника тут винить нечего, бо всім зубам треба їсти, а кроме того, когда колхоз был плохой и ничем их не обеспечивал, жили они своей усадьбой.

Степан Елизарович задумался. Тут я рассказал ему в пример и подтверждение его мысли о продолжающемся ещё в деревне споре между частным и общественным, как в 1949 году приехал я впервые в приволж-

ский колхоз Ивановской области и председатель, Герой Социалистического Труда и большая умница, Василий Фёдорович Смирнов сообщил, что на трудовень они выдали, кроме всего прочего, по одиннадцати кило картошки. Я сначала порадовался: вот, мол, какой богатый трудовень! А потом, когда разговорился с людьми, увидел, что они недовольны. Всё объяснил мне тоже Герой Социалистического Труда и тоже Смирнов, но не родственник, а однофамилец, бригадир тракторной бригады. Анатолий Смирнов сказал, что вместе с женой он заработал шестьсот трудовней и, следовательно, получил шесть с половиной тонн картошки. Такого количества ему с женой и двухлетним ребёнком хватило бы на шесть-семь лет. Что делать? Поневоле надо тащиться на рынок.

— В наших местах все меня знают, — говорил Анатолий Смирнов. — Пусть я не надену на рынок Золотую Звезду, её всё равно на мне видят. Да и времени жалко прямо до слёз: скоро ли я перевожу да перевешаю по килограммчику шесть тонн? А я учиться хочу: до армии успел я окончить только шесть классов. А всего хуже: увидел я, что у моей жены вдруг проявилась жадность, которой прежде вроде бы не было; торгуется, запрашивает, норовит лишнее против других содрать и радуется каждому выторгованному рублю, как находке.

— Да-а! — сказал Степан Елизарович. — Пример наглядный. Вот так и бывает, что мы сами, по несообразительности, гоним людей на рынок и освежаем собственнические привычки, усиливаем частное против общественного!

— Правда, с той поры Василий Фёдорович уже не давал так много натурой на трудовень, зато увеличил выдачу денег. Колхоз сам стал продавать картошку: выделил двух человек по их собственному желанию и поставил постоянно торговать на рынке.

— Колхозное-то продать не хитро! — вздохнул Степан Елизарович. — А как быть с частным продуктом?

И тут мне вспомнился опыт двух председателей колхозов в Московской области: Пузанчикова и Буянова. Я рассказал Степану Елизаровичу, как решил этот спор частного с общественным Иван Андреевич Буянов, председатель колхоза в Горках Ленинских. Ему было ещё труднее, чем Степану Елизаровичу: Горки ближе к Москве, и оттуда колхозницы через день возили молоко на базар. Совсем некому работать в поле! Но Буянов арендовал на Центральном рынке ларёк и стал на месте, в Горках, покупать у колхозников по базарной цене всё, что они намеревались продавать: молоко, мясо, картофель, овощи... Всё купленное отвозили вместе с колхозным в Москву и продавали в ларёке. И стало колхозницам выгодно: не тащить тяжестей, не тратиться на проезд, да ещё за время, которое прежде теряли на рынке, можно заработать трудовни...

— Буянову это проще сделать: его колхоз под самой Москвой! — возразил Степан Елизарович. — А нам торговать в Москве вроде бы несподручно. Да кроме того, полагается райпотребсоюзу и сельпо заниматься комиссионной торговлей: брать у колхозников товар по базарной цене — только с десяти-пятнадиати процентной скидкой — и отвозить в город на продажу. Им, как говорится, и карты в руки.

— Ну, так или иначе, а решать нужно, Степан Елизарович. И я бы на вашем месте не очень надеялся, что сельпо это сделает само: ему помочь надо.

— А бис его батька знае! — ворчливо сказал председатель. — И ничего-то не пишут про колхозную торговлю, про людской опыт!

— Наши сельскохозяйственные издатели и критики, Степан Елизарович, уж так приучились: если не сказано про доярку, значит нет передачи опыта. А про колхозную торговлю и вовсе говорят мало,

— Народ здесь, в общем, работающий, горячий народ! — с уважением говорит Степан Елизарович, когда мы с ним, оставив правление, спускаемся в пойму Оки, чтобы посмотреть картофельное цветение. — Правда, люди одно время поостыли, но и тогда были они вот как угли в печи: сверху — зола и пепел, а внизу — красный жар. Лишь подуй хорошенько! С таким народом можно горы своротить, только убрать бы нам с пути эту самую спотычку — решить спор колхозного поля с частным огородом!

Я посмотрел на него — сутулого, полуседого, грузного, упрямо шагающего вдоль плетней — и подумал, что Степан Елизарович сможет решить спор. Не в его привычке бросать на ветер слова, а кроме того — и, пожалуй, главное — очень верят колхозники своему председателю, говорят о нём с приязнью и гордостью:

— Он у нас работага, горячий человек! Весной не хватало кормов, не было шофёра, чтобы привезти из Каширы... Так он, бывало, наденет свою шляпу, сядет в кабину за баранку и ездит целый день, добывается, достаёт... И не ест, не спит! Уж колхозники ему говорили: да разве ж так можно, Степан Елизарович?

Наверное, это и было «дуновением на угли».

И. ГОРЕЛИК

ИНЖЕНЕРЫ

День начинается так: из раскрытого окошка конторы МТС, ещё не заполненной людьми, слышно, как сердится невидимая диспетчерша.

— Председателя нет? На поле пошёл! Всегда вы так отвечаете! А самолёт у вас? Начинаете подкормку? Хорошо!

Потом показывается старенький, запылённый «ГАЗ-63», и из него вываливается участковый механик Костюнин.

— Врам Гайкович тут? — бросает он на ходу. Костюнин успел побывать в бригаде Каратаева и разобратся, что там случилось с «Универсалом». Ничего особенного, поломка пустяковая, могли бы и не пороть горячку, не вызывать механика, через час трактор пойдёт на поле...

Затем к дверям конторы МТС подходит тракторист. Он бережно опускает на ступеньки холщовый мешочек, в котором упрятана сломанная деталь, садится на крылечко и ждёт. Скоро появится Врам Гайкович Малумян, начальник мастерских, и они обсудят, что тут можно сделать: проточить или поставить на трактор другую, загодя отремонтированную часть, или — что было бы, конечно, самым лучшим — обменять это барахло на хорошую заводскую деталь.

— Толя! — кричит кто-то, выглянув из окошка. — Скажи Вриму Гайковичу, с товарной звонили, прибыла машина для рытья колодцев...

И в эту минуту из домика, видного с крылечка МТС, выходит Врам Гайкович Малумян. Он идёт быстрой, лёгкой, пружинистой походкой, коренастый человек в синем лыжном костюме, который ему служит все времена года. Он пересекает картофельное поле, направляясь прямо к мастерским, и уже видны его густые, чёрные, как смоль, волосы южанина, ровная щётка усов над слегка припухлой губой, открывающей в улыбке два ряда белых зубов.

— Вот и Врам Гайкович! — говорит механик Костюнин.

— Малумян идёт! — кивает в окошке диспетчерша.

Тракторист забрасывает мешочек за спину и направляется к воротам мастерской. К МТС спешит не только Малумян. Высокий, в строгих очках, военной гимнастёрке и сапогах, инженер Виктор Иванович Минензон, живущий в каком-нибудь километре от МТС, тоже приближается к месту работы. А инженер Николай Иванович Урадовских уже давно возится у комбайнов, вытасненных для ремонта из депо.

Так начинается день в машинно-тракторной станции. Инженеры приходят на работу.

Дорога в МТС

Здесь их четверо. Они приехали вскоре после сентябрьского Пленума ЦК партии.

Главного инженера, самого старшего по возрасту, Михаила Ильича Петровского, мне не удалось застать на месте. Он находился в отпуске. От его друзей я узнал немногие подробности биографии главного инженера и потому, рассказывая о нём, буду вынужденно скуп.

Он окончил Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, но работать ему привелось в Госснабе СССР. Петровский был инженером, а Госснаб — не предприятие. Шёл день за днём, знания, полученные в институте, оставались неиспользованными. К тому же время от времени давали знать о себе раны, полученные на фронте, и почему-то особенно ныли они после утомительных вечерних заседаний.

И вот Петровский окончательно надумал уйти из Госснаба. Инженер он в конце концов или нет? Разве боится он живого производства, с его тревогами и заботами, с горячим соревнованием, новаторами, со всей той живой атмосферой, которая даёт ощущение радостного труда?! Трудно, измеряемого не только процентами плана, но и штуками выпущенных изделий!

И он перешёл на завод. Казалось, можно было считать себя прекрасно устроенным. Но беспокойный Петровский не мог примириться с мыслью: зачем же он кончил институт механизации и электрификации сельского хозяйства, если торчит в городе? Место его ведь в деревне, а не в столице?

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС разрешил все сомнения. Петровский расстался с Москвой и перебрался в МТС. Сначала его назначили начальником гаража — пусть поработает, проявит себя... Потом перевели в инженеры-механики по ремонту сельскохозяйственных машин. А когда главный инженер уехал на работу в другую МТС, Михаил Ильич занял его должность.

Едва появившись в машинно-тракторной станции, Петровский сразу же подружился с везде поспевающим Врамом Гайковичем Малумяном. Казалось, Малумян — давний житель этих мест, так легко и просто ориентировался он, встречаясь с механиками, бригадами тракторных бригад, со слесарями и токарями из мастерских, да и с председателями колхозов, приезжавшими сюда со своими делами.

На самом же деле Малумян приехал в Каширу всего лишь на две недели раньше Петровского. В пасмурный, хмурый день Врам Гайкович вышел на перрон Каширского вокзала. Не осень и не зима. Слева, вдали, дымили трубы ГРЭС, застилая всё иссиня-сизым туманом, вправо круто вверх уходила асфальтовая дорога, а неподалёку мелькала полоска ещё не замёрзшей Оки. Вот и Кашира! Несколько недель тому назад его, старшего инженера одного из управлений Министерства сельского хозяйства РСФСР, спросили в парткоме, читал ли он постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС? Врам Гайкович ответил коротко: «Читал». Малумян предполагал, что его пошлют в Армению, на родину, или в Ставрополье, куда отправились уже три его друга из министерства, но в конце

концов оказалось — Каширская МТС. И вот он на перроне вокзала, в трёх километрах от МТС, вблизи полей и лугов. Здесь с нынешнего дня начинается новая жизнь.

Себя не обманешь: уезжать из Москвы не хотелось. Кто покинет столицу с лёгкой душой, город, где ты обжился, завёл друзей, кончил институт?.. Если бы ему не предложили поехать в деревню, сам он, пожалуй, не стал бы напрашиваться. Но теперь жалеть о прошлом не приходилось.

Путь к МТС лежал через старинный городок Каширу. Рядом с деревянными постройками мирно соседствовали новый кинотеатр, аптека, школа... А главная улица обрывалась степью, и вдруг возникали беленькие постройки за решётками ограды, каменные сараи, ещё издали виднелись силуэты маггин — МТС.

«Вот, дьяволы, держат в такую погоду тракторы под открытым небом», — сердито подумал Малумян. Не впервые он приезжал в МТС и, как бывший работник Министерства сельского хозяйства, давно составил представление о том, что хорошо, а что плохо для машинно-тракторной станции. МТС многое дано, дело только за элементарным порядком — эта удивительно простая мысль укоренилась в его сознании за время работы в министерстве.

Впрочем, Каширская машинно-тракторная станция с первого взгляда ему понравилась — чистота, нарядные зданьца, созданные по типовому проекту, привлекательная компактность строений.

Малумяну было двадцать девять лет, возраст, когда всё кажется простым и понятным. Сравнительно недавно он окончил институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Был не женат, не обременён семьёй. Как знать? Может быть, именно здесь судьба сведёт его с девушкой, которую он полюбит.

Но вот показались ворота и, наконец, одноэтажный домик конторы.

Он взбежал на крылечко, шагнул через порог в прохладный коридор и принялся разыскивать директора или главного инженера...

Ни директор МТС, ни главный инженер не торопили Малумяна.

— Приехали? Походите, присмотритесь, а там потолкуем...

На второй или третий день в МТС пригнали трактор. Он «троил»: из четырёх цилиндров его двигателя один не работал. Постепенно собралась толпа, оживлённо обсуждая, что случилось с машиной. Один человек утверждал, что вся беда в форсунке, вечно с форсунками возня, другой возражал:

— Воздух попал в систему питания, вот и всё!

— А может, клапаны плохо отрегулированы? — высказал догадку третий.

Врам Гайкович стоял в сторонке, чувствуя на себе взгляды людей из толпы и мучительно думая: «Что, если его спросят? Разве у него есть готовый ответ?» Конечно, он может с видом знатока подойти к трактору, заглянуть туда-сюда, но он не имеет права дать неточное объяснение. В институте их не учили по-настоящему разбираться в тракторе. Почему? Отчего ни разу не послали на тракторный завод? Посмотреть бы, как их изготавливают!

Он знал основные принципы работы всех сельскохозяйственных машин, он разбирался в чертежах, но практически, зримо, на ощупь машину не знал. Этому его не учили...

И Малумян решил на первый раз промолчать, не вмешиваться в спор. Как ни странно, это больше всего понравилось трактористам.

Жизнь опрокинула и некоторые другие его представления. В институте, а позже в министерстве он был уверен, что в МТС всё в избытке: запчасти, станки для ремонта, режущий инструмент, а уж тем более всякая на первый взгляд ерунда, без которой — он пони-

мал это — не проживёшь и дня. Он привык к мысли, что если МТС работает плохо, значит дело упирается в трёх человек: директора, главного инженера, механика. Они плохие организаторы, и всё! Но вот он встретил в Кашире опытного директора, уже пять лет возглавляющего машинно-тракторную станцию, квалифицированного главного инженера и хорошего механика, а порядки были слабые. То одной, то другой детали не хватало, всякий раз приходилось добывать резцы и фрезы к станкам, а что касается запчастей, то это слово в МТС всегда произносили с ожесточением.

И тогда Малумян спросил сам себя:

— А как организовали бы дело, если б это была не машинно-тракторная станция, а завод? Небольшой завод в степи?

Однажды возникнув, этот вопрос не переставал его беспокоить. И о том же самом подумали инженеры Урадовских и Минензон, едва они появились в МТС.

Виктор Иванович Минензон не кончал института механизаторов сельского хозяйства. Его дорога из МВТУ имени Баумана, с факультета «Тепловые и гидравлические машины», лежала прямо к заводским цехам. Инженера направили на завод речных дизелей конструктором. Как всякий молодой специалист, ещё не нюхавший заводской жизни, он представлял себе будущую работу цепью больших или меньших открытий. Его воображению виделись красивые суда, рассекающие широкую Волгу, много судов, и на каждом из них — двигатели с узлами его конструкции...

Но завод был старенький, двигатели испытанные, а технология их изготовления проверенная...

Минензон считал, что его конструкторская жизнь сложилась неудачно. А если это так, то не стоит ли ему пойти туда, где непосредственно происходит эксплуатация двигателей? Поработать с людьми, которые каждый день сталкиваются с их дефектами и достоинствами и знают о них больше, чем вчерашний студент или даже привыкший к одной и той же работе инженер? Не поехать ли ему в МТС? Не заняться ли двигателями, стоящими на тракторах и комбайнах? Партия зовёт специалистов на село. Что его, комсомольца, держит на этом маленьком заводе, выпускающем одну и ту же привычную продукцию? А если когда-нибудь окажется, что его истинное призвание — конструирование двигателей, то МТС послужит ему прекрасной школой!

Так появился третий «сентябрьский инженер» в Каширской машинно-тракторной станции. А четвёртый, Николай Иванович Урадовских, пришёл сюда самым последним — девятого июля прошлого года, через одиннадцать дней после защиты диплома. Вся предыдущая жизнь готовила его к этой работе. Проследить эту жизнь, значит увидеть судьбу целого поколения молодых людей тридцатых — сороковых годов.

Ему было только четыре года, когда его родители, на Тамбовщине, вступили в колхоз. Коля Урадовских не помнил жалких крестьянских наделов, только понаслышке знал, что такое батрак, и даже представить не мог иную, не колхозную жизнь.

В первый год войны Урадовских окончил школу. А ещё через два года ушёл на фронт. За три месяца до победы, на Одере, его ранили. А когда он выпался из госпиталя, война ушла в прошлое.

Он стал работать штурвальным на слабеньком комбайне «Сталинец-1», а по совместительству — весовщиком-учётчиком. И комбайнер был тоже инвалидом, без ноги. Грустно вспомнить, как тогда работали! Бывало, февраль на дворе, а они всё молотят...

Раньше Николаю Ивановичу казалось, что он уже никогда не сможет учиться. Двух пальцев нет, другие покорёжены, как будешь писать? Но потом всё-таки поступил в Кирсановский техникум механизации

и окончил его с отличием. Без экзаменов его приняли в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Он прекрасно учился, подрабатывал к стипендии — то электриком общежития, то лаборантом на кафедре. Каждое лето приходилось ездить на практику. Именно там-то и родилась тема, которую Урадовских избрал себе для дипломной работы.

Часто он наблюдал, какие огромные потери несут колхозы в пору сноса. Особенно досаждала плохая работа решётки на стогометателе. Забросит машина на стог сено, а добрая часть остаётся на решётке. Как бы её переделать, эту решётку?

Диплом был уже почти закончен, и Николай Иванович Урадовских отправился в Люберцы, на завод сельскохозяйственных машин, делать решётку по своему разумению. Он предложил схему. Её забраковали. Он предложил вторую, третью... Они были отвергнуты. Восьмую. Она понравилась. На заводе рассчитали конструкцию. Урадовских вычертил её, сдал. Увидеть решётку в металле ему не пришлось. Пора было возвращаться в Москву для защиты диплома.

Через одиннадцать дней он уже приехал на постоянную работу в Каширскую МТС.

На одной из стен мастерской Николай Иванович прочитал лозунг: «Машинно-тракторная станция—опорная база индустрии на селе». Что ж, отлично! Он и раньше так считал. Тут он и сделает решётку для стогометателя. Нужно только добиться, чтобы МТС работала так, как подбаёт индустриальному предприятию. Что касается его, Николая Урадовских, то он знает три святых правила, с которыми нигде не пропадёт.

Первое — не кичись тем, что ты инженер.

Второе — не бойся испачкаться.

Третье — никогда не решай смаху: подумай, покопайся, проверь себя, а потом дай ответ.

С этим несложным, но мудрым катехизисом и вступил в жизнь Николай Урадовских, четвёртый по счёту инженер Каширской МТС.

Первые шаги.

Малумян только начинал свои первые шаги, как перед ним возникли десятки неожиданных проблем. Как-то трактор выбыл из строя и дозарезу нужно было сделать взамен сломанной новую деталь. Отличные станочки — три токарных, фрезерный, два расточных и даже большой станок для шлифовки коленчатых валов позволяли произвести любую механическую обработку. Они стояли впритык друг к другу, да что ж поделаешь! Когда проектировали МТС, не приходило в голову, что машинно-тракторная станция в самом скором времени будет иметь 150 тракторов, 34 комбайна, а более простых механизмов — больше тысячи. Но с теснотой в конце концов можно примириться. А вот беда: ни металла нужного фасона, ни запасов режущего инструмента — ничего этого в мастерских нет.

— Вот так индустриальное предприятие! — сказал Врам Гайкович директору МТС. — Где ж всё это достать?

— В Сельхозснабе.

— Дадут?

— Попробуйте... — загадочно ответил директор. — Выпишите заявку, пошлите человека в Москву...

— Кого ж направить?

— Участкового механика... — Директор назвал фамилию. — Он у нас ведаёт снабжением...

— Как это так? — возмутился Малумян. — Участкового механика отрывать от работы! Должен быть специальный человек для такого дела. Экспедитор, что ли...

— Не положен! — холодно возразил директор. — Разве вы в министерстве этого не знали?

Железо, уголь, ветошь, стекло, масло, запасные части, металл, резцы, свёрла — всё это доставал участковый механик. За всем этим он ездил в Москву, был там и за снабженца и за грузчика, спорил, уговаривал... Ему бы с летучкой отправиться в тракторную бригаду, ему бы на поле быстро починить машину или навесной механизм, а он «добывал дефицит»! Иногда это удавалось, иной раз приходилось возвращаться с пустыми руками или с заявкой, удовлетворённой только наполовину.

К счастью, в Кашире существовал завод металлоконструкций. По долгу шефов директор завода согласился уделить малую толику инструмента и металла из своих запасов. И всё-таки, хотя выход был найден, Малумян не чувствовал удовлетворения. Какой же это форпост индустрии на селе, если приходится кланчить то, что в любой кладовке завода лежит в избытке?

Так и получилось, что, когда инженеры взглянули на МТС свежим глазом производителей, многое, что было здесь привычным, к чему все притерпелись, оказалось невыносимым.

Разве дело, что моторы на испытательные стенды приходится тащить вручную, волоком? Малумян, Минензон вместе со слесарями Леонидом Вслковым и Виктором Кондратьевым посидели вечерок, помозговали: как быть? Какая нужна тележка, чтобы с её помощью можно было перетаскивать моторы всех видов? Они набросали эскизик, сделали чертёж, построили тележку.

Медленно, едва заметно для глаза, в мастерской вводились новые порядки. Заранее готовились запасные комплекты деталей, «обменный фонд». Если выходила из строя машина, трактористу или комбайнеру уже не приходилось ждать, пока откуют деталь или её сварят. Они сразу получали готовую.

Решающее испытание пришло осенью.

Ещё в августе машинно-тракторная мастерская получила директиву из областного управления сельского хозяйства. В этом документе не было пышных слов и трогательных призывов. Всё было изложено сухо, «конкретно» и очень точно. К ремонту приступить такого-то числа. В первую декаду отремонтировать столько-то дизельных тракторов, столько-то «Универсалов», столько-то «МТЗ»... Всё расписано, разложено по клеточкам.

— Чёрт подери! — обозлился Урадовских. — Слушайте, товарищи! Никогда я не работал на заводе. Хотелось бы мне знать: предписывает министерство предприятию, сколько и каких его собственных станков ему полагается отремонтировать в декаду? Или заводских работников всё-таки считают людьми? Сами, мол, сообразят...

— Дело простое: нам не доверяют, — пояснил Малумян. — В управлении убеждены, что мы обязательно захотим словчить — ремонт самых тяжёлых тракторов, мол, отнесём на конец.

— Так их и надо ремонтировать в последнюю очередь! — воскликнул Урадовских. — Пропахные тракторы раньше закончат работы — бери их в мастерские! «ДТ», а тем более «С-80» — самые мощные машины, всю зиму ещё будут трудиться, чего же их прежде времени с работы срывать!

— Если бы это был завод, — сухо вставил своё слово Минензон, сверкнув глазами за свиной оправой очков, — там решили бы по-другому: на поток! Нам в нашей мастерской нужен поток.

«Если бы это был завод!» Всякий заводской человек знает: экономнее, легче и производительнее делать однотипную работу, выпускать изделия целой серией, закончив одну, переходить к другой, а не перемешать разные детали, по многу раз переналаживать и станок и производ-

ственный процесс. Не так ли и они, инженеры МТС, должны поступить? Не лучше ли им ремонтировать тракторы по маркам машин? Сначала один тип тракторов, потом другой, за ним третий. Так они привнесут производственный принцип в маленькое, но важное предприятие, каким является МТС.

Правда, всё здесь отличается от завода. Здесь инженеры не имеют права произвольно выбирать последовательность ремонта тракторов. Разные типы тракторов в различное время года работают с неодинаковой нагрузкой. Отлично! В таком случае им предстоит так рассчитать «ремонтный сезон», чтобы не вступить в конфликт с природой. Больше того, приспособиться к ней, даже использовать её.

Кончался август, шли первые числа сентября. Бригады, их помощники продолжали работать с полным напряжением. Но с каждым днём в МТС возвращались всё новые и новые «Универсалы», освободившиеся от пропашных работ. И тогда веселее заработали ремонтники. Детали для «Универсалов» требовались однотипные, их можно было изготавливать, что называется, сериями, а значит быстрее. Детали других машин не путались под ногами — всё внимание «Универсалам»! Уже к Октябрьскому празднику все тридцать две машины были приведены в полный порядок.

А в ноябре к усадьбе МТС всё чаще стали подходить старые колёсные «ХТЗ». Теперь уже «ХТЗ» поставили на ремонт, и мастерская могла работать всё в том же живом темпе.

А «Беларусь» и «ДТ», хотя и освободились от полевых работ, всё ещё были заняты: возили барду, корма, строительные материалы... Бесмысленно было отрывать их от дела. Только по одному, по два «ДТ» уводились с «переднего края» на ремонт. Но зато, полностью покончив с «ХТЗ», инженеры поставили на поток «Беларусь», исподволь приводя в порядок одну-две дизельные машины.

Когда самые мощные тракторы — «С-80», принадлежащие мелиоративному отряду, тоже покинули фронт работ, мастерская приняла их на массовый ремонт.

Приезжая в областное управление, директор МТС встречал косые взгляды.

— Что там у вас ребята балуют?

Стоило мастерской споткнуться, и нашлось бы немало охотников позлорадствовать: «Мы вас предупреждали, вольно было не слушаться...» Но к первому февралю, точно в срок, предусмотренный планом, весь парк машин был отремонтирован.

Инженеры могли быть довольны: каждый двигатель испытан на мощность, на расход топлива, каждый прошёл через холодную обкатку и через горячую...

Это и в самом деле было похоже на заводской поток. Здесь он назывался: ремонт по маркам машин.

Три вопроса инженера Малумяна

«Газик» вёз нас от одной тракторной бригады к другой. Открытая степь лежала перед Малумяном; уверенно вёл он машину.

Всё, что встречалось по пути, вызывало живой отклик в душе инженера. Попадались кукурузные поля, и Врам Гайкович рассказывал, что в этом году район посеял 2 300 гектаров, не то что в прошлом — только четыреста... Встречались стада коров, и Малумян вспоминал, что в среднем по району надои уже перешагнули за две тысячи литров молока на каждую корову. Не то две тысячи сто, не то две тысячи сто девяносто...

Мелькнула деревушка в ивах и кустах акаций. Стояли два трактора, блестя густо, чересчур густо смазанная сенокосилка. Тут помещалась пятая бригада, но ни одного человека не было видно.

— Что случилось? — встревожился Малумян. — Куда девался Юдин?

Мы сошли с «газика» и принялись искать бригадира тракторной бригады. Он оказался тут же, за домом. Около него над грудой деталей склонились рабочие. Они разбирали двигатель — надо было менять вкладыши.

— Повезу в МТС коленчатый вал, — сказал бригадир, — проточить его...

— Вези, Пётр Иванович, поторапливайся... А чего это сюда спрятался? Не греет, не дует?

— Именно так, Врам Гайкович, — ответил Юдин. — А подует ветерок, махнёт пылью — и пиши пропало... Когда уж нам полевой стан построят? Хоть бы плохонький какой-нибудь, четыре стены, и то бы ладно... Слышал я, на автомобильных заводах рабочие ходят в белых халатах, от пылинки берегут мотор. А мы... — Он безнадежно махнул рукой.

Малумян не ответил. То, что в бригадах не было постоянных полевых станков, где в самом деле можно было бы на ходу ремонтировать машины, его уже давно беспокоило. В МТС имелось всего четыре «летучки» — походные мастерские. Две из них обслуживали только животноводческое хозяйство, а две — полевые тракторные бригады. Разве «летучка» ко всем поспевает? И вот на земле, в грязи и пыли, приходилось иметь дело с деталями такого ответственного узла, как двигатель — сердце трактора.

— Строительство — это первая беда, которая нас дожимает, — рассказывал Малумян, когда мы уселись в машину. — Понравились вам здания МТС? Правда, красивые? И мне так показалось, когда я первый раз подошёл к усадьбе. А загляните-ка внутрь! Перекрытия прогнили. Штукатурка валится в мастерских, в каждом сарае, в любой кладовой. Кто виноват? Ищи ветра в поле... Какое-то «СУ», или Гипросельстрой, или ещё кто-нибудь... Сделают шалей-валяй, а не согласишься принять в таком виде, некуда будет поставить тракторы. Хочешь не хочешь — молчишь... Крыши крыты одним слоем шифера. Зимой тракторы покрывает снежком, к весне они утопают в воде, а заморозки грянут — вмерзают в лёд. Чёрт знает что такое! И никому до этого нет дела. Экономим деньги на строительстве, транжирим на ремонт...

«Газик» подпрыгнул на ухабе, потом, как будто ожесточившись, понёсся быстрее. Впереди замаячил трактор. Возле него, покуривая, стоял тракторист. Малумян резко затормозил. Мы вышли из машины.

— Что случилось? — ещё издали крикнул Малумян.

— Да ну их! — сердито проговорил тракторист.

— Кого это?

— Уполномоченных!

— Каких таких уполномоченных? Ничего не понимаю, — развёл руками Малумян.

— Которые — шефы... МТС приказывает обрабатывать междуружья бритвами с долотами, а тут шеф приехал, говорит, что сам в сельском хозяйстве разбирается, не велит бритвой пользоваться. Только долотами...

— Запускай немедленно трактор, — приказал Малумян, — делай, как МТС указывала. Нечего стоять... Вот ещё беда!

«Бедой» оказалось обилие шефов, приезжающих не для того, чтобы помочь делом, а чтобы сделать отметку: «и мы повернулись лицом к селу». Малумян делил шефов на две категории. Одни — их огромное большинство — это рабочие, служащие учреждений, студенты, приезжающие в самую горячую пору, чтобы принять участие в полевых работах. Ко-

нечно, это — дело временное, наступит день, когда никого не придётся стрывать от его непосредственного труда, чтобы помочь отстающим колхозам. Деревня сама справится со своими делами. Но сейчас от шефов прямая польза, и колхозники очень ценят их помощь. Существует и другая категория шефов — те, кто в виде уполномоченных является на поля. Многие из них — люди опытные, знающие сельское хозяйство и к тому же тактичные. Они и совет дельный подадут и, заметив неполадки, во-время на них укажут. Но, к сожалению, нередко приезжающие в колхоз, минуя агрономов, механиков, председателей колхозов, сами распоряжаются. Вот недавно был такой случай: несколько «шефов» заметили, что скрепер не роет траншеи. Что такое? Почему?

Им терпеливо объяснили: этот маломощный ползуноковый скрепер не в исправности. Чтобы не терять даром время, трактор отцепили и отправили на другой участок. А из МТС диспетчер сообщил: сюда вышел специальный колёсный скрепер — у него и ковш в пять раз больше и сам он мощнее.

— Что это за МТС, — возмутился «шеф», — что тут за порядки, какой-то диспетчер распоряжается...

— Да не диспетчер, а директор!

— Безобразия!.. — не унимался «шеф». Ему и невдомёк было, что он подрывает авторитет руководителя, а заодно и уважение к самому себе. Вот второй вопрос, волнующий инженера Малумяна. Можно ли представить себе такую картину — на завод приезжает работник главка и начинает командовать: эту деталь не точить, а фрезеровать, эту совсем не делать... И не в споре с директором или инженером, а прямо в цехе, у станка... Вещь невысказанная! А у нас — сколько угодно. Хотя воззвание к шефам пиши!

...День подходил к концу. В одном колхозе Малумян помог советом, в бригаде залез под трактор и разобрался, что заедает, в третьем месте согласовал какие-то дела... Наступало время возвращаться в МТС.

Зажелтый, возбужденный, усаживался Врам Гайкович в машину.

— Хорошо тут у нас, не находите? — говорит он. — Бывало, сижу в министерстве и думаю: красива Москва, а ещё немного поработаю, совсем пропаду. Кто я тут такой? Что делаю? Отвечаю на письма, и всё. А я ведь инженер. Моё место на производстве... Зато сейчас кончишь день, сядешь на крылечко — ветерок подует, звезда замигает, и подумаешь: вот я сегодня такое-то хорошее дело сделал... И становится на душе радостно.

Ворота МТС были распахнуты. Урча и постреливая, наш «газик» вкатился в усадьбу. И тут, оглядевшись, потеряв руки и колени, сделав то, что спортсмены называют «лёгкой разминкой», Врам Гайкович поделился со мной ещё одним, последним вопросом, волновавшим его.

— Поглядите туда — стоят комбайны. Мы их уже готовим к уборочной. Вон, в другой стороне, машины для уборки кукурузы. Они только недавно прибыли. А вот склады — там инструмент, детали машин. Куда ни кинешь взгляд — везде техника. Она денег стоит. Тут у нас миллионов на семь ценностей, и хочется нам, чтобы каждый чувствовал: тут ценят народное добро. Был бы тут завод, а не МТС, стоял бы вахтер, чужих людей не пропускал. А это не завод, не предприятие, зачем же тут вводить городские порядки? Так, наверное, думают в областном управлении...

Или вот другой пример: говорил я уже вам, как мы превратили участка механика в экспедитора. А теперь ещё одного механика сделали комплектовщиком. Кто-то ведь должен решать, кому из слесарей отдать для ремонта ту или иную деталь, кто-то должен оформить заказ, проверить, как изделие отремонтировано, принять его, передать грагористу или приберечь до поры до времени. Словом, нужен человек, вроде мастера. Разве нормально, когда тракторист, выписав наряд, сам

идёт к токарю или слесарю, чуть ли не вырывает у него из рук деталь, едва она готова, и, не проверив её, уносит поскорее к машине? Вот и приходится ставить комплектовщиком механика. Ох, штаты, штаты... Надо бы в них разобраться. Где нужно — сократить, где можно — прибавить.

...День кончается так: широкие ворота мастерских закрываются; вытерев руки «концами», расходятся слесари и токари по домам; исчезают за оградой МТС последние приезжие: из Москвы, из соседней МТС, из колхозов и бригад, из районных учреждений.

Врам Гайкович вместе с Минензоном всё ещё сидят на крылечке и мирно беседуют с механиками. Надо распорядиться о работе на завтра. Урадовских возится у комбайнов.

Откуда-то издалека доносится тарахтенье трактора. Диспетчер разговаривает по телефону. Голос спокойный, ответы уверенные. Значит, всё в порядке...

Малумян идёт через картофельное поле. На фоне закатного неба резким силуэтом вырисовывается его широкая спина в синей лыжной куртке.

Сельский инженер... Не правда ли, непривычное сочетание слов? Ещё не так давно деревня имела небольшую прослойку своей сельской интеллигенции: учительница, врач, агроном — вот, пожалуй, и всё. Город прислал сюда тракторы, комбайны, стогометатели, подборщики, волокуши, дождевально-дальнеструйные установки с насосной станцией — всего не перечислить. Прежде можно было, с грехом пополам, мириться с тем, что главным инженером МТС работает вчерашний бригадир трактористов, практик, разбирающийся в машинах чуть лучше рядового тракториста, — теперь в командиры этого хозяйства требуется инженер. И в начальники мастерских нужен инженер. И в контролёры — инженер, и в механики по сельскохозяйственным машинам, и в теплотехники к теплицам...

Вслед за машинами приходят инженеры. Придут ещё архитекторы, техники, строители... Много ещё знающих, опытных, преданных делу людей ждёт деревня.



АРКАДИЙ КУЛЕШОВ
★
ГРОЗНАЯ ПУЩА

Повесть в стихах

С белорусского

1

Много птиц на земле, но природа дала
Лишь немногим высокое имя орла.

И не всякому дубу мы право даём
Называться властителем в мире лесном.

И не всякому лесу решился бы я
Имя грозное пуща присвоить, друзья.

Пуща — племя дерев, что, до тучи достав,
Собрались на извечную сходку дубрав.

Это — мачтовый бор, это — сумрачный лог,
Где тяжёлые зубры бредут без дорог.

Тут убежище лося, орлиный приют.
Тут своей первозданною жизнью живут.

Тут кабан по дубраве идёт напролом...
Много песен о пуще сложили в былом.

Ныне пуща забыта. Слагает она
Свои песни сама, широка и шумна.

Кто бы вспомнил сегодня о пуще моей,
Если б некогда тут, меж коряг и ветвей,

Не змеился в глуши пограничный рубеж,
Что доселе у каждого в памяти свеж.

...Время, вихрем железным летя через бор,
Посылает стиху справедливый укор:

— Зря спешишь ты, без ритма, по кочкам гоня,
Рифмы звонкие сбив, как копыта коня.

За твоею спиною — поля вдоль дорог.
Ты их в спешке вспахать и засеять не мог.

Разве жар твой рабочий остыл и погас?
Ты напрасно торопишься, резвый Пегас,—

«Грозная пуща» — вторая повесть хроники «Граница». Первая повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 8 за 1953 год.

Ибо время лишь мысль обгоняет одна...
Сквозь неспаханый грунт не пробьётся она.

Выезжай на просторы широких поэм,
На целинные земли нетронутых тем.

Пусть, как борозды, строки ложатся на лист,
Чтобы мысли, как зёрна, в строке улеглись.

Чтоб колосья стихов зазвенели, тучны,
Хлеб отчизне давая с твоей целины.

Пусть лежит он в походных мешках, на столах
Рядом с хлебом, добытым на новых полях.

Не гони, осмотрись на минуту, ездок.
Глянь на этот забытый тобой уголок.

Тут граница змеилась в чащобе глухой,
Тут о будущем песня летит над землёй

Вольной птицей — жилицей лесов и криниц,
Что не знает и знать не желает границ.

Тут простор твой нетронутый. Тянется он
С незапамятных дней до грядущих времён.

...Поглядел я вокруг, замедляя свой шаг,
И у края той пашни Пегаса распряг.

— Эй, Буланный, ушами, браток, не пряди.
Не страшись рубежа, что лежит впереди.

Час придёт — на великой своей полосе
Мы запашем границы кровавые все.

Если мы поначалу допустим огрех,
Люди добрые нас не поднимут на смех.

Им самим нелегко перепахивать степь,
На земле кустанайской выращивать хлеб.

С ними слиться мы думой и делом должны.
Выходи же на чистый простор целины!

Год минул с той поры, как расстались мы тут,
С дней недавних, что в памяти нашей живут.

Вновь мы в пуще. Граница в чащобе лесной
Сквозь кустарник проходит, бежит под сосной.

Жаль, что в пуще участков запаханных нет —
Пашня лучше хранит нарушителя след.

Эту землю лесную запашут поздней,
Чтоб следы примечал пограничник на ней.

Враг и тут изловчится. Он выщипет лаз,
Через пашню пройдёт на ходулях не раз,

Он применит особую форму подошв,
Чтоб с копытами лося был след его схож.

Будет лезть он по-всякому, пряча свой след...
Но в чащобе пока ещё пахоты нет.

Лес, что просекой даже прорезан не весь,
Километров на сорок раскинулся здесь.

Коль к востоку подашься — раскинулся он
Километров на тридцать. Обширный район.

И на запад — где панский соседствует край —
Километров с десятком ещё присчитай.

В той чащобе чужой, в том бору, за границей,
Пан гаёвый¹ в сторожке казённой ютится.

Он не стар. И не может прикрыть борода
Шрам на правой щеке, молодые года.

Лес блюдёт он... А прежде он сам от других
Удирал и таился в чащобах глухих.

Тем путём, где за кустиком каждым — заслон,
На добычу, как волк, он ходил за кордон.

Год назад он сюда возвратился чуть жив,
Ничего, кроме ран пулевых, не добыв.

Волоча свою ногу, он ходит с ружьём.
Выжил... Что рассказать остаётся о нём?

Сам он — родом с востока. Степаном зовут.
Кое-как уцелев, он пристроился тут.

Хлопотливая должность, пустышный доход.
Больше денег на шапку да свитку уйдёт...

Пан гаёвый... Степану оказана честь.
И на этом спасибо, коль нечего есть.

Награждён по заслугам панамы он был.
Эх, паночки-паны, чтоб вас гром поразил!..

Может, он и того б заработать не смог,
Если б только деревья в чащобе стерёг.

Здесь, в глуши, где граничит с Советами лес,
Он не лишний... Ведь он же оттуда, беглец.

На востоке — родители. Мельницу, дом
Там когда-то имели... Лишились потом.

Их сынок хоть побит, и потрёпан, и хром,
Всё ж порой вспоминает начальство о нём.

Вот и нынче зачем-то он нужен панам.
Вызывают его к пограничным столбам.

Вновь готовят, видать, рубежа переход.
Кто-то снова к соседям сегодня пойдёт.

Сколько их засылается по одному?
Чем закончится путь их, известно ему.

Пропадут, как Довбницкий... Кто сгинет от ран,
Кто сгниёт, как подстреленный в чаще кабан.

¹ Гаёвый — лесник.

Может, хватит? Что толку опять и опять
Прямо в пекло облавы людей посылать?

Но в назначенном месте, в назначенный срок
Дал ответ ему хмурый, заброшенный лог.

Там их четверо было, угрюмых парней:
Ну, и лица — коряг почерневших темней!..

Карабины у них и ручной пулемёт.
Их задача — в ночи совершить переход.

Спутав карты, украдкой петляя в пути,
Разбрестись и заслон в одиночку пройти.

И Степан по двухвёрсткам, разложенным тут,
Подсобил им наметить возможный маршрут.

Чуть стемнело, с кустами сливаясь во мгле,
Уползли они в ночь, прижимаясь к земле.

Скоро выстрелы грохнули в гуще лесной.
То стихал в отдаленье, то вспыхивал бой

И катился всё дальше... Под сенью ветвей
Пан гаёвый топтался с винтовкой своей.

Слушал бой, что напомнил ему о былом.
В это время ударил раскатистый гром.

Треснул бор. Хлынул дождь. И потоки воды
Забурлили, с тропинок смывая следы.

Буря пуцу шатала, гремела в ночи.
Брызги били в лицо, с ног сбивали карчи.

Пуца, грозная пуца!.. Смешала пути,
Не даёт леснику до сторожки дойти.

Пуцу страшной такой он не видел ещё —
Оглушает, слепит и ветвями сечёт.

Что поделаешь, пан? Заплутал ты, лесник.
Закричать? Кто услышит сквозь бурю твой крик?

Словно молния, вдруг пронизав ураган,
Сразу вспыхнула мысль... Шаг замедлил Степан.

В этом месте граница дугою своей
В лес врзается... Что, если он уж за ней?

Ужас тело обдал ледяным холодком.
Эх, паночки-паны, поразил бы вас гром!

Словно крыша, над тропкой — густая сосна.
Он укрылся под ней. Но ему не до сна.

Вспышка молнии вдруг озарила вдали
Двух людей, что, как призраки, тихо прошли.

Буря стихла к рассвету, и ливень иссяк.
За кустом пограничный увидел он знак.

Был Степан недалёко от места того,
Осторожность в ночи удержала его...

Ночь прошедший без сна, прошагав через лес,
Потерял он, усталый, к тому интерес,

Как там четверо тех, чем окончился бой,
Что за призраки видел ночью порой?

Что за тени? Он верно б не вспомнил о том,
Если б, к дому идя, на участке своём

Не увидел следы незнакомых подошв,
Клок рубахи, что кровью пропитана сплошь,

Незажжённую спичку... А вон коробок.
Он отброшен... Видать, отсырел и намок.

Надпись «Ново-Борисов» на крышке видна.
Рассказала о многом Степану она.

Адрес есть уже! Дело серьёзное, брат...
Он оделся в сухое. А где ж адресат?

Ничего не найдя, всё обшарив кругом,
Заявил он властям о событии ночном.

Хоть не смог уловить своё счастье, ловец,
Но на этом рассказу ещё не конец.

Мгла плывёт над землёй
После схлынувшей бури.
Край безлюдный, лесной,
Схожий с берегом хмурым.

На развилке дорог —
Одинокий прохожий.
Он до нитки промок,
Не на шутку встревожен.

Не из этих он мест,
И смутил его в чаще
Призрак прошлого — крест,
На развилке торчащий.

Крест замшелый, кривой...
Парню ясно до дрожи,
Что на берег чужой
Он ненастьем заброшен.

Но печалится он
Не о собственной доле.
Близкий слышится стон —
Друг страдает от боли.

Кровь из раны течёт,
В пуще ранили друга.
Он всю ночь напролёт
Нёс его по яругам...

На границе была
Перед бурей облава.
Весь народ подняла
По тревоге застава.

Дальше — яростный бой,
Гул грозы небывалой...
Ночь средь пуши глухой
От своих оторвала.

Кто же он, наконец?
Житель мирного края.
Друг его — не боец,
А девчина простая.

Вся судьба его — в ней.
Вспоминать я не стану,
Как рубашкой своей
Бинтовал её рану.

Нёс, не чувствуя ног,
Как дитя дорогое,
Сена выискал стог,
Место выбрал сухое.

И, укрыв потеплей,
На большак поспешил он,
Чтоб найти поскорей
Кров и пищу для милой.

Хоть петух на селе
Закричал бы далёкий!..
Тихо... Только во мгле
Точат глину потоки.

Пахнет прелью берёз,
Словно в стынувшей бане
Скрип и грохот колёс
Где-то слышен в тумане.

Под копытом вода,
Плеск и грома раскаты.
Кто-то едет... — Куда
Едешь, дядька? — До хаты...

— Папиросочки нет?
— Есть махра, не посетуй... —
Развязался кисет,
А за ним и беседа.

— Кто ты будешь, сынок?
— Буря спутала тропы...
Заблудился, промок,
Будто Ной средь потопа.
Так под ливнем озяб,
Не скручу и цыгарки...

— Вижу, вправду ослаб,
Не закуришь без чарки.
Каплю сыщем, небось.
Дал мне кум на дорогу...
На, хлебни, божий гость,
Есть и хлеб, слава богу,
Закуси...

И тепло
Разбежалось по телу,
Потекло, обожгло,
Голова зашумела.

Закурил. Сладок дым
После чарки.
— Присядь-ка,
Подымим, посидим, —
Усмехается дядька.

Он, как дома, в лесу
Принимает радушно.
— Где живёшь? Подвезу,
Подсоблю, если нужно...

— Тут со мною мой друг...
— Где он? — Там... — и рукою
Парень дядьке на луг
Указал, — за копною.

— Что ж там с другом? — Беда,
Заболел... — Мы больного
Отвезём...

— А куда?
Мы без дома, без крова.
Мы ведь с той стороны,
Очутились на этой.
Что мы делать должны?
Подскажи, посоветуй.
Как у вас тут закон —
Очень строг на границе?
Может, нам на кордон
Лучше было б явиться?

— Что ты, брат! Не шути.
С нашей панской сторонкой.
Как-то сбился с пути
Ваш пастух с коровёнкой.
Ну, её через бор
Отвели по дороге...

— А пастух?
— До сих пор
Тут пасётся — в остроге...
Не ходи на кордон.
Где твой друг?

— Ранен он...
— Так поедem скорей,
Сыщем добрых людей.
Друг подлечится твой,
Переждёте тревогу,
И никто вам домой
Не закажет дорогу.

Разослал по округе шпикив и солдат
Сам уездный начальник — Довбницкого брат.

Брат того капитана, что, в страхе дрожа,
Со Степаном блуждал за чертой рубежа.

Год назад, удирая в безумье слепом,
Бор сухой в час лихой подпалили вдвоём.

В том лесу и остался тогда капитан.
Неожиданно ранен он был. Но Степан

Одного его бросил бороться с огнём...
Брат погибшего, правда, не знает о том.

Верит он, что от пули, как храбрый солдат,
На руках у Степана усоп его брат.

Даже тайной могилы далёкое место
По рассказам Степана начальству известно.

...Три недели прошло с чёрной полночи той,
Когда буря гремела в чащобе лесной.

Слух прошёл, что задержаны парень с девчиной.
Пан Довбницкий Степана потребовал в гмину¹.

Догадался Степан — почему, для чего.
Знал — ночные следы вызывают его.

Но не ведал он, кто же доставлен в тюрьму,
С кем граница назначила встречу ему.

Нет, не знал он, что свидится с теми сейчас,
Кто чащобу, Степаном зажжённую, спас,

От кого удирал он по тропам лесным,
Кто с оружием гнался по следу за ним.

Он узнал их, когда их вели на допрос...
Но не сразу Степану понять привелось,

Что ему, потерявшему сон и покой,
Не служить уже больше в сторожке лесной,

Что граница опять лесника призовет,
Снова втянет в свой яростный водоворот —

С мутным дном, судным днём, неизменным концом,
Что утонет он в этом потоке глухом.

Только что ж это я? С первых строк не пристало
О конце говорить... Помолчу уж, пожалуй...

2

Вёл Довбницкий свой первый допрос. Для начала
Вызвал девушку он. В гмине молча стояла

Перед паном она, озираясь тревожно.
От крестьянки по виду её невозможно

Отличить — в этом платье простом из холстинки.
Лишь одно выдаёт её — колер косынки

Кумачовый, нездешний, лучащийся светом,
Что давно уже в этих местах под запретом.

¹ Гмина — волостное управление.

— Паспорт ваш?.. — Я не здешняя... — Это я знаю.
Вы — о т т у д а... Где паспорт? — С собой не взяла я...

— Имя? — Имени я своего не открою.
Вы не властны над ним, как над нашей судьбою.

— Вы ведь в наших руках! — Но не в подданстве
вашем.

— Закуём в кандалы, будешь в нашем, пшепрашам!
Ну, так как твоё имя?

Молчала девчина.

— Зря упорствуешь.
Имя известно — Марина.
Удивляешься,
Как я узнать его мог?
Знаю всё. Твой дружок —
Пригаровский Тимох.
Ты — о т т у д а,
Но родом из нашего края.
Видишь, я и такие
Подробности знаю.
Скажешь правду —
Домой отпущу тебя с богом.
Ну, а будешь упрямитесь —
Кончишь острогом.

Как рубеж перешли вы?
— С дороги мы сбились.
— Отчего же вы сразу
Тогда не явились,
А скрывались от нас?
— Не могли мы явиться..
— Почему?
— Меня ранили.
— Где?
— На границе.
— Кто?
— Не слышали выстрела.
— Странное дело..
— Что ж тут странного?
Буря в ту пору гремела.
Ну, теперь отпускайте — я всё вам сказала.

Только пану Довбницкому этого мало.

Хочет знать он (иначе им воли не будет),
Где так долго их прятали добрые люди.

Хочет он, чтоб Марина ему сообщила
Имя тётки, что рану её исцелила.

Пусть расскажет, иначе на каторге сгинет,
Кто одежду ей дал, что сейчас на Марине.

Пусть расскажет ему, с кем, о чём толковала,
Кто поил их, кормил, — но и этого мало!

Знать он хочет, куда их потом направляли
Через пушу, где их наконец задержали.

Хочет знать он, где дом, что давал им приют.
Он прикажет — решётки на окна набьют.

Хочет видеть он руки участливой тётки.
Чтоб лечить не могли, он забьёт их в колодки.

Хочет знать он и ту, что одежду дарила,
Чтобы вечной одеждой ей стала могила.

Пусть острог, пусть расстрел... Что с ней будет,
то будет.

Не расскажет она... Жить останутся люди.

Те, что ей помогали, беды не страшась.
Будут жить эти люди!

— Ты здесь родилась?

— Здесь. Давно это было. Я мать позабыла.

Т а м другая вскормила меня и вспоила.

— Мать в военные годы тебя потеряла?

— Да.

— Вы беженцы?

— Беженцы.

— Это бывало...

Как тогда тебя звали, не помнишь ты?

— Нет.

— Я советую вспомнить.

— Напрасный совет.

• Забывать настоящее имя негоже.

Если вспомнишь, тебе отыскать мы поможем, —

Обещает Довбницкий. — а это немало, —

Ту, что песню над зыбкой твоей напевала.

Ты не хочешь? Но мать бы, наверно, хотела

Повидать свою дочь...

— А какое вам дело?

Не заботьтесь о встрече. К чему ваши речи?

Тот, кто нас разлучил, не устроит нам встречи.

— Ах, ты так!.. —

Прекращён разговор деликатный.

На щеках у Довбницкого тёмные пятна.

Грозно сдвинуты брови. Под сумрачным лбом
Вспышки молний. Грохочет раскатистый гром:

— Ах, ты вот как! Постой, ты ответишь в повете!¹

Там ты выложишь всё, что держала в секрете.

Ты сама поведёшь нас в то место глухое,

Где вы прятались под материнской стрехою. —

...На допросе Марины сидел у дверей

Некий пан бородатый. Он молча за ней

Наблюдал. Со скамейки поднявшись нежданно,

Подошёл он: — Ну, как, не узнала Степана?

¹ Повет — уезд.

А вот я вас узнал — и тебя и Тимоха.
Цел, как видишь. Живу... Что поделатъ? Эпоха!

Ты чего отвернулась? Зарос бороною?
Мы ведь вместе учились когда-то с тобою.

Что, пришли к нам всемирный пожар раздувать?
— Я не знаю тебя. Не хочу тебя знать!

Затхлый карцер. Оконце во мгле подземелья.
Мир на клетки решётка железная делит.

Две каморки подвальных в пристройке у гмины:
Для Тимоха одна и одна для Марины.

Заявился Степан
В подземелье к Тимоху.
— Зря, Тимох,
Обо мне вы подумали плохо.
Я лесник,
Человек подневольный, служака...
Но решать вашу долю
Я вызван, однако.
От Степана зависеть
Тебе неприятно.
Неприятно и мне...
Что ж, оно и понятно.
Всё же вместе с тобою
Учились мы в школе.
Что ж поделаешь?
Встретились вот поневоле...
Надо выход искать.
За решёткой, брат, худо...

— Без советов твоих
Путь найдём мы отсюда.
Что нам сделают?
— Всё. Сделать всё они могут —
И Тимоха Степаном,
И Степана Тимохом.
Вам не верят они,
Что случайно границу
Перешли вы... Тут помощь моя
Пригодится.
Вам готов я поверить
На честное слово,
Что кордон перешли вы
Без умысла злого.
Но приходится
Даже и мне подивиться:
Ведь от вас — я-то знаю! —
Не близко граница.
На заставу пришли вы
С экскурсией, что ли?

— Близ границы
Марина работает в школе.
— Ну, а ты?
— Я гостил у неё.

— Понимаю...
 На свиданье ходил.
 Эх, пора молодая...
 Юность, юность! —
 Вздохнул он печально.— Не скрою,
 О годах невозвратных
 Грущу я порою...
 Но вздыхать бесполезно
 Над прежней любовью.
 То, что было, то сплыло,
 Где водою, где кровью...
 Как вам всё же покинуть
 Тюремные стены?
 Две дороги ведут
 Из проклятого плена.
 Смерть — дорога одна,
 А другая — измена.
 Ни того, ни другого
 Я вам не желаю.
 Есть и третья дорога.

— Я третьей не знаю.
 — Если скажешь,
 Кто дал вам с Мариной приют,
 Вам свободу вернут,
 Вас домой отведут.
 Скажешь мне... Никакой
 Я для вас не судья.
 Я обходчик лесной,
 С краю хата моя.
 Ни измены, ни смерти...
 Упрямитесь зря вы.
 Доведут вас обратно
 До вашей заставы.
 От меня поклонитесь
 Родимым рябинам,
 Школе той, что забыла уж
 Блудного сына.

— Это всё?
 — Это всё.
 — Ошибаешься. Нет,
 От тебя передать
 Мы не сможем привет.
 Вам не сделать,
 Хоть службу несёшь ты неплохо,
 Ни Тимохом Степана,
 Ни Степаном Тимоха.
 Слов напрасно не трать,
 Знаешь сам — я не верю.
 — Если так, пожалеешь!..

Распахнуты двери.
 Гости новые переступили порог.

— Если так, будем бить.
 Всё нам скажешь, Тимох.

Без сознания лежал он на дне своей ямы.
Как очнулся, увидел подвал тот же самый.

Было пусто. Собрал он последние силы.
С пола встал, как со дна непроглядной могилы.

За окном проплывали горящие дали.
Сам пылал он, вокруг него искры летали.

Словно прутья железные высекли их
Из тюремных камней, из простенков глухих.

Те поля, что кружились в окошке далёком,
В его сердце входили не горьким упрёком,

Светлой радостью тайны, пусть кровью омытой,
Но врагу неподвластной, врагом не открытой.

Пан Довбницкий, а что там за гул невесёлый?
Это гонит конвой батраков на просёлок.

Пан по комнате ходит. Под сумрачным лбом
Вспышки молний. Грохочет раскатистый гром,

Сотрясая всю гмину: — Пойми, из-за них
Жито гибнет, Степан, во владеньях моих.

— Как?! — В цене не сошлись... — Ну, и жадный
народ!..

— Мой неубранный хлеб ветер косит и жнёт.

Все поля мои проволокой колючей
Забросали мерзавцы... Неслыханный случай!

Чтоб очистить поля, тут и роты солдат,
Полагаю, не хватит... Машины стоят.

Это бунт политический! Это скандал!
Как посмели холопы? Кто право им дал

Комитет создавать, на дорогах пикеты
Выставлять? Бастовать? Тут виною — Советы:

Их рука... Их рука... Даже, может, тех самых
Земляков твоих, тех комсомольцев упрямых.

Это было поплатится! Всё мне понятно!.. —
Пан умолк. На щеках его — тёмные пятна.

Он не только начальник, влиятельный чин,
Он помещик, окрестных земель властелин.

Не занялся б допросом он — мелкою прозой,
Если б не был его урожай под угрозой.

Не сидел бы с каким-то обходчиком в гмине,
Если б только не жито, что начисто сгинет,

Что на солнце сгорит, что сгниёт под дождём.
...Гнал конвой батраков. Гул стоял за окном.

Пан ворчал у окна, им вослед поглядев:
— Я теперь покажу им пикеты, пся крив!

Кулаком погрозил: — Это их комитет!

...Всех к ответу призвать. Всех в повет, всех в повет!

...Гонит стража людей
По дороге старинной.
Гонит злой буревей
И Тимоха с Мариной.

С батраками идут,
Месят грязь под конвоем,
Вместе с ними поют
Песню слаженным строем.

Частоколы штыков,
Крики, ругань, угрозы.
Узнают батраков
По их песням берёзы,

По избитым ногам,
По опоркам убогим,
По кровавым следам
На кандальной дороге.

• • • • •

Эй, скажите, пути, мне,
Лошинки и взгорья,
А когда ж вас покинет
Батрацкое горе?

Эй, скажите, когда ж
На просторах бескрайних,
Изменяя пейзаж,
Зарокочут комбайны?

Эй, когда же, кто скажет,
Ты уйдёшь, лихолетье,
И следов своих даже
Не оставишь на свете?

Есть за Эльбой пути,
Все в асфальте зеркальном,
Сходства в них не найти
С этим трактом печальным.

Вместо стройных берёз —
Труб стволы заводские...
Разве меньше там слёз
И страданья другие?

На машинах везут
Там извечное горе,
И моторы ревут,
Стону горькому вторя.

Там сегодня кордон,
Там сегодня граница...
Эй, когда ж этот сон,
Тяжкий сон отоснится?!

• • • • •

Опускается мрак,
Песни грустные смолкли.
Горя чёрного шаг
Молча мерит просёлки.

Путь кладбищем пролёт,
Ноги за день побиты...
Близкий отдых для ног —
Надмогильные плиты.

— Эй, пшедовник¹, постой,
Посчитался бы с горем.
Дай привал небольшой,
Посидим, поговорим.

— Тут же сырость кругом,
Воздух спёртый и тяжкий.
Отдохнёте потом
За стеной, в каталажке.

— Эй, тогда отгадай.
Есть село, целый край.
Спит в том крае народ.
И петух не поёт.

— Что ж гадать? Мы идём
Этим самым селом.
Под крестами спят люди,
Их петух не разбудит.

— Нет, отгадка не та.
Это — Речь Посполита,
Панской лаской сыта,
Нашей кровью полита.

Неподвижно суров
Этот посёлок печальный —
Лес могильных крестов
Вдоль дороги кандалной. —

Только что это? Лес,
По условному знаку,
Снялся с места, полез
С полицаями в драку,

Налетел на конвой:
— Бей, глуши чем попало! —

Эй, неправда, не спало
Село под землёй.

3

—...Наш Будённовец вскоре
Говорит: «Отгадай,
Что за место такое,
Что, мол, это за край,
Где народ не встаёт
И петух не поёт?»

¹ Пшедовник — низший полицейский чин.

Мы лежим за крестами.
 Я, как велено, замер
 За надгробной плитой.
 Сам Недоля со мной.
 Он — всему голова.
 Он — с ружьём, я — с колом.
 Слышим пана слова:
 «Мы же с вами идём
 Этим самым селом.
 Люди спят под землёй
 Вечным сном...»

Мы встаём.
 Вмиг воскресло село.
 Ну, и смех!.. Тут пошло.
 Разбежался конвой.

«Стой! Куда же вы? Стой!» —
 Пан пшедовник кричит,
 Из нагана палит.
 Глянул он — перед ним
 Мы с Недолей стоим.

«Руки вверх!»
 Разговор,
 Неприятный для пана...
 Он в Недолю в упор
 Бьёт, злодей, из нагана.
 Всколыхнул меня гнев.
 Взял я кол... Верь не верь —
 Как огрел!.. Зазвенел
 По плите револьвер.

— Ну, а что же пшедовник?
 — Сбёг...
 — Куда же?
 — В терновник.
 «Стой,— кричу я,— пшедовник!»
 — Ну, а он?
 — Он — в крыжовник.
 Я за ним.
 — Ну, а он?!
 — Он со страху — в коровник.
 Ох, и смеху!..
 — А там?
 — Напоролся на рог.
 — Ой-ой-ой!.. Ну, а дальше?
 — Наверно, подох.

Бор. Сидят батраки. Вторя громкой беседе,
 Пуща тихо шумит о ночной их победе.

О дружине своей, что вернулась из боя,
 И о людях, что вырваны из-под конвоя.

Кто-то тронул гармонь,
 Бьёт ладонь о ладонь,
 И летят из-под ног
 Вереск, шишки и мох.

— Час придёт, желанный час,
 Побегут паны от нас,
 Как сегодня пан пшедовник,
 Кто в крыжовник,
 Кто в коровник.

Батраки разговоры ведут меж собой:
 — Расскажи о Будённовце, кто он такой?
 Кто назвал его так?

— Да не первый уж год
 Так он прозван... Ходил на Варшаву в поход,
 Был зачислен с пятнадцати лет в эскадрон.
 С той поры и зовётся Будённовцем он.

— Холостой он, женатый?
 — Жены ещё нет,
 Есть невеста... В тюрьме он сидел много лет.
 Для свиданий тюрьма — невесёлое место,
 Знаешь сам... Ждут и нас не дождутся невесты...

Бор плясал. Как девчата, одна за одной
 В хороводе кружились сосна за сосной.

Аж неслись из-под ног вереск, шишки да мох...
 К хороводу подходит с Мариной Тимох.

Что-то шепчут Будённовцу. Лица бледны.
 Гул глухой полетел от сосны до сосны.

Бор, вздохнув, по местам их расставил опять:
 — Хлопцы, умер Недоля... Кончайте плясать.

Говорил, умирая, Недоля с Мариной.
 Называл её дочерью перед кончиной.

— Я домой не приду уже... Тут я и сгину...
 Если встретишь ты жёнку мою, Катерину,

Передашь ей поклон... А сынишке меньшому
 Знать не надо, что я не приду уж до дому.

Как увидишь ты их, так попросишь прощенья
 За меня... За терпенье, нужду и лишенья.

Не мошной, говорят, век батрацкий богат,
 Сединою богат... Мне уже шестьдесят,

А не мог для семьи своей чёрного хлеба
 Заработать батрак, допроситься у неба...

Был я гостем в дому.
 Нищим дом — ни к чему.
 Жил и спал под сосной,
 Кончусь в чаще лесной.

• • • • •

Жил Недоля в бору,
 Тут и спит он в могиле.
 Старика поутру
 Под сосной схоронили.

И Марина, как знамя над павшим в бою,
Над Недолей склонила косынку свою.

А Будённовец слово сказал перед тем,
Как покрыли землёй батрака насовсем:

— Вот я думал сейчас над могилой его —
В жизни больше всего он страшился чего?

Пана? Нет. Бога? Нет. Чёрта? Тот же ответ.
Может, смерти? Вы видели сами, что нет...

Он боялся, что в старости вместе с семьёй
Побредёт по дорогам с клюкой и сумой.

Кто, Недоля, скажи, не страшится из нас
Так же встретить, как ты, нищей старости час?

Не с тобой бы прощаться в печальном краю.
Лучше б тут закопать нам недолю свою.—

...Без креста схоронили его у сосны:
По кресту отыскивали б могилу паны.

Прикатали валун с недалёкого поля,
Чтоб народ не забыл, где схоронен Недоля.

Не сошёлся в цене
С господами народ.
Смертью скошен косарь,
Буря жито пожнёт.

Но не та, что сквозь пущи
Проносится с гулом,
А другая, что гневом
Сердца всколыхнула.

Буря жито смолотит
В столетнем бору,
Зёрна чисто провеет
На буйном ветру.

А провеяв, проворно
Засыплет в мешки,
Чтоб тяжёлые зёрна
Везли батраки.

Чтоб достался тот хлеб
Горемычному дому,
Катерине-вдове,
Её сыну меньшому.

...Батраки из чащобы
Отправились в поле.
Свищут косы, серпы,
Жито жнут для Недоли.

Кто посмеет мешать
Их работе горячей?
Из уезда
Карателей рота прискачет?

Ничего, всё едино,
Дождут они жито.
Ружья есть, карабины,
Что в схватке отбиты.

Косы песню запели,
По работе соскучась.
Только искры летели
От железных колючек.

Эта общая воля,
Эта дружная сила,
Как на крыльях,
Марину с Тимохом носила.

Когда на поле шли
С батраками сквозь бор,
Им казалось, что это
Не панский простор,

Что земля, где добротное
Жито шумит,
Не панам, а работникам
Принадлежит.

Полной грудью батрак
Дышит в праздничный час:
— Слушай, хлопец, а как
Люди косят у вас?

— Жито жнейками косим,
Косилками — луг... —
Косы слушать хотят,
Косы сходятся в круг.

— Межи все запахали
У нас трактора,
Всем селом на работу
Выходим с утра.

— Эх, приволье!.. —
Тимоха.
Слушать радостно им.
Люди панское поле
Представляют своим,
С дружным гулом машинным...
Даль мила и близка.

— Кто ж ты сам?
— Был я сыном
Бедняка-батрака.
— Пашешь трактором поле?
— Инженером я стал.
На советском заводе
Выплавляю металл.

Дышат пламенем домны
Без меня над землёй...
Эх, сегодня, — он вспомнил, —
Отпуск кончился мой!

Туча встала над рожью,
 День окутала тьмой.

— Не кручинься... Поможем
 Вам вернуться домой.
 Плавь металл... Пана сбросим,
 Распростимся с бедой.

Поле панское косит
 Инженер молодой.

На земле, что впитала и слёзы и кровь,
 Есть луга, где цветёт, как и всюду, любовь.

Час придёт — распускаются пышно цветы
 В сердце узника, в тюрьмах, во тьме нищеты.

Долго, долго цветут в казематах холодных
 Те луга, словно память о вёснах свободных.

Среди нив, среди сёл
 С их нуждой и кручиной
 Срок пришёл, луг зацвёл
 Для Тимоха с Мариной.

Зацвёл он в огне
 Пограничного боя,
 На чужой стороне,
 Под ночью грозою.

Зацвёл под стрехой,
 Что друзей приютила,
 В деревушке глухой
 От ненастья укрыла.

Хоть сказать не успели
 Желанного слова,—
 Их уста онемели
 В застенке суровом,—

Хоть не знали уста их
 Любовных признаний,—
 На губах пересохших
 Печать испытаний,—

Но средь этих
 Работой разбуженных нив
 Срок пришёл,
 Луг зацвёл,
 Сердце с сердцем сроднив.

Средь хлебов и цветов
 После грозной напасти
 Жарко вспыхнуло полымя
 Первой их страсти.

Смолкнет буря страды —
 В наступившей тиши
 Начинается буря
 Для юной души.

Стихнет гомон в лесу —
 Нет влюблённым покоя.
 Спит она в шалаше,
 Он — под строгой сосною.

• • • • •

Слух пронёсся окрест,
 Что карателей роту
 Шлёт в именье уезд.
 — Эй, кончайте работу!

Разъезжайся, народ,
 Уходи от погони!
 У грузёных подвод —
 Кони. Панские кони.

Дальний путь впереди...
 Порешили, что надо
 Незаметно уйти,
 Разделясь на отряды.

Разъезжайся, народ!.. Больше медлить нельзя.
 Завтра — в путь на заре... Как же наши друзья?

Загрустила Марина: — А завтра ж Илья! —
 — Завтра, завтра!.. — откликнулась глухо земля.

Туча ехала. Дождь волокла за собой.
 Если б с этою тучей над ширью лесной

Им поехать в свой край, до рассвета, считай,
 Были б вновь на границе, в знакомых местах...

Ну, а там — двадцать вёрст, и они в Силичах.

Есть вдали за лесами свободный народ.
 Есть село Силичи... Отчий кров... Что ни год

Там кирмаш¹ на Илью. В Силичах год назад
 Поднимала тревога с базара ребят.

За Степаном гнались пограничной тропой,
 За Довбницким, пожар унимая лесной.

Кто б сказал год назад, что Довбницкого брат
 Будет им на Илью вить облавы петлю!

Душно в пуще чужой. Видно, время домой
 Им из края оков, с кирмаша батраков,

Где бедняк продаёт кровь, и силу, и пот,
 Где для найма косцов шлёт Довбницкий купцов,

Где даёт за косца грамм по восемь свинца...
 Путь под тучами крут. Думы вновь их ведут
 За порог шалаша... Вот они уж идут.

Дождь сечёт их — идут, буря глушит — идут
 Сквозь кусты, напролом... Скоро, скоро уж дом!

— Кто? — Свои! —

Перед ними — знакомый дозор.

¹ Кирмаш — праздничный базар, ярмарка.

— Мы — оттуда... — Слеза затуманила взор.—
Мы с того кирмаша... Изболелась душа.

Стоны раненых, плач Катерины-вдовы
Мы слышали всю ночь... Мы ничем им помочь

Не могли... Только шли... Как по лику земли,
По щекам нашим слёзы людские текли.

Пусть текут. Плакать может порой и солдат.
Шли мы, шли на восток, чтоб вернуться назад.

...Душно в пуще чужой. Дождаться утра
Трудно руки сложа... Собираться пора!..

.

У Будённовца в чаще землянка своя.
И к нему попрощаться приходят друзья.

Расставаться им жаль, мглой завешена даль,
Ночь у них на пути... Только надо итти.

Что ж, домой так домой. Он готов хоть сейчас
В этом деле помочь... Но сейчас-то как раз

Путь закрыт на восток. На шляхах патрули,
Чтоб уйти за кордон батраки не могли

С хлебом панским — спасенья от пана искать
У советских людей... Час тревожный. Видать,

До поры переждать приведётся им тут,
Где найдётся для каждого верный приют.

Им бы лучше в различных отрядах пойти.
Хуже, если их вместе захватят в пути,
Опознают... Опять
Будут мучить...

— Да что там!
Как беды избежать —
Это наша забота.
Вы — в надёжных руках,
У друзей... Кто покажет,
Кроме нас, верный шлях,
Шлях домой? Дело наше.

Горько им на сухой,
На колючей соломе
Под шуршащей стрехой
Думу думать о доме.

Время спать. Не уснуть.
Ночь в шалашике тесном.
Завтра — в путь, завтра — в путь,
А в какой — неизвестно...

Конь вздохнул в тишине,
Полыхнула зарница.
Дождь пошёл. Как во сне,
Промелькнула граница.

Буря, гром...
— Ты куда?
— Где-нибудь заночую.
— Не ходи. Вдруг — беда.
Лучше в полночь такую
Вместе быть... Помнишь бой,
Грозовую годину?
Мой любимый, родной!
— Дорогая Марина!

Ночь. Убогий закут
Твой, твоя тут солома,
Твой, пока ещё тут
Рядом друг. Ты как дома.
Завтра — в путь. Завтра — врозь.
Страшно им распротиться.
В дом опять ворвалось
Ощущенье границы.
Миг признаний немых...
Остаётся припасть им
Сердцем к сердцу на миг
С горькой мыслью о счастье.

Луг любви зацвел,
Первый луг. Расцвести
Не даёт ему шквал,
Что бушует в пути.

Шум людей. Стук подвод
В темноте, до рассвета.
Разъезжайся, народ,
Встреча — будущим летом.

Путь опасен, тяжёл.
Глуше говор и топот.
Бор ушедших развёл
По дорогам и тропам.

Тем, что близко итти,
Врозь отправиться надо.
Кто в далёком пути,
Те сплотились в отряды.

И шалаш на поляне
Словно брошенный дом.

Расставанье, прощанье
На перепутье лесном.

.
На той земле, где слёзы пролились,
Живёт любовь, не иссякает жизнь.

Но где любовь, там и разлуки есть,
А в подневольном крае их не счастье:

На том пороге, что ведёт в острог,
И в месте том, где вечности порог.

Пусть эти беды обойдут судьбу
Моих друзей... Ни в тюрьмах, ни в гробу

Не пожелал бы я увидеть их,
Простившихся на расстанях лесных.

И коль дороге вновь их не свести
Здесь, то пускай сойдутся их пути

Под ясным небом их родной земли...
Ах, только бы здоровыми пришли!..

— Пусть долог путь, мы встретимся опять.

— Я жду!

— Я жду!

...Мы тоже будем ждать.

4

Путь на запад далёкий.
Край глухой — Налибоки.
Едет первый отряд
По яругам глубоким.

Под надёжной охраной
Фуры тряские с хлебом
В тишине перевозданной
Под мерцающим небом.

Огибая засады,
Через чащи и броды
Сам начальник отряда
Направляет подводы.

Трудный путь полунощный,
Невесёлый, на ощупь...

— Эй, давайте, ребята,
Загадаем загадки.
Пастух рогатый
В оконце хаты
Всю ночь глядит.
Лесом проходит — не слышно треска,
Бродом проходит — не слышно плеска.
Кто это?

— Месяц, что в небе висит.

— Колотят цепами,
Кромсают ножами.
Все его губят,
Оттого что любят.

— Эй, Будённовец, стой!
Угадал я, сдаётся...

— Ну-ка?

— Хлеб, что в мешках
На телеге трясётся.

— А вот, ребята,—
Хата не хата,
Окошек не счесть,
Есть куда влезть,
А выйти захочешь — не сыщешь дорог.

Что это?

— Невод.

— Неправда. Острог.

— Помню их вечно,
Люблю сердечно.
Кабы стал я землёю,
Всех забрал бы с собою.

— Верно, девчата... —
Отгадки слышны.

— Нет, не девчата.

— А кто же?

— Паны.

Лес, объятый тревогой.
Как загадка, дорога.
Извивается в чаще,
Как загадка простая,
Среди ночи молчащей,
Людам зла не желая.

Днём — другие загадки: разведку вели,
Где заслоны стоят, где торчат патрули.

Где карателей гнёзда, где сети засад.
Днём и ночью разгадками занят отряд.

Общий путь на исходе. Пора по домам.
Каждый с воза сгружает мешки свои сам.

— Эх! — и на плечи взяв, завершая поход,
Хлеб насущный, оплаченный кровью, клянёт.

Скоро дом. Люди скинут
У входа поклажу.
Эх... А вот с Катерины
Не снимется тяжесть.

Поредели подводы. Растаял отряд.
Два бойца, две телеги дорогу торят.

Пять мешков Катерины-вдовы на возах.
Звёзды зёрнами в тёмных блещут небесах.

Ближе хата Недоли. Сильнее печаль.
Легче стало коням. А вот людям едва ль...

Ой, легко ли Марине с Будённовцем ныне
Пять мешков от Недоли везти Катерине?

Звёзды, путь указуя, над ними горят.
Зёрна в тёмных мешках спят, без просыпу спят.

Ох, мешки... Лучше б их не развязывать нам,
Зёрен тех не будить, что покоятся там.

Не будить и того, кто проснуться не может,—
Не в мешке, а в гробу его тесное ложе.

Млечный путь над простором лесов и болот
Трактом вечности скорбную душу ведёт.

Млечный путь, убегающий в тысячный век...
Что ему до земли, где живёт человек?

До того, сколько тратится сил и здоровья,
Сколько пролито здесь человеческой крови?

Что ему до людских именин и рождений,
До последних, мучительных смертных мгновений?

Вечность в небе полночном зажгла письменна.
Ни рожденья, ни смерти не знает она.

Млечный путь — равнодушно мерцающий свет,
Ко всему безучастный, далёкий...

Но нет!

Слышишь, небо, земли непреклонный ответ:
Твой хозяин рождается в муках на свет.

Он дерзает в твои тайники заглянуть,
Он права предъявляет на Млечный твой путь.

Чтоб не робкими зёрнами призрачных снов,
Чтобы жизнью засеять просторы миров.

...Замечталась Марина. Но грохот колёс
С небосвода на землю её перенёс,

Где светало и чаша сверкала в росе,
Где разгаданы нами загадки не все.

Где Будённовец возле опушки коня
Придержал на пороге тревожного дня.

Он залез на сосну, озирая весь край:
— Кто нас видит, а мы его нет? Отгадай!

— Говорили, что бог...— Да, твердили, что бог
Глаз не сводит с людских, с наших грешных дорог.

Ладит с панскою властью, судом и острогом.
Ныне сыщик считается праведным богом.

Нынче с нашей тропы не спускает он глаз,
Но не он меня,— я его вижу сейчас.

На разведку Будённовец вышел. Одна
Сторожит лошадей и подводы она.

После тряской дороги тугие мешки
Спят в телеге под соснами, как батраки.

Кони мирно пасутся под сенью ветвей,
Видно, свыклись с цыганскою долей своей.

...Ночью ехали быстро, смелее, чем днём,—
Подозрительным трактом, а дальше — селом.

— Где ж он, бог тот? На тракте его не видать.
Спит, наверно?.. — Появится скоро опять.

Вот уж в хатах огни погасило село.
Только в крайней, в одной, как и прежде, светло.

— Тут он, бог...—
У окна, у худого плетня
На мгновение Марина сдержала коня.
Шум и крик за окном, чарок жалобный звон.
Бог сидел за столом и шумел.
— Вот и он!

Вот он, в шляпе и пыльнике, весел и пьян.
— Пей! — ему наливают.
— Пей, ласковый пан!
— Пей, закусывай!

Дальше катились колёса.
Долго шум их преследовал разноголосый.

— Кто с ним пьёт?
— Люди добрые. Дан им наказ
Пить до света, чтоб сыщик не выследил нас,
Чтобы к нам невзначай прицепиться не мог,
А цеплялся своим языком за порог.

— Ну, а вдруг протрезвился бы?
— Кто, этот гриб?
Предусмотрено... Сладить с ним быстро смогли б.
Там с моими друзьями он, с жёнкой моей.
— С жёнкой?
— С жёнкой.
— Давно обвенчались вы с ней?
— Только нынче.
— Ах, вот как...
— Бездомных людей
Лес венчает, дорога и ночь разлучают...
Хорошо, не тюрьма ещё... Доля такая.

Выезжали они на простор из села.
Их другая теперь колея повела.

За спиною осталась опасная зона.
Не боялись они ни шпиков, ни заслона.

Песней «Смело, товарищи», звонкой, родной,
Днём будили затишье дороги лесной.

А под вечер подъехали наши подводы
К позабытому всеми селению Броды,
С двух концов огороженному, как стеной,
Тёмным лесом, а с третьего — речкой глухой,

А с четвёртого — топью, болотной водою,
Не забытому только бедой и нуждою.

Хоть и мало тут хлеба,— что может родиться
На извечных трясилах, на топкой землице? —

Хоть и мало тут солнца,— оно с опозданием
Из-за леса восходит в болотном тумане

И скрывается раньше для здешних людей,—
Всё же угол родной им чужого милей..

Там, где хлеб,— там нахлебников поразвелось,
А сюда не прибьётся непрошенный гость.

Полицейский? Сюда не решится он лезть:
Кроме брода, тут страшные омуты есть.

Сыщик? Сыщик боится глубоких трясин
И особенно здешних угрюмых осин.

Тем и люб этот бедный и тёмный приют,
Что непрошенный гость не задержится тут.

Под охраною леса, реки и трясины
Приготовлен Будённовцем кров для Марины.

— Ну, довольно скитаться в чашобе да в поле.
Все опасности ты переждёшь у Недоли.

Переждёшь, отдохнёшь... — А потом? — Будут
сваты.

Я приеду с Тимохом. А там — и до хаты.

Гей, со свадьбою: звон под дугою, эгей!
— А зачем же со свадьбой? — А так веселей.

...Двор, скорее ворота свои открывай!
Лето гонит коня и везёт урожай.

Хлеб везёт. Заработан хозяином он.
Целой жизнью оплачен, слезой окроплён.

Пять мешков. Каждый весит двенадцать пудов.
Всех пудов — сколько было Недоле годов.

Стон колёсный. Хватающий за душу скрип.
— Где ж Недоля?

— Чего ж вы молчите? Погиб?!

Млечный путь над избой — молчаливый ответ.

— Где ж он? Где он, скажите?

— В живых его нет.

Не из сердца ушёл он, а с наших очей.

Он не умер, а отдал он жизнь за людей.

Слёз не надо... Хотел он, чтоб дома без слёз

Помянули его... Я вам гостью привёз.

Дал наказ ей Недоля, чтоб сыну меньшому

Не сказала, что он не вернётся до дому.

С Катериной Марина сдружилася вскоре.
Лечат временем раны и дружбою — горе.

Вместе ткали, стирали они в тишине,
Вместе поле пахали на панском коне.

На коне, что привёл им Будённовец в дом.
Где же сам он? На панском коне, на другом,

Где-то вновь он в пути от светла до темна...
За работою боль их не так уж слышна.

Время сева настало. И трудной порой
Говорили они, как друзья, меж собой.

— Дочка, правда ли, — как-то спросила вдова, —
Что не здешняя ты?.. Ходит в Бродах молва.

— Что вы, мама, я здешняя. — Но издалёка
К нам пришла ты сейчас? Ты с востока?

— С востока...

— Из округи какой? — Пограничного края.
Возле пущи село наше. — Пущу я знаю.

Там когда-то средь беженцев в злую годину
Потеряла я дочку... — Как звали? — Мариной...

Засевая полоску печальным зерном,
Не сказала Марина вдове обо всём.

Хоть не скрыла, что родом отсюда она,
Что с родными её разлучила война,

Но Марина из жалости остереглась
Признаваться, что в детстве Алесей звалась.

Пусть хозяйка поверит, что дочку нашла.
Может, скорбь её будет не так тяжела.

Молча шли они пашней, лоскутной, сиротской,
Словно с матерью дочь, засевая полоску.

Сейте, сейте дружной, чтобы зёрна взошли,
Исцеляя страданья людей и земли.

Дней считать не хотелось в работе Марине.
Катерина звала её дочкой отныне.

Дочь, как все вечером, повязавши косынку,
Уходила с подругами на вечеринку.

Там её уж своею считали девчата,
Старшей дочкой Недоли, пропавшей когда-то,

Ныне найденной... Что ж, это может сгодиться,
Коль непрошенный гость не замедлит явиться.

Наконец над стрехою вдовы Катерины
К югу с криком промчался косяк журавлиный.

Днём над ней паутинки скользили — примета,
Что уже миновало суровое лето.

Холодок до костей пробирает с утра —
Значит скоро Марине в дорогу пора.

Засидеться в невестах нельзя ей никак.
Срок пришёл. Сват приехал — условленный знак.

— Будь здорова, дочурка!

— Здорова будь, мама!

Полетела, как пташка,
Над гатями прямо,
До конца не открывшись,
Печаль затая.

Улетела в иные,
 Родные края,
 Унося в своём сердце
 На долгие годы
 Деревеньку, людьми позабытую,
 Броды,
 Горький час расставанья,
 Слёзы,— как их сдержать? —
 Эту нищую хатку,
 Эту бедную мать,
 Этот брод нелюдимый,
 Луг да берег крутой...

— До свиданья, родимый
 Уголок дорогой!

Сват приехал. С собой
 Жениха не привёз.
 На дороге глухой —
 Грохот лёгких колёс.
 Сват молчал. Где жених?
 Расскажи о нём, сват.

— Наскочил на засаду
 Другой наш отряд.
 Окружили паны
 Батраков. Бой вели.
 Там убитые есть...
 — Где ж Тимох?
 — Не нашли...

Вот и всё. День молчали
 Со сватом. А там
 Он другим передал её
 Сватам — друзьям.

Два холодных пути,
 Окружённые мглой.
 Первый путь — по земле.
 Над землёю — другой.

Млечный путь... Что ему
 До несчастий людских,
 До того, что с землёй
 Обвенчался жених?

Млечный путь,
 Он туманной повит пеленой.
 Что ему до страданий
 Любви молодой?

Под стрехой синевы,
 Над простором земли
 С долгим криком ночным
 Вдаль плывут журавли.

У Марины теперь —
 Путь свидетелем ей —
 Вся судьба, как у тех
 Молодых журавлей.

Гонит сиверко их,
Птицы ищут жильё
В том краю, где тепло...
Что же гонит её?

Для неё, как для них,
Тут и холод и тьма,
Для неё тут весною
И летом — зима.

Возвратятся сюда
По весне журавли.
Но она не покинет
Свободной земли.

Только с вечной весной
Ей вернуться сюда,
С солнцем тем, что прогонит
Навек холода.

.

Близ границы
Весёлая свадьба была.
Кони лихо неслись
От села до села.

За невесту — Марина.
С ней рядом — жених.
Незнакомый. Никто
Не венчал молодых.

Песни, звон бубенцов.
Путь по пашне пролёг.
Под колёсами рушился
Ранний ледок.

Кони бросились в сторону
И — наутёк.
Будто кто-то спугнул их.
Помчались — эгей!
За рубеж молодых
Покатили людей.
За столбы, покидая
Истерзанный край.

— Эй, отчизна, со свадьбой
Марину встречай!

5

Вот и всё. Под дугою замолк бубенец.
В сруб укладывать можно последний венец.

Можно хату стрехой накрывать поплотней.
Да одно неизвестно — кто жить будет в ней?

Дом под крышу не так-то легко подвести.
Разве кончились наших героев пути?

Разве вслед за Мариною с дальних дорог
Не придёт и Тимох на родимый порог?

Схоронить поспешили? Ну что ж, по примете
После этого жить ему долго на свете.

Может, мы и отряд схоронили напрасно,
Может, всё же прошёл он участок опасный?

Не напрасно, увы... Наскочив на заслон,
Был он в самом начале пути окружён.

Был убит командир. И от вражьи засад
Без него отбивался батрацкий отряд.

Окружённых бойцов у грузёных подвод,
Как Довбницкий велел, уложил пулемёт.

Кто не встал, кто, израненный, схвачен в полон.
Где ж Тимох? Он не сдался. Но, раненый, он

Взят в полон камышами и ржавой водой.
Пятый день миновал. Наступает шестой.

Ненадёжен холодный болотный приют.
Рядом — крики солдат. Рядом — пули снуют.

Пусть не скошен он смертью в сражение жестоком,
Голод косит его, обжигает осока.

Средь брусники и клюквы, на птичьем пайке
Он живёт от карателей невдалеке.

Наконец-то умолкли солдат голоса.
Прекратилась пальба. Опустели леса.

Тишина. Покидает укрытие он,
Дни считать перестав, с явью пугая сон.

Сам не зная, в неистовстве, в полубреду,
То ль во сне он идёт, то ли спит на ходу.

От еды он отвык. День и ночь, ночь и день.
По тропинкам он брёл. А по следу, как тень,

Неотступная спутница молча за ним
Волоклась, одержима желаньем одним.

Волчьим оком сверкала в ночи за кустом,
Вечным сном искушала то утром, то днём.

С ног сбивал его ветер, как сноп на жнивье.
То во мху он лежал, то на мокрой траве.

Из полона трясин и разросшихся трав
Вырываясь и смертный порог миновав,

Дом увидел у тёмной опушки Тимох
И ступил на неведомой жизни порог.

Он попал на усадьбу Шипшинского Яна,
Отставного майора, бывшего улана,

А теперь доживавшего век ветерана,
В своём доме лесном полновластного пана.

Пан майор, невзирая на возраст почтенный,
Соблюдал и в отставке порядок военный.

Был до женщин охоч. Не женился, однако,
Относился с презрением к законному браку.

Для служаки-майора, бывшего вояки,
Мало толку в таком прозаическом браке.

Чтобы жить в чистоте, чтобы сытно поесть,
Брак не нужен: служанка для этого есть.

Знай, командуй: — А ну, постирайте, сготовьте! —
Тот же самый денщик, только в юбке и кофте.

Но служанок держал он всегда молодых,
Незамужних. Он даже жениться на них

Присягал, принимая к себе. А приняв,
Как майор, нарушал он военный устав,

Забывая потом о присяге своей.
...Появился, как призрак, Тимох у дверей,

На крылечке упал, напугав спозаранку
Стасю — пятую пана майора служанку,

Что, лишь месяц работая в доме его,
С непривычки смертельно боялась всего.

Господин на порог не пустил его: — Кто ты?
— Человек... — А чего же ты ищешь? — Работы...

— Не по адресу прибыл... Ты ж дышишь на ладан.
Топай прямо на небо. Мне дохлых не надо.

— Я работать могу... Я не болен... — Кругом! —
Оттолкнул его пана Шипшинского дом.

Двор покинул Тимох, под сосною прилёг
Отдохнуть. Полежал. Больше встать уж не мог.

Сном забылся тяжёлым, кошмарным, глухим.
А очнулся — полячка-служанка над ним

Причитала, как будто над братом сестра...
.

Отлежался Тимох. За работу пора.

Вновь к Шипшинскому робко пришёл. В этот час
Был хозяин поместья в отъезде как раз.

И, как Стася велела, коня он запряг
И за плугом пошёл — добровольный батрак.

Сам задаром нанялся и пашет чуть свет,
Сам идёт бороздой — лучшей стёжки-то нет...

Где Марина? Не знает он. Слабый, больной,
Без надёжных друзей, как пойдёт он домой?

Значит, должен иметь он спокойный приют
И не в дальней округе, а именно тут,

Недалёко от скорбного места того,
Где разбит был отряд... Где, наверно, его

Будут люди искать. Где же кроме искать?
Потому-то к майору пришёл он опять.

Может, выйдет он, этой идя бороздой,
На желанную тропку...— Эй, пахарь, стой! —

Отставного майора увидел Тимох.
— Это ты? — Это я. — Не подох? — Не подох.

— Кто пахать приказал? — Пани Стася велела.
— Я тут пан иль она? — Это ваше уж дело.

— Вот что, хлоп. Я огрехов не вижу. Ну, что ж,
Раз уж начал — паши. Поживи, коль живёшь.

Но платить я не буду. Платить не люблю.
Дам чулан для спанья. Накормить — накормлю.

А держать — не держу. Можешь сразу уйти.
Но куда ты пойдёшь? Все закрыты пути.—

Пан майор не шутил. Знал Тимох и от Стаси,
Что орава карателей не унялася.

Семья тех, кто сбежал, награждает решёткой,
А сироток и вдов — полицейскою плёткой.

На дорогах лесных ловит всех, кто по ним
Бродит в поисках крова, судьбою гоним.

— Ну, согласен? — Землица у вас неплохая
И природа... — Разумный ответ. Одобряю.

Чем таскать тебе завтра оковы опять,
Лучше по полю плуг мой сегодня таскать.—

Пан майор не шутил. Нет свободных дорог.
Бросил пашню — острог. Здесь остался — острог.

Да, острог, хоть кругом ни решёток, ни стен.
Здесь, в усадьбе майора, — безвыходный плен.

Переступишь между, бросишь тёмный закут —
На опушке в засаде каратели ждут.

Ночью спится на нарах, как в карцере... Днём
На прогулку из камеры выйдешь с конём.

Как тюремщик с ключами, гуляет майор,
Озирая свой двор, свой острожный простор.

...Думы тяжело ложатся одна на одну,
Как под плугом пласты. Ты в плену, ты в плену.

Погоди, пан майор, срок закончится мой —
Дотяну борозду...— Эй, оратай, стой! —

Мчится по полю Стася в смятенье, в тревоге.
— Прячься, слышишь? Скорее! Беда на пороге...

К нам нагрянула нынче... Трясёт хутора.
Полицейские ходят уже у двора.

...Когда к вечеру плуг приволок он на двор.
Повстречал его новою вестью майор:

— Я сказал им — ты Стаси троюродный брат.
Понял? Я не палач, не жандарм, а солдат.

Я решил, чем таскать тебе цепи, мой друг,
Ты таскай уж и нынче и завтра мой плуг.

Жито вместе с сестрою молотит чуть свет
Брат Тимох.— А не слышал ты новости? — Нет.

— Новость есть для тебя. — А какая, сестра?
— Меня сватают. Замуж итти мне? — Пора.

Кто ж берёт? — Пан майор. — Шутишь? — Нет...
Он такой.

На служанке жениться ему не впервой.

Хочет взять, да не хочет вести под венец.
— Кто б подумал? Гляди-ка, огонь, удалец!

Засмеялась батрачка: — Какой там огонь!
Только слава, что конь. Где там... Кляча—не конь.—

Молотилка гудит — отзвук слышен везде,
А зерно шелестит: — Быть беде, быть беде...

Гонят парни-сезонники лошадь по кругу,
Отгребают солому колючую в угол.

— О привычках его, когда в дом к нему шла,
Знала я... — И пошла? — Что ж я сделать могла?

Я нездешняя, с дальних Мазурских болот.
Наниматься хожу от ворот до ворот.

Трудно в мире тому, кто родней не богат,
У кого на земле лишь троюродный брат...

С первых дней он пустил меня в дом этот свой,
Чтобы я с ним жила под одною стрехой.

Выбор мой невелик. Два осталось пути:
Либо замуж итти, либо в пущу итти.

В пуще — гибель, а дома остаться — беда.
Я ушла бы... Но ты появился тогда.

Кинуть брата никак не могла я в беде. —
...Молотилка гудит — слышен отзвук везде.

— Как теперь уходить? Впереди — холода.
Снег повалит... Зачем я пойду и куда?

У меня ни родни, ни кола, ни двора...
Может, замуж итти? — Не сдавайся, сестра.

Обещай, но тяни... — Сколько ж мне обещать?..
Он такой, брат, жених, что не хочет он ждать.

Что мне делать? Одной будет страшно зимой.
— Брось проклятую службу. Мы вместе с тобой

От майора уйдём. Из тюрьмы — на простор.
— Не уйдёшь ты, — вздохнула, — заявит майор.

Не сможешь мне... Схватят тебя патрули. —
 ...Молотилка гудит, вся в трухе и пыли.

Ветер гонит труху, слышен отзвук везде,
 Словно вьюга ревет: — Быть беде, быть бедс...

Брат один в молотилку снопы подаёт.
 У сестры на соседнем гумне обмолот.

Что с ней? Стася молчит. А машина ревет.
 Стася больше в господском доме не живёт.

Переехала Стася из горницы в клеть,
 Ходит, молча, на свет бы совсем не глядеть.

Так и месяц прошёл. Налетели снега.
 Что с ней? Двор побелила густая пурга.

Воцарилась зима. Вместе с нею другая
 Появилась служанка. Порог обметает.

На поля, на дома снег ложится, тяжёл.
 А Тимох перебрался в омшаник для пчёл.

Там — печурка, а вместо постели — полоч.
 Стася ночью пришла, принесла узелок.

— Вот пришла... Больше жить мне у пана невмочь.
 У родни заночую я первую ночь.

Ну, а завтра сама уж не ведаю где... —
 А метель голосит: — Быть беде, быть беде...

Подголоски в трубе, голоса за стеной.
 — Как пойдёшь ты одна? Убегу я с тобой.

Мы к востоку пойдём. На востоке — мой дом
 — Не дойти нам зимой.

Голоса за стеной...
 Голоса за стеной, подголоски в трубе.
 — Ты уйдёшь... Изойду я тоской по тебе.

Где друзья? Где мой дом? Дальний слышу я зов.
 Ты не плачь... Сам, как ветер, завывать я готов.

Где отряд наш батрацкий? Полёт под огнём.
 Сердце рвётся на части, как вспомню о нём.

Слушай, может, ты где-нибудь встретишь людей
 Из другого отряда... О доле своей

Расскажи... Передай: кости чудом сберёт
 Их знакомый один, Пригаровский Тимох.

Люди эти помогут тебе... Ну, а я?
 Мне зимою не выбраться... Правда твоя.

Но уйду, убегу я отсюда весной... —
 А метель всё гудит за дощатой стеной,

Словно вывели вновь молотилку на ток.
 ...Брат ложится на лавку, сестра — на полоч.

Час приходит вставать. Весь омшаник продрог.
За метельной трухою не видно дорог.

Их прощанье окутано снежною мглой.
— Что сказать мне тебе, брат троюродный мой?

Не страшна мне метель, не страшна мне зима,
Я на это себя осудила сама.

Мне погибнуть не страшно, а страшно мне жить,
Не себя — страшно душу свою загубить.

Страшно жить мне с чужим в этом доме чужом,
А вздыхать о другом... о желанном своём... —

Перед нею лежал мир, как выюга, глухой,
Не согретый людьми, не накрытый стрехой.

Бесприютный простор... Как в холодной печи
Воют волки да ветры в голодной ночи!

Ни тепла, ни ночлега не сыщешь нигде,
А метель голосит: — Быть беде, быть беде...

Воет сиверко в чаще, жесток и суров.
Мир, когда ж соберёшь ты своих мастеров,

Чтоб холодную землю накрыли одной,
Словно небо бескрайнею, братства стрехой?

Мир, когда же, когда же под кровом одним
Будет счастье сопутствовать детям твоим?

...Стася в стужу пошла — от села до села,
А метель всё ревела, дика и бела.

Снег мела по земле, по застывшей воде...
Где ты, Стася, родная сестра моя, где?

Снова горько ему,
Снова пусто вокруг.
Трудно жить одному,
Вновь ушёл его друг.

Узник весточки ждёт
С вольной воли в тюрьму.
Может, скоро придёт
Избавленье ему?

Словно камера, нем,
Глух омшаник пустой.
С кем теперь ему, с кем.
Поделиться бедой?

Мысли, некогда роем
Тут гудевшие, спят,
Словно пчёлы зимою...
Сном омшаник объят.

Мысли спят. Но не дремлет
Лишь думка одна.

К дальним солнечным землям
Стремится она.

Как ручей, что, ледок
Пробивая, потёк,
Так и мысли поток.
Устремлён на восток.

Над ручьём завируха
Машет белым холстом,
А ручей, хоть и глухо,
Но звенит подо льдом.

Вот он вырвался гулко
Из темницы своей.
Пар над маленькой лункой —
Жадно дышит ручей.

И сквозь это оконце
Он глядит до темна —
Скоро ль выплывет солнце,
Скоро ль грянет весна?

Скоро, брат мой бедовый,
Всё растает окрест.
Солнце спалит оковы,
Цепи ржа переест.

Прибавляются силы.
Льды скорей сокруши,
Сбросив холод постылый,
Как оковы, с души.

Бейся белою пеной,
Расставайся с тюрьмой!

.
Не пора ль и тебе, мой
Горький узник, домой?

6

Начинается вешняя
Золотая пора.
Прочь, метелица снежная,
Стужа, прочь со двора!

Вышли реки раскованные
На просторы лугов.
Вышло сердце взволнованное
Из своих берегов.

Над широким течением,
Над лугами прошли
С первой песней весеннею
Журавли, журавли...

И гусей вереницы
Возвращаются в срок.
Сердце тоже стремится
На восток, на восток...

Вольно дышится полю,
Скоро луг зацветёт.
Только весточки с воли
Долго Стася не шлёт.

С неохотою реки
Входят в русло опять.
Можно их переехать,
А гонца не видать.

Вот подсохли дороги,
А никто не помог.
Не минули тревоги,
Не раскрылся острог.

Узник ждёт... Сколько ж можно?
Знать, придётся ему
Тяжкий камень острожный
Пробивать самому.

Спит патруль... Для побега
Лучше времени нет:
След не виден — ведь снега
Нет, исчез его след.

Коль поднимет тревогу
Пан тюремщик, майор,
Далеко от острога
Скроет узника бор.

И, как в песне той горькой,
На дорогах опять
Будут парни махоркой
Побратима снабжать.

Хлебом будут молодки
Подкреплять беглеца...
Не пора ли решётки
Допилить до конца?

Так дождался он мая.
Завтра в гости с утра
Пан майор уезжает.
И Тимоху — пора...

Пан попарился в бане
И поехал. Прощай!..
Над землёю сиянье,
Светлый день — Первомай.

• • • • •

— Я с приветом от Стаси! —
Гость ступил на порог.—
Есть и чарка в запасе.
С Первым мая, браток!

Дом, зимовник для ульев,
Был молчаньем объят.
Нынче мысли проснулись,
Дружным роем гудят.

Стол накрыт, словно дома,
Любо-милу до слёз.
Как же, гость незнакомый
Даже чарку принёс!

— Это Стася послала...
— Где она? — У людей.
«Выпей с ним, — наказала, —
Будет вам веселей».

— Что ещё наказала?
— Тех знакомых твоих,
Что просил, отыскала.
— Вот как! — Некто из них
Шлёт совет дожидаться
Здесь. До срока держаться.
Разве плох уголок?

— Эх, постыло, браток,
Так сидеть. Надоело...
— Я согласен с тобой.
Дело сыщется. — Дело?

— Да!
— А сам, дорогой,
Кто ты будешь?
— С наказом
От Будённовца я.
— Ты с Будённовцем связан?
— Связь — работа моя.

— Он тебе о девчине
Не сказал заодно?
— Говорил. О Марине.
— Что с ней?
— Дома давно.

— Дома? — Дома. — Уныло
Смотрит узник опять.
Что ж ты так поспешила,
Не могла обождать?
Ясно. Воля есть воля,
Дом — он дом... Спору нет.
Что ж, прими из подполья
Первомайский привет.

— Ох, и тяжко мне, братцы,
Тут сидеть одному.

— Будут гости являться, —
Гость на это ему.
— Ну, а я?
— Ты работу
Сыщешь им на косьбе.
Спрячешь. Эту заботу
Поручаем тебе.

— Что ещё?
— Для начала
Хватит этого нам.
Это тоже немало.

По рукам?
— По рукам!

— Шлёт Будённовец карту.
Ты её сберегай.
Постарайся до лета
Изучить этот край.
Вот селение Броды.
Там найдёшь ты приют
У вдовы Катерины,
Коль не высидишь тут.
Вот и всё. Напоследок,
Что осталось, разлей.

— Будь здоров! — За победу!
— Будь здоров! — За друзей!

Брата брат осторожно
Выводил на большак.
На ветле придорожной
Кто-то вывесил стяг.
Тот, что Первого мая
Всех зовёт на парад
И на бой поднимает...

— Как зовут тебя, брат?
Кто ты? — Попросту встречный,
Сын вот этих дорог...
— Что ж, пока, друг сердечный!
— До свиданья, Тимох!

Пан приехал. От счастья
Пьян. Пытается петь.
Он жених... Не иначе —
Сдох в чащобе медведь.

В этом деле, возможно,
Не медведь виноват,
А приятель вельможный,
Очень ревностный сват.

Он сосватал Шипшинскому
Экономку свою —
Ядю, быструю, вёрткую,
Не бабёнку — змею.

Ядя даже артисткой
Где-то в Лодзи была
До того, как в поместье
Экономкой пошла.

Сцену бросила Ядя:
То ль к игре не годна,
То ли в жизни играла
Много лучше она.

Ходит слух — прогоняет
Экономку сосед.
Нет... Причина другая —
Деликатный предмет.

Сват не гонит, а женит...
Ведь майор не женат.
Осчастливить решил его
Благодетельный сват.

Десять тысяч за нею
Он сулит, говорят...
Десять тысяч медведей
Тут бы сдохли подряд.

Ну, а если б воскресли,
То с дубиной на них
Ради брака такого
Сам пошёл бы жених.

Что за перстни у Яди!
А браслет золотой!
Пан майор возвратился
Сам от счастья не свой.

Век бы Яде на сцене
Тех богатств не иметь.
Пан майор в умиление,
Впорю плакать и петь.

С ним приехала Ядя,
Хоть и путь был далёк, —
Поглядеть на медвежий,
На глухой уголок.

Всё ей тут полюбилось,
А за что? Не секрет:
Дом уютен, а в парке —
Майский праздничный цвет.

Одряхлевший хозяин —
Сущий клад, потому
Что хозяйничать будет
Он недолго в дому.

Всем довольна невеста:
Служанкой седой
И Тимохом —
Красивый батрак, молодой.

Приказала служанке
Сходить за водицей,
А Тимоху немедля
Велела побриться.

Пусть хозяйскую
Старую пару наденет
И покажет ей
Все закоулки именья.

.....

— Как вам нравится здесь? — О, прекрасно у вас!
...Будет в августе свадьба, в назначенный час.

Покидала желанная гостя майора.
— Не грустите, мой друг, мы увидимся скоро.

Смотрит вслед, вспоминая приданое, он.
А в ушах его — музыки свадебной звон.

Время шло. И везде эту музыку свадьбы
Слышал пан. Вот и август. Пора уж сыграть бы.

Ещё гости не все собрались у ворот,
А уж сына Шипшинскому жёнка несёт,

Но не та, что с приданным приедет, с мошной,
А другая, которую выгнал зимой.

Стася снова в омшанике с братом сидит.
...А в ушах у Шипшинского свадьба звенит.

— Гонит прочь... Я к нему не пришла бы в беде,
Но с ребёнком работы не сыщешь нигде.

Я не ласки для сына прошу у отца,
Я работы прошу у него, подлеца.

Прогоняет... Не помнит... Мол, пьян был тогда.
Как легко забываете вы, господа!..

Чтоб глаза завязал тебе вечный туман,
Как вязал ты мне руки верёвками, пан.

Слышишь, брат, говорит он, что сын этот — твой.
Он прозрит, что силком нас поженит с тобой.

Видно, он и тебя загубить норовит...—
...Где-то свадьба звенит, где-то свадьба звенит.

— Я сказала: «Ты, пан, не отвертисься, нет.
Обвенчаюсь я с омутом — вот мой ответ...

Пусть я буду лежать в тёмном омуте том,
А твой сын — на пороге проклятом твоём».

Пан женил нас, ты слышишь?
— Женил не женил,
Только я ведь не пан, я того не забыл,

Как сидела ты ночью и днём надо мной
В час, когда меня смерть обручала с землёй...

Пан прогонит тебя — я с тобою пойду,
Не пущу тебя в омут, в глухую беду. —

Спит ребёнок, слезой материнской омыт.
...Где-то свадьба звенит, где-то свадьба звенит.

.

Стасин сын заболел. Нескончаемым сном
Нынче спит он... При жизни он спал под дождём,

Под росистым кустом, на холодной земле,
Есть у неба просил при дороге, во мгле...

Бесприютный, больной, как он мог не уснуть?
Лишена молока материнская грудь.

Как он мог не уснуть, беззащитен и мал,
Если сытый отец ему смерти желал!

В дом не принял, закрыл перед мальчишкой дверь!
Дом особый для сына сколочен теперь.

Как под крышей отцовской, под крышкой он спит.
...Где-то свадьба звенит, где-то свадьба звенит.

Шлёт майору невеста пакет, чтоб за ней,
За вещами её присылал поскорей.

Пусть приедет за ней тот красивый батрак...
Пан Шипшинский коня самолично запряг.

Вот уже у Тимоха и вожжи в руках.
Стася — с ним. Всё лицо у несчастной в слезах.

«Пусть её подвезёт», — согласился майор.
Сам ворота открыл, сам закрыл на запор.

«Боже мой!» — умилённый и благочестивый,
Он свободно вздохнул. Вновь жених он счастливый.

Скоро пыль полетит из-под звонких копыт.
Скоро свадьба в усадьбе его зазвенит.

Ночь настала. Ворочался пан с боку на бок.
Где ж батрак? Может, взял да удрал с этой бабой?

Он вскочил: «Ну, конечно, со Стасей вдвоём
Убежали... А я оказался ослом.

Боже мой!.. Околдованный счастьем своим,
Не подумав, я слепо доверился им.

Так и есть! Помутился от счастья мой ум.
На Тимоха надел я пристойный костюм,

Чтобы сват подивился одежде такой,
Мол, какой у майора батрак непростой...

А ещё переслал с ним невесте пакет.
Он же с этим пакетом объедет весь свет!

Через Речь Посполиту от края до края,
Мчится конь мой, холопа от кары спасая.

Рад, наверно, беглец очутиться на воле.
Надо мною смеётся... Ищи ветра в поле!

Заявить, разыскать! Хоть вернуть бы коня...
Боже, боже, за что ты караешь меня!

За какие грехи?..» Вспомнил он об одном —
Детский гробик мелькнул за полночным окном.

Руки молча сложил он: «Прости меня, боже!»
Вышел утром из дома, угрюм и встревожен.

Взял другого коня. За невестой ему,
Видно, ехать придётся теперь самому.

...В это время Тимох продолжает свой путь,
И спешат полицаи ему козырнуть.

— Пану честь! — О подвохе-то им невдомёк.
 Хоть не очень важнецкий, а всё же панок.

С ним девчонка, служанка его молодая,
 Вся в горячих слезах... Но красотка какая!

Расспросить бы, завидя печали печать:
 «Что грустишь?» — да не станет она отвечать.

Третий день уже едут... По карте уездной
 Разыскали в ночи они угол безвестный.

Вот и Броды. Все хаты как будто мертвы.
 Вот и дом Катерины — несчастной вдовы.

Двор пустой. Дом пустой. Непроглядная тьма.
 Хата двери гостям отворила сама.

Пригласила сама — посидеть, отдохнуть,
 Засветить каганец, пламя в печке раздуть.

Ну, а где же хозяйка? Пропал её след.
 Может, скажет сосед? Появился сосед.

Звёздный путь, как ответ, над хибаркой пустой.
 Нынче третью уж ночь под могильной стрехой

Спит хозяйка... А где её маленький сын?
 У соседа. Боится он дома, один...

Что за путь! Словно годы во сне пролетели.
 Их сдружила судьба под напевы метели.

Пан женил. Катерина им хату дала.
 А сиротская доля им сына нашла.

Есть и конь, поневоле подаренный паном...
 Как же свадьбу не справить с богатым приданым?!

7

Лето гонит коня и везёт урожай.
 Двор, скорее ворота свои открывай!

Дар людской принимай, Катерина-вдова.
 О хозяине добрая память жива.

Принимай от народа и в нынешний год...
 — Тут живёт Катерина? — Уже не живёт.

— А сынок её? — С нами... — Снимайте с колёс,
 Значит, хлеб я для вас и для сына привёз.

Принимайте скорей... — А зачем же скорей?
 — А чтоб мне не накликать беду на людей.

— А какую, отец? — А такую, друзья,
 Что приметит мешки и не даст вам житья.

Как бы вам в заваруху тогда не попасть...
 — Что, бушует опять? — Ой, бушует напасть.

Все пути замела от села до села...
 — О Будённовце ты не слышал? — Замела...

— Что ты, брат, говоришь?! — Не его одного.
Замела и парнишку — сына моего.

Незнакомо́го в дом ночевать не пускай.
— А случится, он свой? — Свой? Поди угадай,

Свой аль нет? Сын пустил, тоже думал, что свой.
Гад назавтра привёл полицаев с собой.

«Тут, мол, я ночевал». Сын: «Ты брешешь, подлец!»
Ну, а гад за икону полез — и конец...

Вынимает листок, что за тем образом
Он припрятал... Написано карандашом,—

Чтоб ему карандаш тот к ладони присох:—
«Ночевал. Коммунист Пригаровский Тимох».

— Пригаровский Тимох?! — Нету зверя лютей.
Сколько он загубил неповинных людей...

— А каков он собой? — Молодой, с бородой,
Шрам на правой щеке... — И хромой? — И хромой.

Ногу он волочит... Ну, хозяин, прощай.
Незнакомых к себе ночевать не пускай.

...Стук раздался в ночи. — Кто? — От дядьки того,
Что доставил вам хлеб... Я племянник его.

Человека в дверях осветил каганец.
— Стася, чарки неси! Это ж он — твой гонец!

— Погоди угощать, брат... Искать я иду
Провокатора... Выпьем потом, как найду.

Словно с паспортом, с именем честным твоим
Путешествует он по уездам глухим.

А на днях, прикрываясь тем именем, вновь
Выдал наших парней... Пролил честную кровь.

А теперь он и в наш заявился повет,
Скоро сыщется след... Вот, возьми пистолет.

Он надеется, верно, что ты неживой,
Что погиб... И под этою вдовьей стрехой

Ты оружие храни, чтоб воскреснуть опять,
Коль к Тимоху Тимох забредёт ночевать.

— А каков он собой? — Молодой, с бородой.
Шрам на правой щеке.— И хромой? — Да, хромой.

Появиться он может... А ночка темна...
— Знаю. Кровью за кровь он заплатит сполна.

...Вновь стучатся в окно.— Кто? — От дядьки того,
Что доставил вам хлеб... Я знакомый его.

На пороге — Будённовец...— Всё же меня
Замести не смогли... Стой, не надо огня.

Обнялись. — Вот и встретились
Снова с тобой.

.

Гость сказал: — Ну, хозяин, не время ль домой?
Помнишь, я обещал. Срок настал.

Тот молчал.

— Что задумался? — Думаю я не о том.

— А о чём? — Да об имени всё о двойном.

Кровь на нём... Как домой возвратиться с таким,
Если губят товарищей, пользуясь им?

— Правду ты говоришь. Вместе с именем, брат,
Враг советское подданство взял напрокат.

Он отвагою славился. Не мудрецо
Смелым слыть, дефензиве служа заодно.

Из-под стражи он вызволил члена ЦК.
Отличился, схитрил: обманул старика.

Тот поверил ему. Провокатор сумел
Дальше, выше пойти. Дескать, честен и смел.

Явки выведаль он. Доверяли ему.
Многих наших людей он отправил в тюрьму.

Да и ныне как раз — дни облав, грозный час.
Явки всюду провалены... То ли до нас

Не дошёл, не добрался ещё, сукин сын,
То ли в Бродах боится трясин и осин...

Ну, да это неважно... Под стражей — друзья.
Мало нас уцелело. Но вешать нельзя
Головы под стрехой Катерины-вдовы.

Время действовать. Бурей раскиданный дом
Вновь отстраивать надо. С чего ж мы начнём?

Как ты думаешь, брат?.. — Эх, узнать бы нам — где
Провокатор? — Он в Вильно сейчас, на суде.

— Что он делает? — Чёрное дело, Тимох.
Тех, что выдал суду, отправляет в острог.

— Вот и надо, видать,
Нам с суда начинать.
Суд так суд... Бой так бой!
Кровь за кровь.

— Эх, родной,
Дать нетрудно совет,
Трудно в пекло полезть.
Ведь людей у нас нет.
— Люди есть!

— Люди есть?
Очень просто послать нам
Людей на беду,
Да ведь гибель
Не просто принять...
— Сам пойду!
— Сам?

Будённовец
 Крепко обнял его вновь.
 — Ты его не убьёшь,
 Я убью. Кровь за кровь!
 Только сделаем так.
 Погоди... Не секрет,
 Что для нас этот шаг
 Полон риска... Совет
 Нужен в деле таком.
 Потолкуем о том,
 Где положено... Ты
 Подожди день-другой,
 Ну, недельку...
 Не больше того, дорогой!

Вновь находит его
 Гость от дядьки того.
 Он стучится в окно,
 Он принёс ему весть.

Разрешенье дано.
 Адрес виленский есть.
 Деньги есть и билет.
 Ехать — завтра, чуть свет.

Знал, конечно, Тимох,
 Что в суде его ждёт.
 Знала Стася — куда
 И зачем он идёт.
 День. Последний их день.
 У неё, у него
 Лишь один этот день
 Остаётся всего
 Для недолгого счастья,
 Чтоб вместе пройти,
 Как по жизни по всей,
 По лесному пути.

Что за путь — словно сон!
 Их сдружила беда,
 Их осенняя чаща
 Свела навсегда.

Пан женил, а глухая
 Лесная метель
 Им сухою листвою
 Устиляет постель.

Застилает их след
 Той же звонкой листвою...
 Запах листьев осенних
 Унёс он с собой.

На глазах — паутинки
 Туманная нить...
 Ясный день. Лес и лес.
 ...Ой, как хочется жить!

В город Вильно он прибыл полночной порой.
...Вильно, словно ракушку на берег морской,
То ли Балтика, то ли набег ледников
В этот край зашвырнули из глуби веков.
Меж холмов, извиваясь, как будто змея,
Не спеша, выползает на свет Вилия.
Вильно — город-ракушка среди городов,
Город улочек путаных, узких ходов,
Где всегда, если с неба дожди пролились,
Ручейки с косогоров срываются вниз,
Где людское житьё, городское бытё
Схоже с бегом воды, с вечным шумом её.
Сшили в Вильно портные костюм для него.
Он глядит в зеркала на себя самого.
Ладно сшито! Последний костюм... А фасон
И на жизнь и на смерть выбирал себе он.
Сам платил за пошив. Завтра должен он сам
На примерку явиться к другим мастерам.
По проспектам, проулкам текла, как вода,
Вильно шумная жизнь. Трудный день. День суда.
Пробиваясь сквозь плотную толщу людей,
Всё ж добрался с портфелем Тимох до дверей.
— Пану честь! — козырнул полицейский в дверях,
Не ему, а портфелю, тому, что в руках.
Вот уже и судебного зала порог.
Выбрал место себе у прохода Тимох.
На скамье подсудимых сидят батраки.
Будут шить им портные и обувщики
На казённые средства по просьбе господ
Арестантскую форму на годы вперёд.
Не лентяй, оформляет заказ прокурор.
Из суда поведут батраков через двор,
Пан пшедовник по камерам их разведёт,
Пан тюремщик запрет... Суд идёт. Суд идёт.
Вот свидетель встаёт, молодой, с бородой,
С давним шрамом... К столу он подходит, хромой,
Крест целует, являя усердье и прыть,
Присягает лишь правду суду говорить.
Ту присягу он сдержит — порукою бог.
— Ваше имя?
— Моё? Пригаровский Тимох.
— Сам откуда?
— Советский... Из тамошних мест.
Говорю только правду. Целую ваш крест,

Ибо верую, хоть и быллой коммунар..
 Присягаю, что прислан всемирный пожар
 Раздувать, на восстанье людей подбивать.
 Вот сидят они тут перед нами, все пять.
 — Значит, вы подтвердили, что знаете их?
 — Знаю всех пятерых, как пять пальцев своих.

Зал. Скамья подсудимых. Неправедный суд.
 Белорусы. Поляки. Их пятеро тут.
 Но портные с концами концов не сведут.

Погоди, пан Довбницкий. Тимохом Степана
 Сделал ты. Но однако не радуйся. Рано!

Видно, белыми нитками шит матерьял,
 Тот гнилой матерьял, что суду ты прислал.

Скоро весь расплзётся он, судьям на страх.
 ...Встал свидетель другой. Пистолеты в руках.

На кресте не давал он присяги... И вот
 Сам он крест свой несёт... Суд идёт! Суд идёт!

Замер в зале народ. Побелел прокурор.
 Пистолеты в руках. Оба дула — в упор,

Прямо в цель, провокатору гибель суля.
 Обречённый Степан почернел, как земля.

Перед смертью, холуй,
 Крест ещё раз целуй!

Больше к людям невинным не ступишь ты в дом,
 Не напишешь записочку карандашом,

За икону не ткнёшь... Не уйдёшь от ответа.
 ...И четырежды грянули два пистолета.

Слово правды гремит. Сотрясается свод.
 — Суд идёт! Суд идёт! Суд идёт! Суд идёт!

За невинных, что нынче оболганы тут,
 За убитых отцов, что домой не придут.

За друзей, что в тюрьме, за людей, что в ярме,
 За несчастный народ... Суд идёт! Суд идёт!

Прокурор — под столом. Пан судья — под столом.
 Их свидетель простёрся недвижимым пластом.

Через двери глухие прорвался Тимох,
 На холодных ступеньках под пулями лёг.

Так лежал он в крови. И вся жизнь его мимо
 Проплывала, как будто гора Гедимины.

А в огромной ракушке стихал, как вода,
 Шум глухих переулков и гомон суда.

...Тот квартал, где товарищ под пулями пал,
 Город именем павшего утром назвал.

И безвестной рукой начертал на домах
 Это имя, былому названью на страх.
 На пороге, где пал он, над лесенкой той,
 Стяг склонился пылающий с чёрной каймой.
 Перед домом, где был он сражён, у ворот,
 Память павшего чтя, собирался народ.
 Шли колонны трудящихся по мостовым,
 Уж не чая героя увидеть живым.

8

Десять ран пулевых... Настрался Тимох...
 Из больницы едва не отправился в морг.
 Десять ран... Чтоб скончаться, хватило б одной...
 Всё ж он выдюжил... Суд состоялся весной.
 От больничной до мрачной судебной палаты
 На носилках тащили Тимоха солдаты.
 Вопросал прокурор: — Кто на смерть осудил
 Человека, которого ты застрелил?
 Отвечал подсудимый с носилок панам:
 — Провокатор на смерть осудил себя сам.
 Пан судья вопрошал: — Кто послал тебя, хам,
 На убийство? — Никто. Я убил его сам.
 — Кто оружие дал тебе в руки? — Народ. —
 Суд, избавлен Тимохом от лишних забот,
 Приговор подсудимому вынес весной.
 Смерть стояла над ним, угрожая петлёй.
 Но в тюрьме не дремали ни ночью, ни днём
 Обитатели камер, заботясь о нём.
 Почему? Это можно понять — почему.
 Доставляла тюремная почта ему
 Телеграммы и письма — поддержку в беде.
 И узнал он, что выстрелы там, на суде,
 Докатались уже до других городов,
 До других городов, до иных берегов.
 Многолюдные митинги в Польше прошли
 А потом за пределами польской земли,
 Чтоб Тимоха спасти от нависшей петли.
 Узник знал, что протест заявила Москва.
 ...Солнце льды сокрушает. Сквозь камень трава
 Пробивается. Правда — сквозь стены тюрьмы.
 Днём надежда рождалась, как луч среди тьмы
 Ночь тревогу несла... Уголовники нож
 Передали в параше товарищу. Всё ж
 Нож есть нож... Коль придут исполнять приговор
 Пан палач, пан судья, с ними пан прокурор,

Нож согдится. Его всё точил он в ночи,
Слушал — может, гремят уж за дверью ключи.

Так всю ночь — до свистка на тюремном дворе,
До побудки... На нарах, в острожной дыре

Отсыпался он днём. Твёрдо знал — палачи
Днём не трогают... Вешают только в ночи.

От свистка до свистка измерял он опять
Жизни срок. Смерти срок. Жить иль гибели ждать?

Смерть всё медлила. Дело его, говорят,
Отослали в Варшаву. Уже листопад

Шелестит. Он всё ждёт. День короче, темней,
Дольше ночь. Свод мрачней. Ох, узнать бы скорей,

Что же будет? Но вот пан тюремщик идёт.
Вот ответ на вопрос. Пан известье принёс.

— Ну, конец ожиданьям, — осклабился он, —
Высший суд рассмотрел... Приговор утверждён!

Потешался тюремщик: — Ну, что, комиссар,
Ты доволен?

Поднялся он медленно с нар.
Песня с уст пересохших слетела сама:
«Это есть наш последний...» — Притихла тюрьма.

«Это есть наш последний решительный бой», —
Подхватили соседи за мрачной стеной.

— Замолчи! —
Но слова миновали порог
Одиночки. Как полымя, мрачный острог

Охватив целиком, озарив, как пожар.
— Хватит петь! Я неправду сказал, комиссар...
Я шутил...—

Плохи шутки с огнём. И опять
Крепнет песня. Товарищ идёт умирать.

Гимну вторит поляк. Украинцы поют,
Пусть различны наречья — все песню поймут!

— Замолчи! Завтра выйдешь на шпáцир¹, на двор.
Хватит петь. Будешь жить: отменён приговор.—

Отменён? Только песня не смолкла ещё.
Пусть гремит, пусть повсюду звучит горячо.

Высший суд отменил приговор? Нет, не он!
Панской милостью был бы товарищ казнён.

Нет, спасеньем народу обязан Тимох!
...Песня братства огнём охватила острог.

— Замолчи! Ты ж помилован, слышишь, пся крев!—
...Но на волю из камеры рвётся напев.

¹ Шпáцир — тюремная прогулка.

Ну, теперь он не гость. Решено наконец.
Он пожизненный камеры этой жилец.

За окном, что ни год, шелестит листопад.
Дни, как листья, летят, всё летят и летят.

Поседели виски. Тяжек вечный полон.
Где Будённовец? Слышно, в Испании он.

Стася где? Не слышать. Сердце рвётся к друзьям.
Ветер гонит листву по осенним лесам.

Год за годом летит. Не стихает война.
Не в Мадриде уже, а у Праги она,

Бомбы Круппа к французской границе несёт,
Гонит танки за Рейн. Чей черёд? Чей черёд?

И над Польшей уже нависает беда.
Скоро новый тюремщик ворвётся сюда...

Год за годом прошли за тюремной стеной.
Но внезапно известье — он едет домой.

...Ночь. Пустынный перрон. Весь в решётках вагон.
Хоть не верится, всё ж едет он за кордон.

Там обменен он будет, Тимох. На кого?
Вот и арка. Но где же встречал он его,

Человека, что рядом стоит, молчалив,
Прикрываясь рукою? Пожар или взрыв

На лице обожжённом запечатлены?
Шрамы, струпья, ожоги... Обличье войны.

Вёл боец одного. Вёл другого солдат.
Разминулись Тимох и Довбницкого брат

На границе миров, на тропинке одной.
Вновь сойтись им на ней, коль завяжется бой.

.

Снова берег родимый. На отчий порог,
Как моряк после бури, вступает Тимох.

Плыл он по морю семь изнурительных лет,
Сердце-парус летело дорогою бед.

Ничего, что блестит в волосах седина —
Белой пеною их обдавала волна.

Соли вкус у него на губах — не беда,
Это — слёзы солёные, а не вода.

Это — сердце, в пути обгоняя вагон,
Рвётся к дому, взлетая на волнах знамён.

Здравствуй, светлая, мирная ширь дубрав и лугов!
...Сына Родина вырвала из тюрьмы, из оков.

Пуща — племя дерев, что, до тучи достав,
Собрались на извечную сходку дубрав,

Что шумят в грозовой вышине искони
 Про минувшие дни, про грядущие дни,
 Что могли б рассказать в этих дебрях глухих
 Повесть длинную о поколениях людских,
 О коротком их счастье, о горе их долгом...
 Вновь Тимох через пушу проходит просёлком.
 Грозный час. На земле не смолкает война.
 До Варшавы уже докатилась она.
 Землю Кракова бомбами Круппа трясёт,
 Истребляет людей... Чей черёд? Чей черёд?
 В гимнастёрке Тимох, подпоясан ремнём.
 Ладно пригнана скатка. Пилотка на нём.
 Что он делает здесь, на границе, теперь?
 Почему он не в цехе своём, инженер?
 Он сейчас пехотинец. Он служит в полку,
 Что у самой границы стоит начеку.
 Пограничные сосны шумят на ветру.
 Он с Мариною встретился нынче в бору,
 Возле школы... Замкнулся той встречею круг
 Их коротких свиданий и долгих разлук,
 Многолетних скитаний, большого пути,
 Где с людьми они счастье стремились найти.
 Гром полночной облавы — начальный их шаг.
 Восемь лет эта буря грохочет в ушах.
 А в глазах — озарённая молнией мгла
 Той границы, что с гулом сквозь сердце прошла.
 Он дорогой идёт. Как листва на дубах,
 Всё звенит разговор невесёлый в ушах.
 — Я ждала тебя, — так говорила она, —
 Пролетела зима, промелькнула весна.
 Целый год прождала... А когда он истёк,
 Я решила — убит. И на Дальний Восток
 Собралась я подальше от боли своей.
 Там, в дремучей тайге, я учила детей.
 Я хотела забыть. Проходили года,
 А тоска не прошла. Я вернулась сюда.
 Вот и вся моя повесть... Что скажешь мне ты? —
 ...Листья гонит сентябрь. Облетают кусты.
 Что он мог ей сказать? Ведь листва, как сейчас,
 Отшумела семь раз, облетела семь раз
 На тропинках лесных, за тюремной стеной,
 Над его, поседевшей уже, головой.
 Но в багряной косынке с вопросом своим,
 Словно юность, стояла она перед ним.

С тем же взглядом, — в нём отблеск тревожных
ночей,—
С тем же любящим сердцем — найдётся ль родней?

Среди тихих дерев листопад шелестел.
Он молчал. Что сказать ей?

— Ты так постарел,
Изменился, Тимох...

Что сказать? Разве мог
Лес поднять отшумевшие листья с дорог?

Не забыть ему, нет, трудно прожитых лет,
В муках пройденных дней, злой судьбы, но своей.

Нет, нельзя зачеркнуть смертью меченный путь —
От зимы до зимы, от тюрьмы до тюрьмы.

...Правду всю ей открыл. Он уже не один.
Он про Стасю поведал. Сказал ей, что сын

Есть у них. О рождении сына в тюрьму
Стася весточку с воли прислала ему.

Где теперь она с сыном — не ведает он.
То острог разлучал их, то — нынче — кордог.

Разговор неизбежный вести тяжело.
Но прошло семилетье, границей прошло

Между ихним сегодняшним днём и былым...
Горек этот рубеж и неодолим.

Вот он всё ей сказал.

— Не сочти за укор
Моё слово, Тимох. Помнишь бор, панский бор?
Поле панское?

— Помню.

— А помнишь ты наш
Дом нестойкий — шалаш?
Дождь, и ночь, и шалаш...
Сколько буду я жить, мне его не забыть.
Только лучше не помнить, ты знаешь и сам....

...Гонит листья сентябрь по лесным большакам.
Мчится алый листок вслед за алым листком,
Словно сердце за сердцем — травую, песком...

Закружили их вихри среди листьев других,
Разлучая навеки два сердца родных.

Только пыль на дороге да горький чебрец...
Не пора ль уложить нам последний венец,

Хату нашу стрехою накрыть поплотней?
Жить Марине с Тимохом не выпало в ней..

Луг любви их примяли чужие следы,
Годы долгой разлуки и чёрной беды.

Замело снеговеем былые года...
 Мир бескрайний, скажи нам, когда же, когда
 Час придёт и запашут кровавый рубеж,
 Чтобы буря людских не губила надежд?
 Мир, когда же в былое навеки уйдёт
 Та граница, что делит единый народ,
 Та, что делит Корею, терзает Вьетнам,
 Что когда-то змеилась по нашим лесам?
 Мир, когда же, — спросить нам ещё раз позволь, —
 Отойдёт этот сон, отлетит эта боль?..

— Комсомольский билет под мою стрехой
 Ты запрягал, когда на заставу с тобой

Вместе шли. Я поныне билет сберегла.
 Ты прости, что его я в райком не сдала.

Был мой дом его домом, а сердце — райкомом.
 Сколько лет о далёком пути незнакомом,

О твоём, говорил он... А ныне о том
 Ты мне сам рассказал...

.

Так в бору вековым,
 Горьких дум не тая,
 Расставались друзья,
 Как тропинка лесная и торный большак,
 Как косынка и пулей простреленный стяг.

Покидал эту боль, эту пушу Тимох,
 Как поры невозвратной последний порог.

Бор, о чём ты вздыхаешь под шорох дождя?
 ...Верен жизни, смертельный рубеж перейдя,

Многим людям обязан спасеньем своим,
 Он связал своё счастье со счастьем людским.

Он и сам в кабале,
 если узник — в петле

На земле его сына,
 сиротской земле.

Быть свободным нельзя,
 если рядом — острог,

Если руки простёрли друзья
 на восток.

Пехотинец, он числится в части своей.
 И, обязанный жизнью миллионам людей,

Он спешит им на помощь, сквозь пушу идя.
 Будет суд. Он теперь не свидетель — судья.

Пуша. Звёздный сентябрьский над ней небосвод.
 Ночь. Но только Тимох до зари не уснёт.

Прикатила на Буг. Из лесов и яруг
Чёрным окном война молча смотрится в Буг,
Ищет брода, чтоб чёрной змеёю траншей
И огнём поползти по просторам... Эгей,
Стой, Буланый! Ушами, браток, не пряди.
Ничего, что тяжёлый рубеж впереди.
Новых сил наберись и — на пашню опять:
Для грядущего пахаря путь пролагать.
Для народов земли — к борозде борозда.
День желанный придёт, час настанет, когда
Верный друг, дружбы плуг всё изменит вокруг —
На свободной, великой своей полосе
Он запашет граицы кровавые все.

Авторизованный перевод
Якова Хелемского.



БОРИС ГОРБАТОВ

★

АЛЕКСЕЙ ГАЙДАШ

*Повесть**

8

И тогда всё стало ему безразличным. Хороший он или плохой, любят ли его или не любят, хвалят или ругают — всё равно, всё равно.

Странное оцепенение охватило его. Он двигался, жил, ел, стрелял, падал и подымался, нёс караульную службу и чистил картошку на кухне, вскакивал по тревоге, хватал оружие, торопился, даже нервничал — и всё это как во сне, машинально и бессознательно.

Он опустился, стал небрежен в одежде; брюки продрались на коленках, он так и не зачинил их. Рубаха пропиталась ружейным маслом, на шлеме не хватало пуговиц. Только винтовку чистил попрежнему тщательно, но и то скорее по привычке и из страха, чем из любви.

Он сидел теперь на занятиях молчаливый и рассеянный, словно отсутствующий, смотрел в окно и ничего не видел там: ни гор, ни неба, ни артиллерийских складов; иногда его удивлённо окликал командир взвода:

— Вы спите, Гайдаш?

Он вскакивал, испуганный, точно проснувшись, торопливо моргал ресницами.

— Вы спали?

— Нет.

— Что же вы делали?

Вот этого он не знал. О чём он думал? И думал ли? Нет, просто сидел, чуть сгорбившись, положив руки между колен, в странном оцепенении, похожем и не похожем на дремоту.

В строю он шагал в ногу с товарищами, делал повороты, автоматически выполнял команду. Но был он не здесь, и сам не знал, где был. «Уже декабрь... — думал он, заряжая винтовку. Он только отмечал то, что видел. — Выпал снег... Мокрый... Прошёл командир роты... Сейчас скомандуют: «Взвод, смирно!»... Ещё год... Целый год ещё... Да... Что же? Ну ничего... Вот... Вот именно... Да...»

Однажды на тактическом учении он был дозорным. Командир отделения указал ему сектор — справа магометанское кладбище, слева — Сахарная Головка; он показал раз, другой и третий, а Гайдаш всё молчал. Наконец Гуцин спросил подозрительно:

— Вам понятно?

Гайдаш пожал плечами.

— Ну, идите, — вздохнул Гуцин. Он давно уже устал «болеть сердцем» за этого непонятного ему человека.

Гайдаш лениво побрёл на кладбище. Винтовка болталась на ремне за плечом. Надо было снять её, нести в руке, но это показалось Алёше и

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 6, 7 с. г.

тяжёлым, и скучным, и, главное, никому-никому не нужным. Он был между разбросанными там и сям могильными плитами. Мокрый снег падал и таял на них (мокрые и скользкие камни — вот всё, что осталось на память о человеке! Как его звали? Зачем он жил? Что делал?). Алексей ступал по камням, не разбирая дороги. Стало жарко — он снял шлем и подставил снегу голову.

Замечательно ощущать, как тают снежинки на тёплой коже. Скоро всё лицо Алёши было мокрым, словно он плакал. А он был счастлив, единственный раз за последнее время. Всё забылось — и разведка, и комвзвода Угарный, и винтовка за плечом. Только щекочущие снежинки на лице да ветер с гор, прохладный и ласковый.

Вдруг над его ухом раздалось резкое:

— Гайдаш!

Он вздрогнул. Около него стоял запыхавшийся командир взвода Угарный. На лице командира вспыхивали багряные пятна гнева.

— Вы что делаете, Гайдаш?

— Я? — В самом деле, что он делает? Он идёт. Его куда-то послали. Что-то надо было делать, он забыл. Он оглянулся. Кладбище осталось сзади. Он брёл по горной тропинке. Зачем? — Я дозорный, — наконец вспомнил он.

— Дозорный? — расхохотался командир. — Ну и что же вы обнаружили?

Гайдаш удивлённо посмотрел на него и вдруг прищурился.

— А я обнаружил, товарищ командир, что снежинки отлично тают на коже. А вы что ж думали? Я увижу противника? Хотел бы, да...

— Вы прошли две засады, товарищ дозорный, — насмешливо перебил Угарный. — Из вас вышел бы отличный Дон-Кихот, бледный рыцарь, бестелесный, неуязвимый для пуль. Весь взвод хохочет над вами. Винтовка болтается за плечом, ленивая поступь. Прогуливаться на Невский вышли, дозорный? Стыдно.

Командир отвернулся. Отовсюду подходили бойцы взвода. На шинелях были пятна снега (на шинелях снег не таял) — очевидно, ребята всласть поползали по оврагам и сугробам. Они честно поработали. Их лица были горячи и возбуждены. Ляшенко шершавым рукавом шинели вытирал пот со лба. Алексей почувствовал себя на минуту дезертиром и лодырем.

Объявили перекурку. Алексей растянулся в снегу под кустом боярышника. Закурил. Сладостны были эти минуты полного и абсолютного покоя. Лежал на спине, вытянув ноги, зарывшись шлемом в снег. Он принадлежал сейчас только себе, себе одному. Курил, медленно глотал дым. Выпустив синеватую струйку, брал комочек снега и сосал его. Потом снова затягивался папирсой. Дым и снег — это нечаянное изобретение понравилось ему. Наслаждался, словно ел мороженое. Блаженствовал. Полу-дремал. Через десять минут ему скажут: «Беги» или «Стреляй. Делай». Но эти десять минут — его. Он никому не нужен. Никто не нужен ему. Думал ли он когда-нибудь, что опустится до такого скотского индивидуализма? Но и сейчас он об этом не думал. Просто лежал, курил, смотрел в небо. Ему было хорошо. В сущности, это — самое главное.

— Товарищ Гайдаш! — позвал Угарный, когда перекурка кончилась.

Вежливость командира подавляла Алёшу. Как бы хотел он, чтобы его ругали, бранили, пускай даже били. Он неохотно поднялся на ноги. Блаженная перекурка кончилась, куда сейчас двинут его? Смешная игра в войну, потешные солдаттики — зачем, кому это нужно? Он подошёл к командиру.

— Вы будете командовать отделением в наступлении, товарищ Гайдаш, — сказал ему, хмурясь, командир взвода. — Покажите себя. Вот задача...

Алексей легонько пожал плечами. Хорошо. Есть. Даже честолюбие его не было затронуту. Двадцать минут назад он был дозорным, сейчас — командир отделения. Всё это игра, игра в солдатики, смешная для взрослых людей.

Задачу он выслушал невнимательно. Затем Угарный скомандовал отделению Гущина выдвинуться вперёд.

— Ну вот, товарищ Гайдаш, ваше отделение. Ведите. Принимайте решение. Действуйте.

Алексей посмотрел на ребят — Ляшенко, Рунич, Дымшиц, Гущин, — они стояли покорные и застывшие и крепко сжимали руками в шерстяных мохнатых перчатках стволы покрытых изморозью винтовок. Будь впереди, за снежными холмами, противник, они точно так же стояли бы спокойные и непоколебимые и ждали бы, как ждут сейчас, команды: «Замной! В штывки! Ура!» Эта покорность испугала Алёшу — их судьбы в его руках. Что ему делать с ними? Он взглянул на местность, лежащую впереди, — голые снежные холмы, овраги, заросшие колючим кустарником, долина, поднимающаяся вверх, к горам, ровными, пустыми террасами.

— Ну? — нетерпеливо крикнул командир взвода. — Ну? Действуйте же!..

Алёша растерялся. Как действовать? Что скомандовать? Куда повести людей? Он чувствовал себя беспомощным перед этими горами, оврагами и долиной. Где противник? Он прослушал задачу. Противник мог быть и в овраге и за холмами...

Отделение молча ждало. Никто не улыбался, не подсмеивался. Командир нетерпеливо сшибал снег с сапог, смотрел на часы, зачем-то отстёгивал и застёгивал полевую сумку.

— Я думаю... — нерешительно начал Алёша.

Но командир перебил его:

— Действуйте, действуйте. Вы на деле покажете нам, что думаете. Принимайте решение. Отдавайте команду... Противник уже увидел вас. Открыл огонь. Над вами свистят пули, командир отделения. Ну?

Ляшенко, Рунич и Гущин молчали, даже не улыбались. Они ждали команды. Их винтовки, их руки и ноги, их жизни ждали его команды, чтобы беззаветно выполнить её. А он не знал, какую отдать команду десятку людей, он, мечтавший о том, что будет командовать миром.

— Вы убиты, — сказал, безнадёжно махнув рукой, Угарный. — Гущин, принимайте отделение, действуйте.

Алёша отошёл в сторону. Он убит? Да, убит. Смят, раздавлен. Гущин повёл отделение в бой. За ним побежали бойцы.

Гущин преобразился. Он стал выше, подвижнее, ловче. Хрипло отдавал команды. Окидывал взглядом местность. Одним движением правой руки подымал залёгших на рубеже бойцов и двигал их вперёд, вперёд, на противника.

Холмы, горы, овраги, долина — всё ожило. Перед Алёшей развернулась увлекательнейшая картина боя — боя беззвучного, без выстрелов, без противника, без крови.

Бойцы перебежали поля, занимали рубежи, террасы, открывали огонь, ползли по снегу, скатывались в овраг, брели вдоль него, ломая сухие ветви кустарника, и снова выходили к горам, подчиняясь хриплому шёпоту командира отделения и нетерпеливому движению его правой руки.

Потрясённый Алёша растерянно следил за тем, что разыгрывалось перед ним. Даже ему стал до осязаемости ясен план Гущина. Все движения его казались исполненными здравого смысла и воли. Вот он по кошачьи подбирается со своим отделением к противнику, сжимает его, преодолевает рубеж за рубежом, сочетая движение и огонь; вот побежал, пригнувшись и зажав подмышкой винтовку, Сташевский, добежал до кустика, упал, стреляет; с лёгким пулемётом в руках бежит уж Рунич и

чуть позади и в стороне — Ляшенко, упали, стреляют; вот косолапо бежит Дымщиц... Вдруг все скатываются в овраг, и опять впереди всех Гущин. Бредут, ломая кустарник, с сучьев сыплется снег... Прижимаются к ребру оврага... Гущин что-то объясняет. И вот уж все у самой высоты, занятой противником. Вокруг Гущина сбились бойцы, они лежат у самого ската, прижавшись к земле, покрытой мохнатым первым снегом, готовые к прыжку, напряжённые, взволнованные, вероятно, хрипло дышат. Но вот уж гремит их страшное «Ура-а-а!» Они бегут по горе — винтовки наперевес, блестят штыки, споткнувшись, падает Дымщиц. Убит? А впереди всех Гущин. («Я бы должен был быть на его месте», — мелькает горькая мысль.) Но на высотке — Гущин, невзрачный, смущающийся «отделком». «Из таких-то и выходят герои!» — с неожиданной завистью подумал Алёша.

Командир взвода подошёл к нему.

— Теперь вам понятно, Гайдаш? — Алексею показалось, что на губах командира проскользнула насмешливая улыбка. Он озлился: зачем смеяться над ним? Он и без того обескуражен своим очередным провалом.

Вернулись бойцы, запыхавшиеся, утомлённые. Угарный объявил перекурку. Дымщиц стал счищать снег с себя — он весь был в снегу, снег забился даже за шиворот, бедняга много падал, но имел вид бравый и ликующий.

На следующий же день Гайдаш «отомстил» Угарному за неуместную улыбку. Случилось это на политзанятиях — последний плацдарм, на котором ещё воевал Гайдаш.

Командир взвода Угарный не был первоклассным знатоком политграмоты. Был он ровесником Алёши и только на год старше бойцов своего взвода. Он пришёл в армию всего год назад прямо со школьной скамьи, окончив сельскохозяйственный техникум где-то в Сибири. Краснощёкий, плечистый крестьянский парень. Армия полюбилась ему, он сдал экзамен на командира взвода и остался. Он ходил ещё в старой армейской шинели, но с петлиц тщательно соскоблил номер полка. Новая шинель уже шилась, настоящая командирская шинель с кавалерийским разрезом сзади и рукавами с раструбами. На кавказских границах форма соблюдалась не свято, командиры щеголяли в гимнастёрках особого кавказского покроя, с высоким воротником, доверху застёгивающимся на пуговицы. Угарный ходил примерять шинель к полковому портному, старику-армянину, который шил ещё «на господ офицеров». Свою армейскую, серого сукна шинель, испачканную ружейным маслом и засохшей грязью, Угарный втайне ненавидел — она была слишком коротка и несолидна для командира. Был он ещё смущающимся мальчиком, и когда отделённый командир Гущин скомандовал при его первом появлении во взводе: «Смирно!», он растерялся и похолодел от ребяческого счастья. «Это мне, мне?» — осторожно подумал он.

Его любили во взводе. Любили и в полку. Когда он был дежурным по полку, гарнизонный народ был весел и даже строгий Карпыч ухмылялся. Командиры относились к нему отечески. Был он красив, здоров, силен и отличался чисто сибирским ленивым добродушием. Он неплохо пел и всегда запевал, идя во главе взвода. Он кое-что читал, но больше любил ходить на лыжах. Он был уверен, что полк, в котором он служит, — лучший в армии и рота — лучшая в полку. Ему хотелось, чтобы и взвод его был лучшим в роте, но он понимал, что молод и неопытен, поэтому работал втрое. Часто он оставался до темна в казарме, возился у своих винтовок, присев на табурет у коек, подолгу беседовал с бойцами. Если даже и не было ему дела в казарме, он всё же засиживался здесь — домой не хотелось. Что дома? Холостяцкая квартира, дыры от гвоздей в облупленных стенах. Где-то в Сибири у него была старушка-мать, он всё звал её приехать жить к нему, мечтал о семейной квартире («Собирались бы у меня

товарищи, мать поила б всех чаем, пели б, бренчали на гитаре»), но старушку пугала дальняя дорога, она всё не решалась приехать, и Угарный жил пока вдвоём с товарищем, тоже вчерашним одногодичником, в комнате, которую они снимали у тюрка-садовода. Была у Угарного «невеста» — в роте знали, что зовут её Глашей, что Глаша — агроном, кончила вместе с Угарным техникум и работает где-то в МТС, что она — сибирячка, широколицая, с серыми глазами и высоким лбом (её карточка висит над кроватью комвзвода). Знали, что из-за неё Угарный просился в СибВО, но его оставили здесь, и теперь он ждёт отпуска, чтобы поехать за Глашей и привезти её сюда. В общем, был Владимир Угарный честным, простым парнем, смотрел на жизнь легко и весело, предан был своему делу, любил свою новую профессию, об академии ещё не мечтал, но командиром собирался стать отличным. И командир полка предсказывал ему это.

Но в политграмоте Гайдаш был сильнее командира взвода и, главное, искущённее его. Слишком всё просто и ясно было Угарному, в формулировках он не был искусен и предпочитал преподавать политическую грамоту, как сам понимал её. Алексею легко было изловить молодого командира в неточных формулировках. Осторожными, невинными вопросами он спровоцировал Угарного, заставил договориться до бессмысленных вещей, а затем сдержанно, но едко стал высмеивать. Он не горячился, не нервничал, не спорил — нет, он только спрашивал, недоумевал, «недопонимал», как говорят политруки.

Два часа продолжалась эта схватка. Алёша вышел победителем из неё. Вспотевший, смущённый и раздосадованный, Угарный сказал ему:

— Вы, Гайдаш, не вносите... — он хотел сказать «вольностей», но сказал: — дезорганизации.

Это было свидетельством беспомощности командира. Алексей торжествуя посмотрел на бойцов. К его удивлению, все хмуро молчали. Никто не ухмылялся. Всем было неловко. Они не одобряли Гайдаша, он почувствовал это и понял почему: они любили Угарного и не любили Гайдаша. Смущённый победитель сел на место. К чему он затеял это?

Вечером к нему подошёл политрук и сказал весело:

— Я хочу потолковать с вами, Гайдаш.

Они прошли в ротную канцелярию, маленькую комнату, похожую одновременно и на цейхгауз (здесь в углу были свалены в кучу мишени, карты, рогтое имущество) и на холостяцкую квартиру: стояла койка ротного писаря — он жил здесь, — на стене висела гитара с алым бантом, фотографии в рамках из ракушек, автопортрет писаря в полной форме, написанный карандашом и без тени самокритики, пахло дешёвым одеколоном и сапожной ваксой.

— Вы напрасно привязались к Угарному, — сказал политрук и взял Алёшу за пуговицу. Беседа начиналась в заговорщицко-дружеском тоне. Её надо было понимать так: давай потолкуем, как товарищи. И ты и я политически тёртые люди. Конечно, Угарный напугал. Ну, а ты? — За таким, как Угарный, — сказал политрук, — люди беззаветно пойдут в бой, на смерть. Он им объяснит политграмоту под пулями так, как вам не объяснить, Гайдаш, я это дружески говорю. Не верно?

Гайдаш вспомнил Гущина на подступах к высотке. Угарный из того же теста. Из него пекут героев. Да, он, пожалуй, согласен с политруком.

— Ну вот, — обрадовался тот. — А ты полез с ним в драку. Зачем?

Гайдаш недовольно пожал плечами.

— Лучше помог бы командиру, растолковал. Ты парень грамотный. Где работал до армии?

— Я был секретарём окружкома комсомола в Донбассе, — отчеканил Алёша и горько усмехнулся. Секретарём окружкома, а теперь стоит, как виноватый школьник, перед ротным политруком.

— Да ну? — опять обрадовался весёлый политрук. — Понимаешь, я сам был на комсомольской работе.

Гайдаш давно подозревал это — комсомольское так и било из политрука. Он заметил это с первого взгляда. И в том, как говорил политрук (ему трудно было, например, долго говорить человеку «вы», положенное по уставу, и всё сбивался на комсомольское «ты»), и в том, как таскал кипу книжек подмышкой, и в том, как выступал на собраниях (свойственный старым комсомольцам интимно-дружеский, весёлый стиль), и в общем облике, которым явно отличался от строевых командиров, хотя ни в какой небрежности нельзя было упрекнуть политрука. Разве только, что ворот гимнастёрки несколько широк да ремень свободен?

Ах, вот как! Значит, политрук и в самом деле бывший комсомольский работник! Это любопытно. Что же, он был секретарём ячейки где-нибудь в депо или секретарём волостного комитета? Гайдаш презрительно усмехнулся — усмешкой генерала над армейским прапорщиком.

— Где ты работал? — спросил он, легко переходя на «ты».

— Я был секретарём губкома комсомола на Волге.

— Постой! — растерялся Алёша. — Как фамилия?

— Конопатин Иван. А что?

— Тот Конопатин, который... Да я тебя знаю. Но как же ты попал сюда?

— Как? Очень просто, как все попадают сюда.

— Провинился?

Конопатин не понял, потом нахмурился.

— Что за глупости? Вот глупости-то! Просто я по мобилизации Цекамола — в армию. Лучших ребят посылали, — с гордостью добавил он.

Неловкость скоро исчезла. Стали вспоминать старых комсомольских товарищей, съездовские драки, смешные эпизоды. Скоро начали называть друг друга Ваней, Алёшей; расстались друзьями. Этот вечер был лучшим за всё время службы.

«Вот и я бы мог стать политруком, остаться в армии, — подумал Алёша, когда уже укладывался спать. — Потом в академию... — Он весело засмеялся, лёг, натянул одеяло до подбородка. — Отличный из меня политрук бы вышел в конце концов... Или даже комиссар, а?» — Он подмигнул лампочке, она мигнула в ответ и погасла. Отбой. Спать.

На следующий день он с нетерпением стал ждать прихода политрука в роту. Тот пришёл вместе с комроты Зубакиным. После рапорта прошли в ленуголок.

— Конопатин! Ваня! — не сдержавшись, крикнул Алёша. Он хотел ему рассказать, что... но, спохватившись, понял, что сделал дикую глупость. Смущённо покраснел Конопатин, удивлённо вскинул брови комроты, сделал страшные глаза старшина, засмеялись бойцы. И даже Гушин неодобрительно покачал головой.

— Какой он вам Ваня! — прошептал он Алёше укоризненно. — Это вне строя — Ваня. А тут — товарищ политрук.

Конечно, он сделал глупость, но почему-то разолился на Конопатина. Значит, будет двойная жизнь: в роте — товарищ политрук, руки по швам, субординация, а вечером — милый Ваня, помнишь, как, бывало... Нет, лучше подальше, подальше от милого Вани.

Он забился в угол и был рад, когда наконец взвод пошёл в горы. С тех пор стал избегать Конопатина. Реже стал ходить в клуб. Чаще отсиживался в углу, у печки. Угарного больше не задевал. На политзанятиях сидел молча.

Иногда в штабе полка вспоминали о прежних профессиях бойцов. Сташевского вызвали однажды в полковой гараж помочь шофёру наладить

грузовую машину. Сташевский двое суток работал в гараже. Алёша случайно видел, как возился он у машины, подползал под кузов, орудовал ключом. Он снова был в своей стихии. Деловитый, озабоченный, с сигаркой в левом углу рта, он стоял, упершись ключом в бок, и снисходительно смотрел на машину, как доктор на больного, как мастер на станок. В другой раз вызвали в штаб Ляшенко — что-то случилось с котлами на электростанции. Рунич целыми вечерами пропадал в клубе, в будке киномеханика, потом затеял спектакль, носился с пьесой, добывал грим. Левашов скоро признан был лучшим спортсменом в полку, и ему поручили занятия по конькам и лыжам с командирами.

Только Алёшу никто никуда не звал, не требовал, никому он не был нужен. Ему предложили было работать в полковой газете — он отказался.

— Я не писака, — презрительно пожал он плечами.

Конопатин посоветовал ему взять партшколу, он уклонился. Больше его не беспокоили. Он был рад этому. Спасительное оцепенение снова охватило его. Было покойно сидеть по вечерам в полутёмной казарме, схватив колени руками, и покачиваться, ни о чём не вспоминая.

О чём он думал? Да так, ни о чём. Он ловил себя на том, что и мысли у него стали вялые, ленивые. Рано ложился спать. Спал в мёртвый час. Потом днём вспоминались обрывки снов — в них не было ничего значительного. Куда-то бежал, что-то делал...

Бредя по оврагу с дозором, спотыкаясь в сугробах, проваливаясь в снег, он машинально отмечал: снег мягкий, деревья чёрные, тонкие... Кто бы подумал — это бредёт бывший секретарь окружкама?.. На соснах хлопья...

Рыл окоп, отбрасывал лопатой снег.

— Долго ещё так? Сколько же?

Стрелял он то отлично, то очень плохо, — он и сам не знал, как будет стрелять сегодня. Командир роты назвал его «настроенческим стрелком».

— Гайдаш у нас стреляет по настроению! — с досадой говорил комроты. Он чаще, чем к другим, приглядывался к Алёше. Ложился возле него на стрельбище. Терпеливо объяснял все ошибки, замечал даже мельчайшие.

«Зачем он нянчится со мной? — с досадой думал Гайдаш. — Оставил бы в покое. Какой есть, таким и буду. Чего тут!»

Но комроты не оставлял его в покое. И снова и снова валился рядом с ним в снег, смотрел, как держит стрелок винтовку, как нажал на крючок.

— Вам скоро в полковую школу переходить, Гайдаш, — говаривал он. — С чем туда явиться? — И обиженно выговаривал главное: — Вот, скажут, Зубакин не смог подготовить стрелка.

Отличная стрельба — это был конёк Зубакина. О чём бы ни говорил он на собраниях, он заканчивал всегда так:

— Но главное — это стрелковая подготовка и отличная стрельба, товарищи.

Забавный эпизод рассказывали о нём: как-то в лагере, во время инспекторских стрельб, он стрелял неожиданно скверно. Он сам удивился этому результату, но было уже поздно. Это так потрясло снайпера, что он тут же с горя напился (что случалось с ним крайне редко) и ночью, взяв в свидетели товарища командира, пошёл на стрельбище и при луне поразил все мишени, которые только нашёл.

Это была отличная стрельба, но за неё пришлось отсидеть пять суток на гауптвахте.

Плохие стрелки вызывали у него физическое отвращение и безразличность. Он никак не мог понять, как можно плохо стрелять из хорошей винтовки. Он несколько раз сам проверял винтовку Алёши — она была отличного боя.

— С такой машиной и не стать отличным стрелком? — восклицал он с досадой, когда Алёша докладывал ему печальные результаты своей стрельбы.

Мучительно было итти с таким докладом к комроты. Алексей, лениво волоча ноги, отходил от мишени и медленно, стараясь оттянуть неприятный момент, брёл к огневому рубежу, где ждал его комроты. Подойдя, бормотал:

— Стрелок Гайдаш по третьей задаче выполнил ноль.

Вокруг смеялись. Комроты хмурился, цедил сквозь зубы:

— Ноль целых, ноль десятых. Далеко пойдёте, Гайдаш!

Алексей, мрачно волоча винтовку, уходил в тыл, всегда в одно и то же место, на западный склон безымянной высоты, — отсюда видны были чёрные кипарисы посёлка. Он давно открыл их, и это было великое открытие — оно обеспечило Алёше покой.

Смятенный, подавленный, он приходил сюда и долго смотрел вперёд, — там, за магомётанским кладбищем, полузанесённым снегом, на высокоом холме дремали три кипариса, прямые, стройные и неподвижные, точно нарисованные углем на белом фоне земли и неба. Они были древни, как вечность, и величавы, как тишина. Никогда Алёша не видел, чтобы они гнулись, никогда не слышал, чтобы они скрипели. Они дремали, чуть склонив вершины, равнодушные ко всему и прекрасные в своём ироническом презрении к миру. И всё дремало вокруг. Высокое белое небо. Тусклый, матовый снег. Тишина. Дрёма. Ни шороха, ни движения. Где-то далёкие выстрелы, как во сне...

И тогда ощущение необычайного покоя вливалось в Алёшу. Ослабевшие, опускались руки, вытягивалось тело. Он лежал, обессиленный, безвольный, расслабленный, погружённый в зябкую дремоту, один на снегу. Что стало с ним? Тот ли это Алёша, который, бывало, кипел и горел лихорадочным огнём в комсомоле? Что случилось с ним? Что с ним будет? Но он отгонял эти мысли нетерпеливым движением руки и бровей и снова погружался в оцепенение. Так лучше, так покойнее.

«Всё равно, всё равно, — думал он сонно. — Всё равно».

Теперь редко получал он вести из дому. Товарищи писали ему, он не отвечал, они бросили писать. Теперь он даже жалел об этом, но по-прежнему никому не писал.

Когда вечером приносили в роту почту и бойцы нетерпеливо набрасывались на дневальное, он тоже подходил. Хорошо бы получить письмо, тёплое, родное. Он знал — неоткуда ждать писем. Разве Любаша? Дневальный громко выкрикивал имена счастливых — их заставляли плясать за письмо, — Алёше писем не было. Он уходил обратно, в свой угол, даже не опечаленный.

Всё равно.

Всё реже и реже писала Любаша. И опять в этом был виноват только он, он один. Он ответил ей однажды коротко и грубо, с досадой: «Забудь меня и выходи замуж». Потом пожалел об этом, хотел было написать вдогонку другое письмо, да так и не написал.

Всё равно! Любаша обиделась и прислала письмо, искапанное слезами. Он поморщился и не ответил. После мёртвого часа он любил в лениулке читать газеты. Нетерпеливо ждал, когда принесут их из полковой библиотеки. Сам часто, не выдержав, ходил за ними. Долго читал, от строки до строки. До объявления о спектаклях в театрах. «А я-то ни разу в жизни так и не собрался в оперу?!» — думал он при этом. Как много упущено им в прошлой жизни!

Однажды он с удивлением увидел в газете портрет Павлика Гамаюна: да, это он, это его лицо, непохожее и похожее, с застенчивой улыбкой на губах. По этой улыбке Алёша только и узнал его. О Павлике писали, что он со своей комсомольской бригадой монтажников показал чудеса на

стройке новой домны. Журналист подробно и восторженно описывал молодого мастера и его рекорды.

«Так, Павлик стал героем», — подумал Алёша и не обрадовался, а почувствовал даже какое-то неприятное, гадкое чувство, в котором не захотел сознаться себе. Зависть? Он сердито отбросил газету.

В другой раз попало имя Рябинина. Инженера ругали за то, что смена его отстаёт. Ругали хлёстко, но опять только зависть почувствовал, прочитав заметку, Гайдаш. Зависть? К кому? К Рябинину? За то, что его ругали?

Он даже сам удивился. Разве мало ругали Алёшу? Ему ли завидовать! И всё-таки это была зависть, непонятная, дикая, смешная, — бесполезно было отрицать её.

Откинувшись на спинку стула и чуть прищурив глаза, Алексей пытался представить, что делают сейчас Рябинин, Павлик, Любаша, Ершов. Строится ли завод Ершова? Он видел тогда озабоченное лицо Рябинина, озарённое багровым пламенем плавки. Он видел Павлика в распахнутом полушубке и с шарфом, раздутым ветром, на самой вершине мачты. Думают ли они о своём товарище, об Алёше? Но им нельзя. Они заняты.

Глухо доносилось до Алёши шум стройки, охватившей страну. Вероятно, в этот шум вливались и скрип брёвен на Куре, и грохот разбиваемого молотками камня на новой шоссейной дороге в горах, и, может быть, трескотня выстрелов на стрельбище.

Ему хотелось тогда написать Павлику и Рябинину тёплое, дружеское письмо, что-нибудь о том, что вы, мол, строите и будьте спокойны за границу: ваш труд оберегается надёжными часовыми. Но имел ли он право так написать после сегодняшней стрельбы? Не начать ли прежде тренироваться в стрельбе, а потом уж писать? Эти мысли беспокоили, раздражали его — лучше было не думать, не читать. Махнуть рукой — всё равно, всё равно! — и уйти в угол, к печке, смотреть, как дымят головешки, и дремать под сладкий и тёплый запах сгорающих дров.

Но к газетам тянуло. Это была ежедневная пытка, от которой не уйти. Он бичевал себя газетой. «Вот, — злорадствовал он над собой, — вот стал уже Васька Спирин секретарём горкома партии. Давно ль ты ел с ним вместе бутерброды на заседаниях Губкома?» Как быстро росли люди! Он не успевал угнаться за ними по газетным столбцам.

Что будет с ними через год, когда он вернётся! К ним нельзя будет и подступиться. Они заважничают, зазнаются. Захотят ли они принять его? Небось, продержат в приёмной часок-другой, потом снисходительно примут. О нет, он не пойдёт к ним. Ни за что! А куда же он пойдёт? Что будет делать?

— После! После! После успею подумать!

Теперь он хотел только одного — чтобы его оставили в покое, чтобы забыли о нём. Вычеркнули бы. Был такой Алексей Гайдаш. Умер. Погиб. Сорвался с небоскрёба.

Но его не хотели оставлять в покое. Конопатин всё чаще и чаще вёл душевительные беседы. Политрук не понимал, что произошло с Гайдашем, но Гайдаш и сам не понимал этого. Беседы только озлобили его. «Зачем со мной нянчатся? Я не ребёнок». Он грубо отвечал командиру.

Однажды Конопатин сказал:

— Боюсь, что я могу поставить тебе диагноз — у тебя «паньска хвороба», как говорят у вас, на Украине. Откуда в тебе, в рабочем парне, эта болезнь — ума не приложу. Но факт — паньска хвороба. Был пан, а теперь пропал, так ведь ты рассуждаешь? Глупо, не по-большевистски.

Он добился перевода Гайдаша в другой взвод. Ему казалось, что новая обстановка, новые товарищи изменят настроение Алёши. Гайдаш догадался об этом и покраснел от стыда и злости. «Вот как! Приняты экстраординарные меры, как к неизлечимому больному. Подсовывают

кислородные подушки. Да не хочу я дышать кислородом, дайте воздуха или оставьте в покое. Лучше всего — оставьте в покое».

И в новом взводе он продолжал жить, как жил раньше. Нёс службу без любви и чувства, ни с кем не дружил, отмалчивался, держался в стороне. А по вечерам, укладываясь спать, думал: «Вот и ещё день прошёл. Уже декабрь на ущербе. Сколько ещё осталось? А дальше что?» Чтобы не думать, бросался в постель, накрывался с головой одеялом. Сон — лучшее лекарство от неприятных мыслей. Он умел теперь быстро засыпать.

Иногда вместе с ротой он ходил в клуб смотреть новую кинокартину. Шли строем, у клуба останавливались, повзводно входили в зал. Там было уже много командиров, жён, детей. На сеансы всегда приходило всё население полка. Это было одно из полковых развлечений. Детишки бежали по залу. Женщины громко разговаривали, смеялись. Алексею иногда случалось сидеть рядом с какой-нибудь девушкой — он смущённо прятал тогда свои руки, ноги, съёживался весь. Он одичал немного. Чувствовал себя стеснённо в серой ворсистой шинели. От сапог пахло ворванью и дёгтем.

Рунич громко читал надписи — это была его официальная обязанность. В полку было ещё много малограмотных — они учились в школах. Рунич читал с чувством, толком и расстановкой. Иногда от себя комментировал. Над его шутками одобрительно смеялись. Он был здесь, в клубе, свой человек. Начальник клуба озабоченно беседовал с ним. Девушки смущённо здоровались, спрашивали: когда следующая репетиция? Он шутил с ними, шаркал сапогами.

Иногда в тишине зала вдруг раздавался возглас: «Старшину третьей роты в штаб полка!» — потом осторожный топот сапог: это старшина раздосадованно пробирался к выходу. Фильм продолжал вертеться. Слышно было потрескивание аппарата. Алексей дремал на своей скамейке. Испуганно вздрагивал, очнувшись, тупо глядел на полотно — там мчался поезд. Поезд, — он давно уж не видел поезда. Потом опять смыкались веки.

Чаще всего он, впрочем, уходил за сцену. Здесь, в маленькой комнате, жил Максим Пехотный, с ним у Алёши сразу установилась странная, молчаливая дружба.

Максим Пехотный был принадлежностью горного полка, как и казармы на холмах, как и полковое знамя в сером чехле в штабе, как и дневальный у ворот. Без него нельзя было представить N-ский горный стрелковый полк.

Лет десять назад, в походе на манёврах, к полку пристал беспризорный босой мальчишка. Откуда он взялся, как возник на пыльном шоссе — никто не знал. Парнишка пристал к взводу музыкантов и шёл рядом с барабанщиком, очарованно глядя на медные трубы, кларнеты, флейты и почтительно на старика-капельмейстера, покрытого потом. Он больше и не отставал от музыкантов, спал рядом с ними на траве, ел у их котлов и однажды даже нёс целый переход гигантскую трубу, которая охватила его медными кольцами, как змея.

— Ничего... Я сильный... Я донесу... — говорил он, когда хотели у него отобрать трубу, и нёс, покрываясь потом и задыхаясь, гордый, счастливый, большой. Он даже украдкой дул в трубу. Его разочаровывало, что оттуда не вырываются никакие звуки, он дул сильнее — ничего не получилось. Он чуть не заплакал.

Никто не знал, как зовут его. Сказал только, что Максим, а фамилию не знает. Его прозвали Максимом Пехотным. Тем самым была решена его судьба — он стал сыном полка.

Трубач из него не вышел: у парнишки оказались слабые лёгкие. Тогда он стал брэнчать на балалайке. Старик-капельмейстер показал ему но-

ты — большому он научить не мог, — и сам удивился, услышав, как отлично играет Максим. Откуда он научился? Он играл на гитаре, на балалайке, даже на скрипке — в походах, у костра, его любили слушать бойцы.

Так он и жил в полку уже десять лет, носил армейское обмундирование, ел в красноармейской столовке, а жил в клубе, в маленькой комнатке за сценой, служившей и складом музыкальных инструментов, и гримировочной, и жильём. Он выступал в концертах в полку всегда с шумным успехом, играл в струнном оркестре, а днём писал плакаты для клуба, объявления и афиши.

Был он тихим, молчаливым, болезненным человеком, артистом в душе и в жизни, с глубоко посаженными чистыми глазами и неприметной внешностью.

Алёша любил приходить к нему вечером. Входил, не здороваясь, молча садился на койку. Пехотный оборачивался на шаги, кивал головой и продолжал настраивать балалайку. Так молчали они долго, потом Алёша просил:

— Сыграй, пожалуйста.

Максим охотно играл. Перед каждым номером застенчиво объяснял:

— «Ноктюрн» называется. Музыка Чайковского Петра Ильича, — откашливался, словно собираясь петь, и ударял по струнам.

Постепенно комната наполнялась людьми. Приходили и знакомые и незнакомые. Это был клуб в клубе. Пехотный продолжал играть. Иногда откладывал балалайку, брал скрипку. Со всех сторон сыпались заказы, он покорно исполнял их. С весёлой русской плясовой переходил на грустный вальс.

При этом лицо его оставалось непроницаемым. Играл ли он весёлое, печальное, медленное или бравурное — лицо оставалось неподвижным, сосредоточенным, и только глаза под нахмурившимися бровями теплились ярко и радостно. Ему доставлял радость самый процесс игры.

Но была одна вещь, которую он играл особо; это знал Алёша, и когда все уходило, он просил Пехотного сыграть её. Это было сочинение самого Пехотного. Необычайно грустное, в котором восточные мотивы, навеянные горами, странно сплетались с песнями украинских степей, где, вероятно, и родился Максим Пехотный.

И Алёша, раскачиваясь и закрыв глаза, слушал эту странную мелодию. И когда она кончалась, не говорил ни «хорошо», ни «спасибо», а только:

— Сыграй ещё!

И Пехотный снова начинал её, медленно взмахивая смычком, останавливался, точно задумавшись, и снова трогал струны.

А Алексей слушал, отвернувшись лицом к стене, и казалось ему, в этой непонятной мелодии — вся его жизнь, странно перепутанная, где горы слились со степями, где нет уж ни степей, ни гор, а только одна тонкая, жалобная струна, такая тонкая, что вот-вот лопнет...

Однажды он стоял в карауле у порохового погреба. Медленно текла ночь, чёрная, густая. Он шагал по тропинке взад и вперёд и всматривался в темень, вслушивался в шорохи. Внизу, у порохового погреба, тихо по-визгивала собака, раздавались тяжёлые шаги, поскрипывал снег — это бродил Покровский, часовой у погреба. Когда Алёша доходил до конца своей тропинки, Покровский был уже на другом конце своей. Они шагали мерно, как маятники. Один — вверху, другой — внизу. Их пути не встречались. Их шаги отстукивали время. Медленно, по капле, струилась тягучая, густая ночь.

Караульный начальник сказал Алёше:

— Как взойдёт солнце — сменяйся сам, иди спать в казарму.

Пост был ночной, добавочный. Его ввели недавно — пронёсся слух, что в горах на границе шалят. Карнач наказал Алёше бдительнее всматриваться в горы. Он всматривался — ничего не видел. Ночь. Темень. Глухие шорохи. Он прислушался: нет, это ветер.

Изредка он поглядывал на восток — рассвет ещё не скоро. Показалось, что никогда вообще не будет рассвета. Горы так плотно, так черно нависли вокруг, ночь была такая тёмная и густая, что, казалось, никаких сил солнца не хватит, чтобы справиться с этой тьмой. Не пробиться ему! Никогда ещё не видал Алексей такой тёмной ночи.

Протёр снегом глаза. Снова зашагал. Справа была высота 537, за ней — 715, слева — горная тропа к Грельскому перевалу, на восток — Сахарная Головка, на юг — высота 523. Он окинул взглядом все холмы и горы одну за другой, словно делал смотр своему хозяйству. Горы принадлежали сейчас ему. Он отвечал за них. Он снова прислушался: в горах шумел ветер.

Не первый раз стоял он в карауле. Но всякий раз было ожидание: сегодня наконец что-нибудь случится. Он ждал, судорожно стискивал винтовку. Но смена кончалась, и ничего не происходило. Уходил с поста разочарованный.

Он подумал: «Если бы сейчас Ковалёв шёл по этой тропинке, я, не окликнув, убил бы его».

Этой ночью Ковалёв опять приходил в караульное помещение — Алексей знал, что он придёт, он всегда приходил, когда Алёша стоял в карауле. Откуда узнавал он это? Неужели каждый раз просматривал список суточного наряда? «Как же он ненавидит меня!»

Ковалёв всегда находил какие-нибудь упущения. И наутро командир роты или командир взвода вызывал к себе Гайдаша и хмуро говорил ему:

— Помощник начальника штаба полка опять остался недоволен вами. Вы плохо отдали рапорт. У вас было грязно в казарме. Вы не сумели ответить на вопросы из устава... Мне приходится краснеть за вас.

Всё это должен был молча выслушивать Алёша. Иногда ему хотелось рассказать им, кто такой Ковалёв. Но что он может рассказать? Они всё знают, он ничего не скрывает. «Но он враг, враг...» «Докажите», — скажут ему. И нечего им ответить.

Ковалёв травил его осторожно и методично. Алёша чувствовал на себе его пальцы, но придаться было не к чему: Ковалёв спрашивал только службу.

Скрипя сапогами, входил помначштаба в караулку, сразу же находил неполадки, распекал всех, потом садился и начинал экзамен. Он был комендантом гарнизона, он имел право спрашивать. Он спрашивал, что будут делать часовые в случае пожара и в случае газовой тревоги, и кто кому какой доклад должен делать и кому не делать, и после каждого вопроса поворачивался к Гайдашу:

— А вы как думаете, Гайдаш?

Красноармейцы ненавидели Ковалёва — это с радостью заметил Алёша. Они ненавидели его чутьём, нюхом. Ненавидели его суховатое обращение с ними, его мелочную придирчивость. Он умел молчаливо и корректно издеваться над бойцами. Сухим, степенным голосом он задавал какой-нибудь каверзный вопрос из Гарнизонного устава и молча ждал ответа. Он ждал минуту, две, три, пять. Ждал молча, не понукая, не подбадривая, не поясняя, а только глядя в упор на красноармейца холодным, пронизывающим взглядом. И все вокруг молчали, как бы в оцепенении. Тикали часы, поскрипывали сухие половицы. Так проходило время, и каждый присутствовавший при этой мучительно-бессмысленной сцене

готов был провалиться сквозь потрескивающие половицы, только бы не слышать этого молчания.

И когда всем становилось невмоготу, Ковалёв медленно поворачивался к Алёше и спрашивал его, улыбаясь кончиками губ:

— Ну, а вы как думаете, Гайдаш?

«Я бы убил его. Это враг», — снова сказал себе Алёша, и ему представилось: ночь, шорох на тропинке, идёт Ковалёв, поскрипывая сапогами, постукивая плёткой о голенища. Это одно мгновение — прицелиться и... Он зажмурился. Потом открыл глаза. Блеснула под фонарём колючая проволока. Внизу тихонько завyla собака.

— Кто идёт? — раздался окрик внизу.

Потом тишина. Щёлканье затвора. Опять тишина. Собака стихла. Что померещилось Покровскому? Прислушался: в горах было тихо. Ветер улёгся. Тишина... «Какое я имею право убивать или не убивать? Это дело трибунала. Лучше не думать об этом... Что сейчас делают ребята — Павлик, Рябинин, Мотя? Спят, поди. Спят. Тихо, покойно. А Любаша? Вышла ли она замуж? Пусть выходит. Пусть, пусть. Пусть будет счастлива. Пусть все будут счастливы — и Павлик, и Рябинин, и Мотя. Спите спокойно, ребята. Спите, ничего. Я похожу за вас. Спите спокойно».

Он был бы, очевидно, отличным бойцом на фронте. Вот почему он любил караулы в горах, ночью. Он мечтал о том, чтобы из тьмы вдруг бросились на него враги, чем больше, тем лучше. Он никого не будил бы, он один стоял бы здесь на тропинке, стерёг пороховой погреб, полк, сон товарищей. Если бы пуля сразила его, что ж, он хорошо бы умер. Лучше, чем жил. С тоской вспомнил о казарме. «Что делается сейчас в караульном помещении? Карнач, вероятно, читает — у него привычка шевелить губами при чтении. Он недавно здесь, в полку, выучился читать. Читает запоем, и всё, что попадёт под руку. Одна смена спит, другая бодрствует, пьёт чай, может быть, тихо болтает у печки».

Украдкой взглянул на восток. Там что-то посерело. Или только показалось?

Когда солнце взойдёт, он может смениться. Ночной пост станет ненужным. Но он и не хотел уходить отсюда. Зачем? Пойти опять в казарму, завалиться спать? Здесь было ему хорошо одному, среди чёрных, мрачных гор. Он караулил покой полка. Он караулил солнце. Когда солнце взойдёт, он может и смениться, может и остаться здесь. Он шагал по тропинке, выходил за поворот и долго смотрел в сторону Грельского перевала. Оттуда вероятнее всего можно было ждать неожиданности. Он хотел, чтобы она случилась.

Вдруг запели петухи, хриплые, страстные. Они запели где-то далеко в горах, и им сразу отозвались петухи в городе. Их крик словно разорвал тьму, сразу стало сереть. Алексей повернулся лицом к востоку. Там, за Сахарной Головкой, что-то готовилось. Оттуда, дрожащие и робкие, побежали тени. Они поползли по горам, по земле, неуверенные, тусклые, осторожные.

Но на это нельзя долго смотреть, надо ходить по тропинке. Поворачивается спиной к востоку, теперь тени дрожат за его спиной, бегут впереди него по дорожке. Снег становится матово-тусклым, смятым. Когда он снова оборачивается лицом к востоку, там уже разыгрывается утренняя кутерьма. Он идёт на восток медленно, стараясь продлить путь и увидеть больше. Он замечает, что край неба чуть подгорел, как корочка хлеба. Он ещё не румяный, нет, а именно чуть подгоревший, золотистый, вкусный. Но румянец всё ярче и ярче брызжет оттуда, небо пылает, светлеют горы, и теперь уже ясно видны турецкие снежные хребты (снег розовый), и город внизу, и пороховой погреб, и Покровский, шагающий по тропинке.

Но уходить не хочется. Как жаль, что ничего не случилось. Снова терпкое разочарование. Алексей ещё ходит по тропинке. Зачем? Он укараулил солнце, вот оно играет в небе, день будет чудесный, солнечный, молодой. Алексей может итти спать. Больше он никому не нужен.

Так проходит ещё полчаса. Может быть, меньше, может быть, больше. Он не знает счёта минутам. Покровский сменился — значит уже больше шести часов. Полк ожил. Оттуда доносятся голоса и звук трубы.

Вдруг он слышит топот за спиной. Он быстро поворачивается. Кто-то скачет по тропинке. Всадника ещё не видно, но явно слышен цокот копыт, когда они попадают на камни. Он скидывает винтовку и ждёт. Топот приближается. Радостная дрожь проходит по спине. Он ждёт, вскинув винтовку.

Вдруг из-за поворота показывается всадник.

— Стой! — кричит Алёша. — Стой!

Всадник осаживает коня. Теперь Алёше видно, что всадник в чёрном кожаном лётном шлеме и в черкеске. На солнце блестят газыри, серебряная насечка седла. Конь нетерпеливо рвётся вперёд. Всадник осаживает его. Он безбородый и, вероятно, очень молодой.

Алексей не опускает винтовки. Радостно колотится сердце.

— Слезай! — хрипло командует он. Губы пересохли.

В ответ раздаётся гортанный протестующий крик.

— Слезай! — повторяет он нетерпеливо и щёлкает затвором.

— Вы с ума сошли! — кричит всадник. Станный голос. Это девушка? — Я сестра Врдания. Пропустите. Чкара! — нетерпеливо прибавляет она.

Алексей смущён. Но рассказы о хитрых шпионках и контрабандистах мгновенно проносятся в голове, и он снова упрямо повторяет:

— Слезай. Буду стрелять. — И прибавляет с угрюмой вежливостью: — Слезайте.

Девушка негодуя спрыгивает на землю. Она высокая, тонкая. Озарённая солнцем, она кажется красавицей в своей черкеске, мягких кавказских сапогах и лётном шлеме.

— Ложитесь! — командует Гайдаш. Этого требует устав, он свято помнит его.

— Что? — Девушка готова заплакать от злости. Она яростно топает ногой, кричит: — Нет, нет! — и раздражается бранью, в которой русские слова причудливо сплетаются с грузинскими. — Вы сумасшедший!

— Ложитесь, — сердито кричит в ответ Алёша, — или я буду стрелять! — Он снова вскидывает винтовку. Нет, он не шутит. Девушка или не девушка, ему нет дела. Он в карауле, в горах, у границы. Слава богу, он не сентиментальный Марко, русалка не очарует его. Ещё одно движение — и он ухлопает её, уж будьте покойны.

С проклятиями девушка ложится на тропинку у ног коня. Конь недоуменно опускает к ней умную морду. Девушка лежит, её плечи вздрагивают. Гайдаш сигналом вызывает караульного начальника.

Проходят долгие минуты. Девушка молча лежит на тропинке. Алексей продолжает держать её под прицелом. Но он смущён. Как бы вся эта романтическая история не сделала его посмешищем полка? Потом ему жалко девушку. Конечно, это очень унижительно — лежать на тропинке в снегу под прицелом. Она, вероятно, плачет... Почему не идёт карнач? Но он выполнял свой долг.

Наконец карнач прибегает. Он встревожен. Что случилось? Алексей тихо докладывает ему. Вдвоём они подходят к девушке. Она подымается, перепачканная снегом, её лицо пылает, на Алёшу она бросает молниеносный взгляд. Сколько ненависти в этом взгляде! Он опускает голову. Но глаза её запоминаются на всю жизнь — глубокие синие глаза, расширенные детским гневом.

В караульном помещении выясняется, что она действительно сестра начальника погранотряда Вардания. Тренируется к предстоящим на днях в гарнизоне скачкам. Хочет взять и, наверное, возьмёт первый приз. Она уже смеётся над утренним приключением, но на Алёшу изредка бросает негодующие взгляды. Его она уж не простит никогда.

Её отпускают, извиняясь, она легко вскакивает в седло. И вот уже несётся по горной тропинке. Шлем она снимает, пышные волосы вспыхивают под солнцем и кажутся золотыми. Алёша долго смотрит ей вслед. Над ним легонько посмеиваются товарищи. К вечеру об этом говорит весь полк.

Но Алёша в это время уже спал мирным сном в казарме, и, странное дело, девушка в черкеске ни разу не приснилась ему.

Но изредка стал он теперь думать о ней. Может быть, даже чаще, чем хотел. При этом всегда вспоминался её взгляд — детски-гневный, пылающий ненавистью и презрением, — так на Алёшу не глядела ещё ни одна девушка в мире. Он вспоминал покорную, робкую Любашу — может быть, за эту бабью покорность он и не любил её. Любаша никогда не бросила бы такой гневный взгляд на него. А эта сожгла взглядом. Как её зовут? У неё, должно быть, чудесное имя. Как закусил она губу, чтобы не расплакаться. Любопытно посмотреть — умеет ли она плакать? Её плечи вздрагивали, когда она лежала на тропинке, — но плакала ли она?

Он и хотел и не хотел увидеть её снова. Впрочем, больше хотел. Иначе зачем же он пошёл на скачки, где (он это лучше других знал) она обязательно будет.

Она была. Он увидел её, когда она неслась, приподнявшись на стременах и размахивая шашкой, прямо на него, и пригнулся. Её будёновка развевалась на ветру, алый башлык за плечами трепетал, как крылья, она вся казалась осиянной пламенем и солнцем. Искры брызгали из-под копыт её коня, снежный прах, как дым, курился сзади. Она была прекрасна! Бедный Алёша, она была прекрасна!

Он убеждал себя, что если бы увидел её не на коне, а в клубе или на улице в обыкновенном наряде девушки, он и не заметил бы её, прошёл мимо.

Но на коне она была прекрасна, он смущённо признавал это. Всё, что окружало её сейчас, покорно служило её девичьей красоте: и синие горы, и алый башлык за плечами, и снег на мохнатых соснах, и утреннее солнце. — всё это была лишь прекрасная рамка, в которой была одна она на вороном скакуне, и больше ничего не было в мире. И Алексей, затерявшийся в толпе красноармейцев, замороженно следил за ней, забыв обо всём на свете. А она джигитовала, брала барьеры и рвы, рубила, гортанно гикнув, лозу на скаку, и не было ей никакого дела до Алёши, парня в серой ворсистой шинели, в сапогах, пахнущих ворванью и дёгтем. Был ли он здесь, не был ли, какое ей дело! Она была вихрем, который пронёсся по плацу и всё срубил на своём пути. Бедный Алёша, он тоже упал, как лоза, сражённый её блистательной шашкой, — признавался он в этом или нет.

Он не подошёл к победительнице состязаний, когда её окружила восторженная толпа командиров и красноармейцев. Зачем он пойдёт туда! Он следил за ней издали. Её детское личико сияло счастьем. Синие глаза искрились смехом и радостью, — нельзя было поверить, что эти глаза могли метать такие гневные молнии.

А для Алёши жили только те глаза и та девушка, которую он встретил ранним декабрьским утром в горах. Это он её укараулил, как солнце, она по праву принадлежит ему, как принадлежали ему в то утро и горы, и город внизу, и пороховой погреб. Ту девушку он любил, о той думал, эта же — так убеждал он себя — не интересуется и не волнует его.

Но думал он и об этой, он хотел увидеть её ещё раз, услышать её голос, её смех, узнать её имя и ласково звать её, надевая сотней уменьшительных и ласкательных слов.

Теперь всякий раз, когда случалось ему бывать в горах, у Грельского перевала, он долго смотрел на памятную тропинку: «Здесь внезапно возникла она когда-то ранним утром, вместе с солнцем. Здесь она кричала ему гортанно и гневно, что он сумасшедший. Сумасшедший, ты права. Это ты свела меня с ума. Я брожу как потерянный. Ищу твоих следов на тропинке».

Было бы проще, разумеется, искать её там, где она была сейчас, — в клубе, в городе, на улицах. Но — смешная история! — он никогда не делал попыток увидеть её там. Ни с кем не говорил о ней. Даже не знал её имени. Странные вещи происходили с ним. Он совсем перестал походить на бывшего Алёшу. Тот уж нашёл бы пути к её сердцу. Ломая всё на своём пути, как сушняк, он пошёл бы напрямую. На гневный взгляд ответил бы презрительно-властным взглядом. Взял бы за руку и потащил за собой. И пошла бы! Девчонки любят парней-хозяев. Вот как бы поступил и как поступал былой Алёша. А нынешний Алёша стоял и искал пропавшие следы на тропинке.

Но былой Алёша и не любил никого. Случайные девушки проходили в его жизни, не задевая, не оставляя следов ни в памяти, ни в сердце; а нынешний Алёша уже любил и даже начал признаваться себе, что любит.

Странные вещи происходили с ним. Его характер ломался, как голос у подростка. Он проходил через испытания и борьбу, и ещё нельзя было ничего сказать, каким он станет.

Однажды Рунич, с которым они встречались теперь не часто, сказал ему, смеясь:

— А ведь ты, Алёша, чуть не пристрелил нашу Шушу.

— Кого? — удивился Гайдаш.

— Вот ещё! Будто не знаешь! Она и по сей день о тебе вспоминает с дрожью. «Страшный, говорит, у вас красноармеец. Зверского вида. Бандит».

— Почему же Шуша? — пробормотал покрасневший Гайдаш.

— Так зовут... Шушаника. По-русски — Сусанна. А мы все зовём её либо Шушей, либо Никой. Прелестная девушка, браток. Как поёт! Как играет! Да ты её увидишь скоро, она играет у нас в спектакле. Я помирю тебя с ней.

— Нет, нет, не надо...

«Значит, её зовут Шушаникой. Я бы звал её просто Шу, — подумал Алёша. — Просто Шу. Чудесное имя».

Почему показалось ему красивым длинное имя — Шушаника? Может быть, просто потому, что оно принадлежало ей?

Но теперь его любовь получила имя. Его любовь звали Шу. И она была прекрасна.

Когда-то Алексей перелистал «Галерею мировых красавиц» — старинное издание, случайно попавшееся ему под руки где-то в провинциальной частной гостинице. Он небрежно и цинично разглядывал портреты и пожимал плечами. Не многих из этих мировых красавиц он признал бы даже хорошенькими. Глаза навывкате, длинные носы, какая-то мертвенная бледность лиц, субтильность, тоненькие талии — да ведь это мумии, мумии египетские. Немало поохотал он с ребятами над этими пожелтевшими страницами. Очевидно, каждая эпоха имела свои критерии красоты. Неужели наши потомки будут смеяться над красотой наших девушек?

А мы любили их и гордились ими. Мы ценили в них молодость, силу, ясность и глубину синих глаз, упругость талии, смелую вздёрнутость

носа и откровенный, честный румянец на чистых щеках. Наши девушки были спортсменками, раньше красноармейцами, сёстрами, солдатами чоновских отрядов. Наши девчата весело и, может быть, слишком громко смеялись, редко плакали, умели стрелять, бегать по лугам, мчаться черхом, упрямо давали обидчикам сдачу и не боялись ни смерти, ни пули, ни крепкого слова.

Они умели носить и модные бальные платья, но в белых спортивных свитерах, в голубых майках они были нам дороже и любили нас.

Но они были женственны. О, Алёша знал это, хотя никогда не умел ценить ни ласковых нежных рук, ни смущённых признаний, ни тихих, целомудренных ласк.

Была ли Шу такой? Он не знал, он совсем не знал её. Какая она? Странно, что он влюбился впервые в жизни в девушку, которую только раз и видел, да и то чуть не пристрелил при первой встрече. Но любил ли он её? Может быть, тут сыграли с ним шутку горы да рассвет?

Он начал себя убеждать в этом, и когда ему почти удалось убедить себя, что он её и не любит вовсе, захотелось увидеть её. «Чтобы проверить», — поспешно сказал он себе. «Чтобы увидеть!» — сказал честный голос в нём.

Вечером он увидел её в клубе. Её окружала шумная толпа молодых командиров и красноармейцев, среди них Алексей заметил Рунича и Конопатина.

Разумеется, он не подошёл к ним. Он стоял в стороне, прислонившись к косяку двери, и смотрел на них, а видел только её одну. Она была в вязаном костюмчике цвета полевых васильков и казалась хрупким, худощавым подростком среди обступивших её широкоплечих военных парней. Странно, что ему показались когда-то золотыми её волосы — они были тёмными, как спелый каштан, или даже ещё темнее, как ветви черешни осенью. «Они коричневые, — подумал Алёша. — Но так не говорят о волосах девушки. Как же сказать?»

Так он стоял и исподлобья любовался ею, украдкой, чтобы никто не заметил. Он вытащил газету и этой неловкой хитростью старался прикрыться. «Посмотрю, посмотрю и уйду», — говорил он себе и не уходил.

Конопатин заметил его.

— Ба, да вот и сам убийца! А ну-ка, сюда, сюда, на расправу! — Он вытащил Алёшу в кружок и представил Шушанике. — Ваш почти убийца, Алёша Гайдаш, рекомендую. Не кусается.

Она неохотно протянула ему руку. По её губам скользнула брезгливая улыбка, а в глазах опять заиграли искорки гнева. Он пожал плечами.

— Мне говорили, что вы считаете меня бандитом. Но я только исполнил долг службы.

— Вы могли это делать... умнее, — возразила она, подымая брови. Все засмеялись. Он разозлился.

— Девчонкам нечего путаться в горах у порохового погреба, — пробурчал он.

Удивительно искусно начинал он своё ухаживание! Каким дураком и грубияном должен был показаться он ей сейчас! Он заметил удивлённый взгляд Конопатина. Что за чёрт! Они тут все влюблены в неё, избаловали девчонку, и она впрямь почувствовала себя бог весть чем, царицей мира, феей пограничного гарнизона.

Она парировала:

— Да я бы поостереглась ездить по горам, если б знала, что встречу такого... бдительного часового.

В её произношении звучал чуть заметный грузинский акцент. Это показалось ему чудесным — эти гортанные звуки, эти милые интонации, но он не сдавался.

— Теперь вы можете быть спокойны. У вас столько бесстрашных рыцарей, — он обвёл их всех насмешливым взглядом, — что я не рискну больше приказывать вам спешиваться и ложиться в снег.

Он напоминал ей умышленно самые неприятные минуты утреннего происшествия. Она вздрогнула от гнева, её лицо побледнело. Ну вот они стали врагами. Этого он добивался?

Через день весь полк повторял его словцо: «Фея пограничного гарнизона», а её поклонников насмешливо звали «рыцарями маленькой Шу». Эти слова дошли и до неё. Алексей встретился как-то с нею на улице, она скользнула по нему небрежным взглядом и, фыркнув, отвернулась. С нею был Никита Ковалёв. Вдвоём они прошли в город. Он посмотрел им вслед.

Вот они были вместе, оба — человек, которого он больше всех в мире ненавидел, и девушка, которую он в первый раз в жизни полюбил.

Среди «рыцарей маленькой Шу» был и рыжеватый политрук Иван Конопатин. Но, единственный из рыцарей, он не обиделся на алёшино словцо.

— Ты не знаешь этой девушки, Алёша, — сказал он ему как-то. — Удивительно светлый она человек. Умный, талантливый, передовой. Знаешь, это растёт поколение, которое будет ещё лучше нашего.

— А ты напиши стихи о ней, — насмешливо посоветовал Алёша. — У тебя получится.

— Я написал бы, — серьёзно ответил Конопатин, — но не умею. А тебе, Алексей, братски советую подружиться с Шушаникой. Знаешь, — задумчиво добавил он, — когда смотришь на этих детей, воспитанных революцией, лучше видишь свои недостатки...

Он говорил это задумчиво и сердечно, но подозрительный Алёша и здесь увидел лишь педагогический приём. «Хотят меня на этот раз лечь Шушей. Благородно, хитро, но... глупо».

Но он ошибался. К нему собирались применить действительные меры. Скоро Шушаника отодвинулась на задний план. В роте закипели горячие дни. Их дыхание начало беспокоить и Алёшу.

Теперь, когда рота строилась — на обед ли, в поход или в клуб, — старшина подавал команду так:

— В порядке стрелкового первенства, рота, стройся!

В голову роты торжествующе проходили бойцы второго взвода, взвода Угарного. Мимо Алёши проходили Рунич, Ляшенко, Сташевский, Горленко, Гушин, и даже Дымшиц торопливо пробирался вперёд, браво подхватив винтовку или кружку с ложкой. За взводом Угарного становился третий взвод Кобахидзе. А в самый хвост подстраивался первый взвод, в котором и служил Алёша.

Второй взвод прочно держал стрелковое первенство роты. На редкость дружные ребята подобрались там. Они высоко держали головы. Они гордились своим взводом, своими ребятами, своим молодым командиром. Они всегда были вместе — и в клубе, и в городе, и на плацу.

Каждую пятиндеевку на зачётных стрельбах оспаривалось стрелковое первенство роты. Этому предшествовал вечер волнения и лихорадочной подготовки. Во всей роте, может быть, только один Алёша оставался равнодушным. Или притворялся им.

Вокруг него беспокойно бегали стрелки. Снова и снова подгоняли ремни, читали стрелковый устав, наставления к стрельбам; прямо у коек заключались содоговоры между отдельными бойцами; стрелки брали на себя обязательства, командиры проверяли оружие; Угарный возился у винтовок и, задержавшись, оставался ночевать в роте. Перед сном он ещё раз шептался с отделёнными командирами.

— Я на своих надеюсь, — сдержанно докладывал Гушин.

Снова пересматривали список бойцов. На некоторых задерживались.

— Этих потренировать бы ещё, — говорил задумчиво Угарный.

— Перед смертью не надышишься, товарищ командир взвода, — смущённо улыбался отделком.

Во взводе Угарного царило боевое оживление. Весело переругивались с соседями — с третьим взводом.

— А мы побьём тебя, Угарный. Как хочешь, кацо, — весело говорил в ротной канцелярии Кобахидзе, командир третьего взвода.

— Посмотрим, посмотрим, — задорно отшучивался Угарный.

И в первом взводе хорохорились стрелки. Им надоело плестись в хвосте роты. Они мучительно волочили свой позор.

— И в столовку бы не ходил, в хвосте-то... — жаловался уныло Каренин, командир отделения. — Весь полк смотрит.

— Ну как, товарищи? — озабоченно спрашивал Шаталов, командир взвода. — Выползем завтра из хвоста, а?

— Должны бы! — нерешительно отвечали бойцы. — Да вот как некоторые...

И бросали искоса взгляды на Алёшу. Он пожимал плечами.

Но это начинало беспокоить его. Всё время чувствовал он на себе укоризненные взгляды товарищей. «Эх, подводишь ты нас!» Они не говорили ещё ему это, но скоро скажут. Со всех сторон сыпались вызовы на соцсоревнование. Весь взвод, словно сговорившись, вызывал его. Он принимал вызовы, но стрелял попрежнему плохо. В свободное от занятий время ребята ходили на стрельбище тренироваться в стрельбе, — он не ходил. Но стрелять стал внимательно. Ему хотелось поразить полк необычайным рекордом, рекорд не удавался, он мрачнел, и тогда всё — стрельбище, винтовка, армия и сам он — становилось ему ненавистным.

Первым на стрельбище уходил второй взвод, через два часа выступал третий. Когда на стрельбище наконец шагал первый взвод, второй взвод, отстрелявшись, возвращался в казармы. Бойцы взвода Угарного шли высоко подняв головы, молодцевато отбивали шаг и задорно пели:

Нас побить, побить хотели,
Побить собиралися...

Рунич лихо подмигивал при этом.

По неизвестно кем придуманной традиции — чуть ли не тот же Рунич был её автором — взвод всегда пел эту песню в случае удачной стрельбы. Если же стреляли плохо (во втором взводе это случалось редко), Рунич говорил мрачно:

— Ну, пошли «со слезами», — и жалобно затягивал:

Слезами залит мир безбрежный...

Но «со слезами» чаще всего приходилось итти первому взводу. И сноу Гайдаш чувствовал на себе укоризненные взгляды товарищей, словно он один был виноват в том, что взвод плохо стрелял.

Один раз взвод понатужился и почти догнал третий взвод (до второго было далеко). Всего трёх процентов не хватило, чтобы стать рядом с третьим взводом. Три ничтожных процента, но эти три процента и составлял как раз Алексей Гайдаш. Если бы он стрельбу выполнил, взвод догнал бы Кобахидзе, а если бы выполнили ещё трое стрелков, то догнали бы и Угарного. Так узнал Алёша, что во взводе он значит три процента. Целых три процента!

Но был и другой счёт. Его вёл политрук Конопатин. В первом взводе было три коммуниста, в том числе и Гайдаш Алексей, член партии с 1926 года. Когда он один не выполнял зачётного упражнения по стрель-

бе, это означало, что тридцать три процента большевиков взвода стреляли плохо. Конопатин хмурился. В ротной партячейке Алексей значил уже только десять процентов. Вёл свой счёт и Горленко, комсорг. У него Гайдаш значил семь процентов. Одним процентом он был уже как стрелок роты и десятой процента как боец полка. Но и эта десятая учитывалась и падала на весы, создавая либо славу, либо позор полка. Ему вспоминался популярный в полку рассказ о поваре. Был года три тому назад здесь повар, его имя заботливо сохранило полковое предание — звали его Матвеем Блохиным. И поваром он был отличным. Краснолицый, полнотелый и знающий своё дело, он колдовал у себя на кухне над котлами, командовал кастрюлями и в хозроте считался личностью священной и неприкосновенной. Строевой муштрой его не утруждали.

Но однажды, на инспекторской стрельбе, инспектирующий потребовал, чтобы стрелял и повар. Весь полк отстрелял на «отлично» — и коноводы, и музыканты, и даже писаря. Теперь должен был стрелять повар — инспектирующий вспомнил и о нём. И вот привели на стрельбище Матвея Блохина. Он даже колпака снять не успел — тут же на стрельбище ему кто-то сунул фуражку.

Весь полк следил за тем, как стрелял повар. В его руках была судьба полка. От результатов его стрельбы зависело — будут ли желанные сто процентов или какая-нибудь микроскопическая десятая испортит всё дело. Он стрелял, поджав живот и покраснев от волнения. Он выполнил стрельбу, и командир полка, не выдержав, расцеловал его при всех и отдал ему свои часы.

Так и Алёша, лёжа теперь на огневом рубеже и нажимая озябшим пальцем на спусковой крючок, чувствовал на себе невидимые взоры многих людей полка. Вот он нажмёт сейчас спуск и от того, куда полетит пуля, определится стрелковый успех полка, как определяется во время войны боевой успех части от того, как будут стрелять и драться её бойцы. Он начинал ощущать себя частью большого и слаженного механизма. Понятно, что всех раздражало, когда эта часть скрипела. Вокруг него гремели выстрелы — стреляли его товарищи по отделению, по взводу, по полку. Может быть, удастся сегодня догнать третий взвод? Или даже второй? Второй, в котором Рунич, Сташевский, Ляшенко, Гушин и смешной, бравый Дымшиц, который, говорят, стал чуть ли не отличным стрелком.

В чём же секрет этого чудодейственного полёта пуль? Неужели в самом деле только в том, как положишь руки, как подгонишь ремень, как нажмёшь на спуск? То есть в сотне мелочей, в конечном счёте в добросовестной тренировке? Но какая тренировка!

И он попрежнему стрелял «по настроению», иногда хорошо, а чаще скверно.

Он стал постоянным «стрелком оврага» — так называли тех, которые, не выполнив зачётного упражнения, ходили перестреливать на малое стрельбище в овраг. Вместе с ним долгое время ходил Сингатуллин из третьего взвода.

Сингатуллин застрял на второй задаче, Алёша — на третьей. Оба они перестреливали по многу раз. Вдвоём после неудачной стрельбы карабкались по отвесному скату оврага, волоча за собой винтовки. Сингатуллин вздыхал. Алёша понуро хмурился. Оба они были коммунистами. Сингатуллина недавно перевели из кандидатов в члены партии. Уже пришёл новый партийный билет на его имя. Но он не брал его.

— Как я возьму, скажи, пожалуйста? — объяснял он Алёше. — Разве могу я взять партбилет, если так плохо стреляю? Стрельбу выполню — тогда возьму.

— А если не выполнишь?

— Как не выполню? Умру, а выполню. Мушка хитрая, а я хитрей. Я, понимаешь, товарищ, долго мушку понять не мог.

Однажды в овраге Сингатуллина не оказалось. Он победил мушку, ликвидировал свои хвосты и пошёл за партбилетом.

В ротной ячейке уже всерьёз стали поговаривать о Гайдаше.

— Какой он коммунист? — горячо доказывал на собрании командир отделения Карякин. — Я, товарищи, недавно в партии, ещё даже кандидат, но коммунистов настоящих видел. Я видел в наших колхозах коммунистов — они впереди шли и всю массу за собой вели. Это коммунисты! Был тракторист у нас партиец, Гречаников ему фамилия, так он лучшим трактористом был. Вот это коммунист! Я как в партию шёл, так даже боялся: смогу ли стать парнем как следует? А Гайдаш плюёт на всё. Вот я говорю о нём, а он даже ухом не ведёт, словно не его касается.

А на комсомольском собрании на Гайдаша напал Горленко.

— Пора всерьёз нам потолковать о тебе, товарищ Гайдаш, — говорил он, краснея. — Мы долго нянчились с тобой, оберегали. Мы слышали, что ты старый и видный комсомольский работник...

— Я был комсомольцем, когда ты ещё этого слова не слышал, — перебил Гайдаш. — А ты лезешь меня учить!

— Тем более, — пожал плечами Горленко. — Раз ты такой старый комсомолец, ты и должен был бы помочь нам. А как? Ты хоть единственный раз пришёл ко мне и сказал: «Знаешь, Горленко, ты парень молодой, надо бы вот как сделать! Приходи ко мне». Ну? Молчишь. А ведь мы с тобой ещё в теплушке сдружились, большую я на тебя, как на человека, надежду имел. Вот, думал я, у этого парня буду большевистскому уму-разуму учиться. Я на тебя, если хочешь знать, как на... Э, да что говорить!

— Барином себя держишь в роте, Гайдаш, — подхватил Гушин. — Всем брезгуешь. Я прямо скажу: наши ребята и заговорить с тобой боятся. Лучше, говорят, и не связываться.

Всё это молча слушал Гайдаш. Он не выступал, не оправдывался. Он продолжал притворяться равнодушным, презрительно пожимая плечами, но всё это глубоко задевало и ранило его. Он упрямился ещё, честнее было прийти и сказать прямо: «Я кругом виноват, товарищи. Точка на этом. Завтра я стану другим». Была минута — да, минута, не больше, когда он чуть не закричал, и даже разозлился на себя за минутный порыв. «Это было бы униительно — склонить голову. Перед кем? Перед Горленко? Перед ячейкой?» Нет, он не сделает этого. Это униительно. Почему униительно? Прийти в свою организацию и сказать ей, что права она, а ты не прав. Что же выше организации? Разве не этой мужественной дисциплине учился он всю жизнь в комсомоле? «Ты плохо учился, Алексей Гайдаш. Ты ничего не понял и ничему не научился», — вспомнил он слова секретаря Цекамола.

— Ну и пускай! — упрямо мотнул головой.

«Неумный способ решать споры, Гайдаш!» — Он пожал плечами.

О нём говорили теперь на каждом ротном собрании, на собраниях во взводе и отделении, в партийной и комсомольской ячейках, в стенгазете. Иван Конопатин сурово порицал его в своих речах. Командир роты, добрейший Зубакин, разводил руками: «Первый раз вижу такого бойца».

В стенгазете, которую редактировал Стрепетов, имя Гайдаша стало чуть не нарицательным.

То рассказывалось о том, как неусыпный страж роты Гайдаш задремал в наряде и у него злоумышленники стащили штык. То помещался точный снимок койки Гайдаша, вызывавший общий смех. То выступала с жалобой на владельца грязная, заржавевшая сапёрная лопатка. Пошла пулять по роте частушка, имя «Гайдаш» рифмовалось в ней со словом «ералаш».

Он отвечал на всё хмурым презрением. Он прятался от всех в своём углу. Но его жизнь была на виду, все его поступки и промахи. В ленинском уголке ежедневно вывешивались итоги занятий. Можно было легко увидеть, как стрелял сегодня Гайдаш, как метал он гранату, как пробежал тысячу метров, в каком состоянии его оружие, какую отметку получил он на тактических занятиях, какую — в спортивном городке. На доске итогов соцсоревнования опять сообщалось о нём — он восседал на черепашке. В сводной таблице «хода боевой подготовки повзводно» снова можно было среди других бойцов разыскать и Гайдаша. Его легко было найти по большому количеству жёлтых пятен. Жёлтые наклейки означали слабо, синие — удовлетворительно, красные — хорошо и отлично. У него были две красные наклейки — политграмота и сбережение оружия. Много синих (он тянулся кое-как, по ряду дисциплин был, что называется, серым, средним бойцом) и много жёлтых: стрельба, физподготовка, строевая подготовка, стрелковая подготовка — все важнейшие дисциплины. Он избегал, бывая в ленинском уголке, глядеть на эти печальные жёлтые пятна. Всё же он не мог не заметить, как пылали ровным красным цветом линии отметок против имён Ляшенко, Сташевского и Рунча. Это были «первачи» роты, о них говорили с почтением.

Стрепетов, которого в армии внезапно охватил литературный зуд, стал выпускать ежедневный бюллетень. Он назывался просто «Так надо» и «Так не надо». Выходил он после мёртвого часа — Стрепетов добровольно отказался от сна, и ребята, вскочив по звонку с коек, прежде чем умываться, бежали в ленинский уголок и толпились у свежего бюллетеня. Здесь бесстрастно отмечались итоги дня. Налево, под заголовком «Так надо», — отличившиеся бойцы, направо — «Так не надо» — бойцы проштрафившиеся. Это были честные, бесстрастные весы, они полюбили в роте, их суду беспрекословно верили. Сам редактор изредка попадал и на левую и на правую чашку весов.

И часто, очень часто на правой чашке качался Алексей Гайдаш.

Он был распахнут настежь перед всей ротой. Он мог прятаться и забиваться в угол — в ленинском уголке вместо него висело точное его зеркало, он выглядел в нём непривлекательно. Он ожесточился, былого покоя и оцепенения не было, глухая, затаённая вражда клокотала в нём, он находился в состоянии ножевой войны со всей ротой и изнемогал в ней. Ему казалось, что над ним совершают чудовищную несправедливость, что его травят, незаслуженно, зло и настойчиво.

Всё тревожнее и тревожнее поглядывал на него политрук.

— Ты что о себе думаешь, Гайдаш? — спрашивал он участливо. — Куда ты катишься?

— Ничего я не думаю, — огрызался тот. — Оставьте меня в покое.

— Ты не хорохорься. Ты слушай. Ведь погибаешь.

— Это моя забота.

— Врёшь, наша.

— Разрешите итти, товарищ политрук? — Круто повернулся на каблуках, вышел.

Однажды, неожиданно для самого себя, он целый день был героем роты. Беспристрастный Стрепетов отметил его десятью строками в «Так надо».

Этому предшествовала печальная история. На тактическом выходе подали команду:

— Газы-ы!

Алексей поспешно вытащил маску и надел её. У него был учебный противогаз Куманта — Зелинского, узкая зелёная коробка с угольным фильтром. На первой же минуте Гайдаш почувствовал, что угольная пыль лезет ему в рот. Густая, липкая слюва скопилась на губах, её необходимо было выплюнуть. Он стал задыхаться. Он глотал пыль, фыр-

кал, сопел, очки запотели, он ничего не видел, но продолжал бежать, не отвзвывая от взвода. Когда через пять минут скомандовали снять противогазы, он облегчённо вздохнул. Долго отплёвывался и сморкался.

Около него со смехом собрались бойцы. Он ничего не понимал.

— Вы что это негром стали? — удивился, увидев его, Шталов.

Гайдаш растерянно провёл рукой по лицу — рука стала чёрной.

— Вы, вероятно, не продули противогаза, — догадался командир взвода, — надо было предварительно продуть. Ведь я объяснял же.

Но Гайдаш, как всегда, прослушал объяснение — теперь он поплатился за свою невнимательность. В очередном номере газеты появился портрет негра, в нём легко узнали Гайдаша.

Через несколько дней после этого события было химическое учение. У Гайдаша снова был зелёный противогаз, но он тщательно продул его. Удивительно легко оказалось дышать в нём, он даже обрадовался и весело зашагал в строю. Взвод шёл по огромному плацу, храпя и сопя на разные лады. На десятой минуте дышать стало тяжелее. Снова запахло углем. Губы пересохли. Очки запотели. Гайдаш протёр их и взглянул на товарищей. Один из них судорожным движением сорвал маску и вышел из строя. Он стоял, высоко поднимая голову, и глотал свежий воздух жадно, огромными глотками. Взвод продолжал двигаться по плацу, делая огромный круг.

— Не могу! — прохрипел кто-то впереди Алёши.

Это Покровский сорвал с себя маску и смущённо посторонился, давая дорогу Гайдашу. Алексей невольно улыбнулся. А он вот идёт. Идёт, и ничего. (Проглотил слюну. В ушах начало шуметь.) Он может итти сколько угодно. Вот увидела бы его Шу! Чудак, очень он привлекателен сейчас в маске — морское чудище. Всё равно, пусть увидела бы. (В ушах шумело. Он крепился. Теперь дышал прерывисто, судорожно всхлипывая, но продолжал итти.) «Не сброшу, не сброшу маски. А вот не сброшу!» — упрямо твердил он про себя. Половина взвода была в противогазах «БН». Этим было легко. Они весело шли по кругу, не испытывая никаких неудобств. Они могли бы итти так и день и ещё день. Но те, у кого были учебные противогазы, задыхались.

Скоро один Алёша остался в маске Куманта — Зелинского. Был момент, когда он тоже хотел сорвать её. «Ведь задохнусь. Задохнусь, — убеждал он себя, — упаду». Но не сбрасывал маски. «Ну и упаду, ну и чёрт со мной, а не сброшу. Ещё немного. Ещё минутку». Он шёл, тяжело дыша, и думал только об этом. «Ещё минутку, ещё...»

В это время прогремела труба. Урок кончился. Алексей нашёл в себе силы дойти до казармы и только там сорвал с себя маску. Его лицо было бледно и потно. Он улыбнулся. Шагалов с удивлением посмотрел на него.

— А вы молодец, Гайдаш, — и, вытянувшись, приложив руку к козырьку, сказал по форме: — Объявляю вам от лица службы благодарность.

— Служу трудовому народу, — пробормотал Алексей.

Он отвык от похвал. Покраснел, смутился и скорей отошёл в сторону. В этот день он был героем роты.

На другой день всей роте выдали противогазы «БН». В них можно было даже спать. С зелёной коробкой, принесшей ему славу, Гайдаш расстался с некоторой грустью.

В мёртвый час тихонько пробрался он в ленуголок. Долго стоял он и смотрел на таблицы, развешанные по стенам. Снова и снова прочёл, что написали о нём в бюллетене. Улыбнулся. Потом прочёл стенгазету. Опять посмотрел на таблицу. Как много у него синих пятен — рябит в глазах. Он мог бы сделать их все красными. Он мог бы стать первачом роты. Мог бы? Не поздно ли ещё? Он долго стоял в ленуголке и думал.

Но на следующий день произошло незначительное событие, перевернувшее всё.

Ещё с утра стало известно: нынче состоятся лыжные соревнования между взводами. Дистанция — три километра. Те самые три километра Урагвельского шоссе, по которому бежал когда-то Алёша.

Он отнёсся к этому сообщению равнодушно. Оно не задело его. Он всегда не любил того, чего не умел делать. Если бы сейчас объявили соревнование на марш в противогазах — вот тут он закипел бы. С противогазом у него «вышло», с лыжами нет, это был достаточный повод, чтобы возненавидеть их.

Он насмешливо наблюдал, как добросовестно потели его товарищи «южно-степняки». Они усердно падали, вздыхали при этом с досадой: «Э-эх!» Потом смущённо подымались, быстро оглядывались по сторонам (кто был свидетелем их позора?) и снова упрямо продолжали ковылять на непослушных и развезжающихся деревяшках. Все горы были покрыты фигурами косолапых лыжников, неумело работающих палками. Алёши не было среди них. Зачем? Достаточно того, что он падал на занятиях, отведённых расписанием.

Посмеиваясь, он вышел на плац. С лыжами на плечах и с винтовками (штыки примкнуты) за плечами строились повзводно бойцы. Ну что ж, он человек не гордый, первый приз он охотно уступает Левашову. Он не претендует на него, оцените же его благородство. Он помнил, как сорвал Левашов на десятой минуте газовую маску с лица. Каждому своё.

Гайдаш подошёл к командиру взвода.

— Товарищ командир взвода! Я прошу меня от соревнования освободить.

— То есть как освободить? — удивился Шаталов.

— Я не умею ходить на лыжах и на приз не рассчитываю.

Шаталов нахмурился.

— И я не рассчитываю, что вы возьмёте первый приз. Но призов и не будет. Мне ваш командир отделения докладывал, что вы вовсе не ходите на лыжах во внештатные часы. Это верно?

Гайдаш пожал плечами.

— Вы подведёте весь взвод, Гайдаш. Приказано вывести взвод целиком, до последнего человека. Боюсь, вы будете сегодня главной фигурой соревнования.

— Я?!

— Дана тактическая задача: взводу лыжников переброситься в пункт Н. в кратчайший срок. Время взвода засекается по бойцу, который придёт последним. В армии действуют соединения, и, как видите, один человек может испортить дело всему взводу. Старайтесь, товарищ Гайдаш, изо всех сил старайтесь. Первенство — в ваших руках и ногах.

Такого поворота событий не ждал Алёша, он растерялся. Уже поздно было сказатья больным. Он смущённо поплёлся в строй. К нему подошёл Левашов:

— Мы будем бежать рядом. Я помогу вам.

Гайдаш покраснел. Он видел — все глаза устремлены на него. Он притих.

Первыми побежали на лыжах бойцы второго взвода, затем третьего. Через час дошла очередь и до первого взвода. К этому времени уже было известно: в третьем взводе последним пришёл Моргунов с неплохим временем — 21 минута, во втором — Дымшиц, brave солдат Швейк, — 28 минут 35 секунд. Теперь очередь была за первым взводом. Никто не сомневался. Здесь последним будет Гайдаш. Не сомневался в этом и сам Алёша.

— Постарайтесь, чтобы ваше время было не хуже времени Дымшица, — сказал ему командир взвода.

Алексей вздрогнул: итак, он должен соревноваться со Швейком. У него не было уверенности, что он его победит.

Дымшиц не был, как Алёша, «рождён для дел великих» — снисходительное высокомерие Гайдаша по отношению к скромному приказчику мануфактурного магазина проистекало отсюда. Оно началось ещё в теплушке и вот кончалось на трёх километрах снежного Урагвельского шоссе. Что будет в самом деле, если окажется, что Дымшиц показал лучшее время, чем Алёша? Дымшиц — brave солдат Швейк?!

Отец Юрия Дымшица был чахоточный приказчик, состарившийся у чужого прилавка.

Умирая, он позвал к себе сына. «Юрочка, — шептал он, — ты должен извинить меня. Я не оставляю тебе ничего, кроме горя и нужды. Но я кое-чему учил тебя, ты бегал в школу, ты читал книжки, а мой отец, бедняга, и этого не сделал для меня. Я не поручаю тебя богу, он никогда ничего не делал для нашего семейства. Он был занят, конечно: есть Бродские на свете, есть Ротшильды. Они к богу ближе. Мне некому поручить тебя. Но ты живёшь в лучшее время, чем жил твой бедный отец, ты можешь не скрывать, что еврей, и можешь сделаться, чем хочешь. Может быть, ты даже станешь бухгалтером. А? Юрий Дымшиц, бухгалтер — это звучит почти как правда! Не забывай мать. Она родила тебя. И она немало слёз над тобой прслила. Пусть она больше не плачет».

Юрий служил в магазине, как и его отец. Вечером он ходил на торговпромышленные курсы. Он говорил матери «вы» и брал сестрёнок с собой в кино, угощал их ирисками и сельтерской водой с сиропом за десять копеек. Он мечтал: вырастут — и он выдаст их замуж за хороших людей.

Он всегда был в хорошем расположении духа, и покупатели любили советоваться с ним. «Дочке к свадьбе хочу набрать, — доверительно выкладывала ему старушка. — Знатная дочка, трактористка, такая ласковая». «Тогда могу посоветовать шёлк-поплин, — улыбаясь, советовал он. — Мягкий, прочный, красивый, рубчиками, будете довольны, и желаю вашей дочке хорошего мужа и кучу детей».

Его товарищей смущала служба в магазине, девушкам они неопределённо сообщали, что работают «по линии кооперации». Юрий Дымшиц не понимал, почему следует стыдиться звания продавца. Он испытывал даже профессиональную гордость: он был мануфактурист, как и отец, он умел на ощупь, вслепую угадать качество и характер материала. Он-то не путает чистую шерсть с имитацией! Когда его сделали помощником заведующего магазином, а потом заведующим, он стал работать вдвое. Он шумел на складах, выклянчивал в базах партии товаров, суетился, ел и спал на ходу.

— У меня в магазине нет очередей! — хвастался он. — У меня в магазине вежливость есть свойство воздуха. У меня в магазине...

Он жил своим магазином, тут была его душа, его сердце, его чувства. — Что ты имеешь от этого, что торчишь там целые дни и приходишь домой, как выжатый лимон? — говорила ему старуха-мать. — Посмотри на себя, чем ты стал. Пусть он сгорит, магазин. Что он — твой? Ты его хозяин?

— Как пусть сгорит? — Он пугался. Он уж готов был бежать: не горит ли? — Что вы говорите, мама? Мне поручили магазин, мне сам председатель городского Совета товарищ Петренко Яков Павлович по телефону звонит: «Алло, Дымшиц, как успехи?», мне доверяют, со мной считаются... Как это не мой магазин? А чей? Пушкина?

Но мать не понимала этого и качала головой. Тогда он язвительно спрашивал:

— А вы хотите, чтоб меня пропечатали в газетке? Да?

— Газетка? — Этого мать тоже не понимает. Хотя, может быть, газетка и хорошо. На стене в рамочке висит статья из газетки, посвящённая Юрочке, и в середине строк его портрет в новом галстуке.

В газетке писали, что Дымшиц аккуратен и честен. Честен! Это так. Это скажет о нём всякий. Он был шесть лет членом месткома и все шесть лет казначеем. Ему можно доверить кассу. Доклад на международную тему ему, может быть, нельзя поручить, но кассу можно. Он был честен и даже не гордился этим.

Тем не менее у него был дух приобретательства. Он любил покупать для магазина мебель, сам заботливо выбирал зеркала и диваны. Он откладывал деньги на книжку — честно заработанные деньги. Получив премию, он покупал подарки сёстрам. «А ну, угадайте, — лукаво говорил он, — что я принёс вам?» «Туфли, берет, шляпку», — догадывались сёстры. «Не угадали. Я купил вам подсолнухов», — и он действительно вытаскивал огромный подсолнух. Они делали вид, что разочарованы, даже притворно плакали и сквозь слёзы лукаво поглядывали на него. Они знали — это шутка. Хорошо, он хочет пошутить, надо доставить ему удовольствие. И он был счастлив, когда мог, утерев их милые слёзы, сказать им: «Я пошутил, франтихи. Вот вам туфли, вот шляпка, вот джемпер, почти импортный».

Он долго думал, прежде чем жениться. Яркие галстуки и клетчатые носки, над которыми смеялись знакомые девушки, выдавали его тайные матримониальные мысли, но он медлил. Он колебался. Он считал и советовался. Он хотел жениться прочно и навсегда. Ему приглянулась девушка — кассирша из соседнего магазина. Он сказал ей, смущаясь: «Выбейте мне чек на счастье». У них родился сын. Они решили, что сын уж будет великим человеком! Откуда же и берутся великие люди? Они рождаются от маленьких людей. Сына назвали Владленом, в честь великого из великих, бабушка звала внука Лёничкой.

Было ли честолюбие у Юрия Дымшица? О да. Найдите мне человека в нашей стране, который бы не мечтал. Мечтал и Дымшиц. Он видел себя директором большого универмага. Он мечтал получить премию на конкурсе магазинов. Он мечтал даже — это пришло потом, уже после армии, когда он снова вернулся в свой магазин, — он мечтал даже — но об этом не надо думать и тем более говорить: люди будут смеяться, — но он мечтал об ордене. Орден? Он сам пугался своей мечты. За что? Что он — герой, или лётчик, или учёный? Кто он такой, чтобы мечтать об ордене? Он скромный, честный советский служащий, маленький винтик в торговой машине, один из тех тысяч людей в пиджачках, которые проходят в революционные праздники мимо трибун, восторженно крича «ура» вождям, мастер своего небольшого дела, умеющий искусно завёртывать покупку, чтобы шёлк не помялся и покупателю было приятно, — ему орден, за что? Но, может быть, именно за это, за то, что он скромно и честно трудится.

Когда Дымшица призвали в армию, он испугался. Бросить магазин, дело, семью, маленького сына — будущего великого человека — и ехать куда-то на границу, к чёрту на кулички? Он бросился к своему начальству, в горсовет, к Якову Павловичу, — доказывал им, и искренне, что никогда не будет хорошим красноармейцем, что полезнее для всех, если он останется работать в магазине, но ему уже три года давали отсрочку, больше ничего сделать было нельзя.

Яков Павлович сказал ему:

— Вас посылают на границу? Ну и отлично. Все мы когда-нибудь там будем.

Он поехал. В армии всё оказалось и труднее и легче, чем он предполагал. От него никто не требовал невозможного, все видели его силы, от

него требовалось только честно и добросовестно делать то, что он мог. Его старательность бросалась всем в глаза, хотя он и не подчёркивал её. Но он ничего не умел делать без суеты, волнения и рвения. Если ему было трудно, он не жаловался. Он не хотел никого беспокоить и тихо вздыхал в углу. Потом он «втянулся». Стал исправным красноармейцем, как раньше был исправным продавцом у прилавка. Неожиданно для себя стал хорошо стрелять, откуда пришло это — он не знал. Он делал только то, что ему говорили, но делал тщательно, не забывая ничего, — и вот пули стали попадать в восьмёрки, девятки и даже иной раз и в десятки. Стрелял он медленно, долго целился, рука уставала держать тяжёлую винтовку, он переводил дух, отдыхал и снова целился. Но никогда он не выпускал выстрела, не сделав с щепетильной тщательностью всего, что требовалось по положению. Потом при скоростной стрельбе он стал стрелять хуже — не успевал.

На лыжах он не умел ходить, как и Гайдаш. Но когда появились в роте лыжи и командир отделения сказал, что надо ими «овладеть», — он боязливо стал учиться. Осторожно скользил по снегу, судорожно размахивая палками, и часто падал. Потом смущённо подымался, улыбался виновато, крутил головой и снова медленно, осторожно пускался в путь.

Он прошёл сегодня три километра в 28 минут, отстав от всех своих товарищей по взводу, но ни разу не упав. Это был его маленький триумф.

— Ни разу не упал! — сказал он гордо Угарному, и тот весело улыбнулся ему. Швейка все любили в роте.

И вот с ним, с этим маленьким, скромным человеком, бывшим приказчиком мануфактурного магазина, должен был соревноваться в воле, и выдержке, и умении Алексей Гайдаш, «рождённый для дел великих». Плацдармом для их соревнования, за которым невольно следили глаза всей роты, было шоссе, поблёскивающее голубыми искрами. Узорчатые тени орешника падали на мягкий снег, он казался сиреневым. Вокруг толпились сады, и яблони под белыми хлопьями были, словно в мае, в цвету.

Рядом с Алёшей стали Левашов и Карякин — он понял: это буксир. Взвод принимал героические меры, чтобы спасти свою честь.

Командир Шаталов не раз уж мысленно выругал себя за то, что своевременно не потренировал Гайдаша в ходьбе на лыжах. Теперь было поздно.

Заскрипел снег под десятками лыж; скользкая лыжня, проструганная в снегу первыми взводами, дрогнула под Алёшей, он почувствовал, как расползаются его ноги, он хотел их собрать — они не слушались; беспомощно взмахнул палками, как раненая птица крыльями, и шлёпнулся, не отъехав от старта и десяти шагов. Левашов и Карякин поспешно бросились на выручку.

Так это и продолжалось все три километра. Они казались бесконечными, лыжня уходила далеко вдаль, поблёскивая на солнце, как рельсы. Уже скрылись вдаль все лыжники, а Алексей всё барахтался на шоссе, беспомощный, словно ребёнок, впервые ставший на ноги. Карякин и Левашов не покидали его. Измученный, он просил:

— Оставьте меня, товарищи! Я доползу как-нибудь сам. — Его гордость возмущалась. Хуже всего было их терпение, они ни единого грубого и нетерпеливого слова не сказали ему. — Оставьте меня!

Но они не уходили. Он падал, задыхался. Кое-как снова вставал, брёл по шоссе. Скорее бы всё это кончилось! Всякий раз, как он сваливался в снег, ему хотелось остаться лежать. Он измучился сам, измучил товарищей. Каждый шаг был его позором. Он проклинал себя, свои неумелые руки, свои косяластые ноги. Позорным было бесконечное падение в снег. Позорной была поддержка товарищей. Но настоящий позор ждал его у финиша, где Дымшиц... Он не хотел об этом думать. Ни о

чём не хотелось думать. Он полз по шоссе, как пришибленная, хромая собачонка, как раздавленный, но ещё живой червяк. Он был сейчас пресмыкающимся, которое тяжело волочило своё тело. Не было такого гнусного эпитета, которого он не дал бы себе.

А рядом с ним легко скользили неутомимые Левашов и Карякин. Для них свистел ветер, скрипел мороз, сияло солнце, шумел орешник. Для них, для победителей, открывалась вдаль сияющая лыжня — не будь Алёши, болтающегося у них под ногами, они понеслись бы, лёгкие, как птицы, и только ветер засвистел бы в ушах. Он понимал — это и было его позором. Позором были комья снега на рукавах, на штанах, на спине. Позором были растрёпанные, слипшиеся волосы и рацы, вытарашенные глаза, и потные, грязные струйки на лбу и щеках. Он весь, с ног до головы, был ковыляющий на двух ногах позор, позор взвода, роты, полка. Таким он и явился к финишу.

Его встретили молча, хмуро. Никто не смеялся. Щёлкнули часы — чудовищное время: 35 минут! Он отстал от Дымшица на целых восемь минут.

Два месяца назад Дымшиц последним пришёл к финишу, здесь же, на этом шоссе. Тогда Алёша, посмеиваясь, ждал его. И так, вот на что употребил Гайдаш два месяца: скатиться в хвост, в самый хвост роты. Дымшиц использовал это время лучше.

Взвод хмуро построился. Шаталов, рассерженный, отрывисто командовал:

— Ма-арш!

Алёше никто не сказал ни слова. Он мрачно шагал в строю. Шли уныло, молча, не в ногу. Кто-то неуверенно затянул песню и, не поддержанный никем, испуганно смолк. В мрачном молчании подходили к казарме, подавленные, разбитые, пристыжённые.

— Разойдись! — махнул рукой командир взвода.

Быстро вбегали в казарму. Молча сбрасывали шинели. Избегали глядеть на Алёшу. Говорили о посторонних вещах, отрывисто, быстро. Поражение взвода, в котором были лучшие лыжники роты, подавило их. Они приняли это как катастрофу. Они знали виновника, но молчали. Вокруг Гайдаша образовалась пустота.

Он не мог больше оставаться в казарме. Вышел. Лыжи ещё были при нём. Он не знал, куда бросить их. Волочил за собой. Куда? Инстинктивно, бессознательно побрёл к стрельбищу. Увидел наконец вдали кипарисы. Они не успокаивали больше. Молчаливые, они осуждали его. Он сам осуждал себя.

Итак, вот печальные итоги его армейской жизни.

Он приехал в армию с тайной надеждой начать здесь новую жизнь. В этой надежде он не признавался ни себе, ни другим. А начал службу, цепляясь за своё прошлое, за самое худшее, что было в нём. Он встретил врага, но не ринулся в бой с ним, а затаил ненависть, и она жгла его, оставаясь безобидной для врага. Он встретил девушку и полюбил её, но её попытался уверить в противном, и затаённая любовь тоже жгла его, оставаясь тайной для неё. Случай послал ему товарищей нежных, заботливых. Он спрятал от них душу, в которой пылали сжигавшие его чувства, и надменно сказал: «Вход воспрещён. Я не нуждаюсь в дружбе».

Когда он выпал из рядов, товарищи нагнулись, чтобы поддержать его, — он отшвырнул их заботливые руки. Они силой схватили его за шиворот, чтобы — хочет он или не хочет — тащить его за собой, — он злобно вырвался. Им было некогда. Им нужно было спешить. Все ушли, жалая его, — он остался один.

Итак, вот печальные итоги его армейской жизни (он увидел себя ослепительно ясно, слетели все шторки; правда, мрачная и неприглядная, гля-

дела в лицо). И так, вот итоги (он подводил их, стиснув зубы, беспощадный к себе; костяшки неумолчно щёлкали на счётках): он выпал из рядов.

Как это произошло? Что же он делал всё это время? О чём он думал? Он падал медленно и неотвратно по наклонной вниз, но, вместо того чтобы с ужасом смотреть в пропасть, в которую он падал, он беспечно глядел в небо.

10

...Над ним прозвучал нежный далёкий голос:

— Вы живы?

Он не хотел открывать глаза. «Это сон, это снится, — догадался он. — Я проснусь, и голос исчезнет». Ему не хотелось просыпаться. Голос звучал так нежно, так заботливо. Он чувствовал, как сладко млеет его тело, даже боль, которую он всё время ощущал во всех членах, казалась сладкой. Его тормозили, он сопротивлялся. Снова прозвучал голос: «Вы живы?» — в нём звенела тревога.

Он открыл глаза. Над ним наклонилось испуганное лицо Шушаники. Он продолжал видеть сон с открытыми глазами.

— Шу, дорогая... — прошептал он.

Её лицо покраснело, потом нахмурилось.

— Значит, жив, раз болтает глупости, — сказала она сердито. — Подымайтесь, нечего валяться в снегу, горе-лыжник вы этакий...

Он растерянно оглянулся. Где он? Вокруг примятый снег, обломки лыж. Снег в крови? Нет, это закат. Всё вспомнил. Лицо медленно покрылось пятнами стыда. Он чувствовал это и ничего не мог сделать. Странную слабость ощущал он в себе, в теле, в руках, в голове. Поднялся на ноги, охнул. Теперь боль стала острой, реальной. Он подавил стон. Всё его тело словно выколочено.

Она сердито выговаривала ему:

— Нечего бросаться с гор, раз не умеете. Тоже, герой! — Она фыркнула.

— Научите! — слабо улыбнувшись, попросил он.

Она бросила на него быстрый, удивлённый взгляд: его лицо обмякло, стало добрым, жалким; страдальческая улыбка на губах смутила её. Она отвернулась.

Он сказал:

— Простите.

В чём он просил прощения? Она вспыхнула.

— Хорошо. Я буду учить вас. Не сегодня, конечно, — она указала ему на обломки лыж и вдруг весело, легко расхохоталась. Смех прозвенел в горах. Снег, горы, небо ответили эхом.

Он улыбнулся беспомощно и мягко.

— Спасибо.

Она помогла ему собрать обломки.

— Кораблекрушение? — встряхнула она головой.

— Полное, — согласился он, — но я думаю выплыть.

— Желаю удачи.

— Спасибо. Верю — удача будет.

— Вы сами-то дойдёте до казармы? Может, помочь?

— Спасибо. Дойду.

Она подумала немного, потом резко протянула руку. Он крепко пожал её, хотелос поцеловать, — он никогда не целовал рук девушкам. Она выдернула руку. (Догадалась ли она о его желании, или просто он слишком долго держал трепетные пальцы в своих грубых руках?)

— Прощайте! — крикнула она ему, становясь на лыжи.

— До свидания! — ответил он. В его голосе прозвучали просьба и надежда.

— Да, до свидания, — засмеялась она и улетела.

Да, улетела — её лыжи показались Алёше крыльями. Она оторвалась от земли и неслась по багровому небу заката. Он проводил её долгим взглядом.

В казарме никто не заметил перемены в Алёше. А он был другой, совсем другой. Это не Алёша, это другой человек тихо бродил по казарме, толкался среди товарищей, слушал, не вмешиваясь в их беседы. Он бродил смущённый и виноватый. Ни словом не напоминали ему товарищи о его позоре, они словно забыли, — он помнил. Он стал предупредителен и вежлив, вежлив и мягок. Он не делал ни деклараций, ни признаний, всё было попрежнему, только он стал другим. Проницательный Конопатин следил за ним удивлённым взглядом, потом, догадавшись, улыбнулся, но ничего никому не сказал. С Алёшей он был попрежнему ровен. «Ну выпутывайся сам, если есть силы, — думал он про себя, — так будет крепче. Мы настороже. Нужно будет — поможем». Алёша догадывался об этом и был благодарен Конопатину. «Выпутаюсь, выкарабкаюсь!» — отвечал он взглядом.

Он стал теперь свободное время проводить на стрельбище или в спорт-городке. Старался, чтобы никто не видел, как лежит он с винтовкой или барахтается на турнике. Если его заставляли — смущался. Принимал безразличный вид. «Так, вышел размяться, — говорил он небрежно. — Скучно стало...»

Ребята не замечали его усилий. Или только делали вид, что не замечали? Если они притворялись, то очень искусно и словно сговорившись. Когда на очередной стрельбе вспотевший Гайдаш дал отличные результаты, никто не поздравил его. Больше всего он боялся поздравлений.

Только в бюллетене было лаконично отмечено: «Отлично стреляли сегодня в первом взводе Карякин, Покровский, Гайдаш...» Командир взвода не сказал ему ни слова, переменял две жёлтые наклейки на синие, до красных было далеко. Гайдаш вздохнул. Ладно, будут и красные.

Не сказывалась ли в атмосфере, которая теперь окружала Алёшу, мудрая рука Конопатина? Он думал об этом, но наверняка ничего не знал. Во всяком случае он был благодарен политруку. Чудесный он всё-таки парень! Гайдаш легионно завидовал ему. Откуда у него такое знание людей, умение неслышно двигать ими? Этому учатся. Это не даётся сразу. Такого умения не было у Алёши, вот почему он оказался никудышным руководителем. Придёт ли это?

Но сейчас он не думал о будущем. Только бы выкарабкаться! Всё остальное придёт.

С товарищами он сближался осторожно, медленными шагами. Он делал смущённо шаг навстречу и терпеливо ждал ответного шага. Ребята не заставили себя ждать. В их осторожности было оправдание — можно ли ему верить? Он говорил всеми своими поступками: можно. Они поверили.

Он снова узнал давно забытое сладостное чувство: чувство локтя товарища. Может быть, как всякий выздоравливающий, он слишком окрашивал всё: мир казался ему теперь прозрачно-стеклянным и немного хрупким, он боялся разбить его неосторожным движением. Он ходил ещё неуверенно, цепляясь за всё руками, боясь снова упасть. Хорошо было прислониться к плечу товарища. Он ощущал их плечи рядом, в строю — отличные широкие плечи. Чувство любви и благодарности подступало к горлу. Он делался сентиментальным, но это от слабости после болезни. Пройдёт. Юноша станет мужчиной, научится мужественной дружбе.

— Ребята! Ребята! — взволнованно шептал он, бродя ночью по казарме. Штык дневального болтался у него на боку. Он вслушивался в сон-

ное дыхание роты, различал голоса во сне, храп — это Сташевский храпит, больше никому.

Даже очередной приход Ковалёва — он не пропускал ни одного дежурства Алёши — не омрачал это восторженное настроение. Ковалёв придирался, злился, распекал, издевался — Алёша был спокоен. Он слышал за спиной мерное дыхание роты. Теперь он был с ними — против него, против Ковалёва. Они поддержат. Он затаивал ненависть, глаза блестели в темноте. «Погоди! — думал он. — Я теперь не тот, что прежде. Ты получишь своё сполна. И не от меня, от нас от всех».

Шушаника сдержала слово: она научила Алёшу ходить на лыжах. Он оказался способным и старательным учеником.

Теперь в сумерки они часто бродили по горам; она шла медленнее, чем обычно: он стыдился своей беспомощности, его мужская гордость была уязвлена, он делал героические усилия, чтобы не отставать от девушки. Усталый, запыхавшийся, он падал у её ног и просил:

— Посидим.

Она соглашалась. Они располагались на снегу и молчали. Он не знал, как начать разговор, что можно сказать ей. То, что он хотел ей сказать, было запрещено раз и навсегда. Он молчал, злясь на свою неловкость. Скрипели верхушки сосен, было слышно, как на реке лопаются лёд.

Молча возвращались в город. Прощались на мосту. Жали друг другу руки.

— Швидобит! — говорил Алёша, с трудом произнося грузинские слова.

Она улыбалась.

— Швидобит, Алёша. Завтра опять?

— О, завтра!

Он ждал этих «завтра» нетерпеливо, страстно. «Завтра я ей скажу». Наступало «завтра» — он молчал. Её чистота и молодость были невозмутимы. Слышали ли её уши тайные признания в любви, в любви горячей, плотской, нетерпеливой? Он боялся смутить её и отпугнуть. Потерять её было бы катастрофой. Он нуждался в ней. Его любовь была полной, плодотворной, творческой — она помогала ему становиться иным.

Иногда она рассказывала ему о себе. По скучным словам он воссоздавал себе картину мира, в котором она жила. Этот мир был юн и чист. В нём были горы, небо, книги, товарищи и брат, который был лучшим человеком в мире, по её словам. У неё не было ни отца, ни матери. И отцом и матерью был брат. Он возил её за собой из гарнизона в гарнизон. Загрубелые руки командиров бережно нянчили её.

— Наша дочка! — говорили они, ласково улыбаясь ей.

Одни учили её говорить по-русски, другие — по-тюркски, третьи — ездить верхом, четвёртые — читать книги, пятые — стрелять, осмысливать жизнь. Казалось бы, такое изобилие воспитателей должно было привести к путанице в её головке и в её душе. Но воспитатели были одного мира люди, все эти суровые, закалённые пограничники, радостью и любовью которых она была. И мир представлялся ей цельным, вылитым из одного куска — в нём не было ни полутонов, ни шероховатостей. Он делился резко на две части. По эту сторону границы наши — брат, его друзья и товарищи. По ту сторону — враги. Предполагалось, что и там были среди врагов друзья, и тут среди наших — враги, но это была чистая теория. Всё это ей ещё предстояло увидеть своими глазами, чтобы понять.

Назвав её «феей пограничного гарнизона», Алёша обидел её, вложив сюда дурной смысл. Нет, в этом смысле «феей» она не была — суровые командиры целомудренно оберегали свою дочку от грязи, они уничтожили бы всякого, кто осмелился бы смутить её ясный покой грязными нащёптываниями. Дитя полкового гарнизона, она была чище и невиннее любой городской барышни.

Всю свою нежность, потребность женщины заботиться о мужчине она изливала на бездомного брата. Она стала хозяйкой в его доме и ловко всла хозяйство, сводя концы с концами, оперируя на рынке с неожиданным для неё искусством. Она врывается и в квартиры холостяков, молниеносно учиня суд и расправу над застарелым беспорядком комнаты и, утомлённая, победоносно спрашивала:

— Так лучше, кацо, да?

Вместе с братом пережила она мучительный разлад в его семье. Это тянулось долго и трудно, достаточно долго, чтобы вселить в неё ужас перед семейной жизнью. Но она была на стороне брата, и не потому, что он брат ей, а потому, что он был страдающей стороной, а она всегда была на стороне страдающих.

Когда «эта женщина» покинула их осиротевший дом, Шушаника обняла лохматую голову брата:

— Мы отлично проживём сами, генацвале. Ты не падай духом. Я с тобой.

И она искренне верила, что может стать надёжной опорой большому и глупому брату.

Она была мужественной девочкой: выстрелы в ночи, частые тревоги, внезапные выезды брата на заставу (он служил тогда на афганской, беспоконной границе) не пугали её. Она тосковала, разумеется, во время долгих отлучек брата, но не боялась за него. Ей не верилось, что брата могут убить. Не то что она никогда не видела смерти — однажды пришлось ей два часа пробыть под пулями во время налёта басмачей, её лучший друг командир взвода Ладосвапидзе, кудрявый Ладос, умер на её руках, — но просто не верила, что могут убить именно брата, её милого, смешного брата. И потом — она так привыкла, что смерть бродит рядом, что о ней и не думала вовсе. Среди пограничников считалось плохим тоном говорить о смерти.

Ничто, таким образом, не омрачало её радостного восприятия мира. Её «философия» была наивна, честна и удивительно привлекательна — это было радостное и, может быть, бессознательное утверждение жизни во всех её формах и проявлениях. Я живу в этом мире, он мой, стало быть, он хорош, и я люблю его. Чудесны горы весной и зимой, они чудесны на заре, когда золотятся их снежные макушки, и на закате, когда солнце, смешное, медное, как тарелка, висит, зацепившись за сучья сосен. Чудесен снег, похрустывающий под лыжами. Чудесен городок, спрятавшийся в садах. Чудесны яблони с золотым семечком. Буйвол бредёт по тропинке — какой смешной, мохнатый, чудесный буйвол!

С этим миром живой природы она обращалась совсем запанибрата. Она злилась и ругала горы, когда они закрывались тучами. И топала ногой — противные тучи! — и кричала солнцу: «Ну ты, лентяй, выползай скорее! Нечего, печего, кацо. Кинто противный!»

В горах, в оврагах она никого не боялась, смело скакала на своём вороном жеребце, пробиралась сквозь сучья. Кто может обидеть её? Кто посмеет обидеть её? О! Она раздувала ноздри. Нет такого человека, который мог бы её обидеть.

— Только ты, кацо, однажды обидел меня, — сказала она Алёше, но потом спохватилась. — Но я не помню зла. Ты не бойся.

Почувствовав к нему доверие, она однажды распахнула перед ним свои мечты. Они казались ей широкими, захватывающими, но все — самые ослепительные — исполнимыми.

— Ты никому не рассказывай, генацвале. Пожалуйста, никому. Брат не знает. Я скоро уеду.

Он испугался:

— Куда?

— О! Я уеду далеко. Я уеду в лётную школу. Я стану летать. Понимаешь? Я прилечу сюда, пролечу вон над этой горой, я называю её Заячьей, правда, она похожа на зайца? И я закричу вам: «Гамарджеба, кацо! Это я, Шушаника Вардания. Вы всё по горам ползаете? Прячьтесь. Скоро дождь будет. Я вижу отсюда тучу, вы не видите её, вы на земле». И я буду носиться над горами, а селения станут совсем маленькими, крохотными, и ты будешь маленький, и даже высокий брат покажется мне чёрной точечкой на снегу.

Она увлекалась — вот она уже летит в Москву. Сталин даёт ей задание, она летит сквозь пургу, туман, дождь... Потом она поступает в академию, строит какие-то машины и сама же летает на них...

Алексей внимательно вслушивался: он хотел обнаружить присутствие мужчины в её планах. Его не было. Она хочет строить свою жизнь одна? Он хотел спросить её об этом и не решался. Странно, он робел в присутствии этой маленькой, худенькой девочки. Какую непонятную власть забрала она над ним!

Польщённый её доверием, он стал рассказывать и о себе. Он рассказал ей всю, всю свою нескладную жизнь с многочисленными провалами и падениями. Он раскрывался перед ней весь, не щадил себя и невольно даже сгущал чёрные краски. Он хотел быть честным. «Смотри, вот какой я скверный. Можешь ли ты полюбить такого?»

Но это, пожалуй, был и самый верный путь к её сердцу, бескорыстному, готовому на самопожертвование, отзывчивому ко всякому горю.

Но так или иначе он разбудил в ней дремлющее чувство педагога — каждая женщина в той или иной мере педагог. Ей захотелось направить этого блудного сына в лоно жизни, она жалела его и хотела помочь ему. Не это чувство мечтал разбудить он в ней. Ему уже невольно было таиться, каждое слово его, самое незначительное, было о любви. Не замечала она этого или только делала вид, что не замечает?

Он пустился на маленькую хитрость. И он произнёс однажды, путаясь и запинаясь:

— Қарги гого, ме микварс тен.

— Что? — закричала она, но не рассердилась, а захохотала: очень смешное было у него произношение.

— Ты кацо.

Он не понял. Смущённо хлопал ресницами.

— Слышишь? — спросила она и указала в горы; там ревел кавказский соловей — ишак. — Это твой брат кричит. Ты ишак, как и он, кацо. На этом точка.

— Но...

— Я не хочу больше слышать о твоей любви ни на русском, ни на грузинском языке. Хочешь быть друзьями?

— Хочу. Очень.

— Ну вот! — Потом она лукаво улыбнулась. — А грузинским языком я с тобой займусь.

Она не любила уединения и, нисколько не смущаясь, сообщила Алёше, что была бы рада, если бы на их прогулках бывали ещё люди. Он обиделся. Но смирился.

Ему трудно было вырывать из уплотнённого армейского дня часы для встреч с Шу. Этот день он ещё больше уплотнил своими «внешкольными» занятиями на стрельбище и в спортгородке. Он не бросал их. Он здорово отстал от товарищей, догонять было трудно. Шу он мог видеть чаще всего в клубе. Здесь её окружала широкая толпа «рыцарей маленькой Шу». Смущённо пристал и он к ним. Они приняли его сначала сухо, но Конопатин разбил ледок. На Алёшу, как на соперника, никто не смотрел, Шу обращалась с ним, как со всеми.

Не часто, но бывал в этой компании и Ковалёв. Он держался особняком, очень значительно и чуть высокомерно. «Рыцари» не скрывали своей нелюбви к нему, Шу его побаивалась. Потом возненавидела.

Это произошло внезапно, почти на глазах Алёши. Они поехали вечером на прогулку в горы. Чтобы доставить Алёше возможность поехать тоже, заботливый Конопатин приказал ему оседлать двух коней и сопровождать его. Алёша с радостью и благодарностью выполнил приказание.

Они ехали по узкой тропинке — Шу и Ковалёв впереди, Конопатин, командир взвода Авксентьев (самый пылкий поклонник Шу) и Алёша чуть сзади. Внезапно впереди с горы на дорогу упал огромный камень. Шу вскрикнула. Все бросились к ней.

— Не ушиблась? — закричал Алёша, и Конопатин с удивлением услышал в его голосе страстные, взволнованные ноты.

«Эге! — подумал он. — Парень выдал себя».

Но Шу была невредима. Все спешились.

— Надо убраться в сторону, — предложил Конопатин, — горы сегодня не в духе.

Ковалёв небрежно толкнул ногой глыбу, загроздившую тропинку.

— Так разрушаются горы, — сказал он. — Пройдут века, они исчезнут. Старушка-земля станет плоской, как блин.

Все засмеялись. Шу вздрогнула и насторожилась.

— Вы шутите?

— Нет, — пожал Ковалёв плечами. — Это вы можете прочесть в любой популярной брошюрке. Мы не замечаем, как разрушаются горы. Происходит великий процесс нивелировки. Всё, что возвышается над землёй, стирается. Природа не любит вершин. Земля превратится в песчаную унылую равнину, голую, как моя ладонь.

Шу с испугом посмотрела на горы. Эти горы исчезнут? Эти горы, по которым она лазила девочкой, над которыми она собирается летать?

— Нет! — закричала она. — Вы лжёте. Вы нарочно это говорите. Правда, Конопатин?

— Это будет не скоро, Шу, — успокоил её тот, улыбаясь. — На твой век хватит.

— Этого не будет никогда! — пылко воскликнула Шушаника.

Ковалёв сухо засмеялся — словно рассыпались сухие косточки по тарелке. Его смех был неприятен — этот человек не умел смеяться.

— Увы, это будет. Вы строите здания, дворцы, системы, миры. Зачем? Всё погибнет. Всё превратится в однообразную пустыню. Всё нивелируется — горы, люди, характеры. Где шекспировские темпераменты? Где любовь, страсть, ненависть? Горы стали меньше, и люди стали мельче. Маленькие, никчёмные люди с маленькими никчёмными страстишками. Кончится это тем, что на голой земле останется голый маленький человек.

Конопатин горячо начал спорить с ним. Он шумел и сыпал доказательствами. Ковалёв уклонялся от спора. Он понял, что хватил лишнего. Присутствие Алёши смущало его. Он пытался свернуть разговор.

— Пора и домой, — наконец сказала Шу. Она стала молчаливой и грустной.

Обратно ехали в мрачном молчании. Шу подрагивала на своём Соколе и бросала неприязненные взгляды на Ковалёва. Тот делал вид, что не замечает их.

Конопатин наклонился к Алёше и тихо спросил:

— Ну, как тебе понравилась философия Ковалёва? Какие он выводы сделал из факта разрушения гор, а? Ловко?

— Это разговоры врага, — ответил Алёша и, волнуясь, повернулся к политруку. — Как вы не видите, что это враг? О, он узнает ещё, есть ли у нас сильные чувства, ненависть, например. Полной мерой узнает, — добавил он, злобно сверкнув глазами.

«Ого!» — подумал Конопатин. А ему уже казалось, что он знает Гайдаша вдоль и поперёк.

Всё это время он беспокойно присматривался к нему.

«На чём он теперь сорвётся? Он ходит по тонко натянутой струне. Ещё не всё безмятежно в этой упрямой башке. Но нужна ли ему безмятежность? Пусть падает, расшибает нос, подымается и снова прёт вверх, становясь сильнее с каждой шишкой, вскочившей на лбу».

«Не в этом ли движение? — размышлял Конопатин. — Мчаться вперёд сквозь лесные завалы, прошибать дорогу топором, спотыкаться, падать и снова нестись вперёд! Надо только знать верное направление.— Он глядел на Алёшу и кивал утвердительно:— Он знает».

Во всяком случае Конопатин был тут же, настороже, чтобы поддержать товарища при новом падении.

Иногда он спрашивал себя:

«Почему так дорог мне этот упрямый волчонок? Почему беспокоит меня его судьба? Вот я стал понемногу его нянькой».

Он пожимал плечами и ласково глядел на Алёшу.

«Это парень нашего поколения. Это наш парень. И потом,— он усмехался шутливо,— ведь я политрук, мне за это деньги платят».

О Ковалёве у него было своё мнение. Он не любил этого человека. И не верил ему. Но не хотел доверять и своему чувству: «Я знаю о нём, что он сын офицера, может быть, отсюда моя физическая неприязнь? Не надо поддаваться ей. Надо стоять на почве фактов. Что я могу сказать против Ковалёва?»

Но Алёша, видимо, знал то, чего не знал Конопатин.

— Ты хотел что-то сказать о Ковалёве? — склонился он к Гайдашу.

— Мы ещё поговорим об этом, товарищ,— ответил Алёша.— На днях поговорим.

— Что же мы едем, как мёртвые? — вдруг закричал Авксентьев. Он подскакал к Шушанике. — Ника, давай поскачем.

— Не хочется, Анатолий.

— Какие-то похороны,— разочарованно протянул кудрявый комзвода. — Чего хороним? Ника, ты обещаешь мне первый вальс под Новый год? Вот при всех сватаюсь?

— Ладно,— улынулась Шу.

— А мне? — спросил, усмехаясь, Ковалёв.

— Второй — Алёше,— дерзко ответила Шушаника.— Хорошо, Алексей?

— Хорошо,— пробормотал он. Бедный, он не умел танцевать.

Он подъехал к Шу.

— Ты свободен завтра? — спросила она почему-то шёпотом.

— Увы, нет. Вечером заступаю в гарнизонный наряд.

— Ведь завтра выходной.

— Да, но я хочу послезавтра смениться, чтобы прямо на встречу Нового года.

— Хорошо. А утром завтра, стало быть, ты свободен?

— Утром свободен.

— Приходи. Мы побродим по городу. Идёт?

— О, с охотой!

Они расстались на мосту. Шушаника поскакала домой, в погранотряд, с мандиры и Алёша — в полк. Ещё в городе Ковалёв спешил и подозвал Алёшу.

— Товарищ Гайдаш, вы отведёте моего коня и сдадите его коноводу Гаркушенко.

— Есть,— пробурчал Алёша.

Ковалёв насмешливо посмотрел на него.

— Надо повторять приказание.

Гайдаш задохнулся от ярости, но сдержался.

— Приказано отвести коня и сдать коноводу Гаркушенко.

— Так. Езжайте. До свидания, товарищ Конопатин.

— За что вы не любите друг друга? — спросил Конопатин Гайдаша, когда они остались одни. Авксентьев ускакал вперёд. — Вы знали друг друга раньше?

— Да, знал, — проворчал Алёша, ещё не оправившийся от гнева.

— Это любопытно. Где ж ты встречал его?

— Я после расскажу. Это долгая песня.

Они уже подъезжали к полку.

Спешиваясь у конюшни, Алексей успел подумать: «Она сама, сама позвала меня... Завтра я её опять увижу. Мы будем вместе бродить по городу... Чудесно жить!»

11

Желающих уйти в город было много — предпраздничные дни. Старшина ворчал и скупно выдавал увольнительные записки.

— Я ещё ни разу не был в городе, — сказал ему Алёша.

Это была правда. Он только вчера впервые проехал его, возвращаясь с прогулки.

— Ни разу? — недоверчиво спросил старшина. — Ну-ну! — Он подписал записку и сердито прибавил: — Идите, гуляйте, да не загуливайтесь.

Алёша весело козырнул:

— Есть!

Он знал, что старшина ворчун, но чудесный парень. Впрочем, и должность у него такая, что заворчишь. Сколько хлопот с обмундированием, хозяйством, имуществом... Алексей пожалел старшин — все люди казались ему чудесными и родными в это прекрасное утро.

Он прошёл через казарму к выходу. Всюду возились ребята, чинили гимнастёрки, брились, писали письма.

— Помни, Гайдаш, сегодня в наряд! — крикнул ему вдогонку Карякин.

— Есть, товарищ командир отделения! К обеду буду! — лихо откликнулся Гайдаш.

Его сапоги, начищенные, солнечные, скрипели и пели. Всё пело в нём. «Шу, милая Шу, иду!» Он выбежал из полкового городка, и вот он в городе. Дневальный окликнул его — он не остановился.

Узкой, кривой улочкой начал спускаться к центру. В городе было оживлённо и шумно, на главной улице толпились гуляющие. Никогда он не думал, что здесь может быть так много народу. Еле продрался. Пыля снегом, пронёсся автобус, запахло бензином. У станции Союзтранса из него вывалилась толпа пассажиров. Алёше показалось, что мелькнуло в ней чьё-то знакомое лицо. Кто бы это мог быть? Он не вспомнил. Думать было некогда. «Шу! Милая Шу, иду!» На мосту его окликнули. Он обернулся. Красноармейцы сидели на перилах и смотрели на реку. Дельное занятие! Он засмеялся. Ребятам было скучно. Зачем они пошли в город? Целую пятидневку мечтать об отпуске, а потом прийти и смотреть на брёвна в реке? Он весело закричал:

— Бегу. Некогда! — махнул рукой и убежал.

У крепости его уже ждала Шушаника.

Он возник перед ней запыхавшийся и счастливый. Испуганно спросил:

— Ты давно ждёшь? Старшина...

Она протянула ему руку.

— Пошли!

Взявшись за руки, они побежали в город, через мост, мимо скучающих на перилах красноармейцев (ребята завистливо посмотрели им

вслед), мимо станции Союзтранса, кривыми, горбатыми улицами. И вот уже окружала их пёстрая, шумная толпа. Армянский, тюркский, грузинский, курдский, русский говоры... Гортанные крики разносчиков... Запах яблок на базаре... Стук молотков в кузнице... Ржание коней, рёв буйвола, испуганный, нетерпеливый плач ишака... Смех девушек... Запах жареной баранины и вина у духанов... Звяканье шпор... Цоканье копыт на булыжнике... Скрип снега... Скрип деревянной арбы... Рожок автомобиля... Крик муллы с минарета... Блеск восточных нарядов, звон серебра и мониста... Плач зурны. Хохот школьников... «Лаваш, лаваш, вот лаваш!..», «Яблуки, яблуки, чудные яблуки!..»

— Гамарджвеба Шушаник, почему к нам не заходишь?

— Эй, елдаш кзыл-аскер, вот яблуки — золотое семечко...

— Шушаника, здравствуй! Ты помнишь: сегодня в парткабинете...

— Помню, амханаго.

— Будь здорова, Шушаник!

— Мадлобт!

Пёстрый, нестройный шум оглушил Алёшу. Он испуганно озирался. Он отвык от толпы и городского шума. Он предпочёл бы остаться наедине с Шушаникой, уйти с ней далеко в горы и там лежать на снегу, тихо и неторопливо болтая, греясь под ласковым солнцем. Но она нетерпеливо тащила его сквозь город, её окликали, она весело отвечала по-грузински, по-русски, по-армянски — у неё были сотни знакомых, каждый человек в этом маленьком, распахнутом настежь городе был знаком ей. Жизнь выливалась прямо на улицу, двери лавчонок, мастерских, духанов, даже домов были широко открыты, — всё на виду. Только в мороз чуть прикрывались двери.

А сегодня над городом плыл ясный, тёплый, солнечный день и всё казалось отполированным спокойным сиянием дня, всё блестело, точно покрытое лаком.

Ради этого дня, ради праздника в город ринулись жители гор. Они спускались по тропикам на ишаках, мулах. То и дело попадался навстречу воинственный курд верхом. Левая рука держала поводья, правая лежала на кинжале. Подкрученные усы... Прекрасная посадка... Статная фигура... Курд победоносно глядел по сторонам.

Медленно пробирался через толпу мирный, задумчивый азербайджанец в коричневом башлыке. В поводу он вёл ишака, на котором колыхалась его величавая и невозмутимая жена, покрытая длинной белой шелковой шалью, бренчало монисто, звякала уздечка, колыхались жирные, крутые бока женщины.

Горцы толпились на базаре, шумно торговались; кормили лошадей (над базаром — запах навоза, горького бензина, сушёной рыбы, сладких яблок, лука, окровавленных бараньих туш, козьего сыра и пота человека — конского, звериного), заходили в духаны, в харчевни, в кофейни, требовали вина, зелени, сыра, мяса, «хаши» (бараний желудок и потроха в бульоне), «жареных головок», хрипло пели, чокались, целовались, обтирая пену с мокрых усов.

Но жёны тащили их в лавки и мастерские. Серебрянщики, жестянщики, седельщики и цирюльники, красильщики, канительщики, столяры, чемоданщики, гвоздильщики, кузнецы, сапожники, мебельщики широко распахнули двери своего ремесленного мира перед покупателями, они работали на глазах всей улицы, товар выходил горячим из-под умелых рук.

Серебрянщики, тощие, чахоточные, в узких очках на самом кончике бледного, синего, в чёрных точечках носа, трудились над медными узорчатыми поясами, брошками, безделушками из фальшивого тусклого серебра. Настоящие серебряные и золотые вещи мастерились тайно и

бережно, ниточка к ниточке. Сложный орнамент, хитрые узоры, ажурная паутина из податливого металла. Серебрянщики и золотильщики были неразговорчивы, покупателей встречали молча и равнодушно, не отрываясь от работы. Они знали — изделия найдут сбыт. Они уважали своё редкое ремесло и искусство. Город был славен ими, о них писали в энциклопедии. И только изумлённые вздохи женщин, застывших в восторге над каким-нибудь тяжёлым головным убором из меди, серебра и камней, вызывали у мастеров снисходительные и довольные улыбки.

Рядом с аристократами ремесленного мира — серебрянщиками — приютились седельщики. Здесь мастерились знаменитые сёдла с серебряными насечками, с накладками из оленьей кости (традиционные кинжалы наперекрест); особо старательно делались сёдла по специальному заказу по рисунку и из материала заказчика. Эти сёдла выставлялись в единственном окне, вызывая зависть и восторг истинных любителей; когда заказчик являлся, мастер бережно и неохотно снимал с подокозника своё произведение, вытирал рукавом пыль и, вздохнув, расставался с ним.

Алёша тащился за раскрасневшейся, весёлой Шушаникой и только спрашивал её:

— Куда ты тянешь меня, Шу?

— Идём.

— Дай перевести дух. Где цель?

— Я хочу тебе показать город.

— Я уже увидел всё, что хотел, — ему захотелось подразнить её. — Увы, здесь нет ни одной хорошенькой девушки («кроме тебя», — хотелось добавить, он сдержался и сказал это глазами).

— Это неправда, — рассердилась и обиделась она. — Ты просто тюлень и ничего не понимаешь. Здесь — красавицы, умей смотреть.

Шу смеялась.

— Ах вы, бедные, бедные! Хочешь, я познакомлю тебя с чудесными девушками? — Она предложила это горячо и бескорыстно.

— Нет, спасибо. Мадлобт, Шушаника. Я себе уже нашёл.

Она не обратила внимания на его слова.

— Я нашёл! — повторил он значительно.

Но она восхищённо рассматривала витрину игрушечных дел мастера. Неужели ничем не растревожить её сердца, закованного в железо равнодушия? Ей восемнадцать лет. В эти годы уже любят. Он мучился ревностью. Но к кому? Кто это был? Кудрявый Авксентьев, может быть, Ковалёв или Конопатин? Нет, не Конопатин. Почему же не Конопатин? Но, возможно, есть и кто-нибудь совсем другой, например, в пограничном отряде. Он уехал на заставу, а она терпеливо ждёт его, ей всё равно, с кем бродить по городу — с Алёшей ли, с Авксентьевым или вот с этим лохматым парнем, который здороваётся с ней сейчас, обнажив в улыбке крупные белые зубы. В сущности, ведь он ничего не знает о ней. Как она живёт там, дома? Кто бывает у неё? Он приуныл.

С какой стати в самом деле полюбит она Алёшу, парня в серой, лохматой шинели, нескладного и некрасивого? Девушки любили его раньше, но он был тогда первым парнем на деревне. Можно ли полюбить рядового красноармейца?

— Я очень некрасивый? — спросил он вдруг.

Шушаника засмеялась.

Он обиделся.

— Может быть, тебе неловко со мной итти по городу?.. — пробормотал он.

— Ты ишак. — Она ласково посмотрела на него. — Большой, глупый ишак.

Это показалось ему самым нежным словом, какое он когда-либо слышал, — так произнесла его Шу. «Да, я ишак. Глупый ишак. С чего я вдруг

вздумал реветь? Вот я иду по городу рядом с чудесной девушкой, с лучшей девушкой в мире. Что тебе ещё нужно, ишак?»

«Ещё любви немножечко и...» Но он не додумал этой мысли до конца, на них налетела целая гурьба комсомольцев — друзей Шушаники. Поднялся шум, все говорили разом, радушно улыбались Алёше, и он сразу почувствовал себя своим среди этих незнакомых ему людей. Это были ребята его племени, комсомольцы.

Все вместе, гурьбой, они потащились по улице, переключаясь с прохожими, громко разговаривая и смеясь. Русские, грузинские и армянские слова смешивались в причудливый пёстрый язык; странное дело, Алёша стлично понимал его.

Потом они очутились все вместе в тёмном и душном винном погребок — Алёша, Шушаника, лохматый Арсен-учитель, стройный Ладо с лесопилки, смуглая полногрудая Элла (её лицо — цвета гречишного мёда и такое же сладкое и доброе), весёлый Аршак и хохотушка Тамар. Было решено выпить по стакану, «чтоб крепче была дружба». Они пили подогретое багровое вино, ели лаваш, горячий, прямо из печи (длинные, тонкие мучные лепёшки, красноармейцы звали их «портянками»). Они и точно были похожи на портянки, эти серые, дырявые, рассластанные листы хлеба). Чокались, кричали: «Ваша! Ваша! Ура!» — и заедали вино душистыми яблоками.

Они спрашивали у Алёши, как служится в армии, как нравится ему город.

— Ему не нравятся наши девушки, — сказала Шу.

— Он не знает их, — смущённо улыбнулась Элла и бросила исподтишка взгляд на Алёшу.

— Наш город, — кричал Арсен, — о, он имеет будущее. В окрестностях недавно найден диатомит — лучший диатомит в мире.

— Что это — диатомит? — тихо спросил Алёша. Он улыбался: здесь звучали те же песни, что и дома, в Донбассе. Люди носились с планами, шупали недра, искали клады. Они готовы были рыть каналы, строить плотины, пробивать туннели в горах, если это подвигало их город к широкой дороге, которой шагала страна.

— Диатомит? О, это чудеса! — Арсен говорил и мыслил восклицаниями.

— Из нашего леса в Париже делают скрипки, — перебил его Ладо с лесопилки. — Резонансный лес. Лес, который поёт и играет. «Р. Л.» — вы увидите на брёвнах, если пойдёте на плоту по Куре.

— Вы расскажите ему про яблоки, — вмешалась Элла.

— Зачем рассказывать? Кушай наши яблоки, Алёша, кушай, говори.

— Чудесные яблоки, — говорил он.

— Э? — Аршак недоверчиво посмотрел яблоко на свет и бросил его презрительно на пол. — Не то яблоко берёшь. Вот яблоко, кушай, прошу. Говори.

У Алёши от вина, от тепла и дружбы, от шума в низеньком погребок, от близости Шу, благоухающей духами и яблоками, кружилась голова. Он совсем забыл о том, что ему итти в наряд. Он хотел бы никогда не уходить отсюда, из тесной компании новых друзей, внезапно найденных им на границе.

Но Шу помнила: она взглянула на часы и молча показала их Алёше.

— Правда, правда, — смугился он. — Извините, товарищи.

— Служба, — отозвались они хором. — Мы понимаем.

— Я в карауле сегодня...

— Мы поручаем вам наш город и наши жизни, — крикнула ему Элла.

— Я буду бдителен, — улыбаясь, ответил он, пожимая их горячие руки.

— Я провожу тебя, Шу? — спросил он, прощаясь с ней.

— Нет, нет. Беги в полк. Я не хочу, чтоб ты опаздывал из-за меня.

— Швидобит, Шу, дорогая. Я бегу.

— Швидобит! — закричали ему вслед товарищи.

Он вышел на улицу. Какое солнце! Оно показалось ему ослепительным после потёмок подвала. Прищурился. Чудесное солнце! Чудесный день! Чудесные ребята! Шу!

Он торопливо пошёл по улице. Внезапно впереди мелькнула знакомая фигура. Это тот, кого он заметил мельком в толпе пассажиров Союзтранса. Меховая телячья куртка, клетчатые бриджи, краги, чемоданчик в руке. Приезжий. Но кто это?

Он ускорил шаги. Ба! Неужели Валька Бакинский? Но что он здесь делает? Да нет, не Бакинский вовсе.

Догнал. Толкнул плечом. Человек обернулся, щуря близорукие глаза.

— Виноват, — буркнул Алёша и взглянул ему прямо в лицо.

Что за чёрт! Бакинский! Гайдаш сдержался, чтобы не вскрикнуть...

— Товарищ красноармеец, — обратился к нему Валька. — Как лучше пройти на Нагорную улицу?

— А зачем тебе понадобилась Нагорная улица, Бакинский?

Валька вздрогнул.

— Ты? Алексей? Я не узнал тебя. Ты здесь? В таком виде? — Чемоданчик упал. Он торопливо поднял его. В его движениях были испуг и удивление.

Гайдаш подозрительно следил за ним.

— Я здесь служу в армии, и это не удивительно, — пожал он наконец плечами. — А ты? Что ты здесь делаешь?

— Я... видишь ли... путешествую...

— Знатный иностранец?

— Нет, — нервно засмеялся. — Я работаю в центре, как всегда в газете...

— В какой?

— В разных... — неопределённо махнул рукой. — Здесь я в командировке... Э... проездом... Чудесный город. Горы! — Он неумело восторгался. — Какая экзотика! Чего название города стоит — Крепость! Да ведь пахнет Шамилем. Это древность, седая, дремучая...

Алексей вспомнил весёлых комсомольцев, Арсена, мечтающего о диатомитовых рудниках, и засмеялся.

— Ты опоздал, Бакинский. Этот город тоже уже «покорили» большевики.

Но ему некогда было дискутировать на улице.

— Мы увидимся? — крикнул ему вслед Бакинский.

— Может быть.

Он побежал, расталкивая прохожих. Но что здесь делает Бакинский? Вряд ли ради экзотики. Так или иначе враг в городе. А Бакинский — враг, нет никакого сомнения. Надо предупредить коменданта гарнизона. Кто комендант у нас? На бегу вспомнил. Вдруг побледнел и даже остановился. Да ведь комендант-то Ковалёв.

Никита Ковалёв жил, как большинство командиров, на частной квартире. Он снимал комнату в доме армянина-садовода на Нагорной улице. Это было далеко от полка, и это устраивало Никиту.

Дом, в котором он снимал квартиру, был сложен из серого камня, взятого тут же, в горах, но, в отличие от соседних домов, поверх камней облеплен глиной и для шик у нас скоро побелён. Рёбра камней выпирали в щели там, где растрескался мел, дом стал пятнистым. Он был полутора-

этажным. В нижнем этаже (он уходил глубоко в землю, составляя часть фундамента) зимовал скот; длинный, под дощатой крышей деревянный коридор-веранда опоясывал весь дом по принятому здесь архитектурному обычаю. Когда-то коридор выкрасили яркой охрой, краска облупилась, строганое, почерневшее дерево выглядывало тут и там. На веранде всегда сушилась скошенная трава, пахло свежим сеном.

К дому примыкал фруктовый сад, и Ковалёв в окно сквозь узоры на стекле видел яблони, согнувшиеся под хлопьями снега. Это напоминало ему отцовы хутора и есаульскую усадьбу в станице.

Комната помощника начальника штаба была просторная и пустая. Он не любил таскать за собой вещи. «Я походный человек, — говорил он бывавшим у него гостям, — я человек бивуака». Когда у него спрашивали, почему ни одной фотографии нет на стене, ни на столе, он отвечал кратко: «У меня никого нет». Товарищи не верили.

— А семья?

— У меня нет семьи.

— Невеста? Жена? Любимая?

— Я никого не любил.

От него смущённо отступались. И сам он тоже не любил фотографироваться. Избегал фотолюбителей (в полку их развелось, что грибов после дождя); когда на него напирали, он насмешливо цитировал Эдгара По: «Фотографироваться любят люди, которые боятся смерти». А я смерти не боюсь». В полку о нём ходила слава, как о суровом, аскетическом, суховатом и неподкупном командире. Только командир полка, многосемейный и добрейший Пётр Филиппович Бывалов, которого в полку за глаза иначе как «отцом-командиром» и не звали, говаривал, качая головой:

— Ох, боюсь я одиноких людей. Одинокий человек — опасный. У каждого человека должна быть семья, друзья, товарищи.

Ни одной лишней вещи не было в пустой комнате Ковалёва. Кровать, коврик, стол, стулья, платяной шкаф, часы-ходики, лампа под зелёным абажуром, умывальник — всё хозяйское, своего ничего не было.

Окна были закованы в толстые железные решётки — память об армяно-тюркской резне... Этот дом, в котором жил помначштаба, видал виды. Иногда в сумерках Ковалёву мерещилась застывшая кровь на полу, но то были пламень и отсветы печки. И сам хозяин дома уже позабыл о тех страшных временах, когда с гор кровавым потоком падали на съёжившийся в испуге город тюрки и убивали, резали, громили, жгли... «Чудесные времена были, — насмешливо думал Ковалёв. — Что до меня, я постарался бы тогда стать тюрком».

Хозяин предложил как-то сломать решётки.

— Не надо, — отмахнулся Ковалёв. — Пусть будут.

Он жил двойной жизнью: одной в полку, на людях — строгий, корректный, подтянутый командир; другой — здесь, в тёмной клетке — комнате, окованной железными решётками. Этой второй жизни в полку никто не знал.

Никто не знал, как метался он по комнате. Он готов был рычать от нетерпения, злости, страха. Когда же, когда?

Валился на диван. Вкрадчиво шелестела бумага. Что это? А, газеты! Он вытаскивал их и злобно швырял на пол. Ничего утешительного. От бодряцкого треска газет звенело в ушах. Что они медлят, они там, за границей? Слепые, разве не видят они, как ощетиливается страна?

Он чувствовал своё бессилие и только кусал кулаки. Что он мог сделать? Он избрал военную карьеру не только потому, что это соответствовало его духу и давним стремлениям, а и потому, что хотел быть ближе к «заварушке», когда она грянет. Во взрыв изнутри он не верил. Мужичья власть не падает под мужичьим топором. Топор должен прийти извне. В своих мечтах он видел: начинается «заварушка», и он на белом коне,

во главе преданных ему эскадронов с развёрнутыми знамёнами переходит к своим. Его встречают как рыцаря-победителя и допускают к делёжке. Измена родине? Но где его родина? Она кочует по бульварам европейских столиц.

Горькой любовью обманутого сына любит он и ненавидит её. И, ненавидя, любит. У него с нею свои счёты. С отцом, бросившим сына на произвол судьбы и убежавшим, спасая свою шкуру. С генералами, которые пропили, прозевали, прошляпили Россию, с эмигрантской накипью, которая болтает и протитует в то время, как он здесь каждую минуту рискует головой.

Но это семейные счёты. «Сочтёмся после!» — думает он. С родиной же, которая сейчас окружает его, у него кровавый счёт, и счесть можно только кровью. Резать, жечь, убивать. Камня на камне! Он захлебнётся в крови, в горячей, остро пахнущей человечиною. Жечь их дворцы и музеи! Ломать их памятники и клубы! Насиловать их девушек, которыми они так гордятся! Убивать! Убивать! Убивать! О, он расквитается за всё — за унижения, за двойную жизнь, за страхи, которые предательски одолевают его по ночам. За ненависть невысказанную, которая жжёт его.

Его начальники (те, настоящие) должны были бы дать выход его ненависти. Но они давали ему мелкие поручения, от которых претило. Тихое вредительство, иголки в потниках, гнилое обмундирование, посылка сведений, мобилизационных планов, карт, фотографий — он выполнял всё это добросовестно и аккуратно, со щепетильностью штабного. Он был служащим двух штабов, и в этом тоже была его двойная жизнь: штаба полка и штаба далёкого, смутно известного ему, которому он, однако, подчинился беспрекословно и старательно. Его непосредственным начальником в этом старом штабе был матерой волк, бывший крупный интендант царской армии, человек с багровыми щеками, набухшими веками и лицом, на котором чувствовались сбритые усы с подусниками. Его подпольная кличка была «Генерал». От него получал Ковалёв директивы, иногда поощрения, часто выговоры, аккуратно деньги — всё, как на службе.

В письмах, которые писал ему Ковалёв, он жаловался на то, что служит в захолустном гарнизоне, на мирной бесполезной границе, и просил передвинуть его на более видное место. Он хотел сделать карьеру вредительством, как знакомые ему командиры из офицерских детей делали (предатели) карьеру честной службой. Генерал отвечал ему хладнокровно:

«Предоставьте мне решать, где вы полезнее».

Он подчинился.

«Укрепляйте кадры в полку», — приказывал Генерал.

Он усмехался. Откуда взять их, эти кадры? Из командиров, окружавших его, — этих краснощёких здоровяков, от которых пахло землёй и потом? Красноармейцы — чужой, незнакомый серый мир? Штабные писаря? Но и писаря стали не те. Он искал классического писаря, заклеимённого литературой, — щёголя, фата — и не находил. Слишком много комсомольцев было среди писарей! Ненавистное племя. Гайдаши. Попав в армию, Никита Ковалёв стал сомневаться: пойдут ли за ним эскадроны с развёрнутыми знамёнами на ту сторону?

Он был одинок. Он не рисовался, говоря, что у него в целом свете нет никого. Чьи портреты повесил бы он на стену? В полку он носил маску корректного, суховатого штабиста. Он не умел быть гибким, пружиниться, хлопотать. Маска, раз навсегда принятая им, вполне соответствовала тому, что он может. Много раз подчёркивал, что он только строевик, армия для него — устав и арифметика; политика — чуждое ему дело; достаточно, что он честно служит, речи держать — не его специальность. Таким принимали его в полку; начальник штаба, «старый

служака», ценил и продвигал его, командиры поддерживали с ним вежливую дружбу (молодые не скрывали, что не любят его). С комиссаром полка соприкасался мало (всегда старался избегать встреч), и только командира полка псбаивался Ковалёв: в нём чувствовал он силу, которая может сломить его. Часто ловил он на себе подозрительные, внимательные взгляды Петра Филиппыча и тогда весь день был не в себе. Но крепился, сохранял наружное спокойствие. Это было трудно. Он уставал. Казалось, даже кожа на лице ныла от застывшей улыбки. Он был напряжён весь. Каждое слово, каждое движение нужно было обдумать. Поворот головы. Взгляд. Шаги. Всё находилось на глазах.

Дома, наедине, он распускался. Вместе с портупеей сбрасывал с себя маску. Как лошадь, которую освободили от сбруи, облегчённо раздувал живот. Опускались плечи, расслабленные, повисали руки. В туфлях на босу ногу бродил по комнате. Курил. Швырял на пол окурки. Топтал их. Сквозь решётчатые окна в комнату струились сумерки. Ползли по полу. Шарили в углах. Их серые руки ощупывали его. Он чувствовал сырые объятия, поёживался. Но лампы не зажигал. Зачем? Лежал на диване. Ворочался. Хорошо, если удавалось уснуть. Как убить этот томительно длинный вечер? Пойти в гости? К кому? Его встретят сухо и неохотно. Стихнет дружеский смех, все будут ёжиться. А... Плевать! Что ему за дело до того, как чувствуют себя они? Но и ему с ними трудно. Чужие. О чём говорить? Снова напяливать маску? Он устал от этого.

Полюбить он не мог. И... боялся. Он встретил здесь, в гарнизоне, Шушанику. «Осторожней, осторожней», — успокаивал он себя.

Когда он догадался, что Гайдаш влюблён в неё, он задумался. Гайдаша ненавидел горячее других. В скуластом лице красноармейца он видел поколение, с которым сойдётся для последней схватки.

«А-а! — злобно думал он. — Ты хочешь Шушанику? Ты её получишь... после меня».

Отбросив осторожность и страх, он начал волочиться за девушкой. Он избрал верную, по его мнению, тактику — не говорить ей о любви, а незаметно подчинять своей воле, власти.

Его окружали счастливые люди. Он слышал их смех. Их поцелуи. Их радостные голоса.

Он ненавидел и завидовал им. Их голоса преследовали его и здесь, на диване. Они доносились с улицы порывами морозного ветра. Один. Как сукин сын, один.

«Мне бы следовало завести собаку, что ли...»

Он задыхается. По комнате бродят тени, пахнет гарью, кровью, пожарами, мелькают какие-то образы, бесплотные, но реальные до галлюцинации... Начинается знакомое, страшное...

— Лекарства! — хрипло кричит Ковалёв и вскакивает. Дрожащими руками находит лампу, зажигает. Тени прячутся по углам. Из шкафчика он вытаскивает бутылку коньяку, печенье, сыр. Ставит на стол. Прибавляет огня. Зажигает ещё лампу. Хлопочет. Подмигивает в окно. Запирает дверь. Потирая руки, идёт к столу. Наливает бережно, до верха, рюмку. Чокается с бутылкой.

— Ну, здравствуйте! — и кланяется звёздочкам на этикетке.

— Здравия желаем, господин Ковалёв, — отвечает он за них.

Опрокидывает рюмку, облизывает губы. Дышит на бутылку, нетерпеливыми пальцами ломает печенье. Хруст...

Смешные страхи улечиваются. Чудесное лекарство, слава придумавшему его! Наливает вторую рюмку. Подмигивает звёздочкам.

— Живёте?

— Так точно, ваше благородие.

— Ну, будем живы!

Никто ни разу в жизни не звал его «вашим благородием». Разве только в детстве мужики. Как дорого дал бы он, чтобы услышать это почти-тельное «ваше благородие»! Благородие! Сын отцов, известных России... («Чем известных?» — спрашивает он себя. «Известной подлостью прославленных отцов», — путая, декламирует он Лермонтова.)

— За матушку-Россию! — торжественно подымает он третью рюмку. — За Россию, чёрт её подери.

— За какую Россию? — ехидно спрашивают звёздочки.

— За ту, которую я ношу в своём сердце, — ударяет он в грудь. — В истерзанном сердце сына...

Жадно пьёт. Глотает рюмку за рюмкой. Обжигается. Морщится. Но пьёт. Коньяк — офицерский напиток.

— Ваше благородие, господин поручик, — обращается он к бутылке. — За наше будущее!

Пьянея, он мрачнеет. Становится бледным и злым лицо. Краснеют глаза. Опухают веки.

— За молодость, которая уходит псу под хвост!

Он опускает голову на стол и плачет.

Плачет долго пьяными слезами. Беззвучно, почти молча. За дверью смеётся девушка, хозяйская дочь. Бренчит гитара. Там гости. Никто не догадывается, что здесь гадкими, бессильными слезами плачет человек, которому не дают убивать и резать.

Потом он встаёт, шатаясь, подходит к стене, где висит снаряжение, вытаскивает из кобуры наган, долго смотрит на него, улыбаясь и щёлкая языком. Потом осторожно выщёлкивает патроны из барабана на стол и закладывает в одно отверстие бумажку, на которой карандашом пишет «смерть».

Размахивая наганом, садится, кладёт наган на колени, быстро вертит ладонью барабан и, не глядя, прикладывает к виску. Сухой щёлк. Рассматривает барабан. Белая бумажка далеко. Он довольно смеётся. «Я буду ещё жить и жить!» Когда бумажка оказывается в отверстии против виска, он бледнеет. Но потом снова хохочет. Он перехитрил смерть. Что, если бы в барабане был патрон? Голова разлетелась бы вдребезги. Бросает бумажку в печь. Глядит, как лижет её огонь.

Несколько дней назад Ковалёв получил письмо от Генерала: Ковалёва извещали, что к нему приедет доверенный человек с поручением. Он встретился, ожил. Давно хотелось дела, настоящего дела. Кроме того, приятно было пожать руку своему человеку, поговорить с ним, как хочется, как думается, без маски, без оглядки. Нетерпеливо ждал.

Всё же, когда раздался наконец стук в дверь, Ковалёв каким-то непонятным образом почувствовал, что это он, вздрогнул.

— Войдите!

В дверь ввалилась фигура в телячьей куртке. Ковалёв радостно бросился навстречу и остановился.

— Бакинский? — изумлённо пробормотал он.

— Вы не ждали меня, не правда ли? А я был рад, что могу взять на себя поручение к старому школьному товарищу. Здравствуй, Никита, здравствуй!

— Поручение?

— Да. Я от Генерала, — шёпотом.

— Простите... Такая неожиданность...

— Вас не извещали разве?

— Но мне не сказали, что это вы.

Бакинский отряхнул снег с ботинок и прошёл в комнату.

— Ты бы мог мне предложить раздеться, Никита. Я промёрз. Чертовски холодно на вашем юге. Я бродил целый день по городу. Было бы слишком рискованно явиться к тебе днём.

— Не менее рискованно и бродить по городу,— возразил Никита.— Новый человек в таком курятнике...

— Вы трусите?

— Я? — Ковалёв презрительно передёрнул плечами.— Вы всегда нелогичны, Бакинский.

— Всё-таки я разденусь и проберусь к печке.

— Хотите коньячку?

— Не откажусь. Вы становитесь наконец гостеприимным, Никита. Я рад это отметить.

— Я просто растерялся немного. Неожиданная встреча...— Он усмехнулся.— Вот никогда бы не подумал.

Но он был зол и расстроен. Как всё это нелепо, однако! Эта балаболка Бакинский тоже в игре. Впрочем, может быть, он переменился. Люди меняются. Но плохое тесто всегда киснет. Клетчатые бриджи, зелёный шарф, краги — нелепый наряд. «Конспираторы! За вёрсту такого учуют».

Коньяк успокоил его. Он сел рядом с Бакинским.

— Рассказывай. Но прежде о себе. Кто ты теперь?

— Платформа?

— О твоей платформе догадываюсь. Что ты делаешь?

— Я? Ответить трудно. Был в Харькове. Пришлось бежать. Драпать, как у вас говорили. Угрожал арест. Я спасся на юг. Осенний перелёт птиц — ищешь, где теплее.

— И?

— Я нашёл тёплое местечко в Тифлисе. Везде встретишь своих. Живу.

— Легален?

Бакинский засмеялся.

— Почти.

— Так.— Встал, прошёлся по комнате, взглянул на решётки. Сел.— Итак, я слушаю.

— Твоё здоровье! — Чокнулись.

Затем Бакинский вдруг начал раздеваться. Снял краги, ботинки. (Ковалёв следил за ним внимательно и молча.) Из-под стельки вытащил письмо.

— Вам, — протянул Ковалёву и начал греть голые тощие ноги у огня.

Никита бросил брезгливый взгляд на скрюченные пальцы и стал читать. Тихо потрескивали дрова в печи. Кровавые пятна света застывали на холодном полу.

— Здесь пишут, что вам можно доверять, — произнёс наконец Ковалёв.

— Надеюсь,— беззаботно отозвался Бакинский.

— Как же это произошло?

— Что именно?

— Что мы очутились с тобой вместе, в одной организации?

— Блоке, хотите вы сказать? Против общего врага объединяются все силы.

— И этот враг?

Оба молча посмотрели в окно. Бакинский кивнул головой.

— Ты пришёл в блок со стороны троцкистов? — спросил Ковалёв.

— Да. Впрочем, я в то же время был близок и к другим боевым силам. Я был — между.

«Это похоже на него», — подумал Ковалёв. Инстинктивно он не доверял ему.

— Я не представляю себе,— произнёс он,— на какой основе мы можем сговориться. Даже вот я и ты, только двое, но что общего у нас?

— Ненависть.

— Это много и мало. А дальше?

- Что дальше?
- Дальше, когда мы победим?
- Бакинский беззаботно пожал плечами.
- Ну да, — продолжал Ковалёв. — Когда мы победим, что дальше?
- Я мыслю себе Россию, как я привык понимать её, а вы?
- Сговоримся.
- Мы не можем сговориться! — горячо воскликнул Ковалёв.
- Напрасно думаешь. Кое в чём уже сговорились. Не мы. Мы с тобой рядовые солдаты. Но наши генералы уже сговорились.
- На чём же?
- Прежде всего на том, чтобы свергнуть ненавистный строй.
- Весь строй, весь уклад, всё?
- Всё, — коротко ответил Бакинский.
- Они стояли лицом к лицу. Бакинский не вздрогнул.
- О! — прошептал Ковалёв. — На этом можно договориться. А силы? Какие силы стоят за вами?
- Все недовольные.
- Но кто, кто конкретно?
- Недовольные политикой Сталина, недовольные коллективизацией, недовольные ликвидацией кулачества.
- Значит, и кулаки? Вы не боитесь этого слова?
- Мы не боимся никаких слов.
- Ковалёв бросил быстрый взгляд на него. О! Напрасно он боялся. Социализмом тут, слава богу, и не пахнет. Быстро же выветрился в нём этот душок.
- Ну хорошо, — сказал он. — А методы?
- Бакинский опустился на стул и протянул ноги к огню.
- Вот об этом я и приехал потолковать, Никита. Генерал недоволен вами.
- Мной?
- Тобой. Очень недоволен. Генерал рвёт и мечет.
- Не чую за собой вины.
- Генерал говорит: не слышу Никиты Ковалёва, не вижу Никиты Ковалёва. Его слова. Передаю стенографически.
- А что я могу делать здесь, в этой дыре?
- То, что и все мы делаем. Растить кадры. На кого можно опереться у вас в полку?
- Я один.
- Маловато.
- Не так уж мало, — гордо возразил Ковалёв. — Остальные — народ неподходящий.
- Не верю. Найдите щели. Разговаривайте с людьми. Всегда найдутся недовольные. Есть, очевидно, люди, чьи семьи раскулачены, и несправедливо. Ищите. Беседуйте.
- Я не пропагандист. Я строевик.
- Бакинский засмеялся.
- Скоро найдётся дело и строевикам. Генерал большие надежды возлагает на тебя в этом отношении. Я завидую.
- Ожидается война? — восторженно спросил Никита. — Неужели? Господи! Война? Скажи — война? Я отстал здесь, в этой дыре. Неужто война?
- Война уже началась, Никита, — покачал головой Бакинский. — Боюсь, ещё не та, которой ждёшь ты, которой ждём все мы. Но война началась. Партизанская. Глухая. Из-за угла. Она только разгорается. Тебе найдётся дело в ней. Я говорил Генералу о тебе. У тебя прекрасные задатки...
- Для кого? — глухо спросил Никита.

— Для террориста,— спокойно ответил Бакинский.— Я,— он зябко повёл плечами,— не могу похвастаться этими качествами.

Ковалёв крупными шагами прошёлся по комнате и подошёл к Бакинскому.

— Что же. Я готов...

Увлечённые разговором, они не слышали робкого стука в дверь. Только когда она, распахнувшись, скрипнула, они испуганно обернулись.

В дверях стоял Алексей Гайдаш в полной караульной форме, с под-сумком на поясе и с винтовкой.

Ковалёв вздрогнул: уж не арест ли?

— Что такое? — спросил он нетерпеливо.

Бакинский сжался у печи.

— Това... — Гайдаш не мог заставить себя произнести «товарищ» в обращении к Ковалёву. Он проглотил это слово и закончил: —...помощник начальника штаба, разрешите доложить. Вас немедленно требуют в штаб полка.

— Кто требует?

— Командир полка.

Вдруг Ковалёв посмотрел на него: ведь это Гайдаш. Почему Гайдаш? Всё казалось ему подозрительным и нелепым.

— Но почему тебя послали? — пробурчал он.

— Я, в гарнизонном наряде, — ответил Гайдаш. — Посыльный при штабе полка.

Весь он был облеплен снегом. Нерешительно отряхивался. С шинели и шлема на пол падали хлопья снега.

— Метель на дворе, что ли? — спросил, одеваясь, Ковалёв.

— Так точно. Пуржит.

— Холодно?

— Сыро.

Бакинский испуганно следил за двумя военными, которых он знал когда-то ребятами, с которыми дружил там, далеко, в маленьком городке среди степи. Всё казалось ему сейчас дикой фантазмагорией — эта встреча, глухие разговоры, метель за решётчатым окном...

13

Шли молча в темноте. Ковалёв впереди, Гайдаш почтительно сзади. Метель кружила по городу.

Ковалёв поднял воротник шинели — снег посыпался за шею. Досадливо поёжился.

Сзади, приглушённые сугробами, шумели шаги Гайдаша. Ковалёв всё время слышал их за спиной, мягкие, глухие, настойчивые. Нельзя было избавиться от них. Они настигали, они становились его бредом. Навязчивые, глухие шаги... Тяжёлое дыхание... Звяканье патронов в под-сумке...

В лицо ударило снежным залпом. Оба ослепли. Ковалёв выругался:

— Почему я должен итти в ночь, в метель? Собачья жизнь.

Мохнатые сады метались в испуге. С гор срывались табуны снега и с шумом опрокидывались на съёжившиеся дома. Город наклонило набок, опрокинуло в сугробы, метель секла его продольным огнём, всё было раскосо, чёрт знает как...

Ковалёв спотыкался. Дикая ночь! «Почему я должен итти? Почему Гайдаш? Я не пойду». Он упирался — и всё же шёл. Какая сила тащила его через сугробы? Неужели страх? Он злился на себя. Испугался? Ага! Гайдаша испугался? Неужто в самом деле испугался Гайдаша? «Зачем меня зовёт ночью командир полка? Открылось? Может быть, это арест?

Я не пойду!» И всё же он шёл. Его тряс озноб. Снег падал за ворот. Эти шаги сзади... Бред. Какой-то белёсый, мутный бред... Всё летит раскосом, чёрт знает как...

Вдруг где-то хлопнул выстрел. Ковалёв прислушался. Что это? Он томительно ждал. Он хотел ещё и ещё выстрелов, урагана, огня, паники, шума, людей, тревоги... Расстрелять эту проклятую ночь, сжечь пулемётными вспышками — он нашёл бы покой в тревоге, охватившей полк, о нём забыли бы.

Но выстрелов не было. Снова тишина, свист метели, шаги сзади. Очевидно, часовому померещился враг в тумане. «Проклятая ночь! Надо думать о чём-либо постороннем, иначе сойдёшь с ума». Этот выстрел... Убийство? Самоубийство? Короткий расчёт с жизнью, один патрон в барабане, нажим указательным пальцем правой руки. «Курок надо спускать плавно. В такую ночь хорошо стреляться. В такую ночь либо стреляются, либо убивают. Когда-нибудь такой же ночью меня выведут в поле и шлёпнут под плач пурги. Короткий залп, вскрик, труп. Может быть, даже сегодня ночью. Может быть, даже сейчас». Ему стало страшно. Проклятая кровь трусливых отцов! «Сифилитики, неврастеники, сибариты, пьяницы — они отравили нас. Они были храбры только на парадах да перед кучкой беззащитных забастовщиков. Как они драпали!» Он смахнул снег с ресниц. «Я выдавлю из себя их проклятую кровь. Выдавлю». — «А может быть, её из тебя просто выпустят, как из зарезанного кочета?» — ехидно спросил он себя. — «Глупости! Не дамся! Ну? Не дамся. Не пойду. Ни за что не пойду!»

«Спокойнее, спокойнее! — утешал он себя через минуту и стал, как обычно это делал, чтобы успокоиться, похлопывать ладонью по левой стороне груди. — Спокойнее. Разберёмся. Ну? Чего ты испугался, дурачок? Гляди. Ничего нет». Такими же словами он обычно успокаивал пугливого жеребца. И так же похлопывал ладонью, — он заметил это и расхохотался. «Ничего нет. Дым. Тень. Нервы. Мне следовало бы быть крепче. Крепче. Крепче. — Он повторил это слово, гипнотизируя себя. — Какую школу жизни я прошёл? Какую школу? — Он начинал хвастаться. Это тоже всегда успокаивало. — Она стоит десятка кадетских корпусов. Японская разведка — ничто, детский сад, ясли в сравнении со школой, которую я прошёл».

Но эта ночь и шаги сзади... Ещё раньше, чем он свершит то, к чему предназначила его судьба, он сопётся или сойдёт с ума от этой бредовой двойной жизни. Бред, липкий, мокрый бред... Эти навязчивые шаги сзади... Всю жизнь — шаги сзади... Подозрительные взгляды сбоку, искоса. Осторожно шупающие, холодные пальцы... Иногда он их видит, чувствует, чаще только кажется. Нервы? Барышня! Но эти шаги сзади... и ляганье винтовки... Гайдаш, почему Гайдаш? Почему обязательно Гайдаш? Всюду Гайдаш, Гайдаши... скулы...»

Он остановился, завязнув в сугробе. Волны снега бились вокруг. Ему пришло в голову, что если остаться так стоять и не двигаться — занесёт снегом. Сначала засыплет сапоги (отличные, кавказские мягкие сапоги! — он пожалел их), потом ноги, потом туловище, наконец всё до шишака плема. Бсё, чем был Никита Ковалёв, превратится в бесформенный снежный холм. Заметёт снегом город... Весь, с макушками минаретов, с крышами и трубами, всё исчезнет, провалится, погрузится в мягкий, пушистый снег — и уснёт. Сон кладбища, покой... Хорошо-о-о!

«А я? А мои мечты? А игра, которую я затеял и которая приведёт меня к власти и славе? Власть! Сладостное слово! Власть! Власть!» — Он часто, на все лады повторял это свистящее слово, и оно обнадёживало, успокаивало, двигало. Гнул в послушном молчании перед полковыми чинами, а про себя беззвучно шептал: «Власть!» Задышался в пешем строю на горном марше и шептал: «Власть!» Изнывал в захоластном

гарнизоне, но мечтал: «Власть! Власть! Власть!» Это слово стало паролем, девизом, знаменем.

Он торопливо выбрался из сугроба и прижался к стене дома. «Что я хотел сделать? Сейчас? Немедленно? Да, закурить. Это очень умно. Закурить. Вот». Он вытащил из кармана массивный серебряный портсигар (отцово наследство) и закурил.

Шаги сзади стихли. Проклятые шаги. Наконец-то они стихли.

«Я бы мог убить его сейчас, — подумал он. — Ночь, метель, глушь. Никто бы и не увидел». Он зажмурил глаза и увидел всё так, словно это уже произошло: короткий, глухой удар, пальцы на горле, синий труп, — не надо оружия, ни в каком случае не применять оружия: это выдаст убийцу. Удар — и пальцы. Убийца — ночь. Мёртвые не просыпаются. Труп заметёт снегом. Упал, замёрз. «Я не видел Гайдаша. Он не приходил ко мне».

«Мне приходится придумывать алиби, — брезгливо подумал он. — Вот что значит не иметь власти».

— Зачем вы остановились? — хрипло крикнул он Гайдашу. — Идите, я догоню вас.

Гайдаш медленно подходил к нему... Никита ждал его, судорожно сжав в руке портсигар. Он ещё сам не верил, что это произойдёт сейчас, здесь. Но это должно произойти. Надо перешагнуть через его труп.

— Нас ждут в штабе, — пробурчал Гайдаш.

Он озяб. Постукивал сапогами.

Его фигура казалась Ковалёву мутной, расплывчатой, хотя и стояла рядом, исполосованная и заштрихованная косыми линиями метели. Просто белёсая тень в ночи. Её можно, как дым, развеять нетерпеливым движением руки. Он машет рукой перед собой. Но тень не пропадает. Всё такая же съездившаяся, в нахохленном воротнике, иссечённая метелью, она присутствует здесь, дышит, постукивает сапогами, позвякивает винтовкой. О чём думает эта тень, — а она думает, мрачно насупившись. Что она знает, о чём догадывается, чем грозит, что будет делать? Это надо узнать, выпытать, вырвать сейчас, немедленно — через двадцать минут будет поздно. Непроницаемое лицо красноармейца злило его, он чувствовал, что уже не в силах сдерживаться.

И Гайдаш тоже искоса поглядывал на Ковалёва, стараясь делать это так, чтобы тот не замечал его насторожённых глаз и не приписал это трусости и страху смерти. Оба молчали, готовые к бою, к схватке, — оба молчали и ждали, сами не зная чего.

Алексей предчувствовал, когда шёл с приказом командира полка на Нагорную улицу, что застанет там обоих: и Ковалёва и Бакинского. Он усмехался, предчувствуя эту встречу. Он свалится к ним как снег на голову. Что они сделают? Испугаются ли? О, конечно, сдрейфят. Любопытно увидеть, каков Ковалёв в испуге. Это презрительное, хищное лицо вдруг станет жалким и дряблым.

Именно в эту минуту он вдруг вспомнил Сёмчика, но не таким, каким видел его в последний раз, а каким представлял себе, когда мчался на выручку: лежащим в багровой от крови пыли с судорожно скрюченными пальцами. Почему он вспомнил Сёмчика, когда уже думал о другом: о себе? Никогда раньше не думал он так много о себе, как в последнее время. Раньше он просто жил, теперь — жил, думал и осмысливал прожитое. «Это признак зрелости?» — спросил он себя. Но даже самая эта мысль показалась ему мальчишеской. Он вздохнул.

В эти дни не раз и не два разглядывал он, задумавшись, свою короткую жизнь. Но только сейчас, когда шёл в берлогу Ковалёва по завьюженной улице, прожитое представилось ему необычайно ярко и с неужи-

данной стороны, странно переплетённое с жизнью и смертью Сёмчика. Он даже удивился, почему раньше никогда не думал так.

Когда и как впервые узнал он горячее слово «враг»? Когда впервые почувствовал в себе биение благородного чувства ненависти? Иногда ему казалось, что это родилось вместе с ним под заплатанной толевой крышей маленького домика на Заводской. Вероятно, это и было так: воздух, которым он дышал, был опалён ненавистью и любовью. Никогда не были так остры человеческие чувства, как в эти дни решительных схваток. Класс на класс! Алёша не был нейтральным.

Это он в девятнадцатом году крикнул босоногим ребятишкам, сбегавшимся на поросший ржавым бурьяном пустырь: «Пролетарские дети всех стран, соединяйтесь!» Это он, мальчик, стоял, сжав кулаки, перед окном белогвардейского Освага и плакал от бессильной злобы.

Он бил скаутов потому, что был мал, чтобы бить белогвардейцев. Он пошёл в школу учиться, но там оказался Никита Ковалёв — враг и сын врага, и Алексей полез с ним в драку. Он пошёл потом в комсомол, но там оказался Глеб Кружан — и Алексей снова полез в драку и вышел из неё победителем. Он кожей ощущал врага, по-детски. Какой же замечательный боец должен был получиться из него!

«И не получился? — спросил он себя. — Да, пока не получился!» — признался он, поёживаясь от холода.

Как потерял он эти необходимые качества? Откуда пришло к нему успокоение и благодушие, такая умиротворённость и сытость, ожирение мозгов и малокровие чувств? Отчего?

Считал ли он когда-нибудь, что борьба кончилась? Нет, он просто забыл о ней, перестал думать об этом. А говорил ли? О, говорил, и часто. «Мы окружены, — говорил он, — врагами. Мы должны, — говорил он (и морщился сейчас, вспоминая это), — держать порох сухим». Он горячо говорил обычно. Его считали отличным оратором, «с огоньком». Но это был сельтерский энтузиазм, в нём было много газа, но взорвать им ничего нельзя.

Кем же он стал в эти последние годы? Где-то на линии огня гремели выстрелы, закипали новые схватки. Партия, комсомол, рабочий класс переходили в наступление. А он?

«Политическим интендантом стал. Плохим к тому же, бездарным», — он искал слово ядовитее, сильнее. Издеваясь, он припоминал свои «мероприятия», конференцию невест, дискуссии. «Нужно ли комсомолке приданое?», «Можно ли употреблять пудру?» На линии огня уже падали первые герои — там пал Сёмчик, а он перестал дышать воздухом борьбы. Он отвык от порохового дыма. Он разучился ненавидеть и не научился любить.

Всё это неосознанное и бесформенное бродило в нём и раньше, впервые родившись у постели умирающего Сёмчика. Но он быстро заглушал эти мысли. Потом возникла обида и закрыла всё собой — и свет солнца и дым битв.

Он вспомнил теперь, что всегда смутно чувствовал какую-то вину перед Сёмчиком. Он говорил себе, что нет этой вины. «Разве я убил его? Разве я виноват в том, что случилось?»

Но в чём-то была его вина, от сознания её он никогда не мог отделаться. Может быть, в том, что послал Сёмчика в деревню? Нет. Это правдиво. Но, может быть, в том, что поздно прискакал на выручку? Нет, он гнал коня что было мочи. В чём же тогда его вина? Может быть, нужно было внимательнее следить за делами Звановки? Во всяком случае не следовало смеяться над Сёмчиком, хваставшим, что кулаки его ненавидят и хотят убить. Как мог он проявить такое холодное равнодушие к товарищу? Но всё же не только в этом была его вина. Может быть, в том, что он сам не сумел жить, как Сёмчик? Эта мысль всегда

мучила его, он гнал её — непрошенная, она являлась снова и снова. Он часто спрашивал себя: «Я не умел жить, как Семчик. Но сумел бы я умереть, как он?» Он говорил: «Сумел бы».

И сейчас снова сказал себе, даже увереннее, чем всегда: «Сумел бы!» И когда совсем уже подошёл к дому Ковалёва, нарочно с показной беспечностью закинул винтовку за плечи и протянул руки. «С голыми руками иду. Ну?» Теперь он снова, после позорных лет, выходил на линию огня.

Но тут его поразила новая мысль: «Полно, Гайдаш, так ли это? Верно, что ты уже стал бойцом? А нет ли в этом ошибки? Ты ведь идёшь на Никиту Ковалёва — на личного врага. Это случайность, что он одновременно и твой классовый враг, враг известный. Не велика мудрость разоблачить и уничтожить такого врага. Нет, нет,— говорил он себе тотчас же.— Это не случайность, что Ковалёв — мой враг. Он личный враг мне только потому, что классовый он враг». — «Но ведь минут пять назад ты мечтал о том, как ты, именно ты, будешь торжествовать над ним!» — «Мне стыдно за эти мальчишеские мысли. Ну? Теперь довольно! Я иду на врага. Его зовут Ковалёв. Тем лучше. Но там и Бакинский. Ещё лучше. Я выхожу на линию огня».

Он чувствовал возбуждение, нетерпение. Он снова дышал воздухом борьбы. Снова запахло порохом. Надолго ли сохранит он в себе это благородное ощущение боя? Навсегда. Он хотел верить в это.

Так вошёл он в логово к врагам. Он увидел: они испугались. Нет, он не ошибся. Бакинский пугливо прижался к печке, Ковалёв вздрогнул. Оба растерянно глядели на него, уличённые воришки, пойманные за руки. Это была минута торжества Алексея Гайдаша. Но главное торжество было в том, что он и вида не показал, что торжествует, не улыбнулся, стоял сухой и колючий, осторожно стряхивал снег с шинели, односложно отвечал на вопросы командира.

Бредя сквозь метель за Ковалёвым, он всё время лихорадочно обдумывал, что делать дальше. Было ясно: борьба только начинается. Не лёгкая борьба, признавался он себе. «Они отопрутся. Ковалёв повернёт дело так, что я свожу с ним личные счёты. Всё равно: отступить не буду». Настороженно следил он за всеми движениями врага. Бросал исподлобья осторожные взгляды. Молчал, готовый к схватке.

— Любопытная, знаешь ли, штука — жизнь! — вдруг неожиданно засмеялся Ковалёв.

Алексей вздрогнул: какую штуку придумал противник?

А Ковалёв смеялся. Это было худшее, что он мог придумать, если хстел усыпить, успокоить или задобрить человека. Он не умел смеяться. Его смех был отрывист и зловещ. Ему больше шло, когда он чуть презрительно улыбался уголками властного рта. Всё же он смеялся, как умел, и Гайдаш настойчиво и нетерпеливо ждал, когда он кончит.

— Кто бы подумал! — восклицал, смеясь, Ковалёв.— Где-то у чёрта на куличках, в городе, который и не сочинишь и который уж, конечно, никогда и не снился вам, вдруг встречаются три друга. Три старых школьных товарища. Фантастика! Что сводит их вместе? Ничего. Случай. Раньше сказали бы: рок, судьба. Но я не верю в провидение. А ты веришь, Гайдаш? — Он бросил быстрый взгляд на красноармейца.

— Я верю в почту, телеграф и железную дорогу,— усмехнулся Алёша.

Ковалёв яростно взглянул на него: «Что он знает?» Ему мучительно захотелось узнать, что думает сейчас этот скуластый парень, хотя бы для этого пришлось взломать черепную коробку. Но он сдержался и даже неуверенно засмеялся вновь.

— Почта, телеграф, железные дороги! Люди придумали эти хитрости, чтобы уничтожить случай, свести всё к закономерности, к математическому расчёту. Ненавижу математику! Вот торжествует случай: ни я, ни

Бакинский не списывались, он даже не знал, что я служу здесь, он свалился на меня, как метель на голову, неожиданно-негаданно. И я, знаешь, я даже обрадовался, хотя...

— Я думаю! — воскликнул Гайдаш.

Теперь он тоже подошёл к крыльцу. Здесь было тише. Метель плясала по улице, задевая их косыми брызгами снега.

— Хотя,— словно не расслышав, продолжал Ковалёв,— хотя я никогда не любил Бакинского. Это ты с ним водился, дружил.

— Я и с тобой чуть было не дружил. В ошибках я всегда охотно признаюсь.

— И напрасно эта дружба расстроилась. Она пригодилась бы тебе сейчас.

— Мне?

— Ну не мне же! Разумеется, тебе. Ты видел во мне врага. В мальчишеском фанатизме ты полагал, что раз я сын офицера, значит — враг. Но эпоха, брат Гайдаш, умнее тебя. Что же? Я стал твоим командиром и — к чёрту ложную скромность! — более ценным для родины человеком, чем ты.

«Эти слова убили бы меня две недели назад. Теперь... теперь это только смешно»,— радостно подумал Алёша. Теперь он был спокоен. Он разгадал игру Ковалёва. Не выйдет, напрасно стараешься! Его забавляли эти признания в метель. Действительно, и в книге не придумасшь!

— Мы могли бы дружить с тобой, Алёша.— Против воли в голосе Ковалёва прозвучало волнение. Чёрт побери, он был так одинок среди враждебных людей. В самом деле, он нуждался в друге. Пусть даже Гайдаш... Если его обработать...— Да, мы могли бы дружить, несмотря ни на что. Мы парни одного крутого теста, из одной кадки. Вот Бакинский — это кислятина. Встретил случайно на улице, полез целоваться. Мокрые губы... Брр... Противно... Путешествует, ищет экзотики... Стишки, вероятно, пишет... Стишки! — Ковалёв фыркнул, подождал ответа.

Гайдаш молчал. Ковалёв снова закурил. Чиркая спичкой, осторожно взглянул в лицо Алексея. Оно показалось ему нахмуренным и жёлтым. Бросил спичку в снег. «Сукин сын»,— неожиданно подумал он.

«А может быть, и в самом деле случайная встреча? — заколебался Алёша.— Ведь встретил же я Вальку на улице, мог встретить и Ковалёв. Но Бакинский искал Нагорную улицу, значит знал, что там живёт Никита. А как докажешь? Где факты? Мог просто узнать адрес. Нет, нет,— кричало всё в нём.— Враги не сходятся случайно. А как докажешь? Я докажу!»

— Всё-таки мы могли бы дружить,— нетерпеливо топнул ногой Никита.

— Никогда! — крикнул Гайдаш. — Никогда! — повторил он с силой.— Пошли! Нас ждут в штабе.

Ковалёв вздрогнул. «Нас ждут в штабе...» Да, да... Я знаю... Надо обдумать... Нас ждут в штабе. В такую ночь либо расстреливают, либо... либо убивают...

«Смерть! Только смерть!» — подумал он, опять нервно чиркая спичкой и закуривая.

И, странное дело, решившись, он сразу стал спокоен. Всё стало ясно и просто: один должен умереть. Он не хотел умирать. Зачем? Почему? Потому что на его блистательном пути возникло препятствие, камень на дороге. Но камень убирают. Это препятствие тоже можно убрать. Правда, это препятствие о двух ногах, о голове, с сердцем, нервами, чувствами, мыслями, мечтами, может быть даже с творческими замыслами. Но это детали. Они не интересуют его. Он рассматривает Гайдаша только как препятствие... Человек? Нет, препятствие. Камень на дороге. Камень можно убрать. Это препятствие тоже можно убрать. Значит, убить. Он

не боялся слов. Даже в эту минуту, когда созрела в нём окончательно и осязаемо мысль об убийстве, он не стал искать оправдания.

Теперь он спокойно стал рассматривать убийство, как очередную тактическую задачу, которую надо решить, и решить быстро. Гайдаш нетерпеливо постукивал сапогами, его ещё сдерживала дисциплина. Но это прорвётся, он уйдёт — и тогда будет поздно.

Никита вдруг подумал, что скурки и обгорелые спички, которые так щедро и нервно разбросал он здесь, могут служить уликой против него. Он ясно представил себе следователя с лупой: «Здесь стояли, курили. Марка папирос — «Рица». Кто курит «Рицу»?» Он стал сапогом нагревать снег, потом усмехнулся: «О чём я хлопочу? Метель всё занесёт!» Он разозлился на себя: «О пустяках думаю, а главное — неясно». Главное: как технически (именно технически, он только так теперь на это смотрел), как технически выполнить убийство? В его голове уже созрел план, звено к звену ковалась цепь. Молча тронулся он вперёд и опять услышал за собой тяжёлые шаги Гайдаша.

Снова заплясала вокруг них метель. Ветры сшибались на перекрёстках и всё кружились по пустынным улицам, волоча за собой рваные хвосты. Противники, спотыкаясь, брели по сугробам, прикрывая лица воротниками холодных и мокрых шинелей, вытянув вперёд руки, словно нащупывая дорогу в белёсой мгле. Иногда они сталкивались — чужие, ненавидящие друг друга люди, метель прижимала их одного к другому, а потом разводила вновь и кружила в ночной снежной кутерьме. Они глухо перекликались сиплыми, простуженными голосами, они боялись потерять друг друга, а готовы были друг друга убить. Метель сшибала их вместе и вела, крутя и петляя, по улицам.

На плечах, воротнике, шлеме Гайдаша лежали горы снега. Он нёс их на себе, как полную выкладку. Чёрт знает что! Дикая ночь, дурацкие разговоры. Скорее бы всё это кончилось. «Это кончится, это скоро кончится. Тёплая караулка... Ребята... Свои...»

Вдруг он услышал слабый стон впереди.

— Гайдаш! Помоги!

Он бросился на голос. Ковалёв лежал в сугробе, лицом в снег.

— Я, кажется, вывихнул ногу, падая, — сказал он, приподнимаясь.

Алексей помог ему, ругаясь и проклиная ночь, погоду, Ковалёва.

— Спасибо! — сказал Ковалёв. — Нет, ничего. Нога действует.

Кури! — протянул он Гайдашу массивный портсигар.

— Не буду, — хрипло отказался Алёша. — Пошли.

— Трубку мира? Ну? — И вдруг, размахнувшись, изо всей силы ударил красноармейца тяжёлым портсигаром в висок.

Ковалёв увидел, как, зашатавшись; рухнул на снег Алексей Гайдаш, жалобно звякнула винтовка, ударившись о что-то. Он прислушался: ни стона, ни крика. «Теперь пальцы, — подумал он. — Он, может быть, только потерял сознание». Он содрал перчатку с правой руки, но рука сразу озябла, и он снова надел перчатку, упал на колени возле Гайдаша и потянулся к горлу. Крючок воротника шинели оцарапал его пальцы сквозь перчатку. Он рванул со злостью воротник, но затем крючок гимнастёрки снова оцарапал его. Его пальцы пробирались к горлу поверженного врага сквозь десятки препятствий. Он нетерпеливо преодолевал их, торопясь и начиная дрожать от страха. Вот, наконец, прикусив губу, он надавил озябшими пальцами на глотку. Беспорядочные мысли путались. «Я не умею! Я не умею! — чуть не закричал он. — Здесь должна быть где-то сонная артерия. Достаточно нажать... Но я не знаю... Не умею... Меня должны были научить этому».

Его бил озноб. «Это с непривычки, — утешал он себя. — Убийство, как и всякое ремесло на свете, требует навыка и практики». Потом мельк-

нуло: «Чёрная работа! Потом другие будут делать её за меня». Он услышал наконец хрипение. Обрадованно захрипел сам: «А-а! Сдыхаешь!»

Вдруг его испугало что-то, какая-то тень, даже тень тени, нечто, не имеющее ни формы, ни цвета, ни запаха. Может быть, этого и не было в реальном мире. Но он испугался и вскочил на ноги. Никого и ничего вокруг. Он убеждал себя: «Ничего нет! Это только страх. Ты привыкнешь!» Но он уже не мог заставить себя наклониться к трупу. Он не мог заставить себя остаться на месте. Хотелось скорее убежать отсюда. Прочь! Скорее! «Трус! Проклятый трус! А что, если он ещё жив?» Он прислушался: Гайдаш уже не хрипел. И тогда никакая воля не могла задержать Ковалёва на месте. Он бросился бежать, и ему казалось, что за ним мчатся люди, весь полк гонится за ним, и слышал он уж и цокот погони, и вой собак, и крики: «Ату его, ату!» Потрясённый, ворвался он домой, с шумом захлопнул за собой дверь и, обессиленный, повис на ней. Так ждал он, тяжело дыша, несколько минут. Ему казалось, что сейчас раздастся требовательный стук в дверь и лязганье оружия. Но всё было тихо за дверью — только пурга бесновалась.

Медленно выпрямился он. Перестали колотиться в испуге зубы. Успокоились руки, утихли колени. Только тогда он вошёл наконец, спокойный и прямой, в комнату, где ждал его Бакинский.

14

Бакинский нетерпеливо бросился к нему навстречу.

— Зачем вызывали?.. — но осекся, встретив странный, пустой взгляд Никиты.

— Меня не вы-зы-ва-ли, — произнёс Никита.

Медленно стаскивал он перчатки с рук. Вдруг он заметил бурые пятна на них. «Что это? Кровь? — Он опять почувствовал, что зубы начинают стучать. — Чья это кровь?» Он посмотрел на свои пальцы. На них крови не было, только мелкие царапины от крючков. Он бросился тогда к печке и швырнул перчатки в огонь. Они зашипели и вспыхнули ярким пламенем. Теперь на полу появились яркие пятна.

«А портсигар?» — догадался Никита. Он вытащил портсигар из кармана. И на нём были бурые засохшие пятна. Кровь, всюду кровь. Проклятая кровь убитого! Он стал тщательно вытирать её платком. Он бросил платок в огонь. Потом вспомнил о кармане, в котором лежал портсигар, выдрал карман — бурые пятна крови были и здесь — и тоже бросил в огонь. Он готов был и сам броситься вслед за вещами в огонь, чтобы очиститься, — ему казалось, пятна крови горят у него на щеках, на руках, на лбу. Бакинский следил за ним испуганным взглядом.

— Ты убил его? — наконец прошептал он.

Никита нетерпеливо пожал плечами.

— Что же делать? Что же делать? — испуганно заметался по комнате Бакинский. — Сейчас всё обнаружится... надо спасаться... Надо бежать... — Он метался по комнате, опрокидывая вещей, спотыкаясь, хватаясь то за пальто, то за чемодан. — Что делать? — стонал он и плакал. — Что ты наделал?

— Сядь! — брезгливо скомандовал ему Ковалёв. — Сядь и молчи. — Медленно стащил он с себя шинель, повесил на крюк на стене. Снова подошёл к печке. Тряпки догорали. Он засмеялся сухим, колючим смехом. — Ну вот, теперь всё в порядке.

С удивлением рассматривал он свои пальцы. Его поразило, что они остались такими же, как были. Белые, холеные пальцы с розоватыми острыми ногтями. А ведь он душил ими человека. Человека — творца природы. Он захохотал. Его смех успокоил Бакинского.

— Никто не видел? А, понимаю. Да, он не приходил сюда. Хозяева ничего не знают. Да, да, понимаю. Восхищаюсь. Но как, как это произо-

шло? — шептал он. — Ты застрелил его? Это неосторожно. — Он поморщился. — Нужно было душить. — Он пошевелил своими бледными скрюченными пальцами. — А, ты так и сделал? Хорошо! А он? Он хрипел? Барахтался?

Почувствовав себя в безопасности, Бакинский говорил и говорил об убийстве. Он хотел подробностей. Он выспрашивал со жгучим и болезненным любопытством обо всех деталях, и даже Ковалёву показался отвратительным этот сладострастный шёпот сообщника. Но он не мог побороть искушения и стал хвастаться. Теперь, когда весь ужас остался позади, ему казалось, что держал он себя во время этой сложной и трудной операции молодецки. Все его действия были исполнены смысла и осторожности. Как спокойно и ловко провёл он всю партию до конца! Это была симфония, разыгранная опытным дирижёром. Он хотел, чтобы об этом стало известно Генералу. Теперь Генерал может убедиться в том, что Ковалёв достоин больших дел и серьёзных поручений. Искоса он следил за приятелем. Тот сидел, зажав по своей привычке руки между коленями и сгорбившись.

— Я завидую тебе, Никита! — вздохнул Бакинский. — Вот ты убил человека. Этими пальцами... Я бы не смог... Тем более Гайдаша. Бедный Алёша! А ведь я любил его. Мы были, как это пишется в «Золотой Библиотеке», друзьями детства. У него были красивые, ясные глаза, немного азиатские, но умные и смелые. Странно говорить об Алексее — «он был». Всего три часа тому назад он стоял здесь, у порога. — Он вздрогнул и боязливо посмотрел на дверь. — Как странно! Он жил, рос, мечтал. Но вот пришли мы — и нет его. А я любил. Искренне любил и верил в него. Несмотря ни на что... Знаешь, детство... Романтика юной дружбы. Я всегда был сентиментален. Видишь, плачу? — Он встал и высморкался. — Так его нет уж больше в живых? Как странно! Но мы все умрём. Жизнь — это...

Его болтовня становилась невыносимой. Она вызывала в памяти Никиты образ человека, которого он хотел бы скорее забыть. Резко оборвал он Бакинского и снова стал говорить о себе, о своих планах, о том, что ему нужно вырваться наконец из этого захолустного гарнизона. Он не мог себе отказать в удовольствии уколоть сообщника.

— Я устранил Гайдаша только потому, что знал: ты срейфишь на первом же допросе и выдашь всех.

Бакинский сделал протестующее движение. Но Ковалёв только презрительно и брезгливо улыбнулся уголками рта.

15

...Он помнил только, что когда через долгие часы пришёл в себя, то очень обрадовался тому, что жив. Жив! Жив! Он трогал рукой снег и чувствовал его холод. Он поднял руку, подышал на неё и почувствовал тепло. Он дышал и видел, как клубится пар, это его дыхание, это жизнь! Он увидел, как подымается в горах бледный рассвет, как стихает метель, он услышал свист ветра и скрип деревьев. Он был жив, мокрые хлопья снега таяли на его лице.

— Жив! — Он закричал это. Крик вырвался из его груди, как стон, как радостный вопль. Никогда не думал он, что так хорошо чувствовать себя живым! А-а! Он будет жить! Мять траву... Целовать Шушанику... Он увидит весну, лето и осень... Он вернётся в Донбасс... Мать... Товарищи... Он будет бродить... плыть... летать... бегать... Степь в цвету... Дальняя дорога...

Но голова, бедная голова, как всё туманно в ней! Нестерпимая боль в затылке... «Кузнецы» в висках... Кто-то бьёт, бьёт молотками... Остановитесь! Я так ещё слаб!.. Как в бреду, вспоминал он то, что случилось

с ним. Он шёл... нет, наклонялся... Потом удар... Вдруг отчётливо представилось лицо Ковалёва в тот момент, когда наносил он свой удар. Перекошенное злобой лицо, закушенные губы... Алексей закрыл глаза, но снова видел это лицо, мертвенно-синее, и закушенные со злостью губы.

— Ну, бей, бей! — прошептал он тихо. — Бей. Что же? Боишься? Боишься? Боишься? — шипел он. — Меня боишься? Полуживого? Что ты кричишь? Я не слышу. Врёшь! — закричал он хрипло. — Врёшь, меня нельзя убить, врешь! — Он бормотал ещё много раз: — Врёшь, врешь, врешь... — Потом сказал: — Уйди! Я один пойду. Мне надо итти.

Он открыл глаза. Попрежнему лежал он в сугробе. Робкие тени расцвета... «Что же я лежу? Мне надо итти... Меня ждут... Надо итти. Надо сказать... Враги в городе... Враги... Враги...» Он попытался встать, но с ужасом понял, что тело не повинуется ему. Со злостью рванулся вперёд и, застонав от боли, упал.

Странную слабость чувствовал он во всём теле. словно всё было переломано, перебито, и сам он — мешок костей, выброшенный на свалку.

«Значит, я всё-таки умру», — испуганно подумал он и опустил голову. Она мягко стукнулась затылком о снег.

Долго лежал он так, глядя в небо чуть приоткрытыми опухшими глазами.

— Это я в последний раз вижу небо... Надо запомнить... Серсе... Чудесное... Но я не могу, не должен умереть! — застонал он, споря с кем-то. — Я ничего не сделал, не видел... Я хочу многое ещё сделать... Я хочу жить! Ну-у!

С криком выбросил он вперёд непокорные руки и, обессиленный, тяжело дыша, опрокинулся назад.

— Кончено...

Он лежал на спине и тихо стонал:

— Вот умираю... Кончено... Хорошо, пусть... Как Сёмчик... Тяжело дышать... Больно мне... Больно... Тяжёлая какая голова... Хорошо. Пусть. Пусть... Ох! Пить! Сухо...

«А они? — вдруг мелькнула мысль. — А они? Ковалёв и Бакинский? Они будут жить? Они будут бродить по земле? Их дыхание... гнусное... нашим воздухом... когда для меня воздуха нет... О!»

Он стиснул зубы и, плача от боли, стал переворачиваться со спины на живот.

— Врёшь! — хрипел он. — Врёшь!

Теперь все свои силы и волю призывал он на помощь. Перевернуться! Он старался не стонать и не плакать. Медленно и осторожно, экономя остатки сил, подымал он левую руку и туловище. Локтем правой руки упёрся в снег. На ноги он не надеялся, они были не его, чужие, налитые чудовищной тяжестью. Он передохнул, стараясь сохранить все завоёванные позиции. Локоть дрожал. «Ничего, ничего, сейчас... Ещё немного... Ну!» И, собрав остатки сил, разом перевернулся на живот.

Измученный, он припал горячим лицом к снегу и стал лизать его, фыркая и задыхаясь. Потом впился губами в мягкую холодную кашицу. Стал глотать... Всё обожгло внутри... Приятная судорога... Стало легче... Хорошо.

Медленно пополз он вперёд, упираясь локтями, в которые верил всё больше и больше, и волоча тяжёлые, не свои ноги. «Врёшь! Доползу! Надо! Врёшь! Доползу!» В его сознании, то угасающем, то необыкновенно остром, теперь жила только одна эта мысль: доползти. Он стискивал зубы и упрямо шептал: «Доползу!» Каждое движение вызывало в нём боль, каждый сантиметр дороги он оплачивал нестерпимой мукой. Он старался сначала не стонать и не жаловаться, но заметил, что если стонать — боль переносится легче. Он стал тогда стонать чаще. Никто не слышал его, он мог стонать и плакать, но думал он упрямо одно: «Доползу!»

Но что-то он забыл сделать, и это мучило его. Ему всё казалось, что он что-то забыл, но не мог вспомнить что. Ему казалось, что если бы он вспомнил — стало бы легче. Но вспомнить не мог. И это мешало ползти. Это мучило. И тут нельзя было помочь стоном. Он всё оглядывался назад и всё не мог вспомнить.

И вдруг вспомнил: с ним нет винтовки. Он испугался и, кажется, даже заплакал. «Как же я явлюсь без винтовки?» Он лежал, потрясённый и сразу ослабевший, и царапал ногтями снег. «47832», — зачем-то вспомнил он номер своей винтовки и снова заплакал детскими горькими слезами.

Потом он медленно пополз назад. Он тащился теперь по своему старому следу. Он узнавал его — длинная волнистая полоса, его телом, как плугом, пропаханная.

Он долго искал винтовку — вероятно, её занесло снегом. Но место, где упал, он нашёл сразу. Тут бросились в глаза чёрные пятна на снегу, которых не видел раньше. Ему показалось, что это кровь. «Чья же это кровь?» — подумал он испуганно и невольно провёл рукой по виску. Вскрикнул от боли.

— Ты попомнишь эту кровь, Никита, — пробормотал он. — Попомнишь!

Осторожно стал он ползать и шарить рукой по снегу. Его рука, казалось, уже не чувствовала холода, она словно одеревенела. Он рылся в снегу, как крот, забыв о боли, и только дышал трудно и прерывисто. «47832... Мне давал её командир роты... Я клялся... 47832... Каштановая... Шу...» Вдруг что-то обожгло его руку. Он догадался и обрадовался: это железо. Он разгрёб снег и вытащил винтовку. Ласково смахнул с неё рукавом снег. С нею почувствовал он себя сильнее.

Опять пополз он, упираясь локтем и винтовкой, по старому следу. Он снова увидел, что по снегу, вдоль всего следа, с левой стороны, всё время попадаются багрово-чёрные, похожие на ягоды, мёрзлые шарики. Теперь он знал, что это за ягоды: это его кровь. Капли его крови. Кровавым следом полз он на дрожащих локтях и упрямо шептал: — Доползу! Попомнишь, Никита!

Всё ещё пустынной была улица, хоть серые тени рассвета уже дрожали на ней. Метель улеглась. Тихо было в этот ранний час в сонном городе, засыпанном снегом. Только он один волочил своё измученное тело по сугробам, но и он начинал чувствовать, что больше не в силах ползти.

«Ещё, ещё немного, — уговаривал он себя. Не себя даже, а свои локти, ноги, тело. Он умолял их: — Ну, ещё, ещё немного. Вы отдохнёте, милые мои руки, бедные ноги». Он узнавал улицы, по которым полз, и дома, и общественные здания. Странно отчётливо работала его голова в то время, как тело отказывалось работать. Теперь он двигался вперёд одними нервами. Одной волей. Мыслью: «Надо. Надо доползти».

Но он не мог ползти больше. Он готов был расплакаться, как ребёнок, признавая это. Он уткнулся лицом в снег и тихо стонал от боли и стыда. Он был беспомощен и жалок. Он должен был умереть.

На его шею и голову, с которой скатился шлем, медленно падал снежок. Странное спокойствие охватило его. Уснуть, умереть — всё равно. Сладко отдыхало измученное тело. Захотелось уснуть. Он закрыл глаза, и родные степи поплыли перед ним. Нестерпимо цвели они, как никогда не цвели в жизни. Он узнавал мохнатые подорожники, и седой ковыль, и скромные васильки, но многих цветов и трав — самых ярких и красивых — не знал вовсе. Они цвели, раскрывались, покачивались перед ним, но — странно — совсем не имели запаха и были холодные и влажны на ощупь. Он полз среди трав, ласкаясь об их шелковистые ткани, трогая их руками, языком, кожей щёк. Странно, что они были такими холодными.

Он хотел зарыться в траве и лежать покойно и тихо, но трава скользила и влекла его, и вот он полз, полз по мокрой и скользкой дорожке сквозь длинную влажную степь, и не было конца дорожке...

— Мне не надо... Мне никуда не надо... Мне ничего не надо... Покой... — бормотал он и снова скользил и скользил, плыл по зелёной траве, как по реке.

Так он лежал долго, но сколько — не знал сам. Ему казалось, что целую вечность. Чудесные картины, одна фантастичнее другой, проплывали перед ним: тёплое синее море, незнакомые страны, странные деревья, с которых, как плоды, свисали голубые льдинки, ягоды, похожие на капли замёрзшей крови...

Когда он очнулся, на улице всё так же было тихо и пустынно. Сколько прошло — минута, час, год? Он не в силах был больше двигаться. Он чувствовал себя сейчас хорошо и покойно. Бездумно лежал он на снегу, смежив усталые веки. Он слышал тихий звон в ушах, тонкий звон, как пение комара.

«Меня похоронят с музыкой, — внезапно подумал он. — Старик-капельмейстер... усатый... А впереди него мальчишки... Товарищи скажут: «Он был неплохой парень, но умер зря». И никто не узнает, как Алексей Гайдаш замёрз в метель. А они? Убийцы? Они пойдут за гробом. И будут смеяться в душе и корчить печальные лица. Проклятые!»

Он должен ползти. Но локти, но ноги... «Через час проснётся улица — меня подберут. А что, если за этот час я умру? Я не знаю... сколько мне ступлено жить... Никто не узнает, что в городе враги... Они будут смеяться... над моим гробом... Они будут...»

Он снова полз. Терял сознание. Стонал. Всхлипывал. Задышался. И опять полз в полубреду, крепко охватив оцепеневшими пальцами винтовку и прижав её к себе.

...И когда он увидел наконец мутное здание штаба и призрачную, раздвоенную фигуру часового в тулупе и услышал откуда-то издали глухое и невнятное: «Кто идёт?» — откуда взялись в нём силы, чтобы встать наконец на ноги и, шатаясь, но не падая, пойти на часового?! Окровавленный, весь в снегу, он шёл, волоча за собой винтовку, вскинуть которую на плечо уже не хватило силы.

— Это я, я, Гайдаш! — закричал он удивлённому часовому и рухнул наземь.

Когда он очнулся, он лежал уже в постели, в лазарете. Над ним наклонялась Шу. Странное дело: она была в фантастическом наряде. Он понимающе улыбнулся. Это было только радостное продолжение фантастических и бесформенных видений, которые не покидали его.

— Снится, — сказал он себе.

— Нет, — ответила Шу. — Это я. Шушаник. Я перемену лёд.

— Лёд! Это хорошо: лёд, снег... Я не знал, что кровь замерзает ягодами... — Он увидел её испуганный взгляд. — Почему ты боишься меня, Шу? Я буду жить...

— Будешь, будешь...

— И плясать... с тобой... в клубе... Я хотел... сегодня... Но я забыл тебе сказать, Шу, милая... Я ведь не умею... да, не умею танцевать...

— Ты научишься...

— Выучусь... Да... Я выучусь... Хорошо... Мне хорошо... Иду по траве... скользкая... — Вдруг он испуганно поднял голову. — Почему же не идёт командир полка? Мне нужно говорить с командиром полка.

— Он придёт. Ты успокойся. Вот поправишься — он придёт.

— Да нет... Он нужен сейчас... Я ведь всё время умоляю вас... позовите командира полка...

— Ты бредишь, милый, успокойся...

— Нет... Зачем вы меня мучаете? — Он нетерпеливо заметался в постели. — Скорей... Скорей командира... Будет поздно... Не мучьте меня... скорей командира.

Около его постели засуетились врачи.

— Лёд на голову,— услышал он чей-то торопливый шёпот.— Бредит.

— К чёрту! — закричал он, с неожиданной силой сбрасывая одеяло.— К чёрту лёд! Пустите! Я пойду. Я должен идти. Зачем вы схватили меня? Пустите! — закричал он в испуге и вскочил с кровати.

Он был страшен — худой и бледный, в длинной больничной рубашке, с головой, перевязанной бинтами. Они отпрянули от него, но потом снова бросились, пытаясь успокоить и уложить в кровать. Он рвался из рук, кричал и плакал.

Но в это время вошёл командир полка. Увидев его, Алексей сразу успокоился и даже улыбнулся. Потом опомнился и стал приподниматься на кровати, но закачался и упал. Когда он открыл глаза, вздохнув от боли, они были одни — он и командир полка. Пётр Филиппович наклонился над ним, его лицо было испуганно и озабоченно.

— Ничего, ничего, — прошептал Алексей, — мне лучше.

Кого-то напоминало Алёше худошавое, с глубокими, резкими морщинами лицо командира полка, его рыжие усы, седоватые на концах, запрятанная в них добрая и печальная улыбка, — всё было знакомо давно, с детства.

И Алёша вдруг почувствовал себя маленьким босоногим мальчиком, ему захотелось заплакать и пожаловаться, как в детстве: «Больно, дядя... очень больно мне...»

— Тут, — показал он на голову.

Он услышал, как сквозь сон:

— Ну, товарищ Гайдаш, что же произошло с вами ночью, когда я послал вас к помощнику начальника штаба?

На прощание командир полка сказал ему:

— Поправляйтесь, Гайдаш. Скорее поправляйтесь. Хочу увидеть вас молодым в строю. — Он ласково похлопал ладонью по одеялу и встал.

В дверях он обернулся и прибавил:

— Я там Прасковье Максимовне сказал. Она тебе пришлёт печёноговарёного.

Алёша слышал про Прасковью Максимовну — жену командира полка, «полковницу», как её все звали. Командиры любили бывать у Петра Филипповича в гостях. Полковница, засучив рукава, знатно стряпала сибирские пельмени. «Это хорошо, — подумал Алёша. — Сибирские пельмени на южной границе».

Но он почувствовал себя таким расслабленным и обессиленным, что даже улыбнуться не мог. Словно вся его воля, нервы, чувства, напряженные только для этой беседы, теперь распустились. Он мог болеть, умирать или выздоравливать — всё равно. Он мог плакать, стонать, ныть, бредить — всё равно. В своём теле он ощущал странную слабость и лёгкость. «Это и есть смерть?» — равнодушно подумал он.

Иногда ему казалось, что он уже умер. Он видел себя в гробу. Слышал даже плач над собой. Видел печальные лица товарищей. Они несли его на плечах. Он покачивался... Траурно рыдал оркестр... «Я умер, — думал он. — Хорошо. Покой. Я умер».

Часто он чувствовал на своём лбу чью-то мягкую, ласковую руку. Не открывая глаз, он знал, что это Шу. Он видел её часто то в белом больничном халате, то в черкеске, такой, какая была на ней в то утро.

— Шу, — беззвучно шептал он.

Однажды он услышал, кто-то сказал: «Надеюсь на его железный организм». Кто-то входил, спрашивал, уходил осторожно, на цыпочках, лязгая железками армейских сапог. Но видел Алексей только её одну — Шушанику. Она была всё время с ним — в бреду или на яву, он не знал...

16

Когда он вышел наконец из госпиталя, мир показался ему необычайно новым и юным. Словно только что родившиеся, блестели на солнце горы. Снег был чист — вероятно, только что выпал. На всём лежала как бы ребяческая улыбка, улыбка младенца на припухлых, радостно открытых устах.

Показались Алёше новыми и необычными и кирпичные стены казарм. Это по ним, оказывается, тосковал он, нетерпеливо метался на больничной кровати. Сейчас он войдёт в этот пропахший теплом и людьми дом, увидит свою койку с несмятым одеялом — у него нет другой койки и другого дома, — встретит радостные, весёлые лица товарищей — у него нет других товарищей, — услышит бой хриплых часов над столиком дневального.

Смущённо и взволнованно переживал он своё возвращение в жизнь. Осторожно, неуверенно ступая по дорожкам, слышал, как хрустит под ногами морозный снег. Снова таяли на тёплом лице снежинки — он был жив и будет жить долго и хорошо.

У дверей казармы его встретил Конопатин. Они сердечно обнялись. — Заходи, заходи! — весело, но осторожно, как больного, похлопывал его Конопатин по плечу. — Входи; старушка-казарма рада тебе, хоть ты теперь и не наш.

— Не ваш? — пробормотал Алёша, неуверенно входя в знакомые сени. Он направился к своей койке, но удивлённо заметил чужой сундук под нею, чужое имя на табличке над койкой.

— Считали, что умру? — глухо сказал он.

— Что ты, что ты, чудак! — растерялся политрук. — Разве ты не знаешь? Не помнишь? Ты ведь теперь в полковой школе. Первая ступень кончилась... Научили мы тебя, чему могли... И — большому кораблю большое и плавание... Плыви в командиры, Алексей Гайдаш! — Он говорил всё это, смущённо вглядываясь в лицо Алёши. Он не знал, как надо говорить с больным. Он растерялся.

— Да... правда ведь... — виновато улыбнулся Алёша, и его лицо обмякло, глаза радостно заблестели. — А я уж подумал было...

— И не думай. Глупо. Весь полк, брат, над твоим здоровьем дышал. Хоть бюллетени печатай! Состояние здоровья курсанта Гайдаша...

— Да, теперь ведь курсант. Дышал, говоришь?

— Толпы стояли у лазарета... Врачей на части рвали. — Конопатин, увлекаясь, вдохновенно врал. Но он видел, что это приятно Алёше. И, извиняя себя, думал: «А разве вру? Ведь точно. Все над ним дрожали. Свой ведь человек».

— Доставил я вам хлопот... — смутился Алёша, но ему было несказанно приятно, что полк заботился о нём.

— Тобой и жили! Да что там! Придёшь в школу, сам увидишь. Дайка, я тебя проведу туда. Сдам с рук на руки новому начальству. Вот мы, похвастаюсь, какого вам курсанта подготовили. Пошли, что ли? — он говорил уже на ходу, успокоенный и обрадованный тем, что Алёша здоров, «в ясном сознании и стличном настроении». — Приказывать тебе теперь не смею, больше я тебе не командир, но друг — всегда.

— Я знаю, — прошептал Алёша. — Ты... — Он хотел что-то ещё сказать, но махнул рукой.

Конопатин смутился. И в неловком, но трогательном молчании зашагали по дороге вниз, к школе.

Только на плацу, у самой школы, Алексей спросил наконец о том, о чём давно хотел спросить и в лазарете.

— Ковалёва где судить будут?

— Ковалёва? — растерялся опять политрук. — Ты разве не знаешь?

— Что?

— Он бежал ведь... в ту же ночь...

— Бежал! — закричал Алексей и остановился, схватив за рукав Конопатина. — Бежал?!

— Да. Такое дело, — развёл руками Конопатин, словно он был виноват в том, что Ковалёв бежал. — Понимаешь, когда ты добрался до штаба и упал без сознания, дежурный писарь растерялся. Никого из командиров в штабе не было. Ночное дело.

— А командир полка? Он ведь ждал Ковалёва. Я за Ковалёвым по его приказу ходил.

— В том-то и дело, что не стал дожидаться, ушёл. Оставил Ковалёву записку. Там какие-то бумаги округ требовал.

— Ну?

— Ну, дежурный писарь и послал вестовых. Одного к командиру полка. Другого — к коменданту гарнизона. Сообщить о происшествии. Ну, а комендант-то Ковалёв...

— Убежал... — прошептал Алёша. Ему показалось, что тень надвинулась на горы. Всё потемнело. Он зашатался и чуть не упал. Конопатин испуганно поддержал его.

— Рано ты из госпиталя вышел, — пробурчал он.

— Рано? Нет. Поздно. Поздно. Убежал!

— Поймают.

— И Бакинский убежал... Оба... Бродят сейчас... по нашей стране... Воздухом нашим дышат... — Конопатин растерянно слушал его. — Встретиться бы мне с ними сейчас! Эх, встретиться бы!.. — Его глаза лихорадочно блеснули. Он выпустил руку Конопатина из своих рук и померкшим взглядом обвёл горы. Но их безмятежная краса не успокоила его, как всегда, а наполнила новым и непонятым ещё беспокойством.

— Сколько их... ковалёвых, бакинских... — произнёс он тихо, не обращая ни к Конопатину, ни к себе. — Сколько их... бродит по нашей стране... между нами... рядом тут...

И ещё одна горькая мысль отравила ему радостное возвращение в жизнь: Шу не пришла, не встретила. Он ждал её всё утро в лазарете, он хотел поблагодарить её, сказать: «Ты выходила меня. Спасибо. Как мне благодарить тебя? Я готов умереть за тебя». Он знал, она рассмеётся, скажет: «Глупый кацо, неблагодарный кацо. Тебя вырвали из лап смерти — и вот ты хочешь умереть». Но она не пришла, просто не пришла. Напрасно поглядывал он то на дверь, то в окно, напрасно оттягивал церемонию выписки из лазарета, напрасно сидел на крыльчке — её не было. Он сказал себе: просчитаю до тысячи и, если её не будет, уйду. Он насчитал много тысяч, сбился со счёта — и всё не уходил. Уже несколько дней не была Шу у его койки. Она вовсе перестала ходить в госпиталь. И он знал, с каких пор, — с того дня, как ему стало лучше. «Ну вот, генацвале, — сказала она торжествующе, — ты поправляешься, молодец!» И больше не приходила. «Значит, я успокоил её только как больной?» Он вспоминал из рассказов Шу, что ей часто приходилось дежурить у постели тяжело раненных или больных пограничников. Она несла свою вахту терпеливо и мужественно, маленькая, тоненькая сестра милосердия; ребята и звали её «сестрицей», раненые командиры — «дочкой», а он, безмозглый, осмелился думать о ней как о возлюблен-

ной. Тогда по-ребячески захотелось ему снова заболеть тяжело, безнадежно. «Вот тогда узнаешь, — думал он о Шу, — тогда пожалеешь». Но жизнь бурно возвращалась в его исхудалое тело. С ужасом чувял он в себе волчий аппетит. Его зубы крепко рвали пищу. Его щёки снова запыхали румянцем. Не хватало ещё, чтобы он потолстел в лазарете!

«Но она придёт в день выхода из лазарета», — надеялся он.

Она не пришла.

Ребята встретили его тепло и сердечно. Они проводили его до койки. Тут стоял уже его чемодан, лежали вещи. Они показали ему винтовку в пирамиде. Он озабоченно взял её. «47832», — прочёл он. Он вскинул её и заглянул в канал ствола. Канал серебрился, в нём играло солнце, маленькое солнце, солнце его винтовки, тонкие струйки его блестели и переливались на смазке.

— Кто? — спросил он взволнованно, готовый расплакаться от благодарности и счастья.

— Все, — ответил смущённо Рунич. — Все чистили по очереди. Такое дело, брат. — Он развёл руками.

Алёша крепко схватил его руку и пожал её. Он молча жал руки всем до одного. Мужчины. Они стыдились своих чувств. Не много слов было сказано между ними. Даже Рунич не мог пошутить. Все испытывали трогательное волнение, они казались себе сейчас до непростительности хорошими парнями. И Алёша был неправдоподобно хорош, они не знали, что говорить и что делать. И только Ляшенко, спокойный, как всегда, подошёл к Алёше и протянул ему кисет.

— Угощайся, друг. Отличный табачок. Сухумский...

«А она не пришла, — думал, укладываясь спать, потрясённый встречей в школе Алёша. — Она не пришла». Это уже не могло затмить радостного сияния дня, но подёрнуло его лёгкой, неуловимой, печальной тенью. И с ещё большей благодарностью подумал, засыпая, Алёша о товарищах. Они храпели рядом.

Утром его разбудило оглушительное «Подымайся!», от которого он успел отвыкнуть в околотке. Праздник кончился — начинались будни. Он заторопился. Неловко было показать себя больным и слабым. На переключке он стоял рядом с Руничем, Сташевским, Ляшенко. Он снова был с ними в одном отделении; теперь они назывались курсантами.

— Гайдаш! — воскликнул дежурный.

— Я!

Он был в строю. Взглянув направо, он видел грудь четвёртого человека. Кто-то равнялся по его груди. Все вместе они составляли шеренгу, роту, полк.

И забота, охватившая сегодня весь полк, стала и его личной заботой: в полк приехал командующий округом.

Как всегда, он нагрянул неожиданно-негаданно. Вызвал к себе ночью командира полка и заявил, что будет проверять стрелковую подготовку и — больше ничего.

Командир полка вышел от него и, задумчиво почёсывая щёку, посмотрел на небо, понюхал ветер: ветер был сильный, порывистый, со снегом. Командир полка нахмурился.

Утром Вовка, сынишка командира полка, сказал ему:

— Папка, я вчера получил «хор» по математике.

— Ох, а я не знаю, сынок. Постараюсь на «уд».

Беспокойство командира полка разделялось всеми ротами. Ещё неизвестно было, кого прикажет вывести на линию огня командующий, но в полковой школе знали: нам-то обязательно придётся стрелять.

Мимо Алёши всё утро проносились озабоченные стрелки, командиры отделений с мишенями на плече. Пробежал политрук школы, даже писа-

ря охвачены общим волнением. Но Алёше сказали, что он не будет стрелять сегодня. Он не спросил почему, понял: его считают больным ещё. Но, подумав немного, он угадал другую причину, болезнь только предлог. За ним в школу приплелась из роты дурная слава плохого стрелка. Начальник школы рад предлогу избавиться от плохого стрелка на инспекторской стрельбе. Он почувствовал себя обиженным, но никому не сказал ни слова. Молча смотрел, как суетятся курсанты.

— Возьми мою винтовку, — сказал он наконец, не выдержав, Руничу. — Отлично бьёт.

— Нет, спасибо, — улыбнулся Рунич. — Неужто моя Верка и сегодня окажется дрянью?

Все уже знали, что утро началось тяжело для полка. Командующий приказал собрать к нему командный состав полка. Все явились подтянутые, выбритые, взволнованные. Шептались между собой: «Зачем вызвали?» «Может быть, по поводу Ковалёва?»

Командующий вышел, поздоровался, потом приказал:

— Товарищи командиры, оружие на стол.

Все, недоумевая, вытащили наганы и положили на стол перед собой.

— Соберите оружие, — приказал командующий сидевшему около него начальнику школы Молодых, — и принесите мне.

Куча воронёных игрушек выросла перед ним на столе. Он стал методически и молча разглядывать наган за наганом. Поморщившись, отложил несколько штук в сторону.

— Выясните, товарищ командир полка, чья это... бакалея... — брезгливо сказал он. — Оружием не могу назвать.

Выяснилось — наганы принадлежали врачам, командиру 4-й роты, командиру хозроты, нескольким командирам взводов и секретарю партийного бюро.

— Вы живёте на границе, — сказал командующий, оттопыривая сердито нижнюю губу. — У вас враг в штабе сидел... Враги, может быть, тут между нами бродят... А оружие, личное оружие командира, похоже на заржавелый кухонный нож. Противно смотреть! Так что, что врач? — закричал он неожиданно на смущённо взъерошенного полкового врача. — Вы в армии служите, а не в аптеке. Пулемётом Тарновского защищать свой полк будете? Клизмой?

Никто не засмеялся.

— А строевому командиру просто позор. Вывести сегодня всю его роту на стрельбище. Не верю, что может хорошо стрелять рота, у которой командир не умеет беречь своё личное оружие.

Он тяжело выдохнул воздух и помолчал. Щёки его были багровы.

— Кто отсекр полка? — спросил он неожиданно.

Отсекр робко выступил вперёд.

— Ваше оружие? — протянул он наган.

— Моё, товарищ командующий.

— Вы давно в партии?

— Десять лет.

— На фронте были?

— Был.

— Наган имели?

— Никак нет. Был красноармейцем.

— Ах, вот оно что, — голос командующего вдруг стал язвительно-вежливым и снисходительным. — Так вы так и скажите: просто, мол, не умею чистить револьвер. Никто не показал. Ну, смотрите. Наган разбирается так. — Он начал быстро и ловко разбирать револьвер. Его движения были чётки и исполнены артистического изящества. «Неужели он не забыл, как чистят оружие, сидя в штабе?» — удивлялся Конопатин.

Он теперь только увидел, что и полнота командующего была только кажущейся и походка лёгкой, он вспомнил, как сидел командующий в седле и позавидовал ему. «В его годы мне бы таким быть. Большевик!»

Смущённый отсекр, как виноватый школьник, глядел, как чистил его оружие командующий.

— Понятно? — спрашивал тот то и дело и бросал косые взгляды на комиссара полка. Брови комиссара вздрагивали.

— Понятно, понятно, — шептал отсекр.

— Вот вам ваше оружие, — наконец подал ему командующий наган и вытер руки о тряпку. — Это вы приглашали Ковалёва в партию? Говорят, даже уговаривали?

— Так точно, я... — растерялся отсекр.

— В партию? — вдруг закричал командующий, и всем стало страшно от этого крика. — В партию? Да ты знаешь ли, куда тащил врага?

— Я думал... строевой... командир... исправный...

— Исправный. Не спорю. Исправней тебя. У него взять наган — блестит, как стёклышко. Не сомневаюсь. Не то, что твой. Заржавело ваше оружие, товарищ отсекр. И идейное и личное. Идите.

Отсекр машинально козырнул и как потерянный поплёлся на место.

— На стрельбище! — коротко скомандовал комвойск.

На стрельбище он словно повеселел. Ласково улыбался красноармейцам. Весело здоровался с подходившими частями. Всех подбадривал.

— Ничего. Ничего... Денёк-то какой!

— Ветер, товарищ командующий, — вставлял командир полка.

— Прикажите ветру стихнуть, товарищ командир полка.

— Не подчинён мне ветер. Он рангом выше меня.

— И мне не подчинён. А вдруг, Пётр Филиппыч, он задует и на фронте? Будем стрелять?

— Как не стрелять!

— Так командуйте же трубить огонь. Мы на фронте.

Но его шутки не успокаивали командиров. Все знали, что это только уставная вежливость командующего. На линии огня нельзя ругать стреляющих, нельзя нервировать командиров, но с каждой сменой, уходящей, отстрелявшись, с линии огня, в душе командующего должен был накапливаться гнев. Там гремела буря, но её раскатов не слышно было на линии огня. Командующий улыбался. Полк продолжал стрелять скверно.

«Ах, лучше бы ты меня матом крыл, чем так вот улыбаться», — думал Бывалов. Он давно, с фронта, знал командующего и любил и знал, что тот его любит. Командиру полка было стыдно за свой полк, обычно лучший в армии. «Ветер? Да нет, не ветер. Стар я стал, что ли? Али успокоился на лаврах? Лучший, лучший. Вот тебе и лучший!..»

Стреляла полковая школа — надежда полка. Но и та стреляла плохо. Командующий сам отмечал в списке курсантов, который держал перед собой, итоги стрельбы.

Сзади вполголоса, но напрягая шёпот до предела, телефонисты вызывали блиндажи по полевому телефону.

— Триста? Триста? Как круглая мишень? Поражена... Нет?..

— Шестьсот? Шестьсот? Как перебежчик? Ноль. Бежит, значит, сукин сын. Кланяется стрелку. Спасибо, ещё поживу.

Командующему докладывали то и дело:

— Курсант Рунич — удовлетворительно.

— Удовлетворительно! — морщился и отмечал в списке. — Что же, в руку его задел или в шею? Врага надо сражать с выстрела. Только отличный результат с минимальным количеством патронов следовало бы записывать. Все, что ли, отстрелялись?

Он прошёлся карандашом по списку и заметил фамилию Гайдаша.

— А этот почему не стрелял?

— Только что из лазарета вышел, — доложил командир полка.

— Гайдаш. Ах, это тот Гайдаш, который с Ковалёвым, — вспомнил командующий. И Бывалов подивился его памяти. — Позвать его ко мне.

Алексей удивился и смутился, узнав, что командующий требует его к себе. Стараясь быть спокойным, он пошёл к командному пункту, туда, где рослая и широкоплечая фигура командующего господствовала над окружающими его военными.

— Как ваше здоровье, товарищ Гайдаш? — спросил, поздоровавшись с ним, командующий.

— Я здоров, товарищ командующий.

— Рад это слышать. Вы хорошо держали себя в этой истории. Член партии?

— Так точно. Коммунист.

Собственный голос показался Алёше незнакомым. С чего это он так оробел? «Я ведь не из робких был», — бегло подумал он и прибавил, тряхнув головой:

— Член партии.

— Не трудно ли вам в армии? — вдруг спросил командующий, и этот простой вопрос снова смутил Гайдаша. Почему он спрашивает об этом? Что он знает о нём? Алексею показалось сейчас, что командующий знает даже то, в чём сам себе не признавался Гайдаш.

— Было трудно, — честно ответил он. — Теперь... теперь привык. Теперь я дома.

Командующий весело усмехнулся и даже, как показалось Алёше, понимающе подмигнул ему.

— Я привык, — подтвердил Алексей упрямо.

— Верю. Но нелегко быть коммунистом, нелегко быть коммунистом и в армии. Если бы я вот сейчас, будучи коммунистом, плохо стрелял, как стреляют там, — он показал на красный флажок, — я бы от позора на край света сбежал. Коммунист, не умеющий стрелять, немыслим!.. Передовиком коммунист должен быть. Всюду. Везде. Всегда.

Обращался ли он с этими словами и к Алёше? Он говорил теперь всем. Алёша был только поводом, но это, как упрёк, относилось и к нему. Знал ли об этом командующий? Несжиданно для самого себя Алексей сказал, волнуясь:

— Разрешите обратиться с просьбой, товарищ командующий?

— Пожалуйста.

Алёше показалось, что он насторожился. Верно ли, что он поморщился даже? Почему?

— Меня отставили от стрельбы... Но я здоров... Я прошу разрешить мне стрелять... за мой взвод.

— Стрелять? Да вы больны ещё...

— Я очень прошу, — по-детски пролепетал Алёша.

Командующий пристально посмотрел на него, улыбнулся краешком губ, потом резко повернулся к начальнику школы.

— Дайте пять патронов. О результатах доложить мне. Зачесть в итог взвода.

— Ну? — снова обратился он к Алексею. — А коли выйдет плохо? Понизите процент родного взвода. А процент-то у него, ой-ой, и без того бедный.

— Я не подведу, — пробормотал Алёша.

Зачем он поддался порыву? Он клял теперь себя.

— А как думаете выполнить стрельбу?

— Думаю... (Да что там, теперь поздно отступать!) — Он вскинул глаза и сказал упрямо: — Дам отлично, товарищ командующий.

И вот он лежал на линии огня.

— По-па-ди! По-па-ди! — пел сигналист.

Так хочется попасть! Так нужно попасть! Он собрал все силы, но знал, что злости сейчас не нужно. Нужно спокойствие. Он снова проверил всё: изготовку, ремень, дыхание.

— По-па-ди! По-па-ди! — потребовала труба. Теперь это относилось уже к нему. Он впился глазами в мишень. Снова протянулась незримая линия между ним и мишенью. Снова исчезло всё в мире, кроме этой единственной цели, которую нужно поразить. Но необычайное спокойствие разлилось по ладно устроившемуся телу Алёши. «Не дёргать!» — подумал он в последний раз и открыл огонь. Ему показалось, что он слишком быстро стреляет. Но удержаться уже не мог.

Его позвали к командующему. Бледный и сразу ослабевший, он побрёл на командный пункт. Результатов ещё не было. Телефонист отчаянным шёпотом вызывал:

— Шестьсот? Шестьсот?

— Ну, как оцениваете свои результаты? — спросил снова командующий.

Хотелось честно сказать: «Не знаю», но ответил упрямо:

— Уверен, что отлично.

Командующий с интересом глядел на него. Кругом толпились командиры. Алексей заметил Конопатина и украдкой улынулся ему. Но нервная дрожь слегка била его. Почему телефонист медлит? Что, если не отлично, а только хорошо? Что, если вовсе плохо? «Бежать на край земли», — вспомнил он слова командующего. Куда убежишь? Нет, я стрелял отлично. Слишком быстро только.

— Шестьсот, третья мишень — отлично, — доложил вдруг, подходя, начальник школы.

Командующий ничего не сказал. Он стоял, расставив ноги, и смотрел в землю. Все молчали. Алексей почувствовал, что сейчас упадёт.

— Как стрелял товарищ Гайдаш раньше? — спросил командующий.

— Неуверенно, — ответил командир полка. — Больше плохо, чем хорошо.

— Почему сейчас стреляли отлично, знаете? — спросил командующий Алёшу.

— Нельзя... коммунисту... плохо стрелять... Вы сказали, — ответил Гайдаш.

— Товарищ командир полка! — позвал командующий.

— Здесь.

— Приказываю доносить мне рапортом после каждой зачётной стрельбы, как стрелял коммунист Гайдаш.

— Приказано доносить рапортом после каждой зачётной стрельбы, как стрелял коммунист Гайдаш. Есть.

— Товарищ комиссар полка!

— Здесь!

— Передайте мою просьбу коммунистам полка: стрелять всегда так, как стрелял сегодня коммунист Гайдаш.

— Есть.

— В прорыве ваш полк, товарищи командиры, — сказал командующий. — В жестоком прорыве. Не умеет полк стрелять. А люди хорошие у вас, — он показал на Алёшу. — Золотые люди. Большевики. Надо вытягивать из прорыва полк.

Командиры смущённо молчали. Командующий подошёл к Алёше. Обнял его и поцеловал. Потом вскочил на коня и уехал.

За ним поскакали командиры. Алёша, растерявшийся, всё ещё стоял на командном пункте.

«Значит, могу, могу!» — думал он.

И не похвала командующего, не сегодняшний нечаянный триумф на стрельбище, а именно эта мысль сделала его счастливым.

«Значит, я могу, я могу!.. Значит... буду!»

И это было ответом на проклятое «смогу ли?», которое он задал себе после лыжного позора полтора месяца назад.

«Значит, смогу!» — говорил он себе, гордо идя со стрельбища. Теперь предстояло упрямой борьбой, муками, напряжением всех сил и воли доказать всем и прежде всего самому себе, что он действительно «может», что, стало быть, он большевик. Он шёл со стрельбы и думал: «Теперь стисну зубы и возьмусь. Я упрямый. Я добьюсь». Он видел впереди долгие дни борьбы, крутую лестницу удачи, медленное карабканье вверх, незаметные для других победы, тягостные отступления, заминки и снова упрямое движение вверх, на ободранных в кровь пальцах. Его захватила, увлекла мучительная дальность пути. Так будет крепче. Так и растут люди. Ничего!

— Ничего-о! — подбадривал он себя.

Когда доберётся он до верха лестницы, станет лучшим бойцом школы, вот тогда можно будет сказать всем — и прежде всего самому себе: «Вот какой я парень. Сознайтесь, вы не ждали этого? Но я-то ждал. Как мучительно долго ждал я, как боролся!» Вот тогда можно будет и хвастнуть! Послать письмишко ребятам в Донбасс. Вырезку из газеты. Написать: «Вот. Комсомол потребовал от меня, чтобы я стал отличным бойцом, — вот я стал им».

17

Так стал Алексей Гайдаш нежданно-негаданно героем полка. Командующий отметил его в приказе. Командир полка, удручённый провалом, с чувством пожал ему руку. В армейской газете написали: «Весь полк должен стрелять, как коммунист Гайдаш». На полковом партийном собрании его избрали членом нового партийного бюро (старое распустили). Школа гордилась им, лучшим курсантом. Стрепетов сложил песню «Коммунист Гайдаш». С нею шли теперь бойцы на стрельбище.

И Конопатин, избранный отсеком полка, снова начал тревожиться за приятеля.

«Теперь кончено. Теперь зазнается. Погибнет», — озабоченно думал он.

Он решил вызвать Гайдаша к себе домой и за чайком потолковать с ним по душам, по-политруковски.

«Но что сказать ему? Предупредить: не зазнавайся, мол? Обидится. Натура тонкая, горячая, закусит удила, понесёт. Я его знаю! — не без самодовольства думал он. — От него всего можно ждать — и подвига и падения. Как придать форму этому хорошему, горячему литью?»

С беспокойством ждал он Алексея. Придумывал дипломатические подходы. Зачем-то вытащил томик Пушкина. Вёл мысленно беседы с Гайдашем. Потом поставил на стол чайник, конфеты, чашки с розовыми лепестками. «Словно невесту жду, — усмехнулся он. — Эх, парень, парень! Знаешь ли, как ты мне дорог?»

Но Гайдаш не пришёл. Напрасно поглядывал политрук на часы. Напрасно включал и выключал электрический чайник. Наконец, рассердившись, он решил сам пойти за Гайдашем.

«Герой! — злился он, топая по снегу через полковой плац. — Зазнался. Уж и в гости ходить не хочет».

Он уже знал, что застанет Гайдаша в ленинском уголке окружённым восхищённой толпой курсантов. Герой будет в сотый раз рассказывать о своей встрече с командующим, как командующий его обнял, как поцеловал, и курсанты будут ахать и завидовать.

Но ни в ленинском уголке, ни в казарме Гайдаша не оказалось. Политрук нашёл его там, где меньше всего ждал встретить: в спортивном зале. И то, что он увидел, поразило его. В пустом сумеречном зале Гайдаш молча и сосредоточенно забавлялся винтовкой: то вскидывал вверх и вниз, то выбрасывал в сторону. Он был без рубахи, и его одинокая фигура казалась маленькой и странной здесь, в большом, холодном, пустынном зале.

Конопатин тихо окликнул его. Алексей обернулся, но винтовку не оставил и продолжал методически, упрямо вскидывать её на вытянутых и напряжённых руках: вверх, вниз, в стороны, вверх, вниз, в стороны... Его лицо было сурово, оно удивило и испугало Конопатина. Всего ожидал мудрый политрук, только не этого. Он готов был увидеть сияющее довольством и браво удалю лихое лицо героя, Козьмы Крючкова, Тартарена, а увидел стиснутые зубы, ввалившиеся щёки, лихорадочный, голдный взгляд. И механические, напряжённые усилия — три, четыре, — словно разжималась и сжималась пружина в механизме, работающем на тугом ходу.

— Ты что это делаешь? — некстати спросил Конопатин.

— Видишь ведь... Три, четыре...

— А зачем?

— Три, четыре...

Как он похудел! Конопатин даже испугался. Он видел рёбра, кости, скулы. Гайдаш весь казался теперь колючим, острым, угловатым. Конопатин осторожно обошёл его, молча отобрал винтовку, поставил в угол, сел. Он был мрачен.

— Зазнавайся, чёрт! — закричал он злобно. — Хвастайся, ну! Хвастайся!

— Хвастаться нечем.

— Врёшь. Врёшь, чёрт упрямый! Что ты меня с толку сбиваешь? Хвастайся, говорю, герой! Гоголем ходи.

Он сердился. Это было смешно. Он сам сознавал это. Отчего он сердился? Чем теперь мог он быть недоволен?

— Всё у тебя не так, как у людей, — пробормотал он и засмеялся.

Алексей невозмутимо взял винтовку и снова начал вскидывать её с точностью заведённой пружины.

— Три, четыре... — шептал он. Его лицо снова стало напряжённым, бледным; движением бровей он стряхивал капельки пота.

— Три, четыре...

Владеть винтовкой, как рукой! Чувствовать её мускулы, как свои, её кожу, как свою, её нервы, как свои, её душу, как свою! Три, четыре...

Конопатин молча следил за ним. Потом неожиданно спросил:

— Сегодня тренировочную стреляли?

Алексей опустил винтовку.

— Стреляли.

— А ты стрелял?

— Конечно.

— И стрелял... плохо?

Гайдаш молча вскинул винтовку и со злостью продолжал гимнастику.

— А завтра — зачётная стрельба? — неумолимо продолжал политрук. — И о стрельбе рапорт командующему? Продолжайте, товарищ Гайдаш, я вас понял. Три, четыре...

И он, смеясь, обнял Алёшу за плечи.

— Ах ты, чудо-юдо рыба кит. Значит, и тебя задело? Задело ведь, сознавайся. Я так и знал. Я знал это. Такое время, брат. Нельзя в стороне. Я знал, что это будет. Ну, давай, брат, давай потолкуем, садись. Ты свой стрелковый недостаток знаешь?

Знает ли он? Алексей грустно усмехнулся. Он тащил свой стрелковый недостаток за собой, как проказу. Он был дергун. Нетерпеливо и зло рвал он спусковой крючок. Ему не хватало выдержки, спокойствия, уверенности. Всё было у него — отличные глаза, крепкие руки, хорошее дыхание, упрямая башка на плечах. Не было только выдержки, дисциплины. И это решало всё. О, он знал свой стрелковый недостаток и боролся с ним, как с чертой характера.

«Дергун я, дергун, во всём дергун», — со злостью признавался он себе.

Он любил скоростную стрельбу, стрельбу с ограниченным временем. Он не был создан для тира. Обстановка воображаемого боя, созданная на стрельбище ребятами из сапёрного взвода, возбуждала его. Он верил в то, что лежит в окопе, что на него наступает противник; он слышал его пулемёты. Он видел, как, окутанные снегом, пригнувшись, бегут на него вражьи солдаты в касках. Вот их хриплое «ура», вот штык у горла... Хотелось вскочить, палить без разбора, без правил, без наставлений. Огонь, огонь!

— Не дёргай, не дёргай... — шептал он себе тогда и, затаив дыхание, медленно нажимал на крючок.

— Отличное средство для лечения больных нервов, — бледно улыбался он и отирал пот и снег со лба.

Теперь он знал, не подходя к мишени, результат своей стрельбы. Вслед выпущенной пуле он говорил с досадой: «Не так! Не так надо было!» И давал себе слово, что в следующий раз будет стрелять лучше.

Его зачётные стрельбы, те, о которых рапортовали командующему, были отличны. Ребята с удивлением и дружеской завистью смотрели на него. Курсант-татарин Миндбаев спросил Алексея таинственно:

— Секрет знаешь, да? Скажи секрет.

Секрет? Да, он знал для себя секрет: быть хозяином своих чувств на линии огня. Наконец-то он стал их хозяином!

Но на тренировочных стрельбах он распускался. Он стрелял хуже других. Самое скверное, что он знал, почему плохо стреляет: это была будничная стрельба, а он привык к фейерверкам. Часто ловил он себя на этом. Он лежал в снегу, прицеливался, щёлкал вхолостую затвором и чувствовал, что делает это без души, механически, — все вокруг делают, надо и ему. «Не любишь? Не любишь? Скучно стало? — язвил он. — А мазать на стрельбе любишь?»

Вокруг него лежали на снегу бойцы. Вместо утренней зарядки теперь была стрелковая зарядка, ружейная гимнастика, наводка со станка, прицеливание. Заряжание, спуск. Повсюду трещали сухие щелчки затвора. На малом стрельбище занимались командиры. Словно курсанты, лежали они в снегу, обучались подгонке ремня, прицеливанию, спуску. И командир полка лежал с ними. Он распластался на заботливо брошенной кем-то рогожке и озабоченно целился в сосну, на которой была пришпилена мишенька. Это и был прорыв. Жестокое это слово повисло над полком. Хмурые ходили командиры. Командир полка сердито покусывал усы. Даже на кухне царил уныние. Дежурный по полку придирался к повару. Повар злился, борщ выходил пересоленным. «Такие стрелки и этого борща не заработали», — огрызался кок.

Теперь, читая в газете о прорыве в Донбассе, Алексей ясно представлял себе это. Смешно было представлять шахтёров, лежащих с винтовками перед мишенями. Он знал: у них были другие мишени. Но стиснутые зубы, чувство обиды за шахту, за полк, общая тревога, аврал, набухшие в усилиях мускулы были общими и здесь и там. И как там на Павлика, Рябинина, на «знатных людей» Донбасса (это слово только входило в словарь, но им уже были отмечены многие ребята алёшиного поколения) с надеждой смотрели глаза страны, так (и это чувствовал Алёша) на него

смотрел полк, по нему равнялись курсанты. Можно было, конечно, успокоиться, даже радоваться: вот у вас дело не выходит, а у меня отлично идёт стрельба. Но такие мысли даже в голову не приходили и не могли прийти Алёше. Всё реже радовали его личные успехи, всё больше печалили личные неудачи, неудачи отделения, взвода, школы, полка. Он не умел успокаиваться. Останавливаться тоже было некогда — его обгоняли другие. Теперь и он с досадой поглядывал на слабых стрелков своего отделения. Хотелось, чтобы отделение было лучшим во взводе, а взвод — лучшим в школе, а школа... Стыдно было называться курсантом, когда школа стреляла хуже второй роты, которой командовал насмешливый и франтоватый Агеенко.

Алексей понимал: прорыв нельзя взять штурмом, броском, криком. Кричали много — и командиры, и Алёша, и курсанты. Но все понимали — не криком одолеешь стрелковую немочь. По самому себе Алексей знал, в чём тут дело. Сегодня он почувствовал это больше, чем всегда. В технике? В выучке? В учёбе? Но эти слова замаскированно означали ненавистную тренировку. «Ни за что!» — сказал он сначала, а кончил тем, что пришёл в казарму и стал в пустом спортивном зале вскидывать винтовку... три, четыре... Завтра — зачётная стрельба, с этим нечего было шутить.

Всё это увидел и понял Конопатин, прочёл в алёшиных острых скулах, в голодных глазах, в рёбрах, на которых было мало мяса. Что-то болезненно сжалось в Конопатине, он снова обнял Алёшу и усадил его рядом с собой.

— У тебя вид нехороший, Алексей, — сказал он задушевно, — какой-то... ощеренный. — Ему захотелось смягчить выражение, легче всего было замаскировать слово шуткой. — Не воинский вид, товарищ. Боец должен глядеть бодро и весело, мол, пуля — дура, штык — молодец, — осторожно пошутил он.

Но Алёша не улыбнулся, слушал молча, наклонив голову.

— А я тебя не таким ожидал увидеть, — признался Конопатин. — Думал, зазнался уж. А что, я бы на твоём месте зазнался. В самом деле: отличные у тебя дела. Ведь правду будем говорить: тебя в полку давно уж как стрелка похоронили. По третьему разряду. И я грешен. Не ожидал от тебя такой прыти.

Алексей усмехнулся.

— Не ожидал? А теперь, признайся, руками разводишь и думаешь про себя: «Вот ведь какие бывают случайности!» И тоже ждёшь, ждёшь, как все, что завтра случай мне изменит и всё, как дым, развеется. А я говорю, — он стукнул ладонью по кожаной кобыле, — а я говорю вам: не случайность. Слышите? Не случайность.

Конопатин пристально посмотрел на него и крикнул: «Ага!»

Ага! Вот оно что! Ну, теперь он был спокоен.

— Могу я закурить здесь?

Наконец-то он чувствовал себя удовлетворённым, как доктор, который нашёл верный диагноз.

Но он не стал прописывать лекарств, не стал читать прописей. «Рассосётся. Это рассосётся, — беспечно подумал он и вздохнул облегчённо. — От этого не умирают».

Он ни о чём не спрашивал. Он только внимательно глядел на приятеля, и Алексею казалось, что политрук уже всё знает. Он рассердился даже: чёрт подери, откуда у этого рыжего парня такие глаза?

Ну да. Покоя не было в его уязвлённой душе. После утомительного дня он не знал покоя и вечером. «Что ещё? Что ему теперь?» — озабоченно думал он всё время. Ему казалось, что он что-то упустил, забыл, проморгал. Завтра это откроется — и весь полк будет смеяться над вчерашним героем.

Он снова и снова возился с винтовкой, просиживал вечера над книгами, перед сном тщательно перетряхивал своё красноармейское хозяйство. Вытаскивал из чехла сапёрную лопатку. Железо жирно блестело маслом. Ручка казалась полированной. Но он снова и снова принимался чистить её. «Ещё скажут: у Гайдаша шанцевый инструмент не в порядке». Потом он замечал, что чехол грязный. Надо бы простирнуть его. Где? «Ну, это в следующий раз, — решал он. — У всех грязные». Но мысль о грязном чехле не покидала его. «Завтра же постираю». Он брал противогаз. Начинал копаться в нём. Протирал очки. Вытирал насухо маску, смазывал маслом горло патрубком, наводил глянец на коробку. Всё это и без того было чисто, блестело, играло под тусклым лучом лампы, а он всё возился да возился.

«Что ещё? Что ещё теперь?» Он вдруг вспоминал об учебных патронах. Доставал подсумок. Патроны оказывались в полном комплекте. Но он снова рассматривал их один за другим. Один патрон оказывался грязным. «Ну вот, ну вот, — злобно ликовал он, — а завтра сказали бы: у Гайдаша патроны в грязи». И он ожесточённо принимался чистить их.

Тут заставал его отбой. «Спать!» — озабоченно вздыхал он. Но прежде он надевал на ремень лопатку, подсумок, клал на табурет у кровати противогаз — на случай ночной тревоги.

Теперь всё. Теперь спать. «А чехол-то грязный», — вспоминал он.

«Спать! Спать!» Он ложился. Он чувствовал такую усталость, какой никогда не знал раньше. Но то было не только физическое утомление, слабость поработавших рук — это была усталость души, перегрев сердечного мотора. Когда он лежал в постели, его мускулы отдыхали, нервы же и мозг и тут не знали покоя. «Что я забыл сделать?» Он ворочался на койке. «А чехол грязный». Вдруг окажется у Гайдаша грязный чехол. Вчера на комсомольском собрании его мягко упрекнули в плохой заправке койки. «Из матраца солома торчит». Это было сказано мимоходом, и Стрепетов, влюблённый в Гайдаша, даже закричал возмущённо:

— Это мелочи!

Но Алёша молча вышел, взял иглу и зашил матрац.

Что ещё? Что ещё теперь? Никогда не думал он, что могут им так полнотью и безраздельно овладеть заботы о ружейном ремне, об очередной стрельбе, о завтрашнем выходе в горы. Были ли когда-нибудь у него другие заботы? Иногда он бегло вспоминал шумные пленумы, комсомольские драки. Но об этом некогда было думать. «Мой пленум теперь на стрельбище. Моя генеральная линия — стать отличным красноармейцем-большевиком. Этого от меня сейчас требует партия. Смогу ли я? Смогу», — отвечал он, стискивая зубы.

— Смогу! Это не случайность, — сказал он Конопатину, который сидел рядом с ним и задумчиво сосал папиросу. Но Конопатин ничего не ответил и только продолжал посасывать папироску и улыбаться. Алексею вдруг захотелось говорить и говорить о себе. Ему давно хотелось этого. Ему хотелось выложить свои мысли, думы, то, чем мучился всё время. Проверить: правильный ли нашёл он выход? И он, не заботясь о том, слушает его Конопатин или нет, стал рассказывать всю свою жизнь, короткую, такую прямолинейную в начале и такую путаную, сбивчивую в конце. Он рассказал о своём крушении, о том, как принял это, что передумал, что пережил.

— Тогда-то, — сказал он, задумчиво глядя, как тает синий дымок конопатинской папиросы, — тогда-то я и спросил себя: да большевик ли я? То была мучительная ночь. На разные лады задавал я себе этот вопрос. Видишь ли, я никогда не был беспартийным. Ребёнком я пришёл в детскую коммунистическую группу. Желторотым огольцом вступил в комсомол. Вихрастым парёнком передали меня в партию. И никогда, ни

разу не спрашивал я себя: полно, да большевик ли я? А тут спросил. Сам спросил. И, знаешь, не смог дать ответа. Ты понимаешь, политрук, не смог ответить. Это страшно, Ваня, когда на такой вопрос не можешь дать ответа.

— Ещё страшней ответить себе — нет, не большевик.

— А может быть, просто смелости не хватило так ответить? — прошептал Алёша.

Конопатин с любопытством посмотрел на него, увидел взволнованное лицо и смущённо улыбнулся.

— Может быть, просто смелости не хватило, — упрямо повторил Алёша. — Не хватило честности, мужества. О, я часто потом думал об этом. Впервые в жизни думал я. Что, думал я, если просто смелости не хватило честно ответить? Ведь я как жил? Я жил до тех пор, не думая, не рассуждая. Естественно было, что я, парень с Заводской улицы, сын рабочего, сам рабочий, постучался в двери комсомола, а потом перешёл в партию. Куда же мне ещё было стучаться? Парень я активный, горячий, общественный. Я, брат, создан для организации, для политической борьбы. Вот я пошёл в ту организацию, которая мне ближе всего, родней, стал большевиком. Но стал ли я большевиком? Членом партии я стал, а большевиком? Глупо так делить вопрос, скажешь ты. Нет, не так уж глупо. Я это понял по себе. И тогда возник у меня другой вопрос, ещё каверзнее, ещё ядовитее. «Хорошо, — сказал я себе, — ты пошёл в большевистскую партию, потому что весь ход революции привёл тебя и всё твоё поколение к этой единственно честной партии. Ну, а до революции, когда всё было не так отчётливо, ясно, всё было путанней, туманней, в какой бы тогда партии ты очутился, Алексей Гайдаш?» Нет, нет, это не зряшный вопрос. Это не организационный вопрос. Это вопрос о мировоззрении, о характере человека, о его пути, его судьбе. Нельзя жить, я недавно только понял это, но понял крепко, нельзя жить без мировоззрения, хоть я и жил, считая себя марксистом, будучи только неучем. Кем же был бы я, в какой партии очутился бы до революции? У меня есть приятель, Степан Рябинин. Про него я знаю. Он был бы и тогда большевиком. За многих ребят моего поколения я поручусь, за тебя, Ваня Конопатин, готов ручаться. Ну а я? Я, Алексей Гайдаш, с моим характером? Меньшевиком? Нет, никогда. Это я точно знаю. Лягушатная эта партия, склизкая, липкая, партия фармацевтов и присяжных поверенных наверняка не заманила бы меня, даже не пойми я её предательской политики. Троцкистом? Ну, это ещё подлей, с ними бы я не был. Иудушки. Эсером? Кулачье никогда не было мне родней. Хотя, знаешь ли, был в моей биографии факт, когда я чуть было не возмечтал стать торговцем. Ну, это глупость. Не стал и не мог стать. Нет, ни эсером, ни кадетом, ни черносотенцем я бы не стал. Но был бы я большевиком? Встреть я, конечно, большевиков на своём пути, может быть, стал бы и большевиком. Но, знаешь, если откровенно говорить, очень возможно, что стал бы я анархистом. И когда недавно подумал об этом, я испугался. Неужели анархистом? И тогда возненавидел я свой характер, те черты его, которые привели бы меня к анархизму. Ты спросил у меня о стрелковом недостатке. Это мой и жизненный и политический недостаток. Я дергун. Парень без дисциплины, без выдержки, без знаний, без настоящего чувства коллективизма, хоть в коллективе я с детства.

— Ты погоди, погоди, — перебил его нахмуренный Конопатин. — Что за бичевание? Не на исповеди. Ты не наговаривай на себя. Продолжай.

— Нет, я правду говорю, — возразил Алёша. — Я пережил всё это. Через многое переступил, потому и говорю так. Ты думаешь: откуда вдруг у рабочего парня такое интеллигентское самокопание? Нам ведь литераторы в сложных чувствах отказали. «Он был шахтёр, простой рабочий...», с простыми чувствами, прочными и дешёвыми, как его рубаха.

— Нет. Человеку свойственно анализировать свои мысли и поступки. Он этим и отличается от скотины. Я сказал только: знай меру, Алексей, этак и до железных вериг договориться можно. Не монашествоуй, не бей поклонов, не колотись лбом. Понимаешь ли, — Конопатин поморщился, — мне это неприятно и... ну, и больно слышать от тебя, дура ты стоеро-совая...

Алексей с удивлением взглянул на него и, поняв, смутился.

— Хорошо, — пробормотал он, — не буду. Мы ведь мужчины. Ну, дальше что ж? Дальше — армия. Армия! Красная Армия! Знаешь, а я ведь об армии давно мечтал. Ты не поверишь...

— Отчего же?

— Ну, сам знаешь, — опять смутился Алёша, — как я себя в армии показал. Вспомнить невесело. Но тому причины были. Ты знаешь их. Я о другом. Вот в книгах рисуют: армия — школа, ликбез. Приходит этакий серый крестьянский паренёк, сено-солома, а тут его отшлифуют, наваксят, обнаждчат, и выходит он молодец молодцом, грамотеем, переустроителем деревни. Всё это есть. Всё это верно, хотя и лубочно. В жизни лучше. Но ведь я-то не в ликбез пришёл, в армию. Меня грамоте учить не надо. Я грамотный. Даже одно время считал себя шибко грамотным, ты это помнишь. Что ж мне-то армия? Потерянные годы? В те томительные ночи, что думал я о себе как о большевике, была у меня только одна разьединственная мысль-утешительница. «Ладно, — нащёптывала она, — ты плохой большевик. Ты не умел ни жить, ни работать по-большевистски. Но зато сумеешь ли ты умереть, когда придётся, за партию, за родину?» И я отвечал, не моргнув глазом: «Сумею». И я себе не врал. Ко мне там троцкисты подкатывались. Этот вот самый Бакинский. Тянули. На обиде моей — я ведь себя почитал обиженным — хотели сыграть. Я прогнал их прочь. К чёрту! Не по пути. Я знал, что знал: мне и жить и умирать большевиком-ленинцем. Умереть-то по крайней мере в бою я сумею стойко. Но вот в армии оказалось, что случись война, и я не смогу, понимаешь ты, не смогу даже умереть за родину с толком. То есть умереть-то, конечно, смогу, но так же может погибнуть и полевой суслик, раздавленный гусеницей тяжёлого танка. Это было страшно, когда я понял это. Война... Партия скамандует: «Коммунисты, вперёд!»... А я ни стрелять, ни воевать, ни управлять машиной, ни командовать не умею... Путаться под ногами... Мешать... Брр... И тогда захотелось мне стать отличным бойцом. Что — захотелось! Понадобилось. Дозарезу.

— В обозе и то потребуются конюхи, знающие коня, механики, кузнецы, сапожники...

— Ну вот, — криво усмехнулся Алёша. — Даже и в обозе для меня не найдётся дела. Всё это я, однако, понял и почувствовал. Потом этот маленький беспартийный мануфактурный приказчик Дымшиц показал мне пример. Не будь Дымшица, конечно, было бы что-либо другое. Но Дымшиц!.. Это было чересчур.

— Это чванство?

— Как хочешь называй. Но для меня порция была великоватой. Однако проглотил. Ничего. Лошадиная доза лекарства, конечно, но подействовала. И не в Дымшице дело. Дело в армии, которая Дымшица ведь сделала другим, хоть и ему не надо ликбеза. Армия тоже явилась для меня школой — я в пригготовительном классе пока, — но школой иной, чем рисуют в книжках. Это, ты знаешь лучше меня, школа большевистской дисциплины, большевистской выдержки, большевистского мужества и большевистской ненависти. Здесь встретил я Ковалёва, — его лицо стало злым, острым, — он хотел меня купить, улестить, испугать. Идиот!

Командующий спросил меня: «Не трудно ли вам в армии?» Откуда он знал, а, Конопатин? Нет, не трудно, ответил я. И я, Ваня, сказал правду. Теперь не трудно. Физических трудностей я не боялся никогда. Мне Стрепетов, когда мы сюда ехали, сказал, что единственное, чего он боится, — это армейской каши.

— Каши?

— Ну да. Парень к изнеженному столу привык, а я, брат, бывали дни, и каше был рад. Нет, кашей меня не испугаешь. Да и Стрепетов сейчас кашу вовсю рубает, добавки требует. Нет, не физических трудностей боялся я. Я парень здоровый. А дисциплина... Я ответил тебе уже: я возненавидел анархизм и индивидуализм в себе и вытраплю, выдавлю их из себя по капле.

Он замолчал. Его лицо было бледно и зубы стиснуты. Конопатин молча продолжал курить. Окурки, аккуратно сложенные кучкой на рыжей кожаной кобыле, уже погасли.

— Ну вот, — выдохнул Алёша. — Вот и всё. Нежданно-негаданно стал я, как ты выражаешься, героем. Я знаю: вы считаете это простой случайностью. Так думаю и я... в душе... Стрельба при командующем была случайной, ну... вдохновенной, что ли... как импровизация на скрипке. Знаю: как и всякую импровизацию, её трудно повторить. А я повторю! — закричал он. — Я всегда буду так стрелять. Не случайность, говорю я вам. Вы можете мне верить или не верить, но назад теперь меня не повернуть.

Он остановился, зло поблёскивая глазами, готовый к спору, к драке, к борьбе.

Но Конопатин молчал и попыхивал папироской. Потом неожиданно спросил:

— А ты думаешь, что если стал отличным стрелком, если у тебя сапёрная лопатка блестит, так ты уж и великолепный большевик? Так, что ли? Алёша растерялся.

— Нет, разумеется...

— Я рад этому разговору, — сказал Конопатин и встал, стряхивая пепел с себя. Потом, улыбаясь, посмотрел на Алёшу и положил ему руки на плечи. — Честное слово, я рад. Нам стоило поговорить с тобой, Алёша. Мы мужчины, ты сам сказал так. Поэтому, если мои слова будут жестковаты, ты не взыщи. Ладно? Ну вот.

Он подошёл к окну и посмотрел на улицу: плац, облитый лунным светом, поблёскивал синими искрами.

Алёша тоже подошёл к окну.

— Мы выходим на большую дорогу, друг Алёша, — задумчиво сказал политрук. — Мальчики вчера, воробьи на баррикадах, подносчики патронов — мы сегодня выходим на широкую дорогу жизни. Мы находим свою дорогу не ощущая, как было всегда. Нам легче, дороги распахнуты перед нами, но и трудней. Кому много дано, с того много и спросится. С нас много спросится, Алёша. В счастливые время мы с тобой живём, товарищ, потомки будут завидовать нам. Вот мы стоим с тобой и толкуем. Не новая тема. Сотни лет молодые люди, наши с тобой ровесники, стояли вот так же, обнявшись, у окна. Смотрели, как играет снег синими искрами, и говорили о том же. О мировоззрении, о взгляде на мир, об идеологии — называй это как хочешь, сущность одна: перед молодыми людьми лежала дорога, и они думали о том, как по ней пройти. Все они искали путеводной звезды, ждали попутного ветра. Молодые люди всегда искали. Ошибались, надеялись, разочаровывались и снова искали. Одни искали бога, другие бросались в туманные дали немецкой философии, третьи бродили без догмата, неприкаянные и лишние на земле, четвёртые находили идеал в отцовском лабазе и сами становились лавочниками, свалив на пыльный чердак юношеские грёзы и чаяния. Нам с тобой, Алёша, не надо искать и бродить в тумане. Мы нашли. Нашли в борьбе, в боях. Ты ска-

жешь: это наши отцы нашли, а не мы. Нет и мы. То, что завоевали в Октябре отцы, досталось нам не только по наследству. Мы боевой практикой осваивали и получали это драгоценное наследство. Мы нашли самую верную философию, самую чистую веру, самую бескорыстную любовь и самую священную ненависть. Молодые люди всегда искали идеалов, образов, учителей. Нам с тобой, молодым людям тридцатых годов двадцатого века, ясен идеал: вот он, — он указал на портрет, прищурившийся со стены, — это идеал большевика, идеал человека. Для нас с тобой вопрос в том, как приблизиться к этому идеалу.

Он замолчал и долго смотрел в окно.

— Как? Как стать человеком, что надо? — наконец снова заговорил он. — Как прожить свою жизнь с толком, оставив след на земле? Не раз и не два задумывался я над этим, как задумывались, вероятно, и другие мои сверстники. Самовоспитание? Самосовершенствование? Гимнастика ума, воли, чувств? Аскетизм? Составить для себя правила поведения и строго следовать им? Я читал где-то, что многие великие люди поступали так. Франклин, Толстой, например. Франклин-юноша ставил себе отметки за поведение. «Бережливость — двойка». Значит, потратился на леденцы. Что ж, и нам с тобой завести такие отметки? Составить катехизис добрых правил и каждый день заглядывать в него?

Алексей засмеялся.

— Да, нам это смешно. А им, что ж, им, вероятно, помогало, — продолжал Конопатин, — что ж нам? У Смайлса, кажется, есть книжонки, посвящённые воспитанию человеческого характера. Он рекомендует упражнения, уроки, даёт наставления. Подойдёт ли это? Заняться самосовершенствованием? Избегать общества дурных товарищей, окружить себя умными книгами, стать книжными червями? Глядеть на жизнь только через книгу? В великолепном одиночестве ощущать себя центром мира, драгоценным сосудом знаний, без надежд применить эти знания к жизни? Видел я этиких начётчиков и в комитетах и в штабах, беспомощны они, как слепые котятка. Верёвкус, грабиус, книжные формулы. Нет, и это не подойдёт. Характер, мы знаем это с тобой, формируется в борьбе и в труде. Помнишь Энгельса: «...труд создал самого человека». Рука не только орган труда, она также и его продукт. Язык возник из процессов труда. Труд, борьба, коллектив — вот где и чем формируется настоящий человек. У нас в ходу выражение: «Работа над собой». Мы произносим это и часто не понимаем всей мудрости этой фразы. Работа над собой! Работа, заметь. И трудная работа, скажу, по чести. Вспомнилось мне сейчас, — усмехнулся он, — как один благородный римлянин у Анатоля Франса мечтал о том времени, когда люди перестанут побеждать друг друга и примутся побеждать самих себя. Далеко до того времени, когда кончатся войны. Мы знаем это с тобой, Алёша, но мы хотим победить и победим в войне. А для этого надо уметь побеждать в себе гнилое, перекраивать самих себя. Работать над собой, сказали бы мы по-нашему. Я спросил тебя, — продолжал он, видя, что Алёша внимательно и молча слушает, — достаточно ли быть отличным стрелком, чтобы считать себя уже отличным коммунистом? Слов нет, коммунист должен владеть техникой. Сегодня партия поставила тебя под ружьё, ты обязан отлично владеть ружьём, — он улыбнулся, вспомнив алёшину ружейную гимнастику, — завтра партия поставит тебя рядом с Дымшицем к прилавку и, будь добр, поучись у Дымшица отличать шёлк от маркизета. Но делает ли одно отличное владение техникой человека большевиком? Нет. Сам знаешь, этого мало. Что же нужно? Есть в тебе это? Большевика отличает прежде всего высокая идейность. Есть она в тебе? Идейность немыслима без широких и глубоких знаний. Есть они у тебя? Идейность предполагает в большевике принципиальность, непримиримость, ясное знание цели, умение стремиться к достижению её. Есть ли в тебе всё это? У большевика выше всего

и чище всего его партийность, преданность партии и делу освобождения человечества. Без берегов эта преданность, самая великая жертва во имя её легка и осуществима. Если во имя торжества одной человеческой мысли люди шли на костёр, то во имя освобождения человечества на какие жертвы ты не поспешишь? В тебе эта преданность есть, я это знаю, товарищ. Но есть ли в тебе, Алексей, умение проявить эту преданность революции с наибольшей пользой? Не просто это — найти для себя дело, где ты сможешь с наибольшей пользой, отдавая всё, что имеешь, служить революции. Большевик должен, далее, быть вожаком масс. Без этого какой же он большевик? Что из того, что ты грамотнее, идейнее, убеждённее Миндбаева, если ты Миндбаева не тянешь за собой? Что из того, что ты отлично стреляешь, если Миндбаев из твоего взвода стреляет плохо? А ведёшь ли ты за собой миндбаевых, Алексей Гайдаш? Или всё то же самосовершенствование, знания в копилочку для себя, грамоты за личные успехи на стенку в рамочку?

— Это не по адресу,— пробормотал смущённый Алёша.— Всё равно, продолжай.

— Не по адресу? — пожал плечами политрук.— Что ж, принимаю обратно за ненахождением адресата. Авань найдётся.

— Ещё неделю назад,— тихо сказал Алёша,— я применил бы это и к себе. Впрочем, принимаю и сейчас. Пригодится.

— Я наблюдал за тобой, Алёша, часто и много ещё в роте. Я давно этого разговора хотел. Но больно ты грозный, Алёша. От тебя струится электричество. Страшно стоять рядом. Искры...—Он засмеялся.—Иногда я думаю: откуда в тебе столько злости? Если ею гаубицу зарядить да выстрелить — проблема межпланетных путешествий будет решена. Били тебя в детстве много, что ли?

Алексей промолчал.

— Ну, значит, мало били,— рассудил политрук,— это тоже плохо.

— Ну, бей, бей,— наклонил голову Алёша.— Бей, Ваня, я сдожаю.

— Зачем ты зубы стиснул? Зачем эта ощеренность? Я вошёл, увидел тебя — испугался. Зачем этот надрыв? Кому и, главное, что доказать хочешь? Ведь ты всё время доказываешь что-то. Ты не просто валишься в окоп и стреляешь. А кому-то доказываешь: вот, мол, Алексей Гайдаш, которого вы по третьему разряду похоронили, стал отличным стрелком. Ты не просто бежишь выполнять приказание отделённого командира, а демонстрируешь: вот, мол, Алексей Гайдаш, покорненький и смирененький, идёт выполнять беспрекословно приказание. Похоже ли это на большевистскую дисциплину? Дурак, да ведь те, кому ты доказать что-то хочешь, первые радоваться твоим успехам будут: ай да Алёша, ай да наш парень! И ребята твои в Цекамоле, те, которые тебя «с поста» снимали, первые же и обрадуются. Наш, скажут, парень, наш комсомолец. Армия ему на пользу пошла, и сам он стал армии полезен. Не правду разве я говорю, что ли?

— Ах, Иван! — воскликнул смущённо Алёша.— Прекрасной ты души парень. Верить ли ты, что могу я стать таким парнем?

Когда много лет спустя Алёша рассказал мне об этой сцене в пустом гимнастическом зале и его голос, как и тогда, взволнованно дрожал, мне почему-то вспомнилась сцена из Джека Лондона: два первобытных детёныша на заре человечества, и один из них, поборов свой страх, отказался бежать, чтобы остаться и заботливо вытаскивать из раны другого стрелу, орудие страшное и непонятное обоим. «Чувство дружбы помогло человеку стать сильнейшим из зверей!» — восклицал Джек Лондон, рассказывая эту сцену. И мне ясно представился полутёмный гимнастический зал, два молодых человека у синего окна, два товарища, и один из них бережно и осторожно вытаскивает занозу из уязвлённой души другого.

— То, что говорю я тебе,— сказал растерявшийся от алёшиного восклицания политрук,— я говорю и себе каждый день. Какой я учитель тебе! Я говорю только то, что сам чувствую. Не молитва это: «Боженька, помоги мне быть хорошим!», не заклинания. Хочется просто осмыслить, как живёшь, зачем, для чего. Понимаешь, когда видишь вокруг, как замечательно растут люди, какие чудесные они делают дела, хочется и самому быть не хуже. Эх, браток! В какое чудесное время выпала нам с тобой удача жить!

В дверях кто-то вежливо закашлял. Оба оглянулись. Дневальный со штыком у пояса продолжал покашливать.

— Ах, да ведь давно отбой,— спохватился Конопатин.— А мы тут с тобой о дисциплине толкуем да дисциплину же и нарушаем. Спать, товарищ курсант, спать!

— Я провожу тебя немного,— сказал Алёша.

Он накинул шинель на плечи и вышел вместе с политруком. Молча прошли они через синий плац. Ночь выдалась лунная и тихая. Облитые её мирным сиянием, спали чёрные здания полкового городка. В конюшню сонно заржал жеребец. В полковой кухне мигнул и погас огонёк. У ворот, прислонившись к будке, восхищённо глядел в лунное небо дневальный.

— Послушай, Иван,— сказал, прощаясь, Алёша,— отчего мне так в друзьях везёт? — Он крепко стиснул руку растерявшегося политрука и быстро зашагал в казарму.

Конопатин взволнованно поглядел ему вслед. «Постой, постой! — хотел кричать он. — Постой, чудак! Чудо-юдо рыба кит...» Но только стоял и смотрел растерянно на дорогу, по которой удалялся широкоплечий, крылатый от наброшенной шинели силуэт товарища.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Опубликованная на страницах «Нового мира» рукопись «Алексея Гайдаша» и относящиеся к ней планы и записи были обнаружены в архиве Б. Л. Горбатова после его смерти.

В тетради, которая сопровождала писателя во время зимовки на Диксоне в 1935 году и при перелёте над Северным морским путём в 1936 году, подробно разработан план «мобилизации материалов», лирических отступлений, конспект первой главы.

Первая запись датирована февралём 1935 года.

«На вокзале Алексей в ожидании поезда купил газеты, расписание поездов и карту путей сообщения. С любопытством рассматривал он карту...»

В августе 1935 года написано:

«Какая должна быть книга? — Во-первых, очень мужественная, тёплая и хорошего дыхания. Время героическое, ребята героические. Книга должна быть напряжена, как струна. Побольше широты, смелости, дерзания.

Во-вторых, книга должна быть очень сюжетной. Поменьше бытовщины, заседаний, поменьше «психологических» мостиков, шажков, побольше действия. Широкие, крепкие характеры, большие чувства. Отчётливые поступки. Всё должно быть сюжетно. Сюжет должен быть обязательно острым. Побольше событий, приключений, опасностей, героизма.

В-третьих, книга должна быть широкой. Юг и Север. Армия и золотоискатели. Завод и зимовка. Всё! Всё показать, что только вместится в сюжетные рамки. Людей насытить большими делами, чувствами, поступками.

Все мои люди — отличные люди. Не бояться сказать это прямо. Учитесь у них! Любите их, как я их люблю.

В-четвёртых, книга должна быть красивой. Побольше работы над словом, побольше образности. Пейзажи. Создать заводской пейзаж.

И, наконец, в-пятых, как и первая книга, эта должна быть интимной и лирической. Патетика мужества.

Угловатые нескладные подростки превратились в сильных здоровых мужчин».

Сохранилось несколько страниц, вырванных из большой тетради. На первой из них написано так, как принято писать на обложке: «Борис Горбатов. Моё поколение. 2-я книга».

Обдумывая характеры героев и сюжетные ходы, автор записал: «Съездить самому на золотые прииски ещё раз... В конце книги мы летим с Новобезимовым — пейзаж пилота, Север — использовать записи в блокноте перелёта на Диксон».

Видимо, автор имел в виду те самые записи, которые приведены вначале. Представление о содержании романа и о широте замысла автора даёт такая запись:

«Основные линии

1929 год — год Великого перелома (Все).

Армия — реконструкция, механизация, ударничество (Алёша).

Завод — от штурмовщины к плановости (1932 г. Павлик, Рябинин).

Уголь — из прорывов в культурные шахты (Алёша).

Золото — от старателя-хищника — в социалистического рабочего (Мотя)».

Эта запись, так же как и другие, в которых содержится раздумья автора над судьбами героев, относится к октябрю 1935 года.

В одном из вариантов первой главы говорится:

«Так думал я тогда — и мне казался тесным мир. Но я не знал, что мои ребята найдут своё счастье и будущее на Севере.

Я не знал, что напишу эту книгу, в которой будет и самая южная наша граница, и Арктика, и море, и горы, и мои ребята будут и над землёй и под землёй, будут раскачиваться на стропилах и мачтах больших заводов, владеть огромными городами, скакать на горячих скакунах, скользить на лыжах, бороздить моря на утлых лодках.

Вот эта книга о севере и юге, о востоке и западе — обо всех четырёх странах света, о горах и морях, о моих сверстниках, которые плавают и путешествуют, летают в воздухе и ползают под землёй, работают и отдыхают, любят и страдают и идут по Большой земле, по своей дороге..»

По своему замыслу «Алексей Гайдаш» должен был вместить весь жизненный опыт писателя. Об этом убедительно говорит следующий план «мобилизации материалов»:

«Найти блокноты

1. Металлургических поездок.
2. Соликамский.
3. Золотой.
4. Северные.
5. Армейские.

Очерки

1. Новые шахтёры.
2. Черновик «мастеров».
3. Все материалы перелёта на Диксон».

Сведений о том, когда Б. Горбатов работал над первыми главами «Алексея Гайдаша», у нас не сохранилось. Скорее всего начал Б. Горбатов над ними работать на Диксоне. 18 апреля 1935 года он сообщал в одном из своих писем оттуда: «Сел писать роман». Видимо, работу над романом писатель отложил, увлечёвшись рассказами об Арктике. А затем началась война.

Сравнивая написанное с планами писателя, можно установить, что автором, в сущности, почти закончена первая часть.

В перепечатанных на машинке страницах, а также в блокнотах, с которых производилась перепечатка, уже не упоминается, что это вторая книга «Моего поколения». Возможно, что Б. Горбатов впоследствии отказался от первоначального замысла и решил написать самостоятельную книгу с теми же героями, которые действовали в «Моём поколении».

Г. КОЛЕСНИКОВА.



НИКОЛАЙ ДУБОВ

★

СИРОТА

Повесть *

29

Митя протянул Людмиле Сергеевне пакет из школы, подождал, пока она прочитала записку.

— Насчёт Горбачёва?

— Да. Что там случилось?

— Я сам хотел поговорить... У Горбачёва нашли какую-то записку, вызвали к директору. А он потом побил Трыхно, из своего класса. Вроде за то, что тот передал записку... Это, конечно, подло со стороны Трыхно, но драться же нельзя! Опять будут говорить, что детдомовцы задираются... Может, его на совет? Пускай объяснит, в чём дело.

— Потом, Митя, на совет успеем. Позови его сюда.

— Ну, что ты опять натворил? — спросила Людмила Сергеевна, когда Лёшка вошёл.

Лёшка придумал целую речь. Из неё очень ясно и убедительно следовало, что он ни в чём не виноват, а что касается Трыхно — ему следовало ещё и не так дать... Но стоило ему войти в кабинет — вся его прекрасная речь вылетела из памяти и от неё осталась только одна фраза:

— Побил Трыхно.

— О Трыхно потом. Зачем тебя вызывали к директору?

Лёшка сглотнул переполнившую рот слюну и опустил голову.

— Какую у тебя нашли записку? Почему ты молчишь? Это что, секрет?

Лёшка кивнул.

— Допустим. Однако Галина Фёдоровна уже знает твой секрет и, конечно, расскажет мне.

— Ничего она не знает! И какое ей дело? Я ничего такого не делал!

— В записке ничего плохого не было?

— Нет.

— А что в ней? Ну что ты молчишь, всё равно она мне покажет!

— Она шифром была написана, вот они и пристают...

— Шифром?.. Что же в ней было?

Лёшка сказал.

— А что это значит?.. Да что мне, клещами из тебя каждое слово тянуть? — рассердилась Людмила Сергеевна.

Лёшка посмотрел ей в глаза и сказал:

— Вы лучше меня не спрашивайте, я всё равно не скажу.

Людмила Сергеевна потёрла пальцами внезапно заболевшие виски.

— Я думала, Алёша, мы с тобой друзья, ты мне доверишься, а оказывается — нет.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5, 6, 7 с. г. '

Лёшка посмотрел на неё исподлобья и опять опустил глаза. Ну, как же она... Всегда всё понимала, а теперь не хочет понять!.. Он прерывисто вздохнул.

— Разумеется,— сказала Людмила Сергеевна,— это не только твой секрет. Я не знаю, что такое «Ф», но раз там речь идёт о членах, значит, есть и другие... О них я говорить не могу, не знаю. Но ты, наверно, тоже член этого «Ф»? Вот завтра мне директор скажет, что у Горбачёва нашли такую записку, и если он боится рассказать...

— Вовсе я не боюсь, а имею права! Я же слово дал!.. Вы сами всегда говорили, что слово надо держать...

— Да,— вздохнула Людмила Сергеевна.— Слово надо держать...

— Людмила Сергеевна,— горячо сказал Лёшка,— если бы что плохое — я бы сам рассказал. Вот честное слово — ничего плохого я... мы не делали! Я б вам всё рассказал, вы бы увидели, только я не могу — я же дал честное слово! И пусть делают, что хотят, я всё одно не скажу! — крикнул он и выбежал из кабинета.

Людмила Сергеевна решила больше не допытываться. Успокоившись, мальчик сам расскажет тайну, которую сейчас так горячо оберегает. В том, что она не содержала ничего ужасного, Людмила Сергеевна не сомневалась. Значительно больше её тревожила драка Лёшки с одноклассником. Невозможно, конечно, чтобы мальчики выросли без стычек, но не слишком ли много их у Горбачёва? Чего доброго, привыкнет к кулачной расправе как к единственному способу доказывать свою правоту...

С утра пришлось заниматься хозяйственными делами, ходить по всяким «торгам» и требовать выполнения разнарядок, потом с бухгалтером и завхозом сверять счета. О Горбачёве Людмила Сергеевна вспомнила только вечером и пришла в школу, когда уроки закончились.

Галина Фёдоровна была в кабинете не одна. Рядом с ней, не опираясь на спинку стула, сидела необыкновенно прямая и строгая Елизавета Ивановна. Против двери сидели Гаевский и Нина Александровна. В углу, возле окна, клубился дым. Там Викентий Павлович, глядя в стол, что-то чертил карандашом. «Пирамиды рисует»,— подумала Людмила Сергеевна. На всех заседаниях Викентий Павлович рисовал одно и то же: пирамиды и сфинкса. У сфинкса было удивлённое и жалобное лицо, будто он спрашивал: «Сколько ещё это будет продолжаться?» Каждый раз Людмила Сергеевна собиралась узнать, к чему относится жалоба сфинкса — к превращению среди песков или к заседанию,— и каждый раз забывала.

Галина Фёдоровна сухо поздоровалась и сказала:

— Садитесь, пожалуйста. Кстати пришли, мы только начали... — Она нервно поправила задрывшуюся красную скатерть и, оглянувшись на Елизавету Ивановну, продолжала: — Это кладёт тень, пятно на всю школу... и неизвестно, чем кончится. Мы решили обсудить, посоветоваться... Расскажите, Нина Александровна...

Классная руководительница шестого «Б» волновалась. Она тревожилась за Горбачёва и боялась за себя. Класс она приняла только в этом году, но всё равно ответственность лежала на ней. Нина Александровна потрогала горящие щёки и виноватым голосом рассказала о том, что найдена записка ученика шестого «Б» Горбачёва. В записке назначается сбор какого-то «Ф» и указано условное место сбора. Хуже всего, что записка написана шифром. Она и старший пионервожатый не могли сами прочитать, и только Викентий Павлович помог разобрататься...

— Ерунда! — раздалось из угла, окутанного дымом. Все оглянулись на этот угол и опять повернулись к Нине Александровне.

— Нет, не ерунда, Викентий Павлович! Я тоже думала, что ерунда, а выходит совсем не так. Я и товарищ Гаевский разговаривали с Горбачёвым — он ни в чём не признаётся. И Галине Фёдоровне ни в чём не признался...

— Да, может, это не его записка?

— Нет, его! — сказал Гаевский. — За что он тогда избил Трыхно? — Гаевский победительно оглянулся. — Давайте спросим самого Трыхно. Я нарочно его задержал... — Гаевский приоткрыл дверь в коридор. — Юрик! Зайди сюда...

Трыхно бочком вошёл в дверь, поздоровался и окинул всех ясным, открытым взглядом.

— Горбачёв бил тебя вчера?

— Ага, — вздохнул Трыхно. — Два раза. То есть два раза ударил...

— За что?

— Он догадался, что я передал записку.

— Вот эту?

— Ага.

— А как ты её нашёл?

— Я ещё на уроке видел, как он читал и прятал. А когда из класса уходил, у него из кармана выпала. Я посмотрел — там непонятное. Я тогда взял и отдал Якову Андреевичу. А Горбачёв догадался и начал меня бить...

Юрка снова обвёл всех большими правдивыми глазами.

Людмила Сергеевна смотрела на него с неприязнью. Тихоня, округлое безмятежное лицо, чубчик полубокса, ямочки на щеках. И ни капли смущения. Таким был, наверно, и с Горбачёвым. Наверно, всегда такой: что бы ни сделал — ни тени неловкости, ни проблеска стыда. Увидел записку и не сказал тут же, при всех, а побежал наушничать... Уже сейчас двуличен и бессовестен. Сколько ему — тринадцать? А что станет с ним потом?

— Не бойся, — сказал Гаевский, — больше он тебя бить не будет.

В углу послышалось невнятное ворчание. Все опять оглянулись, ворчание смолкло.

— Можешь итти домой, — сказала Галина Фёдоровна.

Трыхно вышел.

— Как же теперь быть? — спросила Нина Александровна. — Надо что-то решать. Нельзя же так оставить, чтобы ребята вышли из-под надзора...

Елизавета Ивановна что-то шепнула Галине Фёдоровне, та кивнула и сказала Людмиле Сергеевне:

— Горбачёв живёт в вашем доме. Что вы о нём скажете?

— Да, я скажу... Мне кажется, поторопились с этим делом. Ведь ничего не известно, что же обсуждать? Надо прежде выяснить, а здесь мы ничего не выясним. И получится, что мы что-то будем говорить и решать, лишь бы себя застраховать, вот, мол, мы осудили... А дело ведь не в этом! Я не знаю, что это за организация и есть ли она, может, ничего подобного нет, а просто какая-то ребячья выдумка, я почти уверена в этом... Почему? — повернулась она к Гаевскому, задавшему вопрос. — Потому что знаю Горбачёва, знаю его историю. Это очень трудный характер, замкнутый, но мальчик он честный, прямодушный. Правда, пока он и мне не рассказал, но он дал мне честное слово, что ничего дурного за этим нет. И я ему верю...

Елизавета Ивановна насмешливо улыбнулась.

— Я знаю Горбачёва, — продолжала Людмила Сергеевна, — и поэтому спокойна. Я уверена, через некоторое время, если его не дёргать, он сам всё расскажет, и мы убедимся, что ничего страшного нет...

— Извиняюсь! — резко сказал Гаевский. — Мы будем нянчиться, а они — портиться? А когда Горбачёв начнёт откровенничать, будет поздно!

Людмила Сергеевна вспыхнула и едва не пустила ему «дурака».

Сейчас она видеть не могла его худую физиономию с втянутыми щеками и лихорадочно поблёскивающими глазками.

— Меня не удивляет,— сказала Елизавета Ивановна и подождала, пока все головы повернутся к ней,— меня не удивляет, что в этом деле замешан Горбачёв и что директор дома, где он живёт, проявляет такое спокойствие.

Она говорила неторопливо и даже как бы торжественно. И хотя она ни разу не взглянула на Людмилу Сергеевну, та очень хорошо чувствовала и понимала, что Елизавета Ивановна торжествует.

— Я умышленно употребила слово «живёт», а не «воспитывается», потому что, к сожалению, о воспитании в этом детдоме говорить не приходится. Я работала в этом детдоме, правда, очень недолго, но достаточно, чтобы познакомиться с порядками в нём. Горбачёв — очень испорченный подросток, и меня нисколько не удивляет его участие в этом скверном, а может быть,— мы ещё не знаем! — очень вредном и опасном деле. Мы, советские педагоги, не можем относиться безразлично к тому, что делают дети вне школы, вне нашего надзора. Более того: мы несём ответственность за то, что они делают! — значительно подчеркнула Елизавета Ивановна.— Я имела возможность наблюдать, с каким спокойствием товарищ Русакова относится к тому, что происходит в детском доме... Товарищ Русакова и сейчас спокойна. Вот такое спокойствие, а вернее — равнодушие, и приводит к подобным фактам... Но об этом — особый разговор, и происходить он будет не здесь. Что касается дела Горбачёва, то мне кажется, школа не может стоять в стороне от него, она должна высказать своё мнение по этому поводу.

Людмила Сергеевна возмущённо вскочила, чтобы ответить, но Галина Фёдоровна остановила её.

— Пожалуйста, Яков Андреевич.

Гаевский встал, собрал в горсть рассыпающиеся волосы и прижал их к затылку.

— Допустим, товарищи,— сказал он,— что директор детского дома права и ничего такого,— покрутил он в воздухе растопыренной пятернёй,— здесь нет. Посмотрим на факты, товарищи. Каковы эти факты? У нас для детей — всё. Им обеспечено счастливое будущее, о них заботятся, их учат, воспитывают. Нам поручили воспитывать молодёжь, и мы её воспитываем в духе беззаветной преданности. Так, товарищи? А тут появляется какая-то особая организация. Почему? Я думаю, это не случайно, товарищи!..

— Конечно! — раздался от окна раздражённый голос Викентия Павловича.— Развели вы зелёную тоску, вот они и начали выкомаривать...

— Что вы хотите сказать? — повернулся к нему Гаевский.

— То, что сказал. Скука у вас! Скука зелёная!

— Конечно, в нашей работе есть недостатки... Мы их сможем исправить при помощи педагогов, но я что-то не замечал, чтобы вы, Викентий Павлович, помогали мне в работе.

Решив, что Викентий Павлович сражён этой репликой, Гаевский опять собрал волосы и придержал их на затылке, собираясь продолжать.

Но Викентий Павлович не был сражён. Сначала с удивлением, потом с возрастающим возмущением он слушал, как здесь произносили всякие страшные слова, сами их пугались и начинали говорить ещё страшнее. Гаевского он не любил и не уважал, решив после нескольких кратких бесед, что человек он ограниченный, малограмотный, прикрывающий малограмотность свою умением произносить по любому поводу трескучие фразы. Шифрованной записке Викентий Павлович не придал никакого значения и тотчас забыл о ней. Узнав, что из-за неё придётся задержаться, пожал плечами и чертыхнулся: он устал и хотел есть. Увидев теперь, как раздувают из неё дело, возмутился окончательно.

— Это в чём я вам должен помогать? — нахмурив густые седеющие брови так, что они стали торчком, сверкнул он глазами на «пустобрёха», как называл про себя Гаевского.— Докладчиков из детишек делать? Они же у вас все докладчики! Этакие сопливые старички... Вот облысеют, животы отрастят, пусть тогда и становятся докладчиками. А сейчас они дети! Понимаете? Дети! Им нужно играть, веселиться, выдумывать, а не заседать!

— Па-азвольте! — почти закричал Гаевский, перебивая Викентия Павловича. Всегда бледное лицо его побледнело ещё больше.— Позвольте, товарищ Фоменко! Это что же они должны выдумывать? Тайные организации? Шифровочки? И вы это одобряете, к этому призываете?.. А вы знаете, кто стоит за этой организацией, кто её направляет? А что если за ней шпана, уголовники, пьяницы или ещё какой элемент?! Но, допустим, там никого нет. Мы воспитываем подрастающую смену в свете вышестоящих указаний. А вот товарищ Фоменко не согласен. Мне лично неизвестны указания, что пионерская организация работает плохо. Советскую власть она устраивает, а товарища Фоменко не устраивает. Он считает, что пионерская организация, созданная советской властью,— подчеркнул Гаевский,— работает плохо. Вы понимаете, против чего вы выступаете?! — вздымая указательный палец, почти закричал Гаевский.

Викентий Павлович побагровел, левое веко задёргалось. Столкновения с демагогами вызывали у него приступы ярости. Он закрыл глаза, боясь, что она прорвётся и сейчас.

— Молчите? — торжествовал Гаевский.— Нет, отмолчаться вам не удастся!

Ярость прорвалась.

— Молодой человек! — Викентий Павлович поднялся и сжатыми кулаками оперся на стол. — Я советскую власть изучал не по газетам. Я за неё воевал. Дважды. Я не против советской власти и пионерской организации. Я против трусов, которые ничего не понимают ни в той, ни в другой и той и другой мешают воспитывать детей... Вам бы не пинкертоновщину разводить, а поучиться и подумать, чего хотят дети, что им нужно. Но учиться вам лень, а думать вы не умеете и не хотите...

— Вам не удастся! — крикнул Гаевский. Он не знал, что такое пинкертоновщина, и потому оскорбился сверх всякой меры.— Вам не удастся замазать! Мы проявляем бдительность, а вы замазываете? Это вам так не пройдёт! У вас ещё спросят, почему вы их так горячо защищаете!..

— А вы и на меня дело заведите! Донесите на меня, как вам этот сопляк донёс на Горбачёва...

Галина Фёдоровна давно уже поднимала руки, стучала по графину.

— Викентий Павлович! Да что это такое?! Тише, товарищи!

Она попыталась сгладить, замаять ссору. Конечно, сказала она, в деле Горбачёва нужно разобраться в самый короткий срок. Горячность споривших свидетельствует о том, что они очень близко приняли всё к сердцу и, конечно, найдут общий язык.

Викентий Павлович сердито фыркнул, услышав о надеждах на «общий язык», и пошёл одеваться. Галина Фёдоровна извиняющимся тоном сказала несколько слов Елизавете Ивановне, потом подошла к нему.

— Ну что это вы скандал такой устроили? — укоризненно зашептала она.— Да ещё при инспекторе. Какое у неё мнение будет о коллективе?

— Наплевать! — буркнул Викентий Павлович.

— Вам наплевать, а мне какво? Спросят не с вас, а с меня. Неизвестно, как обернётся для школы эта история, а вы ещё затеяли ругань. Какими глазами я теперь должна смотреть...

Викентий Павлович, уже надевший пальто, схватил палку, будто собирался пустить её в ход.

— Вы о себе думаете, — громко, на весь кабинет сказал Викентий Павлович, — а надо, извините, о детях думать! Да-с! — и со стуком стал вколачивать башмаки в калоши. Порванная подкладка на заднике подвернулась, ботинок не лез в калошу, и Викентий Павлович рассердился ещё больше: — О детях! Красивые слова говорить умеем, а доходит до дела — в кусты! О себе заботимся!.. — и, пристукивая палкой, вышел, не обратив внимания на оскорблённое лицо директора.

Толстую узловатую палку он завёл когда-то давно, из щегольства и для солидности. Она не была ему нужна и теперь, слабым он себя не чувствовал, но к палке привык и всегда ходил с ней. Заново переживая только что разыгравшуюся ссору с «пустобрёхом» и «трусливой клушей», как тут же окрестил он Галину Фёдоровну, Викентий Павлович сердито ерошил стоявшие торчком брови и колотил палкой по стволам деревьев, словно это были не стволы, а «пустобрёх» и «клуша».

30

Людмила Сергеевна никак не ждала, что история с запиской примет такой оборот. Перестраховщик Гаевский затеял дело, перепуганная Галина Фёдоровна не в состоянии погасить его, а Дроздюк, конечно, сможет раздуть, чтобы насолить ей, Людмиле Сергеевне. В изображении Дроздюк она оказывалась если не прямой, то косвенной виновницей. Скоро обнаружилось, что так думает не одна Дроздюк. Курьерша гороно принесла записку, в которой заведующая предлагала Людмиле Сергеевне немедленно явиться в гороно. Объяснение было долгим и очень неприятным. Заведующая почти теми же словами говорила то же, что и Елизавета Ивановна. Новым было одно: оттого, что Ольга Васильевна была дальше от дела Горбачёва, меньше знала о нём, оно, как это всегда бывает, казалось ей ещё более серьёзным. Дроздюк лишь глухо и неопределённо угрожала, Ольга Васильевна говорила об ответственности Людмилы Сергеевны прямо и жёстко, будто уже было доказано, что виновата во всём она одна и ей придётся отвечать за это по служебной и партийной линии.

Людмила Сергеевна возмущалась, говорила, что это бред, Гаевский и другие делают из мухи слона, но слова её повисали в воздухе: доказательств не было. Доказательств не было и у тех, кто затеял дело, но их это не смущало. Было лишь подозрение, и этого было достаточно, чтобы преследовать мальчишку. Прямо какая-то дичь! Не доказав виновности, от неё требовали доказательств невиновности, и отсутствие их изображали как доказательство вины. Чёрт знает что: бояться недобояться...

Однако доказательства были необходимы, и дать их мог только Горбачёв. Хватит миндальничать! Он корчит из себя рыцаря, а ей будут трепать нервы?!

Людмила Сергеевна вернулась к себе, решив сейчас же узнать у Горбачёва всё, и послала за ним. Вместо Горбачёва пришла Ксения Петровна и сказала, что Горбачёв из школы не вернулся, книги его принёс Тарас.

— Этого ещё не хватало!

Тарас рассказал, что в школу они шли вместе, Горбачёв был, в общем, ничего, только хмурый. Во время первой перемены к нему подошла классная руководительница и что-то сказала ему. Он про то никому ничего не сказал, а потом куда-то девался, никто и не заметил когда. Пальто и шапки его в раздевалке не оказалось, а книжки и тетради Тарас принёс домой.

— То правда, шо 'го из школы выключат? Хлопцы говорят, что выключат обязательно.

— Глупости какие! — рассердилась Людмила Сергеевна и отослала Тараса.

Она совсем не была уверена, что это глупости, и побежала в школу. Нина Александровна не знала, куда девался Горбачёв. Она только предупредила его, чтобы он, когда начнётся урок, опять пришёл в канцелярию, но Горбачёв не явился, а ушёл совсем. Может быть, и убежал.

Когда Горбачёв исчез, Гаевский окончательно уверился, что дело чрезвычайно серьёзно, и поглядывал на всех с мрачным ликованием. Теперь никому не удастся замаять это дело, вскрытое благодаря его, Гаевского, бдительности.

Людмила Сергеевна пыталась поговорить с Галиной Фёдоровной, но та, напуганная зловещими намёками Гаевского и тоном, которым разговаривала с ней утром заведующая гороно, даже радовалась исчезновению Горбачёва. Оно казалось ей признаком того, что организация существует где-то на стороне, и тем самым угроза, нависшая над школой, то есть над ней, Галиной Фёдоровной, становилась меньше. С Людмилой Сергеевной она разговаривала неприязненно, невольно распространяя на неё вину Горбачёва и в ней видя причину неприятностей для себя.

Ничего не узнав, Людмила Сергеевна вернулась домой. Горбачёва не было. Прошло уже много часов с тех пор, как он исчез. Ребята встретились. Ей казалось, что она замечает в глазах у них осуждение ей, Людмиле Сергеевне: как она могла допустить, чтобы Лёшка Горбачёв убежал, и почему она ничего не делает, чтобы разыскать его? Людмила Сергеевна попросила Ксению Петровну сходить в милицию и сообщить о бегстве Горбачёва, спросить, не знают ли там чего-нибудь.

С Ксенией Петровной, со всеми она говорила о бегстве, только о бегстве, и себе не позволяла думать ни о чём другом. Но как ни старалась она отгонять мысли об этом «другом», они возвращались, становились всё упорнее и отчётливее. От таких подозрений взрослому впору растеряться, а ведь тут мальчишка!

Ксения Петровна вернулась. В милиции ничего не знали, обещали принять меры.

Людмила Сергеевна будто по делу заходила в комнату для занятий, в спальни. Её встречали насторожённые взгляды и выжидательное молчание. Каждый раз она замечала, что особенно пытливо и насторожённо смотрела на неё Кира. Людмила Сергеевна через силу улыбалась, делала вид, что ничего не случилось, спрашивала о чём-то, что-то говорила, не слыша ответов и плохо понимая, что она сама говорит.

Наступал вечер, вместе с гаснущим светом таяли надежды на возвращение Горбачёва. Людмила Сергеевна заставляла себя думать, что ничего ужасного не произошло. Иззябнет, проголодается и вернётся.

Но они же не оставят его в покое! Опять Гаевский будет допрашивать, угрожать... Он ведь трус. Потому пугает, что сам боится. Самые жестокие люди — это трусы... Они Горбачёва доведут... Бог знает, до чего могут довести! С этим нельзя, невозможно мириться, надо бороться, принимать меры...

Гаевский запугал директора школы, эта мороженная вобла, Дроздук, запутала и тоже напугала Ольгу Васильевну... С перепугу начали говорить дело... И получилось чёрт знает что... Нельзя ждать, надо... в горком партии, к Гушину. И не одной. Не только она, Фоменко тоже возмущается. Как он этого болтуна отхлестал! Надо с ним итти, обязательно с ним! И не откладывать...

Людмила Сергеевна решительно схватила пальто начала одеваться. В дверь тихонько постучали.

— Кто там? Ты что, Кира?

Кира прикрыла за собой дверь.

— Ты что-нибудь хочешь сказать? А нельзя потом? Мне надо уходить...

Вместо ответа Кира отвернулась к стене, уткнулась в согнутый локоть и заплакала.

— Что с тобой, кто тебя обидел?

Кира плакала всё горше, худенькие лопатки её вздрагивали под тонким платьем. Она перебежала через двор раздетая, без пальто. Людмила Сергеевна отбросила платок, взяла Киру за плечи, повернула к себе.

— Ну, что такое? Что с тобой?

— П-правда, что Горбачёва исключат? Р-ребята говорят, исключат из школы и из детдома...

— Да нет же! Откуда ты взяла?

Кира по лицу Людмилы Сергеевны старалась угадать, правду ли та говорит. Набегающие слёзы мешали ей, она вытирала их пальцами, размазывала по лицу.

— Да! Вы не хотите сказать... А его исключат, я з-знаю!..

— Ничего ты не знаешь! Перестань плакать, глупенькая... Откуда вы это взяли?

— Все говорят... и в школе т-тоже...

— Успокойся... Ни о каком исключении не было речи...

— А почему он уб-бежал?..

— Да, может, не убежал. Он не хочет ничего рассказывать и очень вредит этим себе...

— Он гордый, всё равно не расскажет, — всхлипнула Кира.

— Ну вот... А мне трудно его защищать — я сама ничего не знаю.

Решив, что из этого следует исключение Горбачёва, Кира снова заплакала, бессвязно говоря, что ей всё равно, пусть тогда исключают и её.

— Да ты-то тут при чём?

— А п-почему он один должен... если и другие т-тоже...

— Что тоже? — схватила её за плечи Людмила Сергеевна. — Ты тоже?.. А ну, сейчас же перестань плакать! На платок, вытрись и говори. Ты знаешь об этой организации?..

Кира, всхлипывая, кивнула.

— И ты в ней состоишь?

Кира опять кивнула.

— Только это не организация, а «Футурум»... А если я расскажу, его не исключат?

— Конечно, нет!

Замеченный Лёшкой испуг Киры вовсе не относился к ней самой. Она испугалась за него.

С первого дня, когда у входа в столовую она отчитала новичка, ей понравился этот мальчик с серыми сердитыми глазами. Ей очень хотелось помириться и подружиться с ним, она делала всякие попытки к сближению, но не могла удержаться, опять говорила ему что-нибудь язвительное, и недружелюбное отношение к ней Лёшки усиливалось. Она ругала себя за невыдержанность и длинный язык и в конце концов перестала задирать Лёшку обидными словами, но было уже поздно. Лёшка не обращал на неё внимания и даже не заметил перемены в её отношении к нему. Ему было всё равно, есть она или нет, говорит она или молчит. Это было обиднее, чем если бы он её преследовал или говорил гадости, как Валет.

Лёшка был уверен, что его отношение к Алле — тайна, о которой никто не подозревает. Так оно и было: никто не подозревал, кроме Киры. Кира замечала всё и иногда потихоньку плакала. Алла была очень красивая. Как хотелось Кире быть такой же красивой, выдержанной и умной!

Разглядывая себя в зеркало, она каждый раз с грустью убеждалась, что до Аллы ей далеко, она совсем не красивая, и задавала себе вопросы, на которые не могло быть ответа: почему так несправедливо устроено, что одни красивые, а другие нет, и отчего человеку нравится не тот, кому он нравится, а кто-то другой?

Витькино объяснение в любви испугало её. Она не знала, что ей делать с этой любовью, не хотела никакой любви, считала всё это глупостями. О любви она знала из книжек, о любви шептались между собой девочки. Кира фыркала, смеялась над ними. Любовь — это было что-то очень сложное, большое и отдалённое. Ничего похожего на описанное в книжках Кира в себе не находила.

Пароходы её нисколько не интересовали, становиться капитаном она не собиралась, твёрдо решив, что будет токарем. Ей нравился станок, нравилось работать на нём, даже нравился запах нагретого металла и масла, которым пахла стружка. Однако она с удовольствием согласилась вступить в «Футурум», потому что Витька — выдумщик и там могло быть интересно, а главное потому, что там должен быть Лёшка, а ей хотелось быть везде, где был он.

Вызов Лёшки к директору, драка с Трыхно встревожили её, а когда ребята начали говорить, что Горбачёва исключат из школы, Кира испугалась.

Наташа болела, она ничем не могла помочь. Кира отозвала на большой перемене Витьку Гущина, вытащила на улицу и напала на него чуть не с кулаками. Почему Лёшка должен отвечать за всех? Почему он, Витька, — он же сам всё затеял! — прячется теперь за спину другого? Если так, то он трус, и ничего больше! Как он может допустить, чтобы отвечал один Лёшка, если все виноваты? Положим, они ни в чём не виноваты, но Горбачёва считают виноватым и его исключают, а Витька будет ходить и притворяться, что ничего не знает? Да она его после этого презирает, и больше ничего!

Багровый от стыда, Витька оправдывался, говорил, что ничего не будет, ниоткуда Горбачёва не исключат — не имеют права. Раздавленный безжалостными доводами Киры, он сказал, наконец, потерянным голосом, что, если Лёшку будут исключать, он пойдёт к директору и всё расскажет. Молчит он вовсе не потому, что боится, а потому, что... Вместо того, чтобы объяснить, почему он молчит, Витька неожиданно всхлипнул и убежал.

Лёшка в детдом не пришёл. Кто-то пустил слух, что если его исключат из школы, то исключат и из детского дома. Кира была уверена, что Лёшка из гордости ничего не расскажет и пострадает один. Почему он должен страдать один? В решимость Витьки рассказать всё Кира не поверила. Выходило, что спасти Лёшку могла только она, Кира. Ну, а если... если исключать, так пусть исключают и её тоже! Записку могли найти не у Лёшки, а у неё, и тогда отвечала бы она одна. Она бы тоже, как он, молчала и никого не выдала!.. А теперь другое дело. Она расскажет не потому, что боится, а чтобы выручить его, или, если уж отвечать и страдать, так отвечать и страдать вместе...

Всхлипывая, комкая мокрый платок в тугий мячик, Кира рассказала Людмиле Сергеевне о «Футуруме», для чего он возник, что сделал и как несправедливо, что за всех должен отвечать один Горбачёв.

Людмила Сергеевна обняла её за худенькие плечи.

— Спасибо, Кира!

— А ему ничего не будет? — заглянула ей снизу в лицо Кира.

— Ничего... Думаю, теперь ничего.

Кира сказала, что их всего четверо, но Наташу и Витьку не назвала. Про себя она решила, что пусть ей будет то же, что и Алёше. Но разве

она имела право выдавать Витьку, хотя он больше всех виноват, а особенно Наташу?.. Но, рассказав о «Футуруме»; Кира испугалась.

— Только... Только вы ему не говорите, что я сказала! — спохватившись, прижала она руки к груди.

Все прежние попытки её выступить на защиту Лёшки раздражали его. Теперь он мог её возненавидеть. Пусть лучше не знает ничего и думает, что всё сделалось само собой, а не благодаря Кире...

— Не бойся, Кира, он не будет знать. И никто не узнает... Однако пойдём. Мне надо уходить.

Прижав Киру к себе и прикрыв полую своего пальто, Людмила Сергеевна довела её до крыльца домика, в котором помещались спальни.

— Умойся и ложись спать. А я пойду воевать за Горбачёва.

Взбежавшая на крыльцо Кира обернулась, распухшее, заплаканное лицо её просияло радостью.

31

Викентий Павлович был не в духе.

На уроке в шестом «Б» он вызвал Горбачёва. Вместо Горбачёва поднялся староста и сказал, что Горбачёв был на первом уроке, потом ушёл, и никто не знает куда. Спрашивать Горбачёва Викентию Павловичу было не так уж необходимо. Он вызвал его, чтобы посмотреть, как тот держится. Горбачёв не пропускал уроков из озорства и легкомыслия, как, случалось, делали другие. Значит, парня довели, если сбежал из школы...

Возмущение снова поднималось в нём, как опара в квашне. Чтобы опять не взорваться, он старался не смотреть на Гаевского, который с торжествующе-озабоченным видом вертелся в учительской. Поэтому, когда запыхавшаяся Людмила Сергеевна вторично прибежала в школу и, поймав Викентия Павловича в коридоре, предложила ему итти с ней в горком партии, он почти не колебался и махнул рукой на обед, который ожидал его дома.

Колебания относились не к тому, следовало или не следовало итти. Итти было нужно. Колебался он потому, что не любил встречаться с начальством. Викентий Павлович не боялся начальства, но боялся, что другие подумают, будто он боится, и особенно, что подумает это само начальство, и при таких встречах пытался подчеркнуть свою естественность и непринуждённость. Но как только он это делал, естественность и непринуждённость исчезали, он становился неловким, натянутым, сердился за это на себя и делался ещё более неловким.

В приёмной за столом сидела молоденькая девушка с лицом, напряжённым от стараний выглядеть внушительнее. Она была в очках, видимо, слишком больших — очки поминутно сползали на кончик её короткого носика, и она становилась похожей на юную бабушку. Девушка сердито подталкивала их пальцем к переносице, но как только наклонялась над столом, они снова съезжали, и она опять становилась похожей на бабушку.

Строгая девушка, глядя не на них, а куда-то мимо, между ними, выслушала Людмилу Сергеевну и ушла в кабинет Гущина. Потом, открыв и придерживая рукой дверь, словно боясь, что они самовольно пойдут не в эту, а в какую-нибудь другую дверь, предложила войти.

Гущин разговаривал по телефону. Увидев входящих, он покивал и показал рукой на кресла возле стола.

Лицо у него было очень усталое. Усталыми были и глаза под широкими, срастающимися на переносице бровями. Сидел он боком, повернувшись к столику, на котором стояло три телефона. Людмила Сергеевна смотрела ему в затылок, словно по нему надеясь угадать, какой характер примет разговор. Затылок как затылок, чересчур, пожалуй, плотный.

Секретарь повесил телефонную трубку, привстав, пожал руки Людмиле Сергеевне, Викентию Павловичу и назвал:

— Гущин.

— Фоменко, — буркнул в ответ Викентий Павлович и поспешно придвинул к себе пепельницу. Пепельница зацепила скатерть на столе, сморщила её складками. Викентий Павлович смутился и напряжённой рукой поправил свои вислые, горьковские усы. Поправлять их не было нужды, это было ненатурально. Викентий Павлович рассердился на себя за эту ненатуральность и не стал поправлять скатерть. Однако морщины на ней раздражали его, он то и дело сердито посматривал на них.

— Викентий Павлович преподаёт в школе, где учатся мои ребята, — пояснила Людмила Сергеевна. — Пришли мы вот почему... Четверо ребят, в том числе двое из детдома, организовали сами кружок будущих капитанов и назвали его «Футурум». Они решили изучать морское дело, корабли и всякое такое, чтобы не позже как по окончании семилетки сразу же выйти в капитаны, — улыбнулась она. Гущин тоже улыбнулся. — В общем, это скорее похоже на игру, чем на что-то серьёзное... Но у одного из них нашли записку. — Она протянула Гущину расшифрованный текст.

Гущин прочитал, густые брови его приподнялись.

— А что это значит? Зуд какой-то?

— Это сокращённый девиз. Они себе девиз придумали: «Видеть, знать, уметь, делать».

Брови Гущина опустились, он захохотал.

— Вот бисовы дети!.. А что, неплохо! Мне такой «зуд» нравится!

— Но дело в том, что записка эта была написана шифром...

— Каким шифром?

— Ерунда! — сказал Викентий Павлович. — Детский шифр: буквы алфавита пронумерованы, и вместо букв ставятся цифры...

— А зачем?

— Как это зачем? — заранее раздражаясь от возможных возражений, переспросил Викентий Павлович. — Чтобы тайна была! У каких мальчишек не бывает тайн? Без них же неинтересно!.. Да я сам в таком возрасте изобрёл иероглифическое письмо и с приятелем, через улицу, только посредством таинственных писемён и сообщался... А вы? Вы сами не захлёбывались всякими тайнами, не играли в «Пещеру Лейхтвейса»?!

— Нет, — улыбнулся Гущин.

Улыбка у него была как бы смущённая: то ли оттого, что он чувствовал себя виноватым, так как не играл в «Пещеру Лейхтвейса» и даже не знал о ней, как не знает и теперь, то ли потому, что неожиданно ему напомнили детство, которое некогда было вспоминать и которое казалось таким далёким и навсегда забытым, словно его не было вовсе. Сейчас оно вдруг вспомнилось с удивившей Гущина нежностью, хотя умиляться в нём было нечему.

— Нет, не играл, — повторил он. — Некогда было... Да и какие игры! Я мальчишкой воевать ушёл... — стирая с лица улыбку, сказал он.

— Да-да... — помолчав, произнёс Викентий Павлович. — Тогда другое дело было...

— Ну так что же? — вопросительно посмотрел на них Гущин.

— Шифрованную записку, — продолжала Людмила Сергеевна, — передали пионервожатому Гаевскому, а тот завёл целое дело о подпольной организации...

Людмила Сергеевна рассказала о совещании у директора, о том, какую окраску придали всему, даже не узнав, не разобравшись, о том, как к этому отнеслись в горно, и что запуганный допросами и угрозами Алексей Горбачёв ушёл из школы, не вернулся в детдом и хорошо ещё, если просто убежал...

Гущин, переводя внимательный взгляд то на Викентия Павловича, то на Людмилу Сергеевну, всё более хмурился.

Викентий Павлович при одном упоминании о Гаевском рассердился, рассердившись, перестал чувствовать скованность и излил своё возмущение этим демагогом, который, запугивая других, пытается из пустяка раздуть дело. Окончив, он почувствовал себя совершенно свободно, расправил морщины на скатерти и закурил, не обращая внимания на то, что густые брови Гущина нависли над самыми глазами, а лоб прорезала глубокая складка.

Гущин посмотрел на часы, нажал кнопку звонка. Строгая девушка заглянула в кабинет.

— Вызовите завороно. И если есть там эта... Как фамилия инспектора? Дроздук? Пусть тоже приедет. Сейчас же. Позвоните и пошлите за ними машину.

Ждали молча. Гущин поднялся, начал ходить за столом от стены к окну. Возле окна он задерживался, прищурившись, взглядывался в темь за окном и шёл обратно. Людмила Сергеевна понимала, что секретарь молчит умышленно, желая выслушать и другую сторону, но хмурое это молчание тревожило её, и тревога становилась тем сильнее, чем больше молчал Гущин. Тревога Людмилы Сергеевны передалась Викентию Павловичу, но он делал вид, что чувствует себя превосходно, и процеживал табачный дым сквозь усы.

Дроздук и Новосёлова пришли. Ольга Васильевна скользнула взглядом по лицам Людмилы Сергеевны, Викентия Павловича и повернулась к Гущину. Елизавета Ивановна казалась ещё более попрямевшей, будто её только что вынули из-под пресса. На щеках её выступили розовые пятна. Они были признаком не волнения, а торжества: в своём торжестве она не сомневалась. Викентий Павлович на пришедших не смотрел. Он выбирал из пепельницы спички, ломал их и мрачно думал, что сейчас он и Русакова получат на орехи.

— Вы знаете, что произошло в пятой школе? — спросил Гущин.

— Да, Иван Петрович. Я даже хотела к вам зайти по этому поводу, — сказала Новосёлова.

— Так что же там произошло?

— Вам, наверно, уже сообщили, — повела глазами Новосёлова в сторону Русаковой и Фоменко.

— Мало ли что мне сообщили! Я хочу, чтобы вы рассказали.

— Вот товарищ Дроздук расследовала это дело...

Спокойно и размеренно Елизавета Ивановна изложила историю с запиской.

— Мы ещё не изучили это дело в деталях, — резюмировала она, — и сделаем это в кратчайший срок. Но и сейчас можно сказать: дело очень нехорошее! Если посмотреть на это дело политически...

— Да, в самом деле! — встрепенулся Гущин, который до сих пор внимательно, с неподвижным лицом слушал. — Ну, так что же получается, если посмотреть на это политически? — и он, откинувшись на спинку кресла, приготовился слушать.

В интонации Гущина что-то насторожило Елизавету Ивановну, она взглянула в лицо секретарю, но не уловила ничего опасного.

— Если там нет ничего т а к о г о, — подчеркнула она, — то и тогда это нездоровое явление. Что значит — возникает какая-то тайная организация?... Я лично считаю, — она сделала паузу, снова взглядываясь в непроницаемое лицо Гущина, и продолжала так же уверенно и веско, — мы не можем с этим мириться! Мы ещё не знаем, чем она занималась, но уверены, что организация эта вредна, и должны в корне пресечь это явление!

— Та-ак. А вы что скажете? — повернулся Гущин к Новосёловой.

— Я согласна с товарищем Дроздюк, — ответила Ольга Васильевна.

— Угу. — Гуцин помолчал, наклонился вперёд и облокотился на стол. — Вот что я вам должен сказать, товарищи дорогие... Политика, политически — для нас слова высокие, и бросаться ими попусту, зря, мы не позволим. Если на то пошло, политическая сторона не в том, что вам мерещится, а в том, что раздули дело из пустяка, а когда разумные люди с этим не согласились, их тоже начали обвинять и подозревать...

Ольга Васильевна испуганно моргнула, Елизавета Ивановна медленно, с шеи, начала краснеть.

— Что произошло по существу? Сейчас это просто ребята, которым скучно, и они придумали себе занятие по вкусу и в общем полезное — изучать морское дело, готовиться в капитаны... Правильно? — обратился Гуцин к Людмиле Сергеевне. Она наклонила голову, подтверждая. — Но им мало, чтобы было полезно, интересно по существу, нужно, чтобы было интересно и по форме. Вот они и придумали, чтобы была тайна, таинственные записки... Что их толкнуло на это? Вы не знаете, что за этим стоит? Я скажу вам: скука! И равнодушие к детям, — начиная раздражаться и багровея, повысил голос Гуцин.

Он замолчал, пересилил себя и снова заговорил спокойнее.

— Сейчас это обыкновенные хорошие ребята. Им и в голову не приходит то, в чём вы их подозреваете. А что получится, если их начнут подозревать, таскать туда, сюда?.. Они озлобятся, возненавидят тех, кто их преследует... Надо не выдумывать опасности, а уметь разгадывать настоящие!.. И очень плохо, что вы этого не понимаете, если пошли на поводу у Гаевского... Кстати, что он такое, этот Гаевский?

— Я просматривала его анкету, — сказала Новосёлова, — у него всё в порядке, прекрасная биография.

— Да чёрта ли в его биографии! Когда вы научитесь в душу людям смотреть, а не в анкеты?!

— Но, Иван Петрович... Нельзя же — объективные данные. Он вполне проверенный человек.

— Проверенный-то проверенный, но ведь он же дурак! — возмутился Гуцин. — Он хочет нажить политический капитал, похвастать бдительностью и раздувает дело. А вы вместо того, чтобы разобраться, ударяетесь в панику... Вы бы лучше детей охраняли от дураков и карьеристов!..

Гуцин вскочил с кресла, прошёлся за столом от стены к окну, опять остановился у стола.

— Чёрт его знает! Телят, поросят выращивать — и то ведь призвание надо иметь. А вы детей... д е т е й доверяете трусливому болтуну, у которого за душой ничего, кроме шпиргалок!.. Кого он может воспитать? Таких же болтунов и лицемеров, как сам?.. Ну, вот что, — сказал он, садясь, — прекратите возню, что этот Гаевский там затеял: следствие, расследование и всякие «тащить и не пущать»... Надо не искоренять, а воспитывать!

— Но, Иван Петрович... — Новосёлова замялась. — Нельзя же безнаказанно... Что дети будут думать о педагогах, воспитателях? У них авторитет упадёт...

— Пусть не роняют! Всё равно правду не спрячешь и авторитет обманом не удержишь... Ничего! Наши ребяташки — народ смыслёный, дотошный, разберутся, кто ошибся, а кто напакостил... Ну, а что будем делать с этими конспираторами? — вопросительно оглядел он всех. — Надо им как-нибудь поделикатнее повернуть мозги от этой чепухи... Может, вы что-нибудь подскажите? — обратился Гуцин к Людмиле Сергеевне.

— Разрешите мне попробовать, — сказал Викентий Павлович. Всё сказанное секретарём чрезвычайно ему понравилось; он, в знак полного своего одобрения и чтобы скрыть торжествующую улыбку, то и дело поправлял усы и подкашливал. — Надо что-нибудь в их духе...

— Да! — улыбнулся Гушин. — Вы же специалист по всяким тайнам, пещерам — вам и книги в руки. Оборотайте их по-своему!.. Ну что ж, товарищи, всё ясно?

Гушин проводил их до двери, потом подошёл к окну. Оно было обращено к югу. В летний день за курчавой зеленью Слободки открывалось море. Когда он сидел за столом, подоконник скрывал дома и зелень, море начиналось сразу же, за подоконником. Оно наполняло кабинет блеском и басовыми гудками пароходов. Теперь море было сковано льдом, за окном темно. Стекло дребезжало от ветра.

«Задула низовка, — подумал Гушин, — наверно, ломает лёд. Пора... И мы ломаем! — невесело усмехнулся он. — Вот доморощенные мудрецы чуть дров не наломали... Ладно, оказались тут Русакова и учитель этот... как его? Фоменко. Не испугались громких слов. А эти вот деятели испугались...»

Из-за окна донёлся неясный гул. Лёд? На таком расстоянии?.. Гушин прижался ухом к стеклу. Стекло дрожало, звенело под напором ветра. Где-то прорывались через Перекоп и Тамань передовые разведчики весны — черноморские ветры, ломали торосистый лёд. С громом и скрежетом дробились в темноте ледяные поля, рушились торосы, очищая дорогу весне. Тихим дрожанием звоном откликнулись стёкла на её поступь.

Новосёлова холодно попрощалась с Людмилой Сергеевной. В другое время Людмила Сергеевна расстроилась бы, теперь не обратила внимания. Она не обращала внимания и на то, что говорил Викентий Павлович. Наслаждаясь победой, тот доказывал, как отлично они сделали, пойдя к Гушину, как он отлично всё понял и какой он, повидимому, отличный человек. Людмила Сергеевна отвечала невпопад. Радость победы была отравлена тревогой. Она была бы полнее, эта радость, если бы пришла раньше, до того, как Горбачёв исчез. Не пришла ли эта победа слишком поздно?

Детдом спал. Скрипел, мотался под ветром самодельный флюгер, установленный ребятами над мастерской. Налёт загремел цепью навстречу ей, узнал хозяйку и полез опять в будку. Людмила Сергеевна вошла в домик, где помещались спальни. Ксения Петровна дремала в дежурной комнатке над книгой. Услышав шаги, она поднялась, зашпешила на цыпочках к директору, но не успела. Людмила Сергеевна уже открыла дверь и при свете ночника, маленькой, прикрытой бумажным абажуром лампочки, увидела Лёшку... Он спал, прижав ко лбу сжатый кулак, лицо его и во сне оставалось хмурым и печальным. Людмила Сергеевна осторожно прикрыла дверь.

— Пришёл! Сам пришёл, — радостно блестя глазами, шёпотом сказала Ксения Петровна. — Все уже спали, когда вернулся...

Ксения Петровна посмотрела директору в лицо и отвела взгляд.

— Ну, спокойной ночи! — сказала Людмила Сергеевна, вытирая мокрые щёки. — Теперь уже спокойной...

Она вышла на улицу. Ветер сдувал, гнал по ней неразличимый в темноте сор, раскачивал деревья. Наверху торопливо клубились, неслись облака. Вместе с ними наплывал крепкий солёный запах освободившегося моря.

Лёшка не думал о бегстве. Раз он не виноват, ничего ему сделать не могут. Оказалось, могут. Ребята узнали — непостижимым образом они всегда всё узнавали, — что вчера вечером в кабинете директора был разговор о нём, и Валерий первый сообщил Лёшке, что его исключат из школы. Валерию Лёшка не поверил, но когда Нина Александровна сказала, чтобы он после перемены пришёл в кабинет директора, сомнений

не осталось — его исключали. Зачем иначе среди уроков снова звать его к директору? Лёшка схватил в раздевалке пальто, шапку и выбежал на улицу.

Школа гудела. Истомлённые почти часовой неподвижностью и молчанием, ребята бегали сломя голову и кричали что есть мочи. Они понимали, что это нехорошо, так не следует делать, даже не хотели этого делать. Это делалось само собой. Сами собой ноги бежали изо всех сил, топая как можно громче, само по себе, помимо их воли, горло испускало оглушительные вопли. Паровой котёл взорвётся, если избыток пара не израсходовать или не выпустить через предохранительный клапан. Нерастроченная энергия распирала ребят, неподвижных во время урока, и они с радостным чувством облегчения выпускали её в предохранительный клапан перемены. В окнах обоих этажей мелькали головы, приборный гул сотрясал стены, рвался в открытые форточки.

Лёшка слушал этот гул, смотрел на бегущих по двору ребят. Он уже не мог бегать с ними. Они оставались в школе, от него школу отделяло свистящее, как хлыст, слово «исключить». Свистящий хлыст отсекал всё, что у Лёшки было, очерчивая вокруг него роковой круг. Вне круга было всё — школа, товарищи, будущее. В кругу были только Лёшка и его обида. От неё горели глаза и бессильно стискивались кулаки.

Сейчас его позовут, и станут говорить всякие такие слова. Его будут укорять и упрекать, будто бы жалеть и угрожать. А потом всё равно скажут: «исключить». Он может не выдержать и заплакать. Но они исключат. Они уже решили, и им всё равно, плачет он или не плачет, жалко ему школу или нет, честный он или обманщик. Они решили, что он плохой и его надо исключить. Ну, так не будет он перед ними плакать и проситься! И незачем ему слушать всякие слова...

Звонок рассыпал дребезжащую трель по лестницам и коридорам. Гул грянул ещё громче и начал затихать. Хлопнула дверь за последними ребятами, бегавшими по двору. Школа смолкла. Сейчас Викентий Павлович входит в класс, оглядывает раскрасневшихся ребят, трогает усы жёлтым от табака пальцем и говорит привычное: «Ну-с, молодые люди, ноги устали, головы отдохнули? Перейдём к делу...» Лёшка не то всхлипнул, не то шмыгнул носом и пошёл по улице. Теперь уже всё равно! Незачем ходить и на этот урок, если потом, дальше, никаких уроков не будет. Он привычно свернул к дому и остановился. Там начнут расспрашивать, отчего да почему... Теперь его, наверно, из детдома тоже исключат. Там все учатся, а если он не будет учиться, его держать не станут.

По тротуарам проспекта спешили люди. За окнами закуской люди сидели на стульях в белых чехлах, что-то ели и пили. Немного ниже, возле кинотеатра, ребяташки топали ногами, пританцовывая от холода. На рекламном щите нарисованная фиолетовой краской женщина плакала. Слеза на её щеке была размером с грушу и тоже фиолетовая. Над базаром висели гам и пар. За городом буро-красные домны и трубы «Орджоникидзестали» плыли навстречу низовке, распластав по ветру полог дыма и пара. «Четвёрка» скрежетала на повороте, позванивая, спускалась вниз, к Рыбачьей гавани.

Прохожие обгоняли, толкали Лёшку, спешили навстречу, переходили улицу. Всюду, со всех сторон были озабоченные, торопливые прохожие. Они проходили, скользнув равнодушным взглядом по нему, и исчезали. За ними появлялись другие и тоже исчезали. Опять, как в Батуми, Лёшка чувствовал себя затерянным в нескончаемой их веренице.

Продрогнув, Лёшка заходил в магазины, там было не так холодно. Он становился у стены, разглядывал застеклённые витрины прилавков, пока домохозяйки не начинали с подозрением коситься на него, крепче перехватывая ремешки и ручки сумок. Лёшка выходил из магазина и снова ходил по улицам.

Сам не зная зачем, он забрёл в сквер. В боковой аллеяк, где возник «Футурум», снег присыпал следы. Поваленная урна лежала на том же месте. Лёшка смахнул с неё снег и сел. Всё вокруг было такое же, как тогда, и всё было теперь совершенно иным. Сквер Надежд превратился в сквер Крушения. Никаких надежд больше не было. Эта жизнь, в которой Лёшке становилось всё лучше и интереснее, кончилась. Должна была начаться какая-то другая, но как она начнётся и какой будет, Лёшка не знал. Глаза всё время жгло, пощипывало.

Захрустел снежный наст. Понурившись, с несчастным лицом по аллеяк шёл Витька. Увидев Лёшку, он удивился и обрадовался.

— О, ты тут? А тебя все ищут!

— Кто?

— Ну, я... Кира, ребята. Что ты тут сидишь?

— А где мне сидеть? Всё равно исключат...

— Ну да, так и исключат!..

Лёшка не ответил. Витька тоже замолчал, сел рядом. Выход оставался только один.

— Я завтра пойду и всё расскажу!

— Ну и что? Исключат тебя тоже, вот и всё.

Так могло случиться. Даже наверняка так и будет. Они же не лично против Лёшки, а против организации, а если Витька главный закопёрщик, его в первую очередь и вытурят...

— Пошли, — сказал он, вставая.

— Никуда я не пойду. Начнут опять приставать. Очень нужно!

— Да нет, ко мне!

У Витьки можно было отогреться и переждать до вечера. Лёшка решил вернуться домой, когда все будут спать. А утром — что уж будет, то будет...

Обедать Лёшка отказался, Витька принёс ему хлеба с маслом и свой компот. Пока Лёшка ел, Витька ерошил волосы, тяжело вздыхал и мыкался из угла в угол: он решал и не мог решиться.

— Я, знаешь, что думаю? Придёт отец, я ему всё расскажу. Давай вместе расскажем. Он у меня здорово толковый! Я, понимаешь, только боюсь... Нет, не то, что мне попадёт... Он здорово вспылчивый, а сердце у него большое. Он из-за меня ещё хуже заболеть может, как тот раз... А тут, понимаешь, не Шарик, тут посерьёзнее...

Витька рассказал о своём столкновении с Людмилой Сергеевной и о том, что произошло тогда с отцом.

Лёшка подумал и сказал, что отцу говорить нельзя. Во-первых, он может заболеть, а во-вторых, получится, что он заступает за сына.

— Ну да, не больно-то он заступает! Отвечай, говорит, сам. Тогда он мне — ого, дал жизни! — сказал Витька, но не объяснил, как именно «дал ему жизни» отец. Признаться было стыдно и теперь.

Они заспорили, и чем больше спорили, тем больше Витька утверждался в своём решении. Конечно, благородно с лёшкиной стороны, что он брал всё на себя, но получалось, что он один благородный, а остальные трусы. Признать себя трусом Витька не хотел, так же как и оказаться менее благородным.

Подошло время, когда отец приезжал обедать, но он не приехал, а позвонил по телефону и сказал, что сейчас ему некогда, он постарается вернуться пораньше домой и тогда уже заодно будет обедать и ужинать. Стемнело, наступил вечер. В кабинете Ивана Петровича часы пробили девять.

— Я пойду, — поднялся Лёшка.

— Подожди! Он скоро. Может, сейчас придёт...

Лёшка подождал ещё, потом решил уходить.

— Ладно, — помрачнев, сказал Витька, — я и один скажу...

Лёшка ушёл. Витька прилёг на постель и начал обдумывать, как лучше обо всём рассказать отцу. Чтобы не заснуть, он поставил настольную лампу к самой постели и зажёл верхнюю лампу. Яркий свет резал глаза, мешал думать. Витька погасил верхний свет, настольную лампу отгородил раскрытой книгой. Думать стало намного легче. Витька углубился в размышления и незаметно, нечаянно заснул.

Ветер толкал Лёшку в спину, доносил неясный шорох и гул. Лёшка остановился, прислушался. Гул шёл с моря. Что-то медленно, монотонно ворочалось в темноте. Это было жутко и непонятно, как лёшкино завтра.

Ксения Петровна обрадованно улыбнулась, поманила Лёшку к себе.

— Поешь. Простыло только всё.

Под полотенцем на столе стоял ужин и стакан холодного чая. Лёшка поколебался и сел за стол, ожидая, что сейчас она начнёт спрашивать. Ксения Петровна читала.

— Спасибо, — сказал Лёшка.

— На здоровье, — опять улыбнулась Ксения Петровна и прикрыла полотенцем опустевшую тарелку.

Лёшка постоял в нерешительности, ожидая, что она всё-таки спросит, где он был. Теперь ему хотелось, чтобы она спросила об этом и не думала ничего плохого.

— Иди ложись, — сказала Ксения Петровна. — Уже поздно.

Лёшка пошёл в спальню, лёг. Свистящее, как хлыст, слово опять зазвучало в ушах, отсекая всё, что было вокруг: дом, ребят, эту спальню, Людмилу Сергеевну, койку, на которой так привычно и удобно лежать, Ксению Петровну, её улыбку... Почему она не сердилась, а улыбалась? Даже принесла ужин, хотя это не полагалось. Жалела напоследок?..

Всю ночь ему снилась улица. Нужно было дойти до её конца, там он мог узнать что-то важное... Самое важное: что будет потом? Он спешил, бежал. Навстречу шли прохожие, миллионы прохожих. Лёшка натёкался на них, его толкали, но он бежал и бежал. Улица была бесконечна, поток прохожих непрерывен и нескончаем...

— Откуда ты взялся? — вытаращил Валерий глаза, когда Лёшка проснулся. — Хлопцы, пропащий нашёлся!

Ребята окружили Лёшку.

— Ты куда убежал? Почему с уроков ушёл? Где был?

— Никуда я не убежал. А ушёл, потому что... Потому что голова заболела.

— Знаем мы эту голову!..

— Ребята, что вы мне обещали? — раздался голос Ксении Петровны. — А ну, быстро — убирайте постели, марш умываться!

Лёшке Ксения Петровна тихонько сказала:

— Людмила Сергеевна уже пришла, зовёт тебя. И не бойся — всё хорошо! — улыбнулась она.

Сердце Лёшки застучало, он перебежал через двор.

— Здравствуй, Алёша, — встретила его в дверях кабинета Людмила Сергеевна. — Я ещё вчера приходила, чтобы сказать, да ты спал. Бояться тебе нечего, никто тебя не исключит, всё это дело прекращается. Ну, рад?

— Ага. Спасибо, Людмила Сергеевна!

— А вот я тебе спасибо сказать не могу, — ответила Людмила Сергеевна. — Я думала, ты мне больше доверяешь, больше полагаешься на нас, а ты убежал... Мы ведь чего только не передумали!

Людмила Сергеевна говорила укоризненно и печально.

— Я не убежал, я у Витьки был, — попробовал Лёшка оправдаться и покраснел. Ещё хуже: она беспокоилась, а он отсиживался у Витьки. Окончательно смешавшись, он пробормотал спасительную детскую формулу: — Я больше не буду!

— Хорошо, — улыбнулась Людмила Сергеевна.

Какие они все хорошие! И Людмила Сергеевна, и Ксения Петровна, и Гущин... Это, конечно, он всё сделал! И Витька молодец — сказал, не побоялся!.. А он сам, решился бы он сказать маме — отца Лёшка помнил смутно, — если бы это было так опасно и она могла бы даже умереть? Нет, он бы всё-таки не решился... А Витька решился. Вот это настоящий друг!

Настоящий друг плёлся в школу в унынии и тоске. Он презирал себя за то, что заснул, так и не приготовив своей речи отцу, и за трусость, с которой утром ушёл от двери спальни. Отец ещё спал, Соня предупредила, чтобы Витька не шумел и не разбудил отца: тот вернулся поздно. Однако, презирая себя, в глубине души он радовался и тому, что заснул, и тому, что не решился разбудить: он помнил пророчество Сони, что когда-нибудь «уморит отца»...

Увидев бегущего к нему Лёшку, Витька покраснел и даже приостановился. Лёшка ничего не заметил. Он ещё издали кричал:

— Уже, Витька! Понимаешь, он уже сделал!..

— Кто?

— Да отец твой! Людмила Сергеевна сказала, что всё, ничего не будет... А ты боялся! Здорово он сердился? — Лёшка не ждал ответа, ему не нужен был ответ. — Людмила Сергеевна говорит — иди и ничего не бойся, ничего, говорит, не будет... Здорово! А?

Витька понял только одно: всё обошлось. Он повеселел и с размаху хлопнул приятеля портфелем.

— А ты как думал!

— Расскажи, как было? Он сердился? Очень?

Витька замаялся, опять начал краснеть.

— Ну как?.. Обыкновенно...

Звонок выручил его, они разошлись по классам.

Учителя Витька не слушал, он терзался. Всё произошло к лучшему, уладилось без него. Но Лёшка уверен, что произошло это благодаря Витьке, а он растерялся и постыдился сразу признаться, что ничего не сделал. Лёшка считает его настоящим товарищем, благородным и смелым, а он совсем не благородный и смелый, а трус. И врун! Притворился, что так всё и было... В конце концов честный он человек или нет?..

На переменах говорить было не с руки. Домой шли втроём: он, Лёшка и Кира. Лёшка и Кира горячо обсуждали событие, хвалили Людмилу Сергеевну, витькиного отца, самого Витьку. Кира почему-то особенно напирала на то, как хорошо Витька сделал, рассказав всё, какой он молодец. Витька краснел, надувался и молчал.

Юго-западный ветер гнал с неба отары белых облаков, расчищая дорогу солнцу. Оно так пригревало, что в пальто и тёплых шапках стало жарко.

— Что это ночью шумело? — вспомнил Лёшка.

— Может, лёд ломался, низовка уже сколько дней дует, — сказала Кира. — Побежим, посмотрим?

Между булыжниками Морского спуска журчали ручьи, с бетонных ступенек тротуара низвергались крохотные водопады. Задорно покрикивали паровозы возле станции, звонко и отчётливо перестукивались буферами вагоны. Ребята, перебираясь через тормозные площадки, миновали железнодорожные пути.

Сразу же за ними вздымались стоящие торчком, наклонившиеся глыбы зеленоватого льда. Высоким валом они подступили к берегу, вгрызлись в него. На глубине могуче ворочалось невидимое море. Лёд над ним медленно и неостановимо шевелился, стонал и звенел. То там, то здесь зеленоватые глыбы вздымались, со скрежетом, хрустом громо-

здились на другие и рушились грудой сверкающих обломков. Далеко за ними слепила глаза тонкая полоска чистой воды. Сверкающим ножом она рассекала щель горизонта и срезала с моря взъерошенную кору льдов. Они пятились к берегу и рассыпались.

— Теперь уже скоро, — сказал Витька. — Тремонтан задует, всё разгонит. Пошли? А то ветрено тут...

— Эх ты, моряк! Ветра испугался, — засмеялась Кира. — А знаете, мальчишки? — сказала она. — Пойдёмте к Наташе. Нам всё равно мимо идти.

Лёшка и Витька заколебались: там, небось, мама и всякое такое...

— Мама боитесь, да? — поддразнила их Кира. — Тоже мне — герои!

Дверь открыла наташина мама. Выслушав Киру, оглядев с улыбкой смущённых Лёшку и Витьку, она сказала:

— Вот вешалка. Раздевайтесь. Только ноги вытрите хорошенько, — потом открыла дверь в одну из комнат и громко объявила: — Ната, к тебе кавалеры пришли.

Лёшка и Витька смутились ещё больше, от смущения так долго и старательно вытирали ноги о половик, что наташина мама засмеялась.

— Ладно, идите уж, а то без подмётки останетесь.

Наташа лежала в постели. В одной руке она держала книгу, другой гладила кошку, которая лежала у неё на животе. Кошка, прижав уши и зажмурившись, выжидала момент, чтобы удрать, но, как только она шевелилась, Наташа хлопала её по спине, и кошка опять, прижав уши, замирала. На стуле возле кровати стояли аптекарские пузырьки, в комнате пахло лекарствами.

— Ну, как ты тут живёшь? Здравствуй, — сказал Витька. — А мы, понимаешь, решили тебя проведать...

— Ничего они не решили, это я их привела! Они твоей мамы боялись, — засмеялась Кира.

— Очень хорошо!.. Ну, рассказывайте! Ой, нет — берите стулья, садитесь.

— Это ты после парохода, когда ноги промочила? — сказал Лёшка.

— Ага. Лежи смирно! — шлёпнула кошку Наташа. — Ну, рассказывайте!

— Ой, Наташа, что было! Его, — показала Кира глазами на Лёшку, — чуть-чуть не исключили!..

Наташа широко открыла глаза.

— За что?

— За «Футурум»...

Кира и Лёшка начали рассказывать, вернее — рассказывала сама Кира, то и дело поворачиваясь к Лёшке и Витьке за подтверждением: «Правда?» Лёшка, подтверждая, кивал. Наташа хмурилась и ужасалась.

— Я бы тоже ничего не рассказала! — горячо сказала Наташа, глядя на Лёшку. — Пусть хоть что! — и пристукнула сжатым кулаком.

Кира ещё сильнее расписала Витьку, выставила его настоящим спасителем. Витька краснел и старался глубже запрятаться между шкафом и этажеркой.

За время болезни Наташа побледнела, исхудала, глаза её, казалось, стали ещё больше. Они поговорили о том, скоро ли Наташа выздоровеет, рассказали, что на море сломало лёд, и ушли. Витька проводил их до самого дома.

— Погоди, — остановил он Лёшку.

Он подождал, пока Кира отошла, и, глядя в землю, сказал:

— Понимаешь, я тебе должен сказать одну вещь... — Он замялся, потом решительно отрубил: — Это неправда!

— Что?

— Ничего я отцу не говорил. Ты думаешь, что я сказал, а я побоялся... Отложил на сегодня... И они сами всё... Это, конечно, подло с моей стороны, и ты имеешь полное право презирать. — Губы Витьки задрожали, он замолчал.

— Так он про тебя ничего не знает?

— Нет.

— Чудак! — засмеялся Лёшка. — Так это же хорошо! И нечего надуться! Будь здоров!

33

Нового пионервожатого звали Костей Павловым. Он не созывал сборов, не выстраивал дружину, чтобы познакомиться с пионерами, а с неделю ходил по классам, смотрел, слушал и разговаривал с ребятами. Разговаривая, он всё время посмеивался, но не обидно и так, что нельзя было понять — смеётся ли он над тем, что они делали раньше, или над пионерами, которым не нравилось то, что они до сих пор делали. Высокий, подвижной и, должно быть, очень сильный, он приходил без кепки, а скоро начал ходить и без пиджака, хотя было совсем не жарко. Ещё не наступили знойные дни, а улыбочивое открытое лицо его и брови были опалены солнцем. Яша после беседы с новым вожатым и особенно после того, как проиграл ему партию в шахматы, объявил, что Костя — образованный. Витька многозначительно крутил головой и говорил: «Башковитый!»

Лёшка не хотел идти на сбор пионеров старших классов, но Викентий Павлович подзвал его к себе и сказал, чтобы он обязательно приходил сам и приведёт всех «футуристов»...

В седьмом «Б» ребята устроились по трое, даже по четверо на парте, за учительским столиком сели вожатый и Викентий Павлович.

— Мы не будем проводить собрания, — сказал Костя, — а просто побеседуем. Пожалуйста, Викентий Павлович...

— Детство моё, — сказал Викентий Павлович, — в которое вам так же трудно поверить, как в свою будущую старость, вы относите ко временам почти доисторическим...

Ребята вежливо посмеялись.

— Однако в своё время я тоже бегал в коротких штанишках и, как вы, думал, что взрослые ребят затирают: не пускают на войну, не доверяют ни паровоза, ни парохода, а только заставляют учить правила и решать задачи... Как многим из вас, нам казалось это скучным, неинтересным, и мы старались сделать свою жизнь интереснее. Мы думали, что окружающее — буднично, обыкновенно, наперёд известно, и тосковали о неизвестном, необыкновенном и таинственном. И так как мы были убеждены, что ничего необыкновенного и таинственного вокруг не было, мы выдумывали его сами...

Лёшка толкнул Витьку локтем, покосился на него. Витькины уши порозовели.

— Должен признаться, молодые люди, — усмехнулся в усы Викентий Павлович, — я выдумывал усерднее других... Мы искали несуществующие клады, доспехи русских богатырей и с этой целью исковыряли не один холмик. Пробовали подстергать привидения, бог весть почему верили, что в Глухове у кого-то хранится папирус из гробницы Тутанхамона, и, не зная языка древнего Египта, переписывались друг с другом при помощи иероглифов...

Витька поймал взгляд Наташи и насупился.

— А тайны были вокруг, они заглядывали нам в глаза и полным голосом звали нас. Мы затыкали себе уши и поворачивались к ним затылком... Маленькие дикари, мы верили в магическую силу выструганной нами лучинки и отталкивали могущественный жезл знания, который мог открыть ошеломляющие тайны жизни...

В силу разных причин мы поумнели позже, чем можете это сделать вы. Поэтому не все из нас сумели стать тем, кем хотели и могли бы... — Викентий Павлович замолчал, ероша брови, прошёлся по классу. — Не повторяйте наших ошибок; откройте глаза и уши, повернитесь лицом к будущему. Примеров не надо искать. Мы живём на берегу моря. Что вы знаете о нём? Что море — это очень много воды, что на нём бывает штиль и бывают бури? Нам кажется, что море производит только шум прибоя, а у него есть свой голос. Мы повторяем поговорку: «Нем, как рыба», а на самом деле рыбы...

— Поют? — ехидно подсказал Витковский.

— Да-с, поют! — покосился на него Викентий Павлович. — Вам рассказывали о хитроумном Одиссее, который слышал завораживающее пение сирен. Быть может, эти сирены — преображённые фантазией сциены, крупные рыбы Средиземного моря. Сциены могут издавать разнообразные звуки. Морской петух Чёрного моря умеет гудеть и ворчать, дельфины свистят. Многие рыбы и морские животные могут издавать и слышать звуки. Азовские и черноморские рыбаки ловят лобана на рогожи, когда он, испуганный резкими звуками, выпрыгивает из воды. Море совсем не глухо и немо, как нам кажется.

Многие рыбы и морские животные слышат то, чего не можем слышать мы, — голос моря. Человеческое ухо воспринимает звуковые волны, имеющие от 15 колебаний до 20 тысяч в секунду. За нижним порогом звуковых волн идут инфразвуковые. Они используются для регистрации землетрясений, геологической разведки. Академик Шулейкин открыл, что во время шторма при движении ветра над гребнями и подошвами волн возникают особые инфразвуки. Академик назвал их «голосом моря». Они не затухают на громадных расстояниях, распространяются в воде с огромной скоростью — 1 500 метров в секунду. Это и есть «голос моря». Морские животные задолго до приближения шторма, услышав грозный голос его, прячутся. Морские блохи, рачки из семейства Гаммарус, которые всегда прыгают среди влажной гальки, уходят на сушу, где их не может достигнуть прибой. Крабы прячутся среди расщелин, на глубинах. На глубину уходят медузы и рыбы. Голос моря предупреждает их о приближении шторма задолго до того, как барометр предскажет его нам.

Мы живём на берегу самого маленького из всех морей. И самого мелкого: всего каких-то четырнадцать метров предельная глубина. Тайфунов не бывает, огромных волн тоже, островов почти нет... Скудное море, не правда ли? Неправда! Это самое замечательное море! Оно маленькое и мелкое, но оно даёт больше рыбы, чем любое другое. Восемьдесят килограммов рыбы с одного гектара площади даёт оно нам! Это в три раза больше, чем дают самые богатые Японское и Северное. Чёрное море даёт в пятьдесят раз меньше рыбы с гектара, чем наше, Азовское. Это единственное в своём роде море. Оно рассадник, богатейшая кормушка для многих рыб. Более того, это первое море, которое человек планирует реконструировать, переделать, подчинить своим целям и задачам. Загляните в него пытливым взором, и оно откроет вам такие дива и чудеса, что вы не сможете отвести взгляда. И уж никогда не смогут сравниться с ними придуманные вами тайны и прочие пустяки!.. — решительно закончил Викентий Павлович.

— Всё это, — сказал вожатый, — Викентий Павлович рассказал не для того, чтобы все до одного бросились в моряки или гидробиологи... Кто-то из вас захочет стать, как его отец, доменщиком или сталеваром, другой мечтает о самолётах, третий надеется вырастить виноград в огурец величиной... Не надо ждать! Нельзя ждать! Многие рассуждают так: вот кончу школу, потом вуз, стану специалистом, а тогда сделаю такое, что все ахнут... Не ахнут, если вы будете сидеть и ждать, пока само всё придёт. Само ничто не приходит!.. Вот вы окончите школу и

получите бумагу, которая называется «аттестат зрелости». Станете ли вы зрелыми? Для чего? Что вы сумеете делать? Ничего. Вы будете ходить и раздумывать, что с собой делать, куда себя девать. А вам будет шестнадцать-семнадцать лет... Четырнадцати лет Лермонтов писал стихи, поражающие взрослых и теперь. Шестнадцатилетний Герцен на Воробьевых горах дал клятву посвятить жизнь освобождению народа. Гитлерист Володя Ульянов уже избрал для себя путь, с которого не свернул ни на шаг за всю жизнь... Вы скажете: «Они гении, а мы нет»...

— Конечно! — откликнулся кто-то.

— Откуда вы знаете? — серьёзно и строго спросил Костя Павлов. Ребята, смущённо улыбаясь, переглянулись. — А может, кто-нибудь из вас прославит свою школу, город, страну?.. Конечно, если будущий гений не будет сидеть сиднем... Вам часто говорят, и вы знаете, что вы будущие хозяева жизни. А что значит хозяин? Некоторые думают, что, если они умеют произносить речи, командовать и особенно если умеют кричать, они хозяева жизни... Об этих что говорить! Это всё равно, как сказать, что телега едет потому, что под дугой у лошади брякает колоколец... Стать хозяином жизни означает — знать, уметь и делать. Многие из вас жаловались: скучно! Конечно, без конца проводить заседания и собрания скучно. Что вы на них делаете? Прорабатываете да поучаете друг друга, как надо вести себя и учиться... Давайте займёмся делом! У каждого свои вкусы и желания, давайте заниматься тем, к чему каждого тянет!.. Будут у нас кружки или звенья. В таком звене все интересуются одним делом, помогают друг другу, соревнуются — кто больше узнает, лучше делает... И понемногу вы будете становиться специалистами. А за вами потянутся все школьники. Так и должно быть: ведь вы пионеры, а значит — передовые, первые... Интересно?

— Да! Очень!

— Только сразу условимся: через месяц, даже через два, — улыбнулся Костя, — вы не сделаете гениального открытия, не построите межпланетного корабля и не изобретёте новой подводной лодки. Не в обиду вам — вы ещё маленькие, только начинаете подбирать и понимать крохи того, что уже узнало человечество. А у него был для этого большой срок — тысячи лет, и узнать оно успело многое... Но вы приоткроете для себя пока неведомый вам уголок знания, полюбите его и научитесь обращать его на пользу людям... Быть может, вы ошибётесь в выборе своего дела, призвания, — у вас будет время исправить ошибку. А в сорок или пятьдесят этого уже не сделаешь. Но и то, что вы узнаете, пригодится. Ненужных знаний и бесполезных навыков не бывает, бывают только ленивые люди, не умеющие найти им применение!.. Ну как, согласны? — улыбаясь, спросил Костя Павлов.

Кто-то сзади хлопнул в ладоши, и сразу весь зал загремел аплодисментами.

— Подождите! — поднял руку Костя. — Это не всё. Каждый кружок или звено будет заниматься своим делом. Но мы не будем сидеть в кабинетах и классах. Если ты пионер, так ты должен плавать лучше всех, бегать быстрее всех, не хныкать, если надо пройти пять—десять километров, и не дрожать, если попал под дождь... Словом...

— «Не бояться ни жары и ни холода!» — подсказал Толя Крутилин.

— Правильно! И мы будем предпринимать походы и экспедиции. Не на поезде, пароходе или машинах. Пешком! Побываем на заводе, в порту, сделаем поход в заповедник целинной степи, по берегу моря, и там дело будет для всех: и мичуринцев, и биологов, и фотографов, и радистов...

— Ура! — закричал кто-то из ребят.

— Погодите, рано кричать «ура». А ходить-то вы умеете?

— Как это? — переглянулись ребята. — Что мы, безногие?

— Ноги есть, а ходить не умеете. Смотришь, идут пионеры — тоска берёт! Плетётся по тротуару табунок — не в ногу, выхляются из стороны в сторону, барабанщик лупит без всякого смысла, а в горн тутукают все по очереди... Разве так посреди улицы пройдёшь? Засмеют. А должны завидовать! Поэтому — никаких тротуаров! Ходить посреди улицы настоящим строем. Горнист один и сигналит, только когда нужно. А барабанщик должен научиться так, чтобы вся улица начинала итти в ногу, когда он бьёт в барабан. И уж если пойдём в поход — никаких нянек! Всё нести на себе, никаких поваров и обслуживающего персонала — всё делать самим! Ну, согласны? Не струсите, не захнычете?..

34

Людмила Сергеевна не поверила своим глазам.

— Ну-ка, ну-ка, подойди ко мне!

— Что такое? — недовольно спросила Алла.

Людмила Сергеевна достала и протянула ей платок.

— Вытри сейчас же!

Алла вспыхнула, с вызовом откинула голову. Несколько секунд продолжалось единоборство взглядов, потом Алла опустила голову, достала свой платок и вытерла краску с губ. Она подчинилась, но на ресницах её дрожали злые слёзы обиды.

Долгий разговор не помог. Людмила Сергеевна стыдила, объясняла, убеждала. Алла, полуотвернувшись, слушала, но Людмила Сергеевна видела, что слушает она уже не её, а только свою обиду.

Противно было видеть, как молоденькая девушка изуродовала краской свои свежие губы. Но дело было не в накрашенных губах. И не в выщипанных в ниточку бровях, которые придали лицу Аллы удивленно-глуповатое выражение. И не в том, что у неё появилась привычка закидывать голову и громко хохотать с явным расчётом привлечь к себе внимание. Или привычка непрерывно моргать при разговоре: широко открывать глаза и тут же закрывать их. «Хлопает ставнями», — говорили мальчики. Эти и другие замашки, перенятые Аллой у новых подруг, были смешны и не очень опасны, хотя другие воспитанницы начинали ей подражать. Глупенькая! Ей не терпелось поскорее стать взрослой, как будто это уйдёт от неё...

Всё это пустяки. Значительно важнее и хуже было то, что, оставаясь в детдоме, Алла всё дальше отходила от него. Её ничто не трогало и не интересовало. Перестав быть председателем совета отряда, она окончательно отдалилась от всего, чем жил детдом. В сущности она была отрезанный ломоть. Воспитательницы уже ничего не значили для неё, только Людмила Сергеевна ещё имела некоторое влияние, но влияние это становилось всё слабее и вот уже вызывало сопротивление и досаду.

Прежде у неё находилось время для всего. Алла ходила в школу, учила уроки, вышивала, выпускала стенгазету, играла с малышами. Высоко держа свой председательский авторитет, она была грозой баловников, успевала вечно что-то стирать и гладить; общительная, весёлая, была признанной главой коллектива. Теперь ей было некогда. Она ходила в техникум и выполняла домашние задания с таким видом, будто ничего важнее и труднее на свете не существует. Если её просили что-либо сделать, она досадливо отмахивалась или отвечала удивленно-пренебрежительным взглядом: почему её беспокоят по пустякам?

Она была старше всех воспитанников, и только она одна училась в техникуме. Ей одной разрешалось ложиться спать не вечером, а ночью, так как занятия кончались поздно. Ей одной были куплены особые учебники, александрийская бумага и готовальня. Для неё делали исключение из общего правила, и Алла поняла это как признание своей исключитель-

ности. Отсюда был один шаг до уверенности в том, что, сохраняя все права, она не имеет никаких обязанностей. И Алла сделала этот шаг.

Однажды Людмила Сергеевна заметила, что постель Аллы убирала Сима.

— В чём дело, почему Алла не убрала сама? — спросила Людмила Сергеевна.

— Она торопилась, ей к зачёту готовиться надо...

На следующий день Людмила Сергеевна нарочно пришла в спальню и услышала, как Алла небрежно сказала:

— Девочки, заправьте мою постель, я уйду...

Выговор директора Алла выслушала со злым лицом, постель прибрала, но всем своим видом показывала, что она права, а директор «придирается». Потом стычка произошла из-за дежурства. Митя растерянно сказал, что Алла дежурить отказывается, а он не знает, должна она дежурить или нет. Алла не только не была пристыжена, когда её позвали к директору, но сама возмущалась и негодовала.

Какое право они имеют заставлять её? Они не понимают, что такое техникум. Это им не примерчики решать! Какое они имеют право принуждать, если у неё такая перегрузка? Нет в детдоме других? Ничего с ними не случится, если лишний раз подежурят... Что, она мало работала в своё время? Пусть теперь поработают другие, а она не может...

Алла ушла, хлопнув дверью.

Да, это, конечно, не маленький Толя Савченко, запутавшийся в трёх соснах. Она будет бегать и протестовать, жаловаться и кляузничать, требовать справедливости и доказывать своё право ничего не делать...

Жалобы и кляузы — пустяки, их не составит труда разъяснить. Хуже всего было то, что в детдоме вырос иждивенец. Пример Аллы мог заразить и уже заражал других. А этого терпеть было нельзя.

Как и когда это случилось? Чего не заметили, что проглядели она, Людмила Сергеевна, и воспитатели? Задатки, склонности? Чепуха, они не передаются, а прививаются. Каким образом пример для всех, активистка превратилась в эгоистическое, самодовольное и наглое создание? Может, дело именно в том, что слишком часто и много подчёркивали, что она такая и всякая, расхорошая? От неумеренных похвал головы кружатся, взвиваются кверху носы и у зрелых, взрослых людей... Всегда ставили её в пример, в исключительное положение, вот и поверила в свою исключительность. А где уж исключительным снисходить до обязанностей! Они их признают только для других, сами имеют одни права. И чем больше прав, тем меньше обязанностей.

Физический вывих исправить легко. Душа — не лодыжка, нельзя дёрнуть и поставить на место... Нотации не помогают. Наказания озлобят. Поверить в свою исключительность куда как легко, а отказаться от неё — попробуй-ка... Единственное средство — создать человеку такие условия, чтобы он не стоял ни над кем, чтобы вокруг были такие же, равные. Равенство — наилучшее лекарство от зазнайства, а труд — от паразитизма... Жалко? Да, трудно ей придётся. Не раз поплачет, посетует на жестокость... Ничего. Пока хрящи не превратились в кости, выправить можно. Потом останется только ломать. Это больнее, да и не всегда помогает. И нужен урок остальным. Маленькие смотрят на неё с обожанием — она ведь красивая, умная, старшая! И подражают, как обезьянки.

На собрание пришли все ребята, но, в отличие от обычных сборов, не смеялись, громко не разговаривали. Алла, пренебрежительно прищурившись, оглядела собравшихся и отвернулась к окну.

— На повестке дня один вопрос, — объявил Митя: — о поведении Аллы Жуковой. Вы скажете, Людмила Сергеевна?

— Да. — Людмила Сергеевна встала, оглянулась на Аллу, но та упорно смотрела в окно и пренебрежительно щурилась, только щёки её слегка

заалели. — Мне так же, как и вам, ребята, — вздохнув, сказала Людмила Сергеевна, — тяжело и больно, что вопрос о поведении Аллы вынесен на обсуждение... Год назад она была председательницей нашего совета, была примерной воспитанницей, призывала других к дисциплине и усердной, честной работе. А теперь мы должны говорить о ней. Алла перестала интересоваться жизнью детдома. Она считает, что уже стала взрослой и у неё нет времени. Допустим, хотя это не так. Но Алла не хочет ничего делать, отказывается работать. А этого допустить мы не можем! Детский дом — коллектив. Здесь нет лучших и худших, у всех одинаковые права и одинаковые обязанности. Каждый должен работать в меру сил и умения, работать и для других, потому что другие работают для него. Алла же решила, что имеет право ничего не делать для других, но все обязанности делать для неё и за неё. Вы помните, как запутался Толя Савченко. Толя ошибся, но он понял свою ошибку и исправился. Алла уже большая девочка, она не ошибается, а делает это сознательно. Я много раз говорила с ней, Ксения Петровна — тоже. Всё безрезультатно. Пусть теперь она всем объяснит своё поведение. Ещё не поздно исправить. Может быть, она осознала, что поступает неправильно, и исправится. А может быть, вы просто согласитесь, что она имеет право ничего не делать, и вы все будете за неё и на неё работать?

Людмила Сергеевна села. Ребята перевели хмурые взгляды с директора на Аллу.

— Говори! — сказал ей Митя.

— Как же! — огрызнулась Алла. — На меня будут наговаривать, а я должна оправдываться?

— Встань! — жёстко сказал Митя.

— Не буду я вставать, я не подсудимая!..

— А Людмила Сергеевна — подсудимая? — повысил Митя голос. — Она встаёт, а ты будешь барыней сидеть? Встань!

— Вставай, вставай! Нечего! — закричали ребята. Многим из них приходилось стоять перед советом отряда, когда Алла сидела на председательском месте. А теперь она смела отказываться от того, к чему поуждала других?!

— Ну и встану, подумаешь... — Алла вскочила. — Только всё равно вы не имеете права меня судить. И директор на меня наговаривает, придирается, оскорбляет. Вы не имеете права меня оскорблять! Я знаю, я узнавала... Я не стану делать всё, что ей захочется. Это маленьких она пускай уговаривает, а я не маленькая. По закону я имею право жить в детском доме, и всё. Ничего вы мне не сделаете! Вы хотите, чтобы я занималась всякой ерундой и плохо училась? Мой долг — хорошо учиться, и я буду его выполнять. А заставлять меня никто не имеет права...

Аллу любили и уважали, ей завидовали и подражали. Даже когда она перестала быть председательницей, её слово попрежнему было решающим, поступки выше критики! Узнав, что на собрании будут обсуждать её поведение, ребята растерялись: как её можно осуждать, если осуждала всегда она и осуждала правильно? Но чем больше говорила Алла, чем больше смотрели они на раскрасневшееся, искажённое злостью красивое лицо, тем скорее первоначальную неловкость вытесняло раздражение. Что она воображает? Кто она такая, чем лучше других? Подумаешь — учится! А они что, не учатся?

Один за другим ребята вставали и стыдили Аллу, напоминали, как она призывала других, требовала их наказания, а теперь сама хочет стать барыней, жить на всём готовом. Алла презрительно кривила губы, бросала уничтожающие взгляды на ораторов.

Лёшка сидел у самой стены, позади всех. Ему было жалко Аллу, его возмущало то, что говорили о ней. Он страдал так, как если бы говорили всё это о нём самом. Но он молчал: это было справедливо.

— Что ж нам говорить? — сказал Яша, выступавший последним. — Алла была лучшей среди нас, мы ею гордились... А теперь она не хочет нас слушать, не уважает коллектив. Она просто презирует нас... И я не знаю, что мы теперь должны делать? — посмотрел он на Людмилу Сергеевну. — Мы постановим, а она не будет подчиняться...

— Конечно, не буду! — крикнула Алла.

— Яша сказал правильно, — поднялась снова Людмила Сергеевна. — Алла перестала уважать коллектив, считаться с ним. Она думает, что стоит выше коллектива и ей всё позволено... Это самая скверная и тяжёлая болезнь. Лечить её нужно решительными мерами. Поэтому я предлагаю обсудить вопрос об её исключении из детского дома...

— Вы не имеете права! — крикнула Алла.

— Не беспокойся — имеем.

С минуту длилось растерянное молчание.

— А как же? — несмело спросил кто-то.

— Я была в гороно, в техникуме и договорилась. Учится она хорошо, ей дадут место в общежитии и стипендию. Мы должны думать не о том, как её наказать, а о том, как ей помочь, исправить её. Мы уже не можем на неё повлиять, пусть повлияет сама жизнь. Ей шестнадцать лет. Другие в этом возрасте работают, живут самостоятельно. Вот пусть и она поживёт самостоятельно. Здесь она на всём готовом, там ей придётся самой заботиться о себе, самой работать... А работа — самое лучшее лекарство от зазнайства. Здесь она находится в исключительном положении, а там будет в таком же, как и остальные студенты. Ей будет трудно, но не труднее, чем другим. Это не страшно. Страшно, когда человеку легче, чем всем остальным, и он поэтому начинает думать, что он лучше остальных...

Алла ушла на следующий день. Уложив в корзинку своё «приданое» — бельё, платья и учебники, — Алла вышла из спальни. Во дворе, не сговариваясь, собрались все. Это был не такой уход, к какому готовили её и какого желали все. Но Алла уходила в самостоятельную жизнь, и её жалели, о ней тревожились. Как-то ей там будет? Уживётся ли? Сумеет ли?

Окружённая галчатами, Анастасия Фёдоровна украдкой вытирала слёзы. Прячась за внушительной фигурой своей наставницы, маленькие девочки всхлипывали. Хмурились ребята, печально смотрели на Аллу старшие девочки. Из кухни, скорбно поджав губы, вышла Ефимовна.

Увидев собравшихся, Алла на секунду приостановилась, потом горделиво вскинула голову и, ни на кого не глядя, пошла через двор. Губы её кривились в пренебрежительной усмешке, но тонкие выщипанные брови придавали лицу удивлённо-глуповатое выражение. Она никого не поблагодарила, ни с кем не попрощалась. Так и не произнеся ни слова, она прошла мимо собравшихся, отворила калитку и скрылась за распустившимися кустами акаций.

Людмила Сергеевна поспешно ушла к себе. Хмурясь, разбрелись ребята. Лёшка с тоской смотрел на кусты, за которыми исчезла Алла, унося свою корзинку. Неужто унесла она только то, что было в этой корзинке: несколько книжек и тряпки? Как можно было уйти вот так, ни на кого не оглянувшись, ни о чём не пожалев?..

Лёшка завидовал целеустремлённости друзей. Каждый занимался чем-нибудь одним, а его тянуло и на водную станцию, и в физический кабинет, где Митя добывал молнии из электростатической машины, и хотелось, как Наташа, изучать животный мир моря, который носил такие звучные названия — планктон, нектон и бентос, не прочь был побывать и на раскопках Пантикапеи, куда собирался Толя Крутилин, едущий на

лето к тётке в Керчь, но больше всего хотелось пойти на завод, каждую ночь в полнеба вздымавший зарево над городом.

Однажды у Гущина Лёшка застал Сергея Ломанова. Пути Витьки и Сергея разошлись, но они были соседями, остались приятелями и иногда забегали друг к другу. Лёшке нравился добродушно-насмешливый тон, каким разговаривал Сергей, нравилась его простая форма ремесленника, уверенность знающего себе цену человека. Они оставили погружённого в бимсы и шпангоуты Витьку и пошли к Сергею. Он показал Лёшке свои учебники, тетради, рассказал, как занимаются в ремесленном, проходят практику. Лёшка слушал с интересом, но без увлечения. Заметив это, Сергей замолчал, прищурился, посмотрел на него.

— Эх ты! Думаешь просто, да? А ты понимаешь, что такое сталевар? Ничего ты не понимаешь! Да сталевар — это же... на нём всё держится!

— Как это — всё?

— А вот так... Вот если сразу, допустим, делается так, что нет ни железа, ни стали. Совсем нет, понимаешь? Вот перо, так? Его не будет, и нечем будет писать. И бумаги не будет — её ведь сделали машины. Нет ни плуга, ни трактора — нечем пахать землю... Электричества нет, даже нет керосина, потому что его делают из нефти, а её добывают машины. И никаких фабрик и заводов. Ни угля, ни железной дороги, пароходов, самолётов... Даже домов нет — попробуй-ка построить дом без железа и стали! За что ни возьми... Да если у человека отнять железо и сталь, что у него останется в руках? Камень да палка. Он же снова станет дикарём, как в каменном веке!.. Сталевар — это, брат, главный человек на земле, а ты говоришь...

Лёшка ничего не говорил.

Его поразило предложение представить мир без железа и стали. Они были всюду. Вилка и нож, которыми он ел, были из стали; Ефимовна варила обед в покрытых эмалью железных кастрюлях на чугунной плите; над улицей скрещивались, нависали провода, форточка, которую он открывал, держалась на железных петлях и крючке; семитонный грейфер портового крана и весь кран были из стали. «Николай Гастелло» и все, все пароходы были из железа, железной цепью звенел Налёт, железом был подкован Метеор, ожившей сталью гремели на улицах автомашины, и даже каблуки лёшкиных башмаков были подбиты железными гвоздями... Раньше он никогда об этом не думал, и теперь у него даже перехватило дыхание от этого открытия. Казалось, на гигантский стержень укреплено, нанизано всё окружающее, и стоит выдернуть этот стержень, как всё потеряет прочность, форму, сомнётся, рассыплется в прах. Это было похоже на чудо, и стальное чудо это делали люди там, где никогда не гасли факелы «Орджоникидзестали». Его делал — учился делать — и этот русоволосый паренёк с широким улыбчивым лицом...

Лёшка набросился на Сергея с расспросами, заново пересмотрел все его книжки, благоговейно трогал корявые, колючие края «плюшки» — расплющенного для лаборатории кусочка стали — и допытывался, трудно ли поступить в ремесленное и примут ли его, Лёшку. Поступить, оказалось, можно, но пока не примут — надо кончить хотя бы шесть классов, как кончил их Сергей.

— Теперь, знаешь, какой рабочий класс? Не на глазок работают, — сказал Сергей. — Образование надо!

Лёшка приуныл. Ему хотелось бы сразу, немедленно, пойти в ремесленное. Ну ничего — до окончания шестого оставалось немного. Он ушёл, унеся учебник подручного сталевара — пока просто так, почитать — и уверенность, что станет таким же, как и Сергей Ломанов.

Все ребята, каждый из них, были увлечены своим делом.

Тараса Горовца ещё зимой, когда по ботанике проходили раздел сельскохозяйственных культур, поразила рассказ о том, что картофель на

юге вырождается. Растение умеренного климата, его выращивали на юге так же, как и в других местах: сажали весной и собирали осенью. Рос картофель хорошо, но клубнеобразование приходилось на самую жаркую пору. Оно замедлялось или прекращалось совсем, и осенью собирали картофель мелкий, как орехи. Урожай был маленький, а какое мучение чистить мелкий картофель, Тарас хорошо знал... Академик Лысенко предложил на юге сажать картофель не весной, а летом: картофель мог расти и в жару, а клубнеобразование приходилось на солнечную, но не знойную пору ранней осени, и клубни должны получаться крупные и многочисленные.

Тарас немедленно побежал с этим открытием к Устину Захаровичу. Тот выслушал и сказал:

— Не можно!

— Почему, дядько Устым?

— Вытребеньки! — махнул рукой Устин Захарович.

«Вытребеньками» Устин Захарович называл всё, что было, по его мнению, выдумкой, не стоящей внимания серьёзного человека.

Тарас заколебался. До сих пор авторитет «дядьки Устыма» был непрекаем, но Викентий Павлович, а главное, академик — они ведь тоже что-то понимали. У Тараса впервые появились сомнения: так ли уж хорошо и правильно всё, что говорит и делает «дядько Устым»? Тарас пытался отогнать эти сомнения, но, однажды зародившись, они уже не исчезли. Не могли же ошибаться все агрономы и академик Лысенко! Они доказывали по-учёному, а «дядько Устым» только отмахивался.

Весной, когда прогрелась земля и подошла обычная пора сажать картофель, Устин Захарович наметил день выезда на подсобный участок. Тарас воспротивился и сказал, что сажать надо летом.

— Вытребеньки, — снова отмахнулся Устин Захарович.

— Не вытребеньки, а наука, дядько Устым.

— Картопля растёт и без науки.

— Да ведь так же, по науке, лучше! — сказал Лёшка, который был тут же.

— А де ты бачив, шо лучше? У кнызи? Картопля в поле растёт, а не в книжках...

В спор вступил Митя Ершов, потом директор. Людмила Сергеевна стала на сторону Тараса и сказала, что надо испробовать, часть посадить летом. Этого требует агротехника, и ребятам будет легче, занятия к тому времени окончатся.

Тарас победил, но победе не обрадовался. Он был доволен, что картошку будут сажать «по науке», но ел себя поедом за то, что подорвал авторитет «дядьки Устыма». Валерий вздумал было разукрасить эту победу.

— Так и надо! Шо он понимает? Отсталый человек, некультурный...

Тарас озлился.

— А ты культурный? Да у тебя в голове того нет, шо у дядьки Устыма в пятке!..

Тарас страдал от того, что сам вынужден был пойти против «дядьки Устыма», и уж никак не мог допустить, чтобы другие наговаривали на него, да ещё такие «брехуны», как Валерий...

Устин Захарович подчинился решению директора и только сказал:

— Тарас — хлопчик розумный, работающий, из него люди будут... А я ж вам казав: який с меня вчитель? Робыты я умею, а вчиты — ни...

Через несколько дней после этого разговора в детдом пришёл щеголеватый молодой лейтенант милиции и спросил, здесь ли работает Устин Захарович Приходько. Устин Захарович, увидев его, выпустил из внезапно ослабевших рук седёлку, лицо его задрожало. Встревоженные ребята окружили лейтенанта и Устина Захаровича.

— Устин Захарович Приходько? — официально спросил лейтенант. — Распишитесь в получении... Отношение из Тернопольского облпрозрыска. Александр Андреевич Приходько, восьми лет, и Василий Андреевич Приходько, девяти лет, проживают в детском доме в Тернопольской области. Адрес указывается...

— Внуки... — глухо, осипшим голосом проговорил Устин Захарович.

— Ну да! — улыбнулся лейтенант и сдвинул фуражку на затылок. Белобрысы волосы упали на лоб, вся официальность с него разом соскочила. — Видишь, дед, а ты сомневался! Я ж тебе говорил — разыщем. Если милиция возьмётся — будь покоен!

— Внуки! — повторил Устин Захарович. — А Галька?.. Невестка ж где?..

— Насчёт Галины Приходько ничего не известно, — помрачнел лейтенант. — Может, и найдётся, только навряд. Дети есть, а её нет... Ну, дед, расписывайся...

Кое-как Устин Захарович накарябал свою подпись, потом схватил обеими руками руку лейтенанта.

— Ой, спасибо вам!.. Ой, яке ж спасыби!.. Хороша вы людына!..

— Да ну! Да что! — польщённо улыбался лейтенант и пытался освободить свою руку, но Устин Захарович не отпускал.

— Ой, яке ж вельке спасыби!.. Внуки мои...

Два дня, пока Устин Захарович оформлял увольнение и получал деньги, показались ему годом. Мысли его непрерывно перескакивали то к Гальке, то к внукам, то снова к Гальке. Теперь, когда не осталось надежды на то, что Галька найдётся, он уже не помнил своего прежнего к ней отношения, не помнил, как сердился и ругал её. Ему казалось, что он всегда ценил её, уважал и даже любил. Теперь он уже думал, какая она была хорошая пара Андрею, какая работящая, весёлая, как песни пела — «аж душа дрожала!» — и какая хорошая мать своим и андреевым детям, его внукам... Он старался представить себе, какие они стали, но представить не мог и вспоминал всегда одно и то же: как Галька голосит, а они, «малыта», с ужасом смотрят на мать и захлёбываются от крика... Сколько с тех пор намучились, набедовались!.. Ну, теперь уже всё, теперь, когда сн заберёт их и привезёт домой... О том, что будет, когда он привезёт внуков, думать Устин Захарович не мог. Всё сливалось во что-то яркое, звучное и радостное, что можно было назвать лишь одним словом — счастье.

Провожать Устину Захаровича на вокзал пошёл весь детский дом. Когда уже совсем собрались уходить, Ефимовна выбежала из кухни и сердито сунула Устину Захаровичу увесистый узелок.

— На вот, — ворчливо сказала она. — Сам дорогой поешь и внукам гостинца привезёшь... Я ведь вас, мужиков, знаю: никогда ни про что не подумаете!.. — и ушла на кухню, вытирая глаза.

Устин Захарович стоял на платформе, окружённый галдящими ребятами. Щёки его густо синели и пылали свежими порезами после недавнего бритья. Все старались сказать ему напоследок что-нибудь хорошее, ласковое, только Тарас молча стоял рядом и прижимался к его большой жилистой руке.

— Так смотрите, Устин Захарович, — сказала Людмила Сергеевна, — как договорились: забирайте своих внуков и возвращайтесь. Внуки будут в доме жить и вы при них. А то что ж так... Они ведь маленькие, им женский присмотр нужен.

— Добре, добре!.. Спасибо!

Устин Захарович вошёл в вагон и сейчас же высунулся в открытое окно. Ему махали платками, руками, кричали о здоровье, счастливом пути. Он тоже махал рукой и что-то говорил. Было странно, непривычно видеть улыбку на его всегда угрюмом, неподвижном лице. И не понять было,

чего больше в его улыбке — радости от предстоящей встречи со своими «малытами», внуками, или грусти от разлуки с этими «малытами», к которым так прочно приросла его душа.

Поезд тронулся, замелькали окна, двери, флажки проводников, скоро только хвостовой вагон смотрел красным сигнальным глазом на ребят, а они всё ещё стояли и махали вслед своему суровому другу.

36

Не было горечи в разлуке с Устином Захаровичем: он ехал к своим внукам, навстречу радости. Но ребятам взгрустнулось. Может, это было предчувствие новых разлук? Они подступали всё ближе. Кончались экзамены, скоро семиклассники навсегда оставят детский дом.

Миновали со всеми их страхами и волнениями такие бесконечные и так быстро пролетевшие экзамены. В последний день в класс пришли Галина Фёдоровна и Нина Александровна. Они поздравили ребят с переходом в седьмой, пожелали им хорошо отдохнуть, набраться сил для новых успехов. Борис Проценко от имени всех поблагодарил учителей и под общий смех пожелал им тоже хорошо отдохнуть от них, от ребят, потому что хотя они старались баловаться поменьше, но всё-таки, кажется, баловались порядочно. Валерий Белоус шепнул, что сейчас он тоже «оторвёт речугу». Сидящие рядом ребята придержали его за куртку, за штаны, и речь не состоялась. Потом целой толпой с гамом и смехом провожали домой Викентия Павловича. Ребята подхватили друг друга под руки и плотной шеренгой заняли всю улицу. Викентий Павлович шагал посередине. Прохожие удивлённо оглядывались на шумную толпу школьников и седеющего человека с вислыми усами, который смеялся и кричал ничуть не меньше ребят.

Возле дома Викентия Павловича шумная ватага распалась, начала расходиться. Кира, Наташа, Витька и Лёшка пошли вместе. Они поговорили о том, что каждый будет делать, куда пойдёт. Наташа оставалась в школе, Кира шла в ремесленное, Витька, так как о военно-морском училище рано было говорить, собирался в электротехникум. У Лёшки не спрашивали, считая, что он будет учиться в седьмом.

— Получается — все в разные стороны, — сказала Кира. — Жалко как! Но мы будем встречаться, обязательно! Правда?..

— Да что мы, расстанемся, что ли? — сказал Витька. — А поход?

Накануне совет дружины решил провести первый поход, пока небольшой, за двадцать километров, в Логачёвский рыболовецкий колхоз. Отправиться должны были через три дня после экзаменов, но Костя предложил сначала послать передовую группу, разведчиков, чтобы договориться с колхозом, подобрать место для ночлега, для выступления самостоятельности. В передовую группу назначили Толю Крутилина, Наташу и Киру. Толя замаялся — он хотел сразу после экзаменов ехать в Керчь и участвовать в походе не собиравшись. Витька во время обсуждения ёрзал, насупливая брови, и наконец спросил:

— А вы что, пешком?

— Подвернётся попугая машина — хорошо, — сказал Костя, — а нет — пешком.

— Так у вас на разведку два дня уйдёт! А я предлагаю на шверботе. По берегу далеко, а морем я вас в три часа по прямой доставлю!.. — сказал Витька и горделиво надулся.

— Что ж, — сказал Костя, — это, пожалуй, идея. С Лужиным о шверботе я договарюсь.

Вместо Толи, к удовольствию обоих, был назначен Витька. Он с восторгом сообщил эту новость Лёшке, ожидая, что и он так же обрадуется, но лицо Лёшки никакого восторга не выразило.

— Ну так что? И поезжайте,— сказал он, опуская глаза.

Витька озадаченно посмотрел на него, стукнул себя кулаком по лбу и бросился обратно.

— Постой! Подожди! — крикнул он, обернувшись, и убежал.

Через несколько минут Витька прибежал ещё более сияющий.

— Всё! — ещё издали закричал он. — Костя разрешил!

— Что разрешил?

— Чтобы ты — с нами! Понимаешь? Я ему говорю: так и так... А он говорит: правильно! Кто же, мол, друзей оставляет... Вообще, говорит, его надо привлекать, он, кажется, хороший парень... Это — про тебя. Понимаешь?.. Вот молодец, а? Я ж говорил — башковитый!

Отъезд был назначен на четыре часа, но уже в час Витька прибежал в детский дом и заторопил Киру и Лёшку. Они зашли за Наташей и побежали на водную станцию, потом часа два маялись, ожидая Костю и поминутно выбегая на дорогу, чтобы спросить у прохожих, который час. Наконец вожатый пришёл. Витька давно уже подвёл «Бойкого» к мосткам. Костя проверил, есть ли спасательные поплавки и на всякий случай вёсла, и скомандовал отчаливать.

Витька поставил на место руль, Костя поднял парус. Он затрещал, захлопал, потом выгнулся под ветром, у бортов зажурчала вода. Вдали от берега ветер усилился, накренил швербот, вода закрутыкала громче. Здания на берегу сливались в пёструю неразбериху, тонули в зелёном разливе садов. Белые облака разбегались от солнца и таяли.

— Хорошо как! — сказала Кира и, зажмурившись, подставила лицо солнцу.

Сиреневая падынь затянула дома и зелень, лишь прозрачный, высоко поднявшийся в небо дымный полог «Орджоникидзестали» напоминал об оставленном сзади береге.

— Ну, капитан, может, повернём? — спросил Костя.

— Пригнитесь! — скомандовал Витька.

Сжав губы, с напряжённым лицом он переброесил парус, сделал поворот и горделиво осмотрелся. Костя похвалил, остальные не поняли блеска витькиного манёвра.

Наташа старалась поймать мелькающие мимо бортов студенистые блюдечки медуз.

— Хорошая завтра будет погода! — уверенно сказала она.

Костя оглянулся на множество всплывающих наверх медуз и подтвердил: должна быть хорошая.

Берег снова появился, потемнел, на нём выросли трубы, домны завода. В ковше против красноватых гор рудного двора темнел уют затонувшего парохода. Лёшка вспомнил первую встречу с Витькой в трюме парохода, поход с Наташей. Наташа смотрела на пароход и, должно быть, тоже вспоминала. Взгляды их встретились, они улыбнулись недавнему своему ребячеству. Теперь оно казалось им далёким и давним.

И уж совсем далёким, таким далёким, словно это было не с Лёшкой, а с кем-то другим, вспоминались Ростов и Махинджаури, вопли маяка, перекошенное злобой лицо дяди Троши, побег, грузно кланяющийся волнам «Гастелло», первые дни в детдоме... А сейчас уже наступали и последние.

Рано утром, выбрав момент, когда Людмила Сергеевна была одна, Лёшка пришёл к ней.

— Ты что, Алёша?

— Я хочу попросить... Вы пустите меня в ремесленное?

— В ремесленное? Что тебе не терпится? Ты ещё год можешь жить здесь. А на кого ты хочешь учиться?

— На сталевара.

— На сталевара? Это трудно — сталеваром.

— Я знаю... Но я хочу.

— Хотеть — мало.

— Я выдержу... Смогу!

— Ну, что ж,— сказала Людмила Сергеевна.— Иди, если хочешь и уверен, что сможешь... Но ещё есть время: подумай как следует!

— Ладно. Только я всё равно не передумаю! — улыбнулся, убегая, Лёшка.

Ещё какой-нибудь месяц, и надо подавать заявление, и начнётся уже совсем другая жизнь...

Завод остался по левую руку, потом позади. Откос берега за ним отливал стеклянным блеском. Вдруг на нём показалась, потекла вниз яркочерная струйка.

— Что там? — показала Кира.

— Отвал. Шлак выливают,— объяснил Костя.— Не устал, капитан? А то давай смену.

— С чего это я устану? — оттопырил губу Витька.— Первый раз, что ли?

Его распирали гордость. Пусть никто, кроме Кости, не понимает, как здорово водит он швербот, но Костя-то понимает!

Показался крутой обрыв Логачёвки, причальные мостки приёмочного пункта рыбозавода. Они причалили к мосткам, потом, насколько позволяла глубина, подвели «Бойкого» к берегу.

Костя и ребята ушли в правление колхоза, Лёшка остался сторожить швербот, вахтенным,— объяснил Витька. Лёшка сел на носу, свесил ноги через борт.

У самого уреза воды ходили скворцы, важные, как лакеи во фраках из зарубежных фильмов, и клевали тюльку, выброшенную волной на берег. Переваливаясь и гогоча, пришли гуси и прогнали скворцов. Скворцы уселись все на один небольшой куст и громко затрещали, не то ругая грубых гусаков, не то ссорясь между собой. Потом сделали дружное «фр-р» и улетели.

Катер подвёл к причалам две большие лодки, до бортов налитые се ребристой тюлькой. Рыбаки опустили в лодку раструб прорезиненного ребристого шланга. Заработал мотор, вздрагивающая труба рыбососа начала вбираться, всасывать тюльку и выбрасывать её на транспортёр. Бегущая дорожка транспортёра проходила под соляным бункером, из него сыпалась соль, и уже посоленная тюлька падала в чан.

Косые тени стали бесконечными, когда Костя и ребята вернулись на берег. Их сопровождал рыбак с морщинистым коричневым от загара лицом.

— В сушилке будем ночевать,— сообщил Витька.— Там места на всю школу хватит...

— Давайте быстрее, ребята,— сказал Костя.— Пора домой, а то что-то ветер затихает...

— А он уж вовсе убилися,— сказал рыбак.

Ветра не было. Замерли деревья на откосе, море стало зеркальным.

— Вам бы катером, он бы враз отбуксировал до города,— сказал рыбак.

— Да ведь он ушёл!

— Ушёл.

— А ветер, как думаете, поднимется?

Рыбак посмотрел на море, на небо.

— Наверяд. Коли о сю пору убилися, до утра наверяд чтобы поднялся.

— Чтс будем делать? — спросил Костя, и Лёшке показалось, что он лукаво прищурился.

— Переночуйте, вот и вся недолга,— сказал рыбак.— Хоть у меня в хате. Места хватит.

— Я от швербота не пойду,— сказал Витька,— я за него отвечаю.

— Правильно! А остальные как?

— А мы,— загорелись у Наташи глаза,— а мы хуже? Давайте мы тоже. Вот хоть здесь,— показала она на ворох старых, ожидающих починки сетей.

— Да идёте в хату! — предложил рыбак.

— Нет, спасибо! Решили — остаёмся здесь,— сказал Костя. По всему было видно, что он очень доволен таким решением.— Только, может, кто о мягкой постели горюет?..

— Это мы-то? — возмутилась Кира. — Да я могу и вовсе не спать!

— Вот видите,— сказал Костя рыбаку, разведя руками.— Ну ладно, устраивайтесь, а я пойду в «Рыбкооп» за провиантом.

Костя и рыбак ушли. Витька и Лёшка пошли собирать всё, что могло гореть: сухие ветки, палки. Лёшка, вспомнив ночёвку в поле, собирал коровьи лепёшки.

— Фу, гадость! — сказала Наташа, увидев лёшкину добычу.

— Не гадость, а топливо,— возразил вернувшийся Костя.— Палочки сгорят в полчаса, а этого добра хватит на всю ночь. Там, где леса нет, кизяк — топливо первый сорт...

Они поели колбасы и хлеба, принесённых вожатым, напились сладкой и липкой фруктовой воды.

Над уснувшим посёлком громкоговоритель под рассыпчатое треньканье долго и тягуче призывал: «Приходи же, друг мой милый!..» Потом в громкоговорителе щёлкнуло, на посёлок упала тишина. Звёзды одна за другой вспыхивали в небе, и тотчас загорались их близнецы в чёрной глади моря. Красноватые отблески костра змеились по ней, тянулись к звёздам и не могли дотянуться.

Витька, уткнувшись лицом в согнутый локоть, засопел. Кира и Наташа тоже прилегли. Звёзды в море начали дрожать, двоиться, и Лёшка незаметно уснул.

Проснулся он от предутренней свежести. Костёр потух. Был тот предрассветный час, когда сгущается ночная тьма, словно пытаешься противостоять наступлению света. Его ещё не было, но он близился, подступал к горизонту, и темнота бросала ему навстречу всю свою мрачную глухую силу.

Деревья на обрыве шумели, тихонько лопотали, всплескивали волны. Еле различимо мерцали звёзды в небе, но уже ни проблеска света не было в море.

Лёшка подбросил в костёр веток, начал раздувать тлеющие угли. Костя проснулся.

— Вставайте, ребята! Надо ехать, пока ветер.

Поёживаясь от холода, ребята забрались в швербот. Темносерое крыло паруса шевельнулось над ними, и сразу где-то позади, во мраке, осталась причал, рыбацкий посёлок и берег.

— Как же мы в потёмках? — спросила Кира.— Ещё заедем куда-нибудь...

— Не заблудимся,— сказал Костя, сидевший теперь на руле.— Выйдем за мысок — откроется город, завод. Да и утро скоро...

Цепочка далёких мерцающих огоньков вскоре открылась по горизонту с правого борта, но Костя вёл швербот дальше, в открытое море. И только когда задрожали в воде отражения таких же далёких огней завода, он положил руль на борт и перебрросил парус.

— Смотрите, смотрите! — закричала Кира.

Среди смутного марева заводских огней вспыхнула огненная нить.

— Плавка идёт,— сказал Костя.

Огненная нить померкла, потом вспыхнула снова, пронизывая, прожигая мрак. Он сдался и отступил. Небо позади домен посветлело, окрасилось розовым. Будто зажжённая огненной нитью, занималась заря.

Костя переменял галс, парус закрыл завод, но не мог скрыть зарю. Отблески её струились по воде, светом наливалось небо, и даже парус, будто накаляясь, начал розоветь.

Ветер дул с северо-востока, Косте приходилось лавировать. Когда он снова сменил галс и перебрал парус, солнце уже поднялось над горизонтом и уже не розовым, а золотистым светом залило берег. Ребята никогда не видели его при восходе солнца, он показался им незнакомым и таинственным.

— Мы,— сказала Наташа,— мы сейчас как аргонавты...

— Ага,— подхватил Витька,— как у Джека Лондона. Помнишь:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом,
И мы плывём, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном...

— Да нет! — поморщилась Наташа. — То ж золотоискатели. Вот оно, золото! Смотрите!

Она перегнулась через борт, зачерпнула в горсть воды. Солнце стекло с её пальцев золотыми каплями.

— Капитаны! — вскочил Витька. Капитаны были для него воплощением всего лучшего, и, приближая мечту, он называл всех и себя капитанами.— Капитаны! Золотой берег перед нами. Полный вперёд!

Ветер, заходя к востоку, усилился. Костя переложил руль, «Бойкий» накренился и стремительно понёсся к берегу.

Лёшка вспомнил напутствие Анатолия Дмитриевича.

— Полный вперёд! — крикнул он.— Чтобы ветер свистал в ушах!

Ясный свет разгорающегося утра струился на лёгкой волне и бежал им навстречу.

1952 — 1954 гг.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Н. ФЕДОРЕНКО

★

ВСТРЕЧИ С КИТАЙСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

ЛАО ШЭ

Весной сорокового года, вскоре после своего первого приезда в Китай, я совершил автомобильную поездку к подножию Сычуаньских Альп. Мы ехали по дороге, издревле связывающей Центральный Китай с Тибетом. Как сто, двести лет назад, тысячи и тысячи кули взбирались по ней на «Крышу мира»; они двигались в такт медленно раскачивающимся коромыслам, к концам которых прикреплены сумки с солью или коробки с чаем. Палит ли нещадно солнце, неистовствует ли дождь — кули должен пробежать за день свои тридцать километров. Дорога выстлана битым камнем, она взбирается с уступа на уступ и круто уходит в поднебесье, пересекает с полсотни ручьёв и горных рек. Но кули должен идти! Он должен двигаться, не останавливаясь, двигаться безостановочно, как движется только солнце. И, соперничая только с солнцем в безотказности и точности, он должен быть в Лхасе в урочный день.

Где-то по дороге в Чэнду под кроной развесистого каштана я встретил кули, расположившихся на привал. Они только что закончили нехитрую свою трапезу и, растянувшись на траве, отдыхали. Были они почти голы: соломенная шляпа и кусок материи, обёрнутой вокруг бёдер, — вот и всё одеяние. Только у некоторых на ногах верёвочные сандалии или постолы из грубой кожи. Те, кто сидел у дерева, подняли ноги, уперев их в ствол: прежде чем двинуться дальше в путь, нужно согнать кровь, вернуть ногам лёгкость.

Войдя под тень дерева, я услышал голос старика. Спина у него, как и у всех старых кули, была выгнута колесом, но ноги с округлыми и, как мне показалось, твёрдыми икрами оставались мускулистыми, сильными. Верно говорят китайцы: ноги — самое большое богатство кули. Ходят они — кули сыт. Сдали ноги — кончилась жизнь.

— Говори, говори, отец, а то не успеешь досказать, — подал голос парнишка, устроившийся у ног старика.

Старый кули, не обращая на меня внимания, продолжал свой рассказ.

Это был рассказ о рикше — о мученической судьбе человека, у которого богачи пытались отнять разум, сознание, волю.

— А рикше что терять?.. — произнёс старик. — Что терять рикше? Для него нет перины мягче камня мостовой, нет одеяла теплее звёздного неба. Вот и лёг рикша отдохнуть ночью чуть ли не под боком у богатого англичанина на проспекте Небесного Спокойствия. Спит англичанин на главной улице Пекина, спит и рикша на главной улице Пекина... Не беда, что у одного пуховик под головой, а у другого — мокрый камень...

Кули смеются, невесело смеются.

— Рассказывай, рассказывай, земляк...

А я слушал и думал: где же я читал рассказ, который только что поведал старик своим товарищам? Да не Лао Шэ ли это?

Предлагаемые читателю воспоминания Н. Федоренко являются частью цикла «Встречи с китайскими писателями», опубликованного в журнале «Новый мир» №№ 9, 10 за 1954 год.

— Старик, — спросил я кули, когда тот собирался в путь, — ты знаешь, кто сложил эту историю о рикшах?

Старик засмеялся.

— Знаю...

— Кто?

— Да такой же весёлый парень, как и я... Может быть, шошуды или странник — вот такой же, как я, — странник...

— А имя его?

— А у людей, что называют себя странниками, нет имени, как нет и дома...

— Эту историю о рикшах составил Лао Шэ. Слышал про такого?

Старик задумался, но ненадолго.

— Ну, что ж, передай ему наше спасибо за весёлый нрав...

Рядом со стариком стоял парнишка, тот, что лежал у ног старика.

— ...И за злость, — сказал он.

Кули поднялись по белой пыльной дороге в гору. Дорога становилась всё круче, а кули шли всё той же прыгающей походкой в такт раскачивающимся ксромыслам. Я смотрел вслед им и думал о писателе, имя которого было только что произнесено. Он должен быть счастлив, даже если, сохранив рассказ, кули не сберёт его имени...

Лао Шэ — выдающийся современный писатель-сатирик, беспощадный обличитель косного, тёмного, борца за свободный и независимый Китай. Он автор романов «Нужда», «Страх», «Голод», «Философия старого Чжана», «Развод», «Рикша». Любимым жанром писателя является новелла, в искусстве которой Лао Шэ — признанный мастер. Замечательный знаток народного разговорного языка, он создал произведения, которые знает и любит народ. Многие сюжеты его произведений подхвачены странствующими сказителями — шошуды, вошли в народную память.

Как подлинный мастер новеллы, Лао Шэ достиг завидного совершенства в построении сюжета — напряжённого, хорошо развитого, с внезапными поворотами и развязкой.

Во мне долго жило впечатление, произведённое его рассказом «Чёрный и белый Ли», или «Братья», как этот рассказ был назван писателем позже.

Вот как развивается сюжет этого рассказа.

У автора есть два друга — братья Ли. Внешне они похожи. Единственное, что отличает братьев: маленькая чёрная родинка над бровью старшего. По этой причине школьные друзья зовут старшего Чёрным Ли, младшего — Белым Ли. Умирая, мать наказывала сыновьям — в горе, в радости быть вместе. До последнего времени братья были верны завету матери. Но совсем недавно нерасторжимые, казалось бы, узы чуть не оборвались: братья влюбились в одну девушку. Положение спас Чёрный Ли — он принёс свою любовь в жертву брату. Но Белый Ли не понял его благородного поступка. Больше того, он оценил этот поступок как отсутствие воли. По крайней мере так он сказал автору рассказа. Автор же никак не мог понять упорного стремления Белого Ли поссориться с братом. Секрет раскрыл рикша Ван У. Из его слов автор понял, что Белый Ли является вожакom нелегальной революционной организации и, не желая подвергать опасности брата, всячески стремится спровоцировать с ним ссору. Однако старший не идёт на ссору — верный завету матери, он стремится любой ценой сберечь дружбу с братом. Развязка наступает внезапно. Мощная демонстрация, организованная Белым Ли, разгоняется полицией, и младший брат скрывается из города. Стараясь навести полицию на ложный след, обмануть бдительность полиции и спасти жизнь брата, Чёрный Ли сводит над бровью родинку и становится похожим на Ли Белого. Полиция врывается в дом братьев и хватает Чёрного Ли, ошибочно полагая, что в её руки попал Ли Белый. Старший брат не выдаёт тайны и молча идёт на казнь с сознанием того, что спасает жизнь брата.

Так заканчивается этот рассказ, в котором своеобразный талант Лао Шэ-новеллиста проявился с большой силой.

Крупный художник слова, Лао Шэ является также одним из видных знатоков древней китайской литературы. Его литературоведческие статьи обнаруживают и вкус, и эрудицию, и глубокое понимание проблем, стоящих перед отечественной литературой.

Впервые я встретил Лао Шэ в 1940 году у подножия Сычуаньских Альп, неподалёку от местечка с поэтическим названием Гэлэшань, что означает «Гора песен и ра-

дости». Здесь, в деревеньке Лайцзяо, стоящей посреди обширного рисового поля, находился скромный дом Го Мо-жо, в котором жила тогда семья поэта.

Мой друг Го Мо-жо познакомил меня с писателем Лао Шэ.

Лао Шэ был серьёзен, очень серьёзен. И в то же время невидимая смешинка бродила по его лицу. Его широкие губы с заострёнными и приподнятыми уголками делали лицо улыбающимся, хотя Лао Шэ строг, всегда очень строг. Короткие и несколько изогнутые брови вздёрнуты, и кажется, что он чему-то удивляется. Но это не так. Лао Шэ спокоен и невозмутим, совершенно невозмутим.

Наша беседа с Го Мо-жо продолжалась уже часа три, когда у ворот раздался звук автомобильной сирены. Поэт распахнул створки окон своего рабочего кабинета, Приехали друзья поэта, и среди них Мао Дунь.

Хозяин пригласил нас к обеду. За столом не умолкала беседа. Новая картина Сюй Бэй-хуна и работы яньваньских графиков, показанные на последних выставках в Чунцине, большой концерт, который дал оркестр, управляемый композитором Ма Сы-цунюм, и цикл военных стихов Ай Цина — всё вызывало живой интерес писателей.

Нелегко было им работать в гоминдановском Китае. Едва ли не к каждому был приставлен тайный агент, маршруты же многих были ограничены пределами Сычуани. Их не мог преодолеть даже Го Мо-жо, с авторитетом которого вынуждена была считаться тайная полиция Чан Кай-ши. Трудно было работать художникам в гоминдановском Китае, но писатели, актёры, музыканты работали, работали больше, чем когда-либо прежде, — их воодушевляла великая идея освободительной борьбы, сознание того, что в одной яме с японской деспотией народ похоронит и гоминдановских инквизиторов. И не случайно кто-то во время беседы спросил Лао Шэ:

— Как твои новые рассказы, Лао?

— Плохо..

— Что так?

— Мало работаю..

В разговор вмешался Го Мо-жо — властно, с несвойственной ему резкостью:

— Нет, не так!.. Неправду говорит Лао Шэ!.. Он много работает, много и хорошо!

Кто-то из гостей вспомнил одного из пекинских друзей Лао Шэ и спросил писателя, что он знает о нём. У Лао Шэ словно выпрямились изогнутые полумесяцы бровей, лицо стало строгим.

— Ничего не знаю.. Уже два года ничего не знаю..

Вспомнили Пекин — в эту пору хорошо в его парках.

— Верьте мне, — сказал Лао Шэ, — нет города в нашей стране прекраснее Пекина..

Лао Шэ — уроженец Пекина, и, кажется, нет ничего на свете, о чём он мог бы говорить с таким увлечением, как о Пекине. И надо отдать ему должное — и на этот раз он говорил хорошо.

— Я верю, — сказал Лао Шэ, — что к этому древнему городу, может быть самому древнему на земле, ещё вернётся юность.. Мы с вами будем свидетелями этого..

В ранние сумерки, когда спадает жара и кажется, что далёкие горы смыкаются с дымным небом, мы возвращались с Лао Шэ полями, лежащими вокруг Лайцзяо. Пахло пылью, разомлевшими после полуденной жары травами, сладковато-горьким запахом ромашки, которая выбелила кюветы и канавы.

— С годами я стал понимать, — сказал Лао Шэ, — что прелесть истинной литературы отнюдь не в игре словом, что смех нужен только тогда, когда он становится средством борьбы за высокие человеческие идеалы. Может быть потому, что я сам происхожу из бедной семьи, во мне живёт сочувствие к людям нужды. В силу моих профессиональных обязанностей мне приходилось возвращаться в так называемой интеллигентной среде, но моими друзьями чаще всего являются шошуды — странники, бродячие актёры, кули и рикши. И общение с ними, с людьми лишений, отнюдь не состоит в том, что я посижу с ними в чайной и украдкой понаблюдаю за их действиями и речами, чтобы потом перенести эти наблюдения в свою записную книжку. Нет, я этим не занимаюсь. Напротив, когда я с ними, я совершенно свободен от заботы наблюдать за ними. Иногда они мне помогают, иногда я помогаю им. Такие отношения позволяют

мне понять не только условия их жизни, но и их душу. А это очень важно, если учесть, что мы ищем типичное в характерах людей.

На поля упал туман. Лао Шэ поправил очки, накинул на плечи пиджак, который до сих пор нёс в руках, пошёл медленнее.

— Я начал писать свои рассказы, — продолжил он разговор, — без намерения опубликовать их. Мне доставляло удовольствие писать на языке, который понятен и рикше и учёному-астроному. Меня не могли увлечь старые маститые писатели, которым я прежде подражал. Радость языкового раскрепощения, когда разговорная речь пришла на смену литературному языку, заставила меня и многих других молодых людей писать по-новому. К тому же именно в то время до нас дошли вести о великой революции в России, о марксистской науке. Понятие «классовая борьба» впервые открылось нам именно в ту пору. И разве всё это не тронуло наши сердца, сердца детей нужды, которых до сих пор приучали объяснять все невзгоды мира волей судеб.

Я знал Лао Шэ — остролова и жизнелюба, человека, обладающего способностью видеть в людях смешное. Мне всегда казалось, что многие из созданий писателя если и носили социальный характер, то исключительно потому, что Лао Шэ умел наблюдать жизнь и при всех обстоятельствах видеть правду жизни, а ведь правда жизни всегда социальна. Так казалось мне прежде. А сейчас я слушал писателя, и иное мнение складывалось у меня. Оказывается, многое из того, что дал писатель своему народу, было предопределено истинной зрелостью его взглядов.

Мы вернулись в Лайцзяцяо, когда в крохотных оконцах глинобитных фанз уже зажглись огни. Калитка была предусмотрительно открыта, как и дверь в дом. Оттуда доносился аппетитный запах жареного лука.

Лао Шэ многозначительно поднял палец.

— Не знаю, как остальные наши друзья, но повар наш бодрствует..

В тот вечер мы долго не расходились, и душой общества, вновь собравшегося за дружеским столом, являлся Лао Шэ. Он был поистине в ударе и открылся нам с такой неожиданной стороны, какую едва ли можно было предположить в нём. Кто-то из друзей его сказал мне однажды: «Если бы Лао Шэ обладал только артистическими талантами, то и тогда бы он был человеком незаурядным. Но ведь он ещё и писатель». Лао Шэ действительно обладает незаурядным артистическим талантом, и в этот вечер он явил его в полной мере. Он читал стихи, импровизировал. Искусством импровизации, так распространённым на востоке, Лао Шэ владел безупречно. Он разыграл, например, сцену, в которой было трое действующих лиц. Каждое из них было словно вылеплено Лао Шэ, и в этом необычном ваянии участвовали лицо, голос писателя.

Когда, прощаясь с Лао Шэ, я пожал ему руку, у меня было такое впечатление, будто я давно знаю его и то, что узнал о нём сегодня, лишь дополнило то, что знал о нём прежде.

Я не видел Лао Шэ много лет. Из газет я знал, что после освобождения писатель вернулся в свой родной город. Вскоре стало известно, что он закончил свою новую пьесу «Лунсюйгоу». Редко произведение новой китайской литературы получало столь единодушную восторженную оценку, как эта пьеса.

Приехав в Пекин, я едва ли не в первый же свободный вечер побывал в Пекинском художественном театре на представлении «Лунсюйгоу».

Занавес поднялся, и взору зрителей открылся небольшой дворик в рабочем районе Пекина на берегу Лунсюйгоу, что значит «Канавы усов дракона». Во двор выходят три дома — крохотных, будто выросших из самой земли. Через двор протянута верёвка, на ней сушатся лохмотья. В каждом домике — своя семья. В одном — рикши, в другом — актёр, лишившийся рассудка, в третьем — суеверная вдова Ван Да-ма.

Пьеса Лао Шэ — рассказ о поистине драматических судьбах людей. Вот актёр Чэн. Заботы о куске хлеба лишили его рассудка. Человек чистой и возвышенной души, он олицетворяет в пьесе мечту о справедливости. Будь Чэн человеком нормальным, многое из того, что он говорит, едва ли осталось бы для него безнаказанным в гоминдановском Китае. Но Чэн — безумец, и власти не могут не считаться с этим даже тогда, когда им здорово достаётся от него. А Чэн словно пользуется этим, и его устами нередко глаголет истина. Много едких, обличительных слов, облитых злым сарказ-

мом, произносит он по адресу гоминдановской нечисти, и народ прислушивается к словам Чэна.

Интересны образы рикши Дин Сы и его жены Дин Сы-сао. Не разгибаясь, катит свою трёхколёсную тележку Дин Сы по Пекину. Тяжело достаётся ему каждый грош. Он уже не молод — у него двое взрослых детей, но он не оставляет своей работы. Тяжкий труд ожесточил сердце Дин Сы — недоверчиво, угрюмо смотрит он на мир. Ничто не в силах вывести его из состояния озлобления, и, напившись, он набрасывается на жену, и тогда плачем наполняется маленький дворик на канаве Лунсуй.

Но вот Пекин освобождён. На Лунсуйгоу начаты большие работы. Преображается пекинское предместье. Очищены от грязи и введены в каменное русло воды канавы Лунсуй. В работах по благоустройству деятельно участвуют пекинцы и среди них — Дин Сы.

И, наконец, в третьем доме живёт старуха Ван Да-ма с дочерью Эр-Чунь. Подобно остальным обитателям дворика, она нелёгким трудом добывает себе рис насущный. Но не только тяжёлые оковы нужды несёт на себе Ван Да-ма. Она боится сделать шаг, не оглянувшись на бога, ей кажется, что каждая попытка разрушить старый уклад жизни дорого обойдётся человеку, и потому яростно нападает на каждого, кто стремится изменить жизнь.

В образе Ван Да-ма писатель показал, как господствующие классы отравляют сознание бедноты, превращая подчас раба в ревностного защитника рабства, заставляя кандальника оберегать свои кандалы. Но свет новой жизни проникает в, казалось, непроницаемую тьму, которая застлала сознание Ван Да-ма, и тьма отступает.

Есть в пьесе человек, судьба которого связана с судьбами всех трёх семей. Он незримо остаётся на сцене даже тогда, когда его там нет. Всем своим существом он олицетворяет идею пьесы, её ведущую мысль. Это каменщик Чжао — главное действующее лицо пьесы. Он много ездил по стране, многое видел, он лучше своих соседей знает людей, жизнь, но ничем не обнаруживает своего превосходства над ними. Человек незаурядного ума и жизненного опыта, он — вместе со своими соседями во всех испытаниях. Лао Шэ с симпатией относится к своему герою и очень хочет, чтобы его полюбил и зритель. И зритель высоко оценивает чуткое и мужественное сердце Чжао, его цельную натуру, которая так полно олицетворяет пробуждающееся сознание народа. Не случайно именно Чжао становится в пьесе страстным поборником реконструкции Лунсуйгоу. За ним идут все: и рикша Дин Сы, труд которого теперь приобрёл общественное значение, и его сынишка Эр Цзя-цзы, и дочь Ван Да-ма — совсем юная Эр-Чунь, — и даже сама Ван Да-ма, которая теперь поняла многое из того, что отказывалась понимать прежде. Конец канавы Лунсуй для каждого из них означал конец старой жизни и начало жизни новой..

С волнением смотрел я эту пьесу. Спектакль получился яркий, впечатляющий, хотя в постановочном отношении он был небогат. Впрочем, постановочной роскоши не требовалось и по самой пьесе, где события происходили на фоне трёх полуразрушенных домов пекинского предместья.

Мы долго бродили в тот день с Лао Шэ по улицам Пекина. Мы шли по городу, и многое из того, что открывалось нашему взору, было как бы естественным фоном нашей беседы. Вспыхивали синие огни электросварки — рабочие сваривали трубы водопровода, теплоцентрали или газопровода. Иногда этот синий шипящий огонёк вспыхивал в небе едва ли не вровень с зеленоватыми звёздами — где-то высоко над городом рабочие сооружали железный каркас нового здания. Работали плотники, отчётливо слышался посвист рубанка, звон пилы, ладная работа топора. И не было лучшего аккомпанеента к рассказу Лао Шэ о Пекине, как этот молодой шум строящегося города.

В следующий раз я встретился с Лао Шэ, когда Пекин готовился отметить пятилетие со дня провозглашения республики. Только что закончила свою работу Первая сессия Собрания народных представителей, принявшая Конституцию республики. Лао Шэ был среди тех двадцати восьми посланцев Пекина, которых делегировал на сессию великий город.

В Пекин съехались гости со всего мира. У нового здания гостиницы, подстерегая делегатов, толпились любители автографов. В этой праздничной суতোлке найти Лао

Шэ было не так-то легко. Мне сказали, что писатель собирает материал для своей новой пьесы и целые дни проводит на стройке жилого городка, сооружаемого для советских специалистов. «Поезжайте туда, — посоветовали мне. — То, что вы увидите, вас тоже заинтересует. Посмотрите, как китайцы строят этот городок, и вы увидите отношение рядовых китайских рабочих к Советской стране...» Я поехал, но Лао Шэ там не застал — мы разминулись с ним. Строящийся городок я всё же успел осмотреть.

То, что я увидел, взволновало меня. Китайцы делали всё, чтобы создать комфортабельные жилища. «Мы хотим показать нашим советским друзьям, — сказал мне китайский инженер, — что являемся достойными их учениками...»

Когда мы встретились с Лао Шэ, он сказал мне, что пьеса, которую он задумал, будет написана на материале этого строительства и явится своеобразным продолжением «Лунсюйгоу». В новой пьесе Лао Шэ намерен развить тему преобразования родного города, показать формирование нового человека, его становление и возмужание.

Лао Шэ говорил о росте авторитета народного государства, о том, как близко к сердцу принимает народ радости и печали этого государства, а я думал о том, как все эти качества, свойственные народу, сказались на духовном облике самого Лао Шэ. И дело не только в том, что его круг интересов стал шире, так же как и сфера его деятельности. Сегодня Лао Шэ не просто писатель, хотя и очень видный, но ещё и государственный деятель, активный строитель нового китайского общества. Он депутат Собрания народных представителей, редактор крупного столичного журнала, видный педагог.

— Если бы меня спросили, — сказал Лао Шэ, — что определяло жизнь нашего народа в эти пять лет, что было девизом нашей борьбы, я сказал бы: «Не бояться трудностей, смело идти вперёд, наперекор им...» В самом деле, сила нового Китая — в единстве. Обладая таким единством и такой волей к борьбе, какой обладаем мы, можно сдвинуть горы и осушить моря. Строительство плотины на Янцзы и создание железной дороги из Чунцина в Чэнду с её сороска туннелями и доброй тысячью мостов — разве это не похоже на чудо? Нам, писателям, надо учиться у народа, обладающего такой титанической энергией.

Во времена гоминдана, — продолжал он, — никому и в голову не приходило поинтересоваться: работает Лао Шэ или нет, жив Лао Шэ или он уже скончался. Власти были озабочены другим: как бы рукопись Лао Шэ не попала в печать прежде, чем клеймо цензорской кисти упадёт на неё. Власти интересовались одним: каким образом предупредить выход книги в свет, а писателя, создавшего эту книгу, упечь за решётку. Теперь у писателя широкий простор для творчества. И государство и общественность единодушны в своём желании помочь писателю осуществить его замысел, каким бы широким и смелым он ни был. Когда я работал над пьесой «Цветы весны и плоды осени», мэр Пекина и его заместители трижды побывали на спектакле, а потом участвовали в обсуждении его. Я работаю тридцать лет, но только в новом Китае почувствовал настоящее внимание к себе.

Когда-то я мечтал о возвращении в Пекин. Я думал о древнем городе, которому предстоит пережить ещё раз пору своей юности. И вот эта юность пришла. Я вижу её не только в том, что древний город оделся лесами, как одевается ими только новый город, но и в том, что он преобразуется руками молодых хозяев нашей жизни, работающими руками вот таких же чудесных юношей и девушек, что вечерами собираются в нашей литературной школе...

Я вспомнил эти слова Лао Шэ на другой день, когда ранним вечером увидел его в кругу молодых людей на одной из улиц Пекина. Наверное, только что кончились занятия в литературной школе, и ученики провожали своего учителя домой. Лао Шэ говорил, и молодые люди слушали его молчаливо, сосредоточенно. Они пересекли площадь и скрылись под купами деревьев старого пекинского парка, уже начавшего ронять свою листву.

ДИН ЛИН

Ничто не раскрывало так полно истинных намерений японских военных, их тревоги, их насторожённости, нередко перерастающей в страх, как листовки, которые они щедро рассеивали над китайскими полями.

Они грозили обратить в пепел Яньань и «огненным маршем» пройти по городам и сёлам Пограничного района. Громы и молнии обрушивали они на головы прославленных полководцев Пын Дэ-хуая и Хэ Луна, Линь Бяо и Лю Бо-чэна. И было одно имя, которое занимало в японских листовках едва ли не такое же место, как и имена прославленных военачальников. Оно принадлежало женщине, чьё мужество было известно борющемуся Китаю. Скромная и радушная, с лицом простой крестьянки, в шинели солдата, она наводила страх на захватчиков. Она была поистине грозой захватчиков, хотя на её боевом счету не было ни подбитых танков, ни взорванных дзотов и единственным её оружием было перо.

Имя её — Дин Лин.

Произведения Дин Лин — «Наводнение», «Мечты», «Во тьме» — были преданы гоминдановской охранкой анафеме. В тяжкие дни Дин Лин возглавила бригаду писателей и композиторов. Среди её сподвижников было много шанхайских друзей, в том числе прозаик Чжоу Ли-бо, поэт Кэ Чжун-пин, композитор Люй Цзы. Эта бригада шла по фронтам, по самым неожиданным и опасным маршрутам. Неоднократно она пересекала линию фронта и подолгу действовала в местах боевой деятельности партизан. «Неустрашимая», «Наша Пассионария», «Дочь Китая» — так в те годы называли солдаты Дин Лин.

Я хотел знать о Дин Лин значительно больше того, что доходило до меня извилистыми путями войны, но не так-то просто было добыть эти сведения в ту пору.

Моё желание исполнилось много позже.

Путешествуя по Китаю, я посетил Сиань и долго беседовал с поэтом Кэ Чжун-пином, тем самым, что сопровождал Дин Лин в её тяжёлом походе.

Кэ Чжун-пин — замечательный поэт, один из зачинателей современной китайской революционной литературы, автор книги стихов «От Яньани до Пекина». И самое яркое в его биографии — период, который он провёл вместе с бригадой, возглавлявшейся Дин Лин.

Рассказ о Дин Лин мне хотелось услышать от него.

— Она родилась в хлебородной Хунани и провела там детство, — начал Кэ Чжун-пин. — Приехала в Шанхай, когда ей едва исполнилось семнадцать лет. Это было памятное для нашего общества время. В китайских семьях шла великая ломка — извечная в буржуазном обществе проблема отцов и детей необычайно обострилась. Всё громче звучал голос китайской женщины, протестующей против подневольного положения, неравенства, угнетения. Многие девушки покидали свои семьи и в поисках идеалов бросались в бурное течение жизни больших городов. Дин Лин была человеком именно такого склада — ищущей, непокорной, настойчивой в своих стремлениях. Протестуя против патриархальных традиций своей семьи, она отказалась от фамилии своего отца и приняла имя матери. Это была своего рода форма протеста. Позднее в одном из своих первых рассказов — «Дневник Софьи», — опубликованном в лусиновском «Ежемесячнике новелл», Дин Лин нарисовала образ девушки, страстно защищающей право женщины на равное с мужчиной положение в обществе. Софья жаждет жизни, исполненной радости творчества, счастья настоящей любви. Человек, с которым связала её судьба, кажется ей недостойным её больших чувств. И она глубоко презирает его.

Первые рассказы Дин Лин обратили на неё внимание читающей публики. Её книги принадлежали к тем, что сами прокладывают себе дорогу. Ей не было полных двадцати четырёх, когда она стала редактором журнала «Большая Медведица». Это был не только успех Дин Лин-писательницы, но и успех Дин Лин-революционерки. Журнал, в сущности, являлся органом Лиги революционных писателей Шанхая. Но Лига была разгромлена, и её вожди казнены. Среди них был и поэт Хо Е-пинь — человек, с которым связывали Дин Лин дружба и любовь.

Подвиг тех, кто был теперь мёртв, только усилил решимость живых к борьбе. С утроенной энергией живые продолжали дело своих погибших товарищей.

Дин Лин была схвачена на одной из шанхайских площадей и посажена в тюрьму. Неслышанно тяжёлые испытания обрушились на неё. Но она не дрогнула. Больше того, она бежала из тюрьмы... Бежала в Яньань.

Ей не было ещё тридцати, а она извела уже многое из того, что суждено испытать человеку, избравшему путь революционера: и разрыв с отцом, и потерю мужа, и тюрьму.

Партия звала тогда писателей создать искусство, способное внушить народу веру в свои силы, воодушевить его на борьбу. Дин Лин возглавила бригаду писателей и композиторов и пошла на фронт.

В Яньани Кэ Чжун-пин был рядом с ней целые годы. Он мог сказать: «Я её видел, я говорил с ней».

— Бригада Дин Лин? О, это было поистине кровное братство! — горячо сказал он. — Многие из бригады стали потом известны всей стране и далеко за её пределами. Чжоу Ли-бо написал замечательный роман «Ураган», да и слава самой Дин Лин давно перешагнула границы Китая. И всё-таки в её жизни это были знаменательные годы, тяжёлые, но прекрасные. Такие понятия, как возраст, образование и, тем более, сословные предрассудки, то есть всё то, что делило прежде людей, для нас не существовали. Все мы были преданы революции. И это при всех обстоятельствах было главным.

Кто был в бригаде Дин Лин? Большею частью студенты из Бейпина, Тяньцзиня и особенно Шанхая. Кстати, от шанхайцев в бригаду пришли участники знаменитых шанхайских хоров. Вы слышали о них? Ещё в пору осады Шанхая японцами в городе возникла добрая сотня самодеятельных хоров. В них вошли студенты, докеры, текстильщицы, кули. Хор появлялся на площади и запевал одну из тех патриотических песен, которых было так много создано в те годы в Шанхае композиторами-коммунистами Си Син-хаем и Люй Цзи. Названия этих песен говорят сами за себя: «Марш против агрессии», «Рабочие, вставайте на битву с врагом!», «Победа близка». Заслышав пение, на площадь стекались горожане. Песню подхватывали сотни, тысячи голосов. Все, кому однажды пришлось слышать это пение, никогда его не забудут. В могучем шквале голосов слышалась решимость народа изгнать захватчиков, порвать цепи рабства, дать отечеству долгожданную свободу. В бригаде работал человек, который наряду с Си Син-хаем был организатором шанхайских хоров, — композитор Люй Цзи.

Мы искренне считали, что сплоченнее и дружнее этого коллектива нет на свете. И этой сплочённостью мы были во многом обязаны Дин Лин.

— Как работала бригада?

В китайской Красной армии была традиция: перед боем к солдатам с горячим, вдохновенным и воодушевляющим словом обращался командир. Обычно он говорил о патриотическом долге воина освободительной армии.

И вот на фронт прибыла наша бригада, и пределы этой традиции словно раздвинулись. Прежде чем закончить свою речь, командир предоставлял слово бригаде. И в импровизированном выступлении, происходившем в поле, у подножия кургана, в прифронтовой рощице, под стеной полуразрушенного здания, представлялся и короткий водеvil и лёгкая пьеса-шутка, звучали весёлые песенки, написанные на злобу дня. Независимо от того, как складывалась программа, этот импровизированный концерт заканчивался обращением к воинам, которое было, в сущности, продолжением речи командира. И часто с вдохновенным словом обращалась к солдатам сама Дин Лин. Как сейчас вижу: она идёт по дощатому помосту, наскоро сооружённому у подножия пологой сопки, к авансцене, и среди бойцов, усеявших склон сопки, медленно стихает шум. Она произносит первое слово, и тишина становится ещё нерушимее. Только слышно, как далеко за лесом вздыхает артиллерия. Дин Лин начинает говорить. Она отводит ладонью прядь чёрных волос, говорит темпераментно и убеждённо... Мы выступали и в тылу. И сколько раз было так, что после концерта на смену поднимался крестьянин и, сняв с себя телогрейку, просил передать её кому-нибудь из солдат на фронте: «Вот продал гаюлян и справил себе обнову, но я обойдусь и старой. Передайте мой подарок воинам — им холоднее в открытом поле, чем нам здесь...»

Дин Лин как-то сказала: «Страна переживает тяжёлое время. Мы, писатели, призваны служить ей пером. Но если потребуется сменить перо на винтовку — возьмём и её...» Это были не пустые слова: бригада Дин Лин не однажды пересекала линию фронта и заповедными путями, какими ходили только партизаны, углублялась в тыл врага. В этом случае бригада писателей и артистов ничем не отличалась от воинской части. Когда китайцы говорят: «Дин Лин — герой Народно-освободительной войны»,

это говорится не только из желания сказать доброе слово о человеке. Дин Лин действительно такая: женщина-воительница, верная дочь народа, храбрая дочь.

Работа во фронтовой бригаде не мешала Дин Лин трудиться над книгой о великом северо-западном походе и одновременно редактировать популярный литературно-художественный журнал «Чжаньди», что значит «Поле сражения».

Конечно, Дин Лин было нелегко в этом походе. Часто где-нибудь в реденьком лесочке, пошипанном огнём, бригада останавливалась на привал. Осторожно, чтобы не выдать убежища врагу, разводили костёр. Хорошо посидеть у костра в любой вечер, тем более в ноябрьское ненастье, когда и небо и земля дышат сыростью. Позади — большой переход, и как ни приятен сухой треск хвороста и запах поспевающего в котле риса, слипаются веки, хочется спать. Вот и сейчас я вижу Дин Лин: близко придвинувшись к костру, сидит она в трофейной шинели, и, несмотря на близость огня, лицо её бледно, говорит об усталости. Иногда она строго сдвигает брови и тогда кажется старше своих лет...

Я слушал Кэ Чжун-пина и думал о том, как хорошо было бы встретить теперь Дин Лин.

Я не знал тогда, что моё желание близко к осуществлению.

На этот раз я приехал в Пекин вскоре после того, как вышел новый роман Дин Лин «Солнце над рекой Сангань». Мне рассказывали, что задолго до того, как Народно-освободительная армия нанесла врагу окончательное поражение, Дин Лин выехала в освобождённые районы на проведение аграрной реформы.

Я раздобыл журнал, где был напечатан роман, и, что называется в один присест, прочёл его. Впервые в китайской литературе в нём широко и правдиво была показана ломка феодальных отношений. Я читал роман Дин Лин, и мне казалось, что сами страницы этой книги согреты огнём борьбы, которая бушует в это время по китайским деревням.

Желание повидать писательницу ещё усилилось.

У Го Мо-жо, как некогда в шанхайской квартире Лу Синя на Далу, едва ли не каждую неделю собирались люди искусства — писатели и поэты, артисты, музыканты, художники. Там я и встретился с Дин Лин.

Невысокая и неторопливая женщина с круглым лицом и коротко остриженными волосами, в длинном халате приятного лилово-синего оттенка (китайцы говорят: «Цвет неба в ранний вечер»), она, прежде чем войти в комнату, где собрались гости, на минуту задержалась в дверях, ослеплённая ярким светом, и, щурясь, улыбаясь, отвечала на приветствия. Я заметил, что у неё мягкие, какие-то очень округлые движения. Но неторопливость, сосредоточенность, некоторая медлительность, свойственные жеста́м Дин Лин, её походке, ещё не определяли её натуры, и это я хорошо почувствовал позже. Она сидела за столом рядом со мной. Я сказал ей, что только что прочёл её роман и он, как мне показалось, во многом перекликается с её юношеской повестью «Наводнение». Так же, как и в повести, в романе показан народ в его могуществе, в движении, в борьбе. Дин Лин рассказала мне, что повесть «Наводнение» написана на материале её родной провинции Хунань, в то время как в её новом произведении показана деревня в низовьях Хуанхэ. В долине Хуанхэ живёт добрая четверть всего населения Китая. Культура таких истинно китайских злаков, как рис, гаолян, чумиза, земляной орех, впервые создавалась здесь и уже отсюда шла на юг и запад страны. И вот этот край, обладающий самыми обширными массивами богатых земель, был краем хронического голода. Отсюда в течение многих столетий тянулся поток переселенцев в другие провинции, здесь столетиями не затихал огонь крестьянских восстаний. Нельзя говорить о борьбе китайского крестьянства за землю без того, чтобы не воздать должное революционным традициям чахарских и хэбэйских земледельцев.

В этом крае, раньше чем в других местах, именно в низовьях Хуанхэ, были созданы первые крупные государственные хозяйства Китая, применены тракторы и комбайны, привезённые из Советского Союза. Не случайно и то, что новые сельскохозяйственные учебные заведения впервые были открыты тоже здесь. Поля долины Хуанхэ явились для Китая, осуществляющего аграрную реформу, как бы опытными полями. Весь Китай проявлял огромный интерес к опыту, который накапливался здесь, на берегах

великой реки. И писатель призван был осмыслить этот опыт и сделать его достоянием народа.

— Трудно сказать, — заметила смущённо Дин Лин, — насколько книга выдержит испытание временем, но её практическое значение в момент проведения реформы было заметно...

На меня Дин Лин произвела впечатление человека скромного, требовательного к себе.

В следующий раз я встретил Дин Лин двумя годами позже, на приёме в Обществе китайско-советской дружбы. Большой особняк Общества находился в самом центре посольского квартала в Пекине. Могучие деревья, густые и развесистые, торжественно вздымали здесь свои зелёные кроны. Тёмная зелень деревьев хорошо оттеняла белый камень особняка. Монументальный фасад дворца, в котором расположилось Общество, выходил на улицу. В самом здании — светло и просторно. Ощущение солнечности и простора придавали высокие потолки, огромные окна, стены, окрашенные в светлые, радующие глаз краски.

Ещё в первую нашу встречу, говоря о своём романе, Дин Лин заметила, что писатель должен постоянно возвращаться к своей работе, которая им закончена, не только для того, чтобы её бесконечно совершенствовать, но и для того, чтобы подготовиться к работе будущей. Заговорив с ней, я почувствовал, с каким рвением она обращает свои силы к новым начинаниям, к новым свершениям.

— Хочется написать нечто большое, такое, чтобы обнять в одной вещи всё, что пришлось видеть и чувствовать все эти годы, — сказала она.

Мне было понятно это чувство: писательница переживала ту пору, когда особенно остра потребность обобщить труд своей жизни. Но Дин Лин, всегда такая требовательная к себе, находила, что, прежде чем она возьмётся за перо, её память, её сознание должны обогатиться новыми наблюдениями. Может быть, поэтому с таким увлечением она говорила сейчас о жажде видеть новое.

— Прежде я много путешествовала, — сказала она, — но мои маршруты были ограничены пределами Китая, а теперь в них появились пункты, каких не было раньше: Москва, Париж, Прага, Варшава... Впрочем, понятие «путешествие» не совсем определяет существо наших поездок, которые были и остаются поездками деловыми. Ни у одного из нас не было ни досуга, ни охоты путешествовать по Китаю праздно, — это всегда были поездки, определённые насущными нуждами нашей борьбы. Да и теперь, когда свобода и достаток пришли под кров нашего большого дома, наши маршруты по Китаю, да и не только по Китаю, определены интересами нашего дела. Может быть, поэтому впечатления от этих поездок, прежде чем воплотиться в большой книге, отлагаются в очерках, путевых записках, корреспонденциях, написанных для газет и журналов. Есть писатели, путешествующие неохотно, а для меня потребность видеть новое давно стала потребностью души. В такой поездке, даже если она не имеет прямого отношения к моим творческим планам, я всегда нахожу драгоценные зёрна, которые обогащают мою работу. Я уже не говорю о том, что ничто так не освежает восприятия мира, не будит так мысль и чувства, как новые люди, новые картины жизни и природы.

И вновь я заметил себе: по мере того как говорила Дин Лин, воодушевление всё больше овладевало ею, с лица слетела тень задумчивости, может быть просто усталости. Но вот она на минуту умолкла, а потом сказала:

— Но бывает и так: очень хочется побывать в местах, где некогда жила, — в Чанше, Шанхае, Яньани. — Она помолчала и тихо добавила: — В особенности в Яньани...

Последний раз я видел Дин Лин в Москве. Московский Театр сатиры давал свой новый спектакль. Шла пьеса, написанная по мотивам драмы китайского классика Ван Ши-фу «Западный флигель». На спектакле вместе с Дин Лин присутствовал драматург Цао Юй.

Цао Юй, которого я знал ещё в Чунцине, словно и не изменился за эти годы. Я смотрел на него в этот вечер, и он мне казался, как прежде, крепким, полным здоровья и энергии. Его движения были так быстры и резки, вся его фигура — такой сильной, что возраст, казалось, не осмеливался и приблизиться к нему. Цао Юй

вспомнил, как мы смотрели в Чунцине гоголевского «Ревизора», постановка которого вызвала тогда такую тревогу в правительственных кругах гоминдановского Китая.

— А у них были основания для тревоги, — произнёс Цао Юй. — Ведь бывает же так: Гоголь, русский классик Гоголь, сатирически развенчал гоминдан, его деспотию, его коррупцию... Русский классик Гоголь...

— В союзе с китайским классиком Цюй Юанем, — заметил я, имея в виду пьесу Го Мо-жо о китайском поэте Цюй Юане, которая едва ли не одновременно с гоголевским «Ревизором» шла в Чунцине и содержала скрытую критику гоминдановской деспотии.

— Да, верно. Гоголь и Цюй Юань' были едины в своей ненависти к чунцинским владыкам, — улыбнулся Цао Юй.

Мы вспоминали далёкие времена, а Дин Лин молча следила за нашей беседой, отвечая на шутки своего спутника улыбкой, кроткой и застенчивой, — ей явно была по душе жизнелюбивая натура друга. Иногда своей маленькой ладонью она тихо отводила прядь волос, и тогда волосы словно прорезала тонкая линия седины, серебряных седины, о которых Дин Лин как-то сказала, что они «тихо подкрались к ней».

Мы вышли из театра, и теплота весеннего вечера обняла нас. Был апрель, и снег сошёл даже в садах и скверах. Небо было по-весеннему бледносиним с редкими блёстками неярких звёзд. Оно дышало теплотой и покоем.

— Я сегодня долго бродила по Москве, — сказала Дин Лин. — Долго бродила, радуясь обновлению сил, которое принесло с собой весеннее солнце, а когда вернулась в гостиницу, написала в своей тетради: «Весна чового мира... Весна Китая...» Я думаю о весне и вижу, как неукротимо тянется к теплу, свету, солнцу мой народ. Вы только что вспомнили Гоголя, а я подумала: да, да, подобно той русской тройке, что у Гоголя, Китай рвётся вперёд, и дымом дымится под ним дорога, гремят мосты, и всё печальное прошлое отстаёт и остаётся позади...

Я слушал Дин Лин и думал о душевной красоте этой женщины, о её кипучей, молодой энергии, о её воле к жизни и труду.

АИ ЦИН

В начале лета 1940 года я возвращался из Фынду в Чунцин рейсовым пароходником, курсировавшим по Янцзы. До Чунцина было часа три ходу, и я решил не спускаться в каюту. Луна ещё не всходила.

Осмотревшись, я был поражён тем, что увидел. На палубе стояли чучела неведомых чудовищ, обёрнутые в войлок и рогожу. Древние животные, жившие много тысячелетий тому назад, будто застыли в позах, в которых застала их смерть: воинственно воздев клыки, выгнув шею, крепко упершись копытами, они, казалось, намеревались принять удар. Я ещё не успел определить, кому могла принадлежать эта редкая коллекция чучел — знаменитому археологическому музею или институту, спешно перебрасывающему свой необычный груз в далёкий тыл, как позади меня смятенно и радостно прошумели голоса, и на них отозвался девичий голос, очень юный и почему-то грустный. Будто оставшись наедине с этой тьмой и такой же необозримой, как тьма, водой большой реки, этот голос произнёс:

Земля была охвачена холодом,
И плыли низкие облака,
И ветер раскачивал верхушки деревьев.
Два солдата молча шагали в зимнем лесу...

Стихи были произнесены ровным, нарочито ровным голосом, как часто читается заповесть стиха. А голос продолжал:

Преодолев нестерпимую боль,
Бедное сердце его успокоилось,
Как поле, затихшее
После битвы.
Но кровь
Просачивалась сквозь бинты

И тихо капала
Капля за каплей.
Тихо
На зимние дороги родины..

Это была суровая повесть о солдате, о невесёлой его судьбе, повесть, написанная сильным и точным, взятым у самой жизни словом. Раненый солдат попадает в госпиталь, его солдатскую форму заменил халат с грубо вышитым красным крестом:

Мы лежим и глядим на своё тело,
Оно разъедено ядовитыми газами,
Оно рассечено ударом металла..

И, словно желанное солнце, пробивающееся сквозь плотный настил туч, к солдату приходит выздоровление. И вот он идёт по улицам большого города.

Он идёт, погружённый в думу,
И лицо его странно строго...
Но никто на него не смотрит,
Только солнце с ясного неба
Протянуло лучи, как пальцы,
И тихонько его ласкает..

Девушка читала минут десять. Её слушатели притихли. В ночи звучали только голос девушки да тревожное урчание воды, рассекаемой винтами парохода. И чем тише становилось на палубе, тем большую силу обретал этот голос, тем богаче делались его интонации.

А солдат уже шёл родными полями, залитыми радостным солнцем, и ноги, усталые ноги его, ступали по мягкой и тёплой почве поля. Вот он сбросил свои грубые башмаки и опустил ноги в канаву. Ему приятно расплескать руками тёплую воду..

И, повинувшись зову родины — великому чувству, которое «сильнее и лучше нас», «сильнее, чем ненависть и любовь», солдат возвращается на поле битвы. Он возвращается в бой, исполненный непреодолимого желания вернуть свободу Китаю, а заодно и положить конец «рабству и нищете, тюрьмам и палачам».

В этом месте голос девушки достиг большой, почти трагической силы.

Мгновение мелькнуло электрической вспышкой,
Когда обжигающая пуля
Второй раз,
Второй — и последний — раз
Навылет прошла сквозь тело солдата,
И он упал, как падает дерево,
Срубленное топором лесника..

На какое-то мгновение печальные тона окрасили голос девушки; он будто погасал, задуваемый ветром, стал тише, лишился своей прежней силы и красок, но потом неожиданно начал подниматься, набирая силу и яркость:

Но правда,
За которую он боролся,
Победоносно идёт по Китаю..

Девушка умолкла, а те, кто слушал её, будто окаменели — такая тишина была кругом. Было ясно: ни слова одобрения, ни, тем более, аплодисменты не смогут выразить всего, что переживали в ту минуту люди. И люди доверились тишине, необъятной и глубокой, как эта июньская ночь над Янцзы.

Давно причалил пароход, и я поднялся в город, а сильное впечатление от услышанного не покидало меня. Кто мог быть автором этого стихотворения или поэмы? Я был уверен, что это поэтическое произведение пришло на берега Янцзы из далёкой Яньани, пришло теми тайными путями, которых так много на войне. Из легендарного шэньсийского города сквозь бетон, металл, броню гоминдановских укреплений в страну летело и крылатое слово, полное великого революционного смысла, и

песня, и вот такие, как сейчас, прекрасные стихи о воле народа к победе. Но кто мог написать их? В Яньани было много замечательных поэтов: Кэ Чжун-пин, Сяо Сань, Ай Цин. Белый стих, броский и выразительный, проникнутый острым восприятием жизни, — скорее это стихотворение Ай Цина.

Я сказал об этом известному литературоведу, знатоку современной китайской литературы, Гэ Бао-цюаню.

— Да, да, это Ай Цин! — ответил он. — Это его новая поэма «Он умер во второй раз». У нас ещё нет её полного текста, а народ уже читает её.

Опережая книгу, народ передавал новое произведение поэта из уст в уста. И это было по-настоящему трогательно.

Ай Цин родился в 1910 году в провинции Чжэцзян. Ай Цин — литературный псевдоним поэта. Его настоящее имя — Цзян Хай-чэн. Поэт родился в семье небогатого помещика, однако детство своё он провёл под кровом простого крестьянского жилища. Даяньхэ вскормила поэта, та самая крестьянка Даяньхэ, которую он воспел в одном из самых искренних и проникновенных стихотворений. В её доме будущий поэт прожил первые пять лет своей жизни.

Родители пророчили сыну карьеру чиновника, но он решил посвятить себя искусству. В 1928 году не без помощи друзей, увлекавшихся современной французской живописью, Ай Цин уехал в Париж. Он собирался продолжить там своё художественное образование. Однако его желанию не суждено было осуществиться. Материальные лишения в Париже во многом сковали его творческую энергию. Но зато поэт сблизился там с китайскими кустарями — мастерами по кости, камню, дереву, которых, кстати говоря, немало в больших европейских городах. Он вошёл в одно из таких товариществ, снабжавших парижских торговцев сувенирами, фигурками из фарфора. Многие свободные часы он провёл в Лувре, простаивая у полотен Рембрандта и Рубенса. Сильным было увлечение Ай Цина изобразительным искусством, но его литературные интересы всё же взяли верх. Ай Цин зачитывался Эмилем Верхарном и Владимиром Маяковским

Маяковский —
Поэт,
Несравнимый ни с кем,
Певец и глашатай всего человечества —
Стоит на вершине народной мудрости,
Выковывая
Стальное слово революции..

Эти стихи, написанные Ай Цином почти через двадцать с лишним лет после возвращения из Франции, быть может, впервые возникли в его сознании именно в дни пребывания в Париже. Трудно сказать, в какой мере жизнь в Париже способствовала формированию эстетических взглядов Ай Цина, но одно определённно — именно этот город с его острыми социальными противоречиями оказал огромное влияние на политические взгляды будущего поэта.

Когда в 1931 году японцы вторглись в Маньчжурию, Ай Цин оставил Париж и появился в Шанхае, где в тот момент жили и Лу Синь, и Мао Дунь, и Дин Лин, и Цюй Цю-бо, и многие другие революционные деятели китайской литературы. То было тревожное время. Шанхай ещё находился под впечатлением гибели выдающегося революционного писателя Китая Жоу Ши и его четырёх сподвижников по Лиге левых писателей Китая: Хо Е-пиня, Ли Вэй-сэня, Бай Ман и писательницы Фын Кэн, казнённых в шанхайской комендатуре Линхуа.

Едва поэт сошёл с парохода, полицейские ищейки пошли за ним по пятам. Вскоре он был обвинён в «сокрытии опасных мыслей» и брошен в тюрьму. Он пробыл в тюрьме три года. Эти годы оставили глубокий след в сознании Ай Цина. Плодом тюремных раздумий явились стихи, отразившие жизнь поэта в годы странствий по чужим землям. Многие из этих стихов так и назывались — «Париж», «Марсель». Характерно, что в стихах о Франции поэт не делает разницы между врагами французского и китайского народов. Даже тюрьму, в которую он был заточён в Шанхае, он зовёт Бастилией.

Но самые лучшие стихи, написанные в тюрьме, были посвящены Китаю, и это прежде всего «Даяньхэ». К этим же годам относится и знаменитая «Песнь о рассвете»,

в которой поэт впервые обратился к образу солнца как символу нового мира, который позднее и пройдёт во всём многообразии красок и форм через стихи Ай Цина разных лет.

Образу солнца в этом стихотворении сопутствует образ поэта, глашатая справедливости, человека, несущего народу правду, великую правду нового мира, творящую и преобразующую мир.

Едва ли не на следующий день после освобождения из тюрьмы Ай Цин встретился с Мао Дунем. Встреча произошла в редакции альманаха «Рассвет». В то время его редактировал Мао Дунь. В этом альманахе появились первые стихи Ай Цина. Поэт решительно включился в большую пропагандистскую работу, которую вели передовые литераторы на фронтах борьбы с японскими захватчиками. Он ездил по всему Китаю, боровшемуся за свою независимость, и только тогда, по его словам, он понял, что увидел свет.

В эти годы были созданы многие его стихи, такие, как «Воскресшая земля», «Север», «Снег падает на землю Китая». Тогда же была написана и поэма, которую я услышал в тот беззвёздный вечер на Янцзы.

У меня было давнее желание увидеть Ай Цина, но удалось это сделать лишь после освобождения Пекина.

Я встретил его в редакции журнала «Народная литература». Это был человек лет сорока с открытым, вдохновенным лицом, с густочёрными, зачёсанными назад волосами, юношески худощавый. Красноватый загар, обдавший его скулы, и военная гимнастёрка создавали впечатление, будто поэт только что вернулся из далёкого похода.

Я сказал ему об этом.

— Наверное, и у вас так выглядели поэты, вернувшиеся с войны, — сказал он.

И тут же он заговорил о боевых традициях советской поэзии, о Маяковском. Это был любимый поэт Ай Цина. Ай Цин сказал, что нет другого поэта, который бы с такой силой, как Маяковский, учил литераторов, как надо работать над политической темой. В качестве примера он сослался на развитие фронтового походного театра, репертуар которого составляют пьесы «янгэ». В этом театре, искусно использующем песни и танцы китайских крестьян, а также музыку и короткую пьесу-диалог, работал и сам Ай Цин. Короткая пьеса-агитка, исполненная сатирического огня или доброго юмора, писалась поэтами в поле, в окопе, нередко в течение нескольких минут. Именно злободневность материала и народность формы, к которой обратился этот театр, обеспечили ему, по мнению Ай Цина, необыкновенный успех. Народ не захотел расстаться с театром «янгэ» и после того, как война закончилась. Сейчас этот театр верно служит насущным делам мирного строительства. В том, что он возник, немалая заслуга боевого революционного искусства, испытавшего влияние поэзии Маяковского.

В этих высказываниях поэта мне открылась ещё одна сторона его натуры. Ай Цин никогда не был эстетом, но в ранний период своей творческой работы он не сумел избежать влияния декадентской поэзии Запада. Сегодня передо мной сидел иной Ай Цин, переживший годы войны, незабываемые годы борьбы за свободу отечества. Его протест против произвола старого мира носил теперь далеко не абстрактный характер. Поэт знал земное имя своего врага и нещадно громил его всей мощью своего большого таланта.

С увлечением рассказывал Ай Цин, как он работал в походном театре, и пока сооружалась импровизированная сцена, писались афиши, гримировались и приводили в порядок свои костюмы актёры. Ай Цин беседовал со стариками о деревенских порядках. Крестьяне знали: всё, что они сейчас поведают поэту, сегодня же вечером прозвучит со сцены, и потому щедро делились с ним деревенскими новостями. Они раскрывали перед поэтом сокровища народной речи — всё, что веками шло от поколения к поколению, совершенствуясь, обретая ту сжатость и меткость, которые так характерны для языка истинно народных произведений. Здесь были и сказки, и басни, и пословицы, и анекдоты, в которых искусство диалога доведено до совершенства. Всё это Ай Цин записывал. И по мере того, как поэт двигался с походным театром из деревни в деревню, в нём самом происходил сложный процесс: преобра-

жался мир его образов, менялись изобразительные средства. Поэт подошёл к осознанию того, что его творчество должно быть истинно народным, понятным народу и ценным им. Этот перелом в творческом самосознании поэта наметился в первый же год его жизни в Яньани, но начал принимать осязаемые формы лишь после знаменитого совещания по вопросам литературы и искусства, на котором выступил Мао Цзэ-дун.

— Я был на этом совещании, — сказал Ай Цин. — Это было необыкновенное совещание: собрались все, кто был наущно заинтересован в судьбах нашей литературы, все, кто искренне желал её расцвета. Зал был высок и просторен. В открытые настежь двери виднелись горы Яньани, залитые майским солнцем. За столом, накрытым красной материей, стоял Мао. Именно тогда он произнёс слова, которые потом повторялись неоднократно: «В настоящее время рабочие, крестьяне и солдаты заняты жестокой, кровопролитной борьбой с врагом... По отношению к ним первый шаг должен заключаться не в том, чтобы «наводить узоры на парчу», а в том, чтобы «послать им угля в зимнюю стужу...» Мао Цзэ-дун призвал работников литературы и искусства слиться с массами воедино, пройти долгий, даже мучительный процесс перековки. Он привёл чудесное выражение Лу Синя о служении народу и блестяще прокомментировал его. «Нахмурив брови, с холодным презрением взираю на осуждающий перст вельможи, — сказал в своё время Лу Синь. — Но, склонив голову, готов, как буйвол, служить ребёнку». Мао Цзэ-дун заметил при этом: «Все члены коммунистической партии, все революционеры, все работники революционной литературы и искусства должны взять себе в пример Лу Синя, должны стать «буйволами» для пролетариата и народных масс, отдавать им все свои силы, всю свою жизнь до последнего вдоха...»

Я не видел Ай Цина больше года. Мне говорили, что он гостит в Советском Союзе. В Китай приходили новые его стихи.

Пришло стихотворение «Поезд минует Байкал»:

Утром вижу я озеро — это Байкал,
Предрассветный туман поднялся над водой,
Воды тихие кажутся чище зеркал,
И утёсы нависли...
Паровоз белым дымом клубит и клубит,
Мимо озера мчится состав всё быстрее,
Видю — девушка машет рукой, у дороги стоит
И в Москву провожает с востока гостей...

Пришло стихотворение «Сибирь». Ему было предпослано своеобразное прозаическое вступление: «Некогда существовала бескрайняя, необитаемая Сибирь, Сибирь нищих, бродяг, холодная и заснеженная. Но сегодня я увидел...» И поэт рассказывал о чудесном крае, богатом и привольном, преображённом творческим подвигом советского человека.

Вот и Москва. Она отмечена в поэтическом дневнике Ай Цина стихотворением «Площадь Пушкина».

Во время своей поездки по Советской стране Ай Цин написал несколько стихотворений, подсказанных ему думами о Китае, о его большой и радостной судьбе. Характерно, что именно в Москве, столице нового мира, поэт написал одно из самых сильных своих стихотворений, воспевающих любовь к отечеству:

Я родину мою люблю,
Люблю её народ трудолюбивый.
В её заботливых объятьях вырос я,
Она меня вскормила...

Я повидал Ай Цина вскоре после его возвращения из Советского Союза.

Речь зашла о том, как надо писать историю китайской литературы. Ай Цин, со свойственной ему страстностью и способностью каждый вопрос ставить творчески, изложил свой взгляд на этот большой и важный вопрос.

— Многие европейские учёные, исследующие историю нашей древней литературы, — сказал он, — высказывали мнение, что такие чисто внешние элементы, как бамбук, лотос и орхидея, составляют едва ли не первооснову китайской поэзии, в то

время как социальные мотивы, определяющие жизнь и страдание народа, в ней заметно приглушены. Эти китаеведы находили объяснение такой точки зрения в том, что наши древние поэты были питомцами аристократической среды и стояли в стороне от жизни народа. Верна ли эта точка зрения? Нет, решительно нет! Истинным творцом китайской литературы является народ. Им, только им, созданы самые большие её ценности. Многие из наших произведений, в том числе такие шедевры, как многотомные романы «Троецарствие» и «Речные заводи», в сущности, складывались тысячами и тысячами безвестных сказителей, вышедших из самых низов народа. Лишь позднее эти произведения были собраны и обработаны писателями. Древнейший литературный памятник Китая, с которого во всех случаях начинается связный рассказ об истории нашей литературы, — знаменитый «Шицзин» («Книга песен») — является созданием народного творчества. А этому памятнику три тысячи лет! Наши крупнейшие древние поэты Цюй Юань, Ду Фу, Бо Цзюй-и были в большей или меньшей степени аристократами, но все они решительно поднялись над своим классом, вступили в острейший конфликт с ним и поистине стали певцами народа, его горестей, его нужд. Тао Цянь, прозванный «поэтом полей», в знак протеста против произвола феодалов отошёл от государственных дел, сложил с себя государственные обязанности, надел платье крестьянина, стал землепашцем. Его стихи выражают чувства простых крестьян.

А сатирическая литература? Именно сатира, беспощадно злая, уничтожающая, выражала в полной мере настроение народа, смертельно ненавидевшего своих угнетателей. Сказать, что древняя китайская литература — это всего лишь бамбук, лотос и орхидея, значит пытаться отнять у великого народа одно из самых бесценных его сокровищ!

Под конец беседы Ай Цин заговорил о своей недавней поездке по СССР.

— Я не скажу ничего нового, если замечу, что самое сильное впечатление от этой поездки — советский человек. Да, советский человек с его сильно развитым чувством любви к родине...

Он сказал «любви к родине», а я подумал: это чувство и в нём самом было той силой, которая преобразовала его натуру, предопределила многие из чудесных качеств Ай Цина — поэта, гражданина, борца.

И я вспомнил эпизод, который помог дорисовать в моём сознании образ поэта. Это было в конце января 1942 года. Наши войска отогнали немцев от стен Москвы. Китай приветствовал победу советских войск. «Почему побеждают русские?» — в тот момент в Китае не было вопроса актуальнее, чем этот. Китайцы искали ответа на этот вопрос в беседах с людьми, которые когда-то бывали в России, в старых русских романах, в подшивках старых газет и журналов. Это было время, когда «Севастопольские рассказы» Л. Толстого печатались в газетах с продолжением, когда издательства атаковали наше посольство просьбами предоставить им монополию на выпуск наших книг, и студенты, разделив русскую книгу на три части, читали её по очереди. Пресса — я говорю о буржуазной прессе — даже отделялась молчанием или банальными фразами, в которых понятию «Россия» сопутствовали ничего не значащие слова: загадка, тайна, секрет. И вот в один из этих дней по радио прозвучала поэма, в которой мужественными и простыми словами была раскрыта тайна победы русских. В центре поэмы стояла русская девушка, воплотившая в себе лучшие черты сражающегося народа. «Зоя» — так называлась поэма. Автором её был Ай Цин.

Я слушал поэму и видел, как по заснеженным русским полям, босая, идёт на казнь русская девушка:

...ей обидно лишь одно:
Своей мечты не достигнув,
Расстаться с жизнью юной,
Не дождавшись победы отчизны...
Сомкнулись глаза светозарные...

Ай Цин определил своё отношение к борьбе за свободу и счастье отечества. Сын народа, он сделал знаменем своего творчества любовь к родному народу, счастье которого стало счастьем самого поэта.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

В. ЕМЕЛЬЯНОВ

Член-корреспондент Академии наук СССР

★

РАССКАЗЫ ОБ АТОМЕ

В глубины материи!

Свыше 2 400 лет, со времён греческих философов Левкиппа и Демокрита, утвердивших понятие атома как мельчайшей, неделимой и неизменяемой частицы вещества, этот мир невидимых частиц всегда привлекал внимание учёных всех стран.

Гениальный Ломоносов призывал изучать атомы ещё в ту пору, когда само существование атомов многими ставилось под сомнение: «...первоначальные частицы исследовать толь нужно, как самим частицам быть. И как без нечувствительных частиц тела не могут быть составлены, так и без оных испытания учение глубочайшия физики невозможно».

Представление об атоме как элементарной частице химического элемента, которую невозможно ни разделить, ни изменить, господствовало до середины XIX века.

Мысль о том, что атомы делимы, что они в свою очередь состоят из каких-то более простых частиц и эти частицы сдерживаются силами огромной мощности, первому в мире пришла русскому учёному Н. Н. Бекетову, основоположнику современной физической химии.

Ещё восемьдесят лет назад Бекетов утверждал, что если будет обнаружена делимость атома, то процессы, связанные с нею, по своему характеру должны быть совершенно отличны от химических процессов и будут сопровождаться огромным изменением энергии. «Моё мнение таково, — писал он, — что если и существует такая (первичная) материя, то она находится в чрезвычайно динамическом состоянии, т. е. материя, обладающая весьма малым весом и огромной живой силой».

Позднее, в 1890 году, читая лекции в Московском университете, учёный говорил: «Мы можем предположить, что элементы образовались из вещества, ещё более динамичного, чем они сами, что в них сохранилась некоторая доля той энергии, вероятно громадной, которая выделилась при их образовании; я говорю громадной — ввиду прочности и признанной доселе их неразрушимости».

Вопреки принятому тогда в среде учёных мнению о неделимости атомов, Бекетов бросает смелые мысли, опережающие экспериментальную физическую науку. Они указывали новые пути, будили умы, призывали приподнять завесу в неведомый мир ещё меньших частиц, нежели атомы.

Русскими учёными сделаны открытия, имеющие фундаментальное значение в развитии работ по ядерным превращениям и изучению основного элемента, используемого для получения атомной энергии, — урана.

В 1869 году великий русский химик Д. И. Менделеев установил периодический закон химических элементов и на его основе создал систему элементов. Этот закон положил начало новой эпохе в творческих исканиях и достижениях не только в химии, но и во всём естествознании.

Фридрих Энгельс в «Диалектике природы» писал об открытии Менделеева: «Мы знаем теперь, что химические свойства элементов являются периодической функцией атомных весов», что следовательно их качество обусловлено количеством их атомного веса. Это удалось блестящим образом подтвердить. Менделеев доказал, что в рядах

сродных элементов, расположенных по атомным весам, имеются различные пробелы, указывающие на то, что здесь должны быть ещё открыты новые элементы. Он наперёд описал общие химические свойства одного из этих неизвестных элементов, — названного им экаалюминием, потому что в начинающемся с алюминия ряду он непосредственно следует за алюминием, — и предсказал приблизительно его удельный и атомный вес и его атомный объём. Несколько лет спустя Лекок-де-Буабодран действительно открыл этот элемент, и оказалось, что предсказания Менделеева оправдались с совершенно незначительными отклонениями. Экаалюминий получил свою реализацию в галлии».

«Периодическая законность, — говорил Менделеев, — первая дала возможность видеть неоткрытые ещё элементы в такой дали, до которой невооружённое этой законностью химическое зрение до тех пор не достигало». Не будь открыт периодический закон, современные физики вынуждены были бы всё ещё блуждать в потёмках. Они не сумели бы разобраться в сделанных ими экспериментальных открытиях, привести их в связь между собой, сделать из них правильные теоретические выводы.

Важные исследования были проведены Менделеевым по изучению урана и его соединений. Раньше, например, считали, что атомный вес урана равен 120. Менделеев показал, что при таком атомном весе этот элемент не находит места в периодической системе, и предложил удвоить его атомный вес. Позже это подтвердилось экспериментально, и атомный вес урана был установлен 238. Менделеев сумел точно предопределить многие соединения урана, природа которых в то время была мало известна. Его труды в этой области служат и в наши дни основным научным фундаментом в технологии получения урана и его соединений.

В мрачное время царского самодержавия, когда преследовалась всякая свежая мысль, когда пути к новому русским учёным были заказаны, в эти трудные для отечественной науки годы один из передовых учёных России, Н. А. Морозов, неумоимо работал, даже будучи заключён в одиночную камеру суровой Шлиссельбургской крепости, над «теорией строения химических единиц».

В марте 1902 года он писал из тюрьмы: «Моя теория сводит первоначальные крупинки, или, как их называют, атомы, всех простых веществ — железа, меди, серы, фосфора и др. — к различным комбинациям одних и тех же трёх, ещё более первоначальных невидимых крупинок... Вопрос об их (атомов) превращениях одних в другие вовсе не такая неразрешимая задача, как большинство думает в настоящее время... Посредством специально приспособленных методов и приборов можно расчленить современный гелий на полуатомы и, присоединив их к атомам большинства обычных «простых» веществ, преобразовать их в новые, несколько более тяжёлые и с другими свойствами».

Морозов указал и пути расщепления атомов, предложив воздействовать на них высокой температурой, электрическим током высокого напряжения; он не склонен «считать металлы неразложимыми только потому, что нет такой реторты, где их можно было бы нагреть тысяч до девяти градусов». Но эти идеи были реализованы значительно позднее, когда появились технические средства, позволявшие ставить такие исследования.

В 1896 году французский учёный Анри Беккерель обнаружил новое, ранее никому не известное явление — радиоактивность урана. Минералы, содержащие уран, вызывали почернение фотографической пластинки. Из урана исходили лучи, обладающие способностью проходить через вещество и «засвечивать» фотопластинку.

Два года спустя супруги Пьер Кюри и Мария Кюри-Склодовская открыли новые элементы — радий и полоний, радиоактивность которых была ещё больше, чем урана. Затем было установлено, что в результате радиоактивных излучений атомы урана, радия и полония изменяются, превращаясь в атомы других элементов.

Представлениям об атомах как о неделимых и неизменяемых частицах был нанесён сокрушительный удар. Опыты доказали, что атомы некоторых элементов изменяются. Радиоактивные элементы не только засветили фотопластинки, но своими лучами озарили пути в глубины атома. Теперь уже не было сомнений, что атом является сложной системой, в которой непрерывно происходят какие-то процессы. Открылась новая страница истории науки. Атомы делимы. Предвидение Н. Н. Бекетова блестяще подтвердилось.

Конфликт между теорией и опытом.

Первые мысли о возможности практического использования нового вида энергии — энергии атома — зародились в начале XX века, вскоре после открытия радия, когда было установлено, что он непрерывно излучает энергию.

Измерения показали, что температура радия на несколько градусов выше температуры окружающей среды, а один грамм радия выделяет 136 калорий тепла в час. Непрерывное выделение такого количества тепла нельзя было объяснить обычными химическими превращениями. Необходимо было допустить, что они носят более глубокий характер и связаны с изменениями самих атомов радия. Исследования и расчёты говорили о том, что энергия, освобождённая в результате преобразования атомов, должна быть очень велика — в десятки тысяч, а может быть, и в миллионы раз больше, чем при любых известных химических процессах. Перед учёными открывалась возможность получения огромного количества энергии из небольшого количества материи.

Задолго до других, ещё в 1910 году, академик В. И. Вернадский правильно оценил значение работ по изучению радиоактивности. «...Теоретически, — писал он, — мы сознаём неизбежность колоссального изменения условий человеческого существования, если только человек овладеет радиоактивными явлениями, хотя бы в той мере, как он овладел силой пара или электричества...»

А в 1922 году учёный пророчески предсказал: «Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться всё им раньше пережитое. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть».

«Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить её на добро, а не на самоуничтожение? — спрашивал Вернадский. — Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Учёные не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества».

Цепь открытий в области структуры атомов породила надежды, что скрытая внутри атомов энергия когда-нибудь будет практически доступной. Эти надежды повели к тому, что изучением атома и сил, действующих в нём, стали заниматься тысячи учёных. Особенный размах эти работы приобрели в последние годы.

Первое время никак не удавалось связать непрерывное выделение энергии радиоактивными веществами с каким-либо их изменением. Казалось, что запас энергии в этих веществах неисчерпаем.

В результате упорных исследовательских работ удалось выяснить, что атомы радиоактивных веществ не остаются постоянными, а изменяются. Внутри атомов происходят процессы, при которых они распадаются на части. Атомы различных радиоактивных веществ распадаются с различными скоростями: одни — очень быстро, другие — медленно. При распаде атомов некоторых элементов образуются новые радиоактивные вещества, в свою очередь обладающие способностью распадаться.

Как уже говорилось, атомы радия, распадаясь, непрерывно излучают энергию. Однако радиоактивные лучи не однородны, а состоят из трёх типов. При воздействии на лучи магнитным полем оказалось, что часть их отклоняется слабо и представляет собой поток положительно заряженных частиц; эти лучи получили название альфа-лучей. Другая часть лучей (бета-лучи) сильно отклоняется и представляет собой поток электронов, и, наконец, есть лучи, которые магнитным полем совершенно не отклоняются (гамма-лучи).

Учёные установили, что имеется много радиоактивных веществ, одинаковых по своим химическим свойствам, но зато отличающихся друг от друга по радиоактивным свойствам. При всех химических превращениях они ведут себя совершенно одинаково, и если их смешать вместе, то никакими химическими приёмами отделить их друг от друга не представляется возможным. Таким образом, среди радиоактивных веществ

имеются элементы, хотя и обладающие одинаковыми химическими свойствами, но различные по атомным весам и по характеру радиоактивных излучений.

Изучение радиоактивных веществ показало, что может существовать несколько разновидностей одного и того же химического элемента. Их стали называть изотопами (от греческого слова «изос» — равный; «топос» — место), то есть элементами, занимающими одно и то же место в периодической системе Менделеева. Следовательно, изотопы — это разновидности одного и того же химического элемента, но с разными атомными весами.

Открытие радиоактивности поставило под сомнение результаты многочисленных работ, сделанных в течение многих десятилетий. Зашаталось прочно укоренившееся в умах людей представление о неизменяемости атомов. Выводы, вытекающие из наблюдений за радиоактивными превращениями, были настолько необычны, что учёные отказывались верить своим собственным исследованиям и ставили всё новые и новые опыты.

Уже в двадцатых годах текущего века сложилось представление об атоме как о сложной системе, состоящей из ядра, вокруг которого вращаются электроны. Ядро атома несёт положительный электрический заряд, электроны — отрицательный; поэтому в целом атом нейтрален.

Простейшим атомом является атом водорода. Вокруг ядра водорода вращается один электрон. Ядро водорода было названо протоном — «простейший». Естественно было предположить, что ядра и остальных элементов построены из протонов.

Очевидно, количество протонов в ядре элемента должно точно соответствовать его месту в таблице Менделеева, а атомный вес элементов должен быть кратным атомному весу водорода.

На самом же деле это не получалось. Между теорией и опытом возник конфликт.

За водородом по таблице Менделеева следует гелий. Гелий занимает в этой таблице второе место, но его атомный вес — четыре, а не два. Чтобы примирить теорию с опытом, было предположено, что в сложных ядрах, помимо протонов, имеются ещё и электроны. В ядре гелия, в частности, содержится четыре протона и два электрона. Такое предположение устраняло противоречия. Только в 1932 году было установлено, что ядра атомов состоят из протонов и нейтронов, а свободных электронов в них нет.

В этот же период было установлено, что вылетающая из радия альфа-частица и есть ядро гелия. Исследование радиоактивных элементов показало, что одни элементы могут превращаться в другие. А открытие изотопов наводило на мысль о том, что ядра всех элементов построены из одинаковых, более простых частиц, таких, как ядро водорода — протон или ядро гелия — альфа-частица.

Возникал вопрос, а содержатся ли протоны и альфа-частицы в ядрах других элементов? Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо было проникнуть внутрь атома, попытаться разбить его на составные части.

Английский учёный Резерфорд попробовал использовать альфа-частицы, излучаемые радием, для расщепления атомов. И вот в 1919 году, после проведения остроумных опытов по облучению азота альфа-частицами, он обнаружил в азоте примесь водорода.

Но откуда мог появиться водород?

Резерфорд тщательно проверял чистоту азота. До облучения альфа-частицами водорода в нём не было, но после облучения в азоте всегда находили водород. Многократные опыты приводили к одним и тем же итогам.

Сомнений не было — часть атомов азота разрушалась. Из азота под действием облучения альфа-частицами образуется водород. Больше того, при облучении азота альфа-частицами получается не только водород, но и кислород. Дальнейшие исследования повели к открытию ряда новых ядерных процессов, была установлена возможность расщепления альфа-частицами также ядер алюминия, натрия, бора, серы и многих других элементов.

Опыты показали, что если альфа-частица попадает в атом алюминия, то из него образуются кремний и водород. При превращении алюминия в кремний происходит выделение значительного количества энергии — в семьсот тысяч раз большее, чем при сгорании такого же количества углерода.

Но как же практически использовать эту энергию? Ведь из 125 тысяч частиц только одна вызывает расщепление атома алюминия. Значит, на расщепление одного атома необходимо затратить значительно больше энергии, чем можно её получить. Таким образом, этот путь получения атомной энергии из огромных запасов, хранящихся в атомах, оказался практически недоступным. Надо было искать иные пути.

Изучая радиоактивные процессы, Фредерик Жолио и Ирэн Кюри обнаружили, что при облучении альфа-частицами бериллия в нём тоже возникает излучение. А если этим излучением воздействовать на парафин, то образуются протоны очень высокой энергии, значительно более высокой, нежели энергия альфа-частиц, которыми облучался бериллий. За счёт чего, за счёт каких процессов получают эти протоны, было непонятно.

Не менее странные результаты были получены английским физиком Чэдвиком. Он облучил исходящим из бериллия излучением азот и аргон и также получил новые частицы с энергией, значительно превосходящей энергию первоначальных альфа-частиц. Что же за излучение исходит из бериллия?

Пытались принять это излучение за гамма-лучи, но тогда необходимо было допустить, что гамма-лучи несут огромную энергию, что противоречило всем известным сведениям по энергии этих лучей. И Чэдвик в 1932 году сделал смелое предположение: при облучении бериллия альфа-частицами из него вылетает тяжёлая частица с массой, примерно равной массе протона, но не имеющая электрического заряда.

Эту частицу Чэдвик назвал нейтроном. Нейтрон — особая частица. Непосредственно обнаружить нейтрон нельзя. Только косвенно, по его действию на другие вещества, можно знать, что здесь был и действовал нейтрон; только по следам, которые оставляет эта частица-невидимка, можно иметь о ней сведения. Не имея заряда, нейтрон проникает через любое вещество, и лишь по результатам столкновения нейтрона с другими атомами можно установить его присутствие. Предложенная Чэдвиком гипотеза легко и просто объясняла непонятное ранее бериллиевое излучение.

Здесь следует заметить, что ещё в 1920 году Резерфорд указывал на возможность существования «нулевого» элемента таблицы Менделеева — элемента, не имеющего электрического заряда, — но в то время найти его никому не удалось.

Открытие радиоактивности заставило пересмотреть сложившееся представление о строении атома и создать новую модель атома.

В мире невидимых частиц.

Атом — это солнечная система микромира.

Атом состоит из ядра, в котором сосредоточена почти вся масса вещества. Вокруг ядра, этого «солнца» в мире мельчайших частиц, с огромными скоростями вращаются «планеты» — электроны, образуя внешнюю оболочку атома.

Ядро атома электрически заряжено. Заряд атомного ядра положителен, а электроны заряжены отрицательно. Объём, занимаемый ядром, чрезвычайно мал в сопоставлении с объёмом всего атома. Диаметр ядра атома примерно в сто тысяч раз меньше диаметра всего атома в целом. Если ядро атома изобразить кружочком с диаметром в один сантиметр, то диаметр атома должен быть в километр. Таким образом, между орбитами, по которым проносятся электроны, и ядром находится огромное по сравнению с размерами ядра пустое пространство.

Оказалось, что тот порядок, в котором Менделеев расположил элементы в своей таблице, полностью соответствует порядку, по которому изменяется электрический заряд атомного ядра. Первое место в таблице занимает водород; электрический заряд его ядра принят за единицу; вокруг атома водорода вращается всего один электрон. Второе место отведено гелию; его электрический заряд вдвое больше заряда водорода, вокруг ядра вращаются два электрона. Уран в менделеевской таблице занимает 92-е место, — заряд его ядра в 92 раза больше заряда ядра водорода, вокруг ядра урана вращаются 92 электрона.

В результате радиоактивных превращений в элементах изменяется заряд атомного ядра. При изменении заряда меняется число электронов в оболочке атома, а также его химические свойства. Химическая природа элемента целиком определяется зарядом

атомных ядер. Поэтому, изменяя заряд ядра, можно сделать иными и химические свойства атомов, то есть превращать одни элементы в другие.

Чтобы лучше представить себе, как это происходит, обратимся к строению атомного ядра. Оно состоит из простых частиц — протонов и нейтронов. Протон — положительно заряженная частица, нейтрон — нейтральная, незаряженная частица. Заряд ядра атома любого химического элемента определяется количеством протонов: чем больше в ядре протонов, тем выше его электрический заряд. А так как атом нейтрален, то, следовательно, в ядре находится столько же протонов, сколько содержится электронов в электронной оболочке атома. Как только изменится в атоме число протонов, так это немедленно вызовет изменение и числа электронов в оболочке атома. Элемент изменит свои первоначальные свойства, иными словами — превратится в другой элемент.

Известно, что частицы, имеющие электрические заряды одинакового знака, отталкиваются, а частицы, имеющие заряды разных знаков, притягиваются. Но почему же находящиеся в ядре атома протоны не разлетаются в разные стороны?

Внутри атомного ядра на частицы действуют два рода сил: силы электрического отталкивания между одноимённо заряженными частицами и силы притяжения, действующие на очень малых расстояниях и значительно превосходящие электрические силы отталкивания. Природа этих сил ещё недостаточно ясна. С увеличением расстояния между частицами действие ядерных сил резко падает и атомное ядро наконец разрушается, разваливается на части.

Учёные видели, что если удастся расщепить атомное ядро, то гигантская энергия, удерживающая вместе все части внутри атомного ядра, будет высвобождена.

Но как расщепить ядро, каким путём добраться до него? Это должен быть мощный снаряд, пущенный с огромной скоростью. Электрон слишком мал, он составляет только $1/1840$ -ю часть ядра самого маленького атома — водорода. Протон? Но он имеет положительный заряд, а ядро также заряжено положительно. Чтобы «подойти» к ядру, необходимо преодолеть огромную силу отталкивания, а для этого потребуется сообщить протону колоссальную скорость. Вот тогда и возникла идея создать особые машины — ускорители атомных частиц, пушки для стрельбы по атомным ядрам.

После открытия Чедвиком новой ядерной частицы — нейтрона — появился снаряд, которым можно было попытаться разрушить атомное ядро. Нейтрон — такая же крупная, как и протон, частица, но без электрического заряда. Никакие электрические силы на эту частицу не действуют. Нейтроном можно разбить ядро и освободить связанную в ядре энергию.

Мир находился накануне открытий потрясающего значения.

Штурм атомного ядра.

Началась полоса исследований по изучению действия нейтронного облучения на различные элементы.

Желая получить новый, ещё никому не известный элемент, который должен занять место в таблице Менделеева за ураном, итальянский физик Э. Ферми поставил опыты по облучению урана нейтронами. Он получил новый радиоактивный элемент.

Через четыре года, повторяя опыты Ферми, немецкие физики Лизе Мейтнер и Отто Ган, к своему изумлению, получили не 93-й элемент, а барий и криптон, то есть элементы, занимающие места в средней части таблицы Менделеева.

Сообщения об этих работах вызвали сенсацию. Объяснить такое явление можно было только делением ядер урана под действием нейтронного облучения. Это следствие вытекало из периодического закона Менделеева. Можно смело утверждать, что периодический закон значительно приблизил открытие тайны атомного ядра. Пользуясь этим законом, учёные правильно поняли и объяснили результаты опытов по облучению урана нейтронами, а свойства вновь открытых элементов — нептуния, плутония и, позже, других — были определены заранее и положены в основу технологии их выделения.

Итак, ядра урана при облучении их нейтронами делятся и при делении выделяется огромная энергия. Однако откуда же взять нейтроны для промышленного получения атомной энергии? Существующие источники нейтронов маломощны. Радий — очень редкий элемент. Но даже при создании мощных нейтронных источников затрата энергии

на получение нейтрона была бы больше энергии, выделяемой при реакции нейтрона с одним единственным ядром урана. Задача использования атомной энергии не находила решения.

Советские физики К. А. Петржак и Г. Н. Флёрв, изучая деление ядер урана, открыли новое явление — самопроизвольное деление этих ядер. Выходит, в уране идут какие-то процессы и при этих процессах образуются нейтроны. Для расщепления ядер урана никакого постороннего источника нейтронов не требуется. Но этих нейтронов очень мало, так как делятся лишь единичные ядра — непрерывного процесса расщепления нет. Следовательно, не может быть создано и промышленное производство атомной энергии...

Вскоре, однако, работами физиков Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича были установлены необходимые условия для того, чтобы ядерный процесс шёл непрерывно — имел цепной характер.

Все эти выдающиеся достижения советских учёных устранили основные помехи на пути к возможности практического использования атомной энергии. Советская наука вправе гордиться своей передовой ролью в решении сложнейшей проблемы современности.

Период со времени получения Э. Ферми 93-го элемента и до опубликования трудов Л. Мейтнер и О. Гана в 1939 году был периодом бурной научной деятельности. За это время учёными разных стран было выполнено более сотни крупных исследований. Это был период штурма атомного ядра, и появление каждой новой работы физика или радиохимика было подобно репортажу с фронта военных действий.

Учёные понимали, что прокладывают пути в будущее человечества, видели, что стоят у истоков новой энергии, запасы которой неисчислимы. Захватывало дух при одной мысли об открывающихся возможностях.

Но куда будет направлена эта энергия — на благо народа или на его истребление?

Слова В. И. Вернадского звучали как предостережение.

В мае 1945 года первые атомные бомбы были сброшены с американских самолётов на японские города. Человечество вступило в атомный век под плач и стенания людей, в пламени бушующего огня...

Война сильно затормозила развитие в СССР научно-исследовательских работ в области физики. Затормозила, но не приостановила их.

Уже к началу Отечественной войны советские учёные установили принципиальные возможности использования атомной энергии. Хотя до практического её применения было ещё очень далеко, тем не менее наша наука имела в своих руках ключ к овладению атомной энергией.

Конечно, требовалось решить огромное количество сложнейших научных и инженерно-технических вопросов. Нужно было создать новые научные центры, организовать совершенно новые отрасли производства, подготовить многочисленные кадры специалистов в самых различных областях науки и техники.

И советский народ всё это выполнил. Выполнил, несмотря на то, что только что закончил кровопролитнейшую и опустошительную войну.

Советский народ не хотел войны — война была развязана фашистской Германией, вероломно напавшей на нашу Родину.

Мы не помышляли о том, чтобы использовать атомную энергию для истребления людей, но ясно видели новую опасность, вставшую перед всеми свободолюбивыми народами мира. Грозная тень третьей мировой войны, может быть ещё более жестокой, нежели только что закончившаяся, поднималась над человечеством.

Необходимо было ствести эту надвигающуюся угрозу. Советский Союз — мирная страна. Он никому не угрожает и не собирается на кого-либо нападать.

Мы верим, что в капиталистических странах имеются здоровые силы, которые

найдут средства улучшить отношения между странами в интересах поддержания мира и безопасности народов. Но Советский Союз вынужден был пойти на создание сначала атомного, а затем и водородного оружия. На это нужно было пойти, чтобы спасти мир.

Но все думы и чаяния советских людей были обращены отнюдь не к военному использованию вновь открытых энергетических богатств.

Советский народ, его учёные и инженеры хотели заставить служить новую энергию народу, приносить людям благо и жизнь, а не смерть и разрушения. Не удивительно, что именно в Советском Союзе была пущена первая в мире атомная электростанция.

Что же такое атомная энергия?

Мы знаем, что в результате любого химического процесса поглощается или выделяется тепло. При взаимодействии атомных ядер друг с другом также может поглощаться или выделяться тепло. Но при ядерных процессах выделяется в сотни тысяч и миллионы раз больше энергии, чем при любом химическом процессе.

В чём же различие между химическим и ядерным процессами?

При горении атомы водорода и кислорода соударяются электронными оболочками. В электронной оболочке атомов происходят изменения, она перестраивается, и при этом высвобождается или поглощается какое-то количество энергии. Но ядро атома остаётся неизменным.

При ядерных реакциях процесс происходит с ядрами химических элементов. Изменяются сами атомы. В результате образуются новые элементы.

При обычных химических реакциях все разновидности одного и того же элемента — изотопы — ведут себя совершенно одинаково. Сгорание одного изотопа углерода настолько похоже на сгорание другого изотопа углерода, что можно рассматривать простое горение углерода, не различая, какой изотоп участвует в горении.

Но не так обстоит дело при ядерных реакциях. В ядерных процессах изотопы так же сильно отличаются друг от друга, как отличаются различные элементы в химических реакциях.

Характер ядерных реакций резко изменяется в зависимости от того, какие изотопы участвуют в реакции. Известно много ядерных процессов, при которых выделяется значительное количество энергии.

Что же надо сделать для того, чтобы произошла реакция между ядрами отдельных элементов?

При проведении химических реакций для того, чтобы соединить отдельные атомы в молекулу, требуется сообщить ядрам лишь небольшую скорость, чтобы произошло их соударение, в результате которого произойдут изменения в электронной оболочке и образуются молекулы химического соединения. Для того, чтобы атомы водорода соединились с атомами кислорода, достаточно пламени спички.

Реакции же между ядрами могут произойти только тогда, когда ядрам будут сообщены большие скорости. Ядра всех атомов заряжены положительно, и для их слияния необходимо преодолеть огромные силы отталкивания. Как же преодолеть эти силы? Где найти «спичку», чтобы начать ядерную реакцию? Это можно сделать или путём нагревания участвующих в реакции ядер до миллионов градусов, либо сообщить скорость ядрам в специальных устройствах — ускорителях элементарных частиц. Всё это связано со многими трудностями.

Атомная энергия может быть получена не только при соединении ядер, но и при их расщеплении. Для этого к ядру необходимо приблизиться какой-то частицей, имеющей большую массу. Ядро можно разбить только большим снарядом.

До открытия нейтрона была известна только одна крупная частица — протон. Но протон положительно заряжен, так же как и ядро. Разбить ядро протоном или ядром какого-то другого элемента чрезвычайно трудно, так как все ядра несут положительный заряд, то есть они будут отталкиваться. После открытия нейтрона решение этой задачи значительно облегчилось. Нейтрон не имеет заряда, он может быть как раз тем снарядом, который можно использовать для расщепления атомных ядер.

Не все ядра химических элементов одинаково устойчивы. Установлено, что те ядра, количество нейтронов в которых больше количества протонов, менее устойчивы. Наи-

менее устойчивым является ядро урана, поэтому учёным казалось, что его легче всего расщепить, если попасть в него нейтроном.

Что же произойдёт, если в один из атомов урана попадёт нейтрон?

По современным представлениям ядро урана-235 при «поглощении» нейтрона начинает вибрировать, становится «возбуждённым». В результате вибрации оно деформируется, «вытягивается», внутри ядра начинается происходить какой-то, пока ещё неясный, ядерный процесс. Ядерные силы, действующие только на коротких расстояниях, при такой вибрации ослабевают, и электрические силы отталкивания получают преобладание над ядерными силами и разрывают ядро. Связь между ядерными частицами нарушается.

Ядро делится на две части, которые под действием этих чудовищных сил разлетаются в противоположных направлениях. Осколки ядра урана разлетаются в стороны со скоростью, превышающей в 20 тысяч раз скорость винтовочной пули, достигая 16 тысяч километров в секунду. Но путь этих осколков очень короткий и составляет всего лишь несколько микрон. Нельзя забывать, что все события происходят в мире микрочастиц.

Итак, при попадании нейтрона в ядро урана-235 оно делится. При делении ядра образуются осколки и выделяются нейтроны, а также испускаются гамма-лучи. Летящие осколки, сталкиваясь с другими ядрами, приводят их в движение. На пути движения осколков температура металла резко повышается, достигая на каком-то участке (правда, очень коротком, исчисляемом тысячными долями миллиметра) миллионов градусов.

Обнаружить подобное явление в мире микрочастиц очень трудно, но всё же возможно. Имеются специальные приборы — регистраторы ядерных излучений — нейтронные счётчики. Спокойно работающий в лаборатории счётчик на самом деле, как сейсмограф, отмечает катастрофические события в микромире, и каждый отсчёт такого прибора говорит о том, что здесь разрушилась ещё одна «звезда».

Таким образом, в результате разрушения ядер урана за счёт энергии летящих с огромной скоростью осколков и образуется та энергия, которая носит название атомной.

При делении каждого ядра атома выделяется от двух до трёх нейтронов. Если бы в уране произошло деление лишь нескольких ядер, то это не привело бы к разогреву всей массы вещества. Такие единичные явления можно уподобить попытке поджечь сырые дрова несколькими спичками. Будут отдельные вспышки, но горения не произойдёт.

Для того, чтобы процесс деления распространился на большое число ядер, необходимо сделать его непрерывным.

Исследование процессов деления ядер урана показало, что различные его изотопы ведут себя по-разному. Лёгкий изотоп урана — уран-235 делится при соударении с нейтронами, летящими с любой скоростью. Однако чем меньше скорость нейтрона, тем выше вероятность деления. Поэтому, если мы хотим обеспечить наибольшую вероятность деления ядер урана, надо как-то замедлить движение нейтронов.

А для того, чтобы процесс шёл непрерывно, имел цепной характер, требуется соблюсти ряд условий.

Какие же это условия?

Как уже говорилось, ядра урана делятся нейтронами. Но нейтроны могут соударяться не только с ядрами урана, но и с ядрами других элементов, которые присутствуют в уране как примеси к нему. Далее, нейтрон может быть захвачен ядром любого элемента и вызвать или его деление или же поглотиться этим ядром, которое в этом случае изменится, превратится в радиоактивный изотоп.

Следовательно, чтобы процесс имел цепной характер, необходимо освободить уран от всех примесей, очистить его. Но это не единственное условие. При делении ядер нейтроны могут выскочить из всей системы и не встретиться на своём пути ни одного ядра урана. Чем меньше кусок урана, в котором происходит ядерная реакция, тем больше нейтронов будет теряться, уходить из урана и взаимодействовать с атомами других элементов, окружающими кусок урана, например, азота и кислорода воздуха.

Минимальное количество урана, при котором возможна цепная реакция, носит название критической массы.

Таким образом, для того, чтобы происходил ядерный процесс, нужно создать систему из урана высокой степени чистоты и таких материалов, которые замедляли бы движение нейтронов, но не взаимодействовали с ними. Замедлитель не должен поглощать нейтроны, а только тормозить движение нейтронов — нейтроны слишком дороги, чтобы допустить их потерю, поглощение их другим веществом. В качестве замедлителя движения нейтронов используется графит, тяжёлая вода или бериллий, а при некоторых условиях — и простая вода.

Установка для получения атомной энергии — атомный котёл — состоит из урана, размещённого в определённом порядке в замедлителе. Обычно в атомных котлах уран используется в форме стержней различной длины и диаметра, в зависимости от конструкции атомного котла.

В результате ядерных реакций в этих стержнях происходит деление ядер урана. Стержни разогреваются, и тепло отбирается путём охлаждения их водой, газами или жидким металлом, которые передают это тепло дальше, несут его в теплообменник, где нагревают воду, превращая её в пар. Пар поступает в паровую турбину, приводящую в движение генератор электрического тока.

В результате деления атомных ядер образуются осколки, которые, постепенно теряя свою скорость, задерживаются в виде радиоактивных изотопов в стержне урана. А выделяющиеся при ядерной реакции нейтроны попадают не только в ядро урана-235, которое они расщепляют, но также и в ядра другого изотопа — урана-238. Нейтрон, обладающий небольшой скоростью, бомбардируя ядро урана-238, не делит его, а остаётся в нём. В таком ядре происходят особые процессы, благодаря которым из урана образуется плутоний.

Таким образом, помимо энергии, в атомном котле, в его урановых стержнях, постепенно накапливаются радиоактивные изотопы и плутоний. Ядра плутония, в свою очередь, могут делиться нейтронами и выделять энергию.

Можно ли управлять атомным котлом? На чём основано это управление?

Мощность атомного котла, количество выделяемого в уране тепла зависит от быстроты протекания ядерного процесса, от количества образующихся нейтронов. При делении ядер урана не все нейтроны вылетают сразу, некоторые из них несколько задерживаются. Время запаздывания нейтронов ничтожно мало, но всё же достаточно для их регулирования.

Если во время работы в атомный котёл вводить вещество — например, бор, кадмий и даже обычную сталь, — сильно поглощающее нейтроны, то часть их не будет участвовать в делениях ядер урана. Ядерный процесс замедлится, количество выделяемого тепла будет меньше.

Таким образом, опуская в котёл или поднимая из котла стержни, содержащие бор или кадмий, можно управлять нейтронным потоком, а следовательно, и мощностью атомного котла.

На пороге новой энергетики.

27 июня 1954 года историки отметят как день, открывший начало промышленному использованию атомной энергии. В этот день первая в мире атомная электростанция, построенная в Советском Союзе, стала вырабатывать электроэнергию на новой энергетической основе, используя деление атомов урана.

Это известие всколыхнуло весь мир.

Запасы угля, нефти и горючих газов на земном шаре невелики. Пройдёт какой-то период, и эти продукты станут редки, если их расходовать так же, как они расходуются теперь. Вместе с тем уголь, нефть и газы являются не только топливом, но очень ценным химическим сырьём.

Геохимические исследования показали, что запасы энергии урана в недрах земли значительно превышают запасы энергии угля, нефти и газа и могут обеспечить человечество в течение многих столетий. Таким образом, новая энергетика покоится на прочном фундаменте.

Кроме того, известно, что, помимо урана, в атомных котлах может быть использован также торий. Геологические запасы тория также значительны.

Но ведь человечество только вступит в атомный век. Всего лишь десять лет отделяет нас от того времени, когда атомная энергия была впервые выделена. Новая энергетика находится ещё в младенческом возрасте, ещё не решено много вопросов как инженерно-технических, так и научных. Учёные работают над поисками новых путей получения атомной энергии, над изысканиями новых ядерных процессов, которые будут безусловно найдены и дадут возможность вовлечь в качестве атомного «горючего» также и другие источники получения атомной энергии, кроме урана и тория.

На пути к широкому использованию атомной энергии стоит много трудностей, но даже сегодня ясно, а расчёты в этом полностью убеждают, что атомная энергия может даже по себестоимости конкурировать с электроэнергией, получаемой из угля.

Что же ещё предстоит решить учёным в этой области?

В атомном котле при делении ядра урана-235 образуются радиоактивные осколки и новый элемент — плутоний. Ядерный процесс из-за образования осколков деления урана замедляется. Проработавшие в атомном котле урановые стержни обладают очень высокой радиоактивностью. Для повторного использования их необходимо очистить от радиоактивных элементов, изъять созданные в них новые элементы. После химической переработки урановых стержней образуются радиоактивные растворы. В таких растворах содержатся разнообразные радиоактивные изотопы, равноценные тысячам тонн радия (если их излучение пересчитать на излучение радия).

Как поступить с ними? Куда их деть? На этот вопрос ещё нет ответа, и он может быть получен только в результате серьёзных научных и инженерных исследований.

В настоящее время радиоактивные растворы на атомных предприятиях являются большой обузой. Пока что растворы высокой радиоактивности сохраняются в особых хранилищах. Некоторые из радиоактивных изотопов, находящиеся в растворах, используются, но только в очень незначительной части.

Не всё ещё сделано и в отношении разработки рациональной конструкции атомных котлов. Самым дорогим веществом в настоящее время являются нейтроны. Их надо беречь. Каждый выделяющийся в атомном котле нейтрон должен быть обращён или на производство новых нейтронов, или на производство веществ, производящих нейтроны.

Если в устройстве самого реактора будут находиться ядра элементов, поглощающих нейтроны, тогда часть нейтронов потеряется, эти нейтроны будут захвачены ядрами веществ примесей. Поэтому очень важно изыскать такие материалы для конструкции атомного котла, которые не поглощали бы нейтроны или поглощали их лишь в ничтожной степени. Далее, работе в атомном котле сопутствует высокая температура — значит материал котла должен противостоять её действию. В отдельных деталях возникают высокие напряжения, конструкционные материалы котла подвержены большой механической нагрузке — следовательно, надо обеспечить их стойкость.

Вторая крупная проблема, которую необходимо решить, — это проблема защиты от радиоактивных излучений.

В результате работы атомного котла и происходящих в нём ядерных процессов образуются мощные нейтронные и гамма-излучения. Для предохранения людей от радиоактивных излучений котёл окружается надёжным слоем бетона, воды, чугуна. Вес таких экранов достигает значительной величины — сотен и тысяч тонн, в зависимости от мощности котла. Но если для работы электростанции это не имеет существенного значения, то для атомной установки, предназначенной обслуживать, например, агрегаты для транспортных целей, вопросы защиты от воздействия радиоактивных излучений являются основными.

Относительно легко можно спроектировать и построить атомную установку для крупного парохода. Большой вес устройств для защиты от излучения в этом случае не будет служить препятствием. Однако значительно труднее создать атомный двигатель для небольшого судна, и пока что нет практических решений для строительства автомобильного двигателя, работающего на атомной энергии. Путь к использованию атомных двигателей на транспорте закрывает в настоящее время тяжёлая, громоздкая защита от возникающей в атомном котле радиации.

Но можно ли преодолеть эти трудности? Вне всякого сомнения со временем учёные найдут выход из положения.

В наш век бурного расцвета науки и техники трудно поставить грань между фантастикой и реальностью. Не исключено, что удастся открыть новые ядерные процессы, при которых или вовсе не будут выделяться гамма-лучи, или же их энергия окажется настолько мала, что для защиты от неё потребуются лишь лёгкие экраны.

Радиоактивные изотопы.

Радиоактивные изотопы нашли широкое применение в различных областях науки и техники, в промышленности, сельском хозяйстве, медицине.

Определились два пути применения радиоактивных изотопов.

Они могут быть использованы для контроля в исследовательских работах и производственных процессах, для проверки качества изготавливаемых изделий. То, что атом радиоактивен, отличает его от таких же, но нерадиоактивных атомов. Следовательно, измеряя радиоактивность, можно обнаружить этот атом, найти его среди массы других. Радиоактивность, таким образом, позволяет «метить» атомы.

Радиоактивные изотопы могут быть использованы и как источники энергии излучения для воздействия на многие физические, химические и биологические процессы. Применяя радиоактивные излучения, можно, например, замедлить или ускорить рост растений, поразить бактерии, убыстрить некоторые химические реакции в производстве.

Радиоактивные изотопы являются могучим средством в проведении научных исследований и изысканий, давая возможность учёным выявлять ход сложнейших процессов, в том числе и таких, которые раньше вообще не удавалось наблюдать.

Радиоактивные изотопы только ещё начинают по-настоящему широко использоваться. Лишь после пуска атомных котлов появилась возможность производить эти элементы в больших количествах.

Мы ещё не владеем полностью всеми сведениями о действии того или иного излучения на вещество, в особенности в объектах биологических исследований. Ещё недостаточно хорошо отработана техника экспериментирования с изотопами. В руках исследователей пока что мало необходимой аппаратуры. В ряде случаев невелика точность измерений. Но даже и при этих условиях получены результаты исключительной важности.

Радиоактивные изотопы ломают старые, веками сложившиеся понятия, раскрывают совершенно новые представления о многих процессах. Работники сельского хозяйства, например, были убеждены, что в сахарной свёкле сахара образуется в корнях — в корнеплоде. Но вот были поставлены опыты с использованием радиоактивных изотопов, и эти опыты показали, что сахара образуется не в корнях, а в листьях и уже из листьев переходит в корни. Таким образом, фабрикой сахарозы является зелёный лист растения, а корень является складом готовой продукции.

Это по-новому ставит вопрос об уходе за растением. Необходимо следить не только за тем, чтобы было хорошее «складское помещение», но чтобы и сама «фабрика» была в хорошем состоянии.

Ну, а можно ли повысить производительность этой зелёной фабрики? Оказывается, и это возможно.

Мы знаем теперь, что внесение радиоактивных изотопов в почву в определённых нормах увеличивает содержание сахара в свёкле и повышает урожайность.

Пока не так ещё ясен весь сложный механизм химико-биологических процессов, протекающих в растительном мире, но радиоактивные изотопы, используемые здесь в качестве «меченых» атомов, значительно облегчают познание этих процессов.

Многочисленные наблюдения свидетельствуют о том, что радиоактивными излучениями можно усилить жизнедеятельность многих растительных организмов. Внесение в почву радиоактивного фосфора благотворно влияет на рост и увеличение числа цветков у помидоров. Отмечается эффективное влияние радиоактивных излучателей на урожайность гороха, бобов и многих других сельскохозяйственных культур.

Сельское хозяйство является потребителем огромного количества самых различных удобрений. Но как усваивают растения эти удобрения? Всё ли это питание перерабатывается при внесении его в почву?

Проводить опыты в сельском хозяйстве чрезвычайно трудно. На результаты опытов оказывает большое влияние целый ряд факторов: тепло и холод, избыток влаги и засуха. Что повлияло на урожай — внесённые удобрения или другие факторы?

«Меченые» атомы дают на эти вопросы точный ответ.

Внеся радиоактивные удобрения в почву, можно легко и просто проследить, как тот или иной атом фосфора, серы, углерода, калия, кальция распределяется в организме растения. Можно установить, сколько перешло того или иного вещества из внесённых удобрений, где они сосредоточиваются. А это позволяет судить о том, какие элементы оказывают влияние на растение и на развитие каких именно его частей.

С помощью радиоактивных изотопов было установлено, что не все растения одинаково усваивают, например, фосфор. Некоторые растения фосфорное питание требуют только в определённые периоды развития, другие — в течение всей жизни. Зная это, работник сельского хозяйства может производить подкормку сельскохозяйственных культур тогда, когда это требуется.

Радиоактивные изотопы раскрывают всё новые и новые области их применения в технике. Наиболее широко радиоактивные изотопы используются в контроле качества различных изделий из металла, в особенности сварных швов.

Для этих целей ранее применялись рентгеновские аппараты и радий. Но радий дорог, труднодоступен, добыча его мала. Рентгеновская аппаратура громоздка, для её питания требуется источник тока, пользование ею не везде возможно.

Промышленное производство искусственных радиоактивных веществ сняло все эти затруднения. В настоящее время готовится большое количество радиоактивных изотопов с различным характером излучения. Из этих изотопов можно выбрать наиболее удобные для контрольной проверки металлических изделий. Уже теперь для просвечивания металлов используются радиоактивные кобальт, иридий, цезий. Радиоактивные изотопы применяются в промышленности не только для обнаружения дефектов, но и для их предупреждения.

При изготовлении металлической ленты и листа, при производстве бумаги и ряда других изделий можно с помощью радиоактивных изотопов контролировать толщину и плотность материалов. Такой контроль можно осуществить в процессе производства продукции, не теряя времени на проведение необходимых замерений.

Пропуская через контрольный пункт аппарата с радиоактивным излучателем ленту или лист, текстильную ткань или бумагу, можно безошибочно оценить, в какой степени это изделие соответствует установленным техническим требованиям. Такой прибор непрерывно сигнализирует рабочему, что именно он готовит — продукцию высокого качества или брак. Больше того, система этих приборов облегчает автоматическую настройку машин, производящих изделия. Имеется возможность связать этот прибор с прибором настройки машин. Таким образом, можно вообще избежать появления негодной продукции.

В металлургии, в особенности на крупных заводах с большой номенклатурой производства, металлические изделия готовятся из различных марок стали. Очень важно не спутать эти марки, так как технологический процесс обработки для различных марок различен. Поэтому на прутки или ленту прикрепляется табличка с указанием марки стали. Но при массовом и сложном производстве, когда изделия многократно проходят через нагревательные печи, прокатные валки, ванны с кислотой, в которых с поверхности изделий снимаются окислы, очень трудно сохранить висящие на изделиях таблички с «паспортом» стали. Потеря же таблички не позволяет проводить дальнейшую работу. Если это произойдёт, то от «обезличенных» изделий отбирают пробы и направляют в лабораторию для установления их «личности». Такой метод паспортизации изделий весьма неудобен и, помимо всего прочего, дорог: на больших заводах эти затраты выражаются в сотнях тысяч рублей.

Применение радиоактивных изотопов значительно упрощает и удешевляет контроль. Электросваркой на прутке или ленте наносится небольшая метка. В электрод, которым производится метка, предварительно вводят радиоактивный изотоп, например,

железа. Такую метку легко обнаружить после любой технологической операции. Ни пламя нагревательной печи, ни кислоты травильных ванн не смогут удалить такую метку. Паспорт изделия уже нельзя «утерять».

Радиоактивные изотопы дают возможность взглянуть в такие уголки производства, которые ранее вообще были недоступны обозрению.

В различных отраслях промышленности приходится иметь дело с аппаратами, где находится жидкость или газ при высокой температуре и давлении. Для того, чтобы правильно вести технологический процесс, необходимо контролировать уровень находящейся под давлением жидкости или плотность газа. Прежними средствами это было невозможно делать. Радиоактивные изотопы могут точно отметить границу уровня жидкости, определить, какую плотность имеет находящееся в сосуде вещество.

В текстильной промышленности при крашении тканей, когда они проходят из одного красильного чана в другой, очень важно не занести в раствор одного красителя какой-либо другой краситель, чтобы ткань не получила ненужных оттенков. Но как это обнаружить? Достаточно ввести в красящее вещество хотя бы в очень малом количестве радиоактивный изотоп, и он точно просигнализирует мастеру, что больше этим раствором пользоваться нельзя, что он загрязнён и его надо сменить.

По газопроводу подаётся газ. Газопроводные сети пересекают огромные пространства, прокладываются на многие тысячи километров. Но как установить учётку газа в газопроводе? Как найти дефектные места, проверить, не теряется ли газ? С помощью радиоактивного изотопа можно проверить даже малейшие неплотности в газопроводных трубах и во-время принять меры для устранения дефектов.

Значительное количество машин, станков, автомобилей, тракторов выходит из строя потому, что пришли в негодность отдельные детали. Изучение причин износа имеет большое народнохозяйственное значение. Прежние методы не позволяли объективно и надёжно определять износ. Кроме того, это можно было сделать, только остановив механизм, путём замера исследуемых деталей до работы и после работы.

Использование радиоактивных изотопов позволяет в корне изменить всю технику замера износа трущихся поверхностей. Надо только нанести на поверхность детали, подверженной износу, радиоактивный изотоп и затем следить за появлением радиоактивности масла, омывающего эту поверхность.

Новый метод даёт возможность вести такой контроль непрерывно, не останавливая машин, причём позволяет не только определить степень износа, но и обеспечивает получение сигналов в случае, если износ достигнет предельно допустимой нормы.

Известно, что металлы разрушаются не только в результате механического воздействия, но и химического. Металлы подвержены коррозии. В зависимости от среды, в которой служат детали металлических конструкций, степень химического разрушения, то есть величина коррозии, будет больше или меньше. В особенно тяжёлых условиях работают детали химической аппаратуры.

Для химических производств готовятся специальные кислотоупорные стали и сплавы. Но как определить, что выбранный сплав будет стоек в той кислотной среде, для которой предназначена аппаратура?

Разработаны специальные методы коррозионных испытаний, но эти методы очень длительны. В течение многих недель образцы стали выдерживаются в растворах той кислотной среды, для которой предназначена данная сталь. Для того, чтобы выяснить химическую стойкость, определяют вес образца металла до пребывания его в кислотной среде и после пребывания. По потере веса устанавливают величину коррозии. Тысячи образцов стали подвергаются таким испытаниям.

А как поступить, если изменится концентрация кислоты или к кислоте будет добавлен какой-то новый реагент? Тогда приходится проводить новые испытания в изменившихся условиях. Но даже эти длительные испытания не раскрывают всей картины процесса разрушения. В самом деле, откуда узнаешь, с чего начинается этот процесс, какой элемент, входящий в состав стали или сплава, начинает разрушаться в первую очередь?

Применение радиоактивных изотопов позволяет изменить методы коррозионных испытаний и во много раз ускорять их проведение. Но не только в этом преимущества нового метода. С помощью «меченых» атомов можно установить самое начало

разрушения. Для этого вводятся в сплав радиоактивные изотопы тех же самых элементов, которые составляют исследуемый сплав. Наблюдая за появлением радиоактивности кислотного раствора, в котором находятся образцы испытуемой стали, можно проследить весь процесс химического разрушения.

В металлургической промышленности радиоактивные изотопы с успехом используются в работах по изысканию новых жаропрочных сплавов.

Для современной техники требуются сплавы, обладающие высокой жаропрочностью. Без них нельзя построить, например, реактивный самолёт. К сожалению, не все блестящие проекты конструкторов в настоящее время могут быть ещё реализованы. Этому мешает отсутствие материалов высокой жаропрочности.

Нам известно, что при нагревании металлических деталей их прочность понижается. Отчего это происходит? При повышении температуры колебание атомов увеличивается, атомы передвигаются. Но как проследить за этим движением?

Возможно, хотя это требует длительного времени, проследить передвижение, например, атомов никеля или хрома в железных сплавах, цинка или олова в медных сплавах. Для этого проводят химический анализ образца сплава до нагрева и после нагрева, и по изменению содержания никеля, хрома, олова или цинка в отдельных частях образца можно судить о перемещении этих атомов.

Но как проследить за перемещением атомов железа в железе, хрома в хrome?

До появления радиоактивных изотопов такая задача не могла быть решена. Теперь же это стало возможным.

Если в железо ввести некоторое, очень небольшое количество радиоактивных атомов железа, то за их поведением в среде нерадиоактивных атомов того же железа следить просто. Эти атомы излучают энергию и, следовательно, отличаются от других атомов железа.

Радиоактивные изотопы позволяют по-новому подойти к вопросам оценки жаропрочности материалов, пересмотреть структуру многих сплавов и внести существенные поправки в их составы. Радиоактивные изотопы дали возможность на строго научной основе подбирать новые композиции жаропрочных сплавов.

В металлургии и химии радиоактивные изотопы в форме «меченых» атомов служат для изучения таких процессов, которые другими средствами распознать нельзя. Действительно, как узнать, через какие стадии идёт та или иная реакция? Можно только предполагать с большей или меньшей степенью вероятности. Радиоактивные изотопы дают точный и однозначный ответ.

Радиоактивные изотопы находят всё более широкое применение в медицинской практике. Они с успехом используются в диагностике, давая возможность врачу определять начало многих заболеваний на ранней стадии, когда болезнь нельзя ещё обнаружить никакими другими средствами.

Радиоактивный йод используется при диагностике заболеваний щитовидной железы, а натрий — при нарушении кровообращения, при заболевании сосудистой системы. Радиоактивным кобальтом лечат злокачественные опухоли, фосфором излечиваются многие формы ангиомы, а также некоторые кожные заболевания. С помощью радиоактивных изотопов работники здравоохранения изучают действие лечебных средств, вводимых в организм больного, и распознают механизм их действия.

А что же дальше?

Человек совершил невероятное — не только раскрыл картину атомного мира, мира невидимых частиц, но и научился управлять атомными процессами, разрушать атомы и создавать новые. Вместо прежних 92 элементов таблицы Менделеева в настоящее время содержится уже 100 элементов. Руками человека получено 8 новых элементов. Человек понял, из чего построены атомы. Он определил не только вес и размеры протонов и нейтронов — этих основных «кирпичей» любого вещества, — но и научился обращению с ними.

Учёные овладели техникой строительства новых элементов из целых блоков. Так, например, сотый элемент был построен путём укладки в ядра плутония ядер углерода. К 94 протонам и 145 нейтронам, содержащимся в ядре плутония, сразу было вложено

6 протонов и 5 нейтронов ядра углерода, и таким образом получен новый, сотый элемент со 100 протонами и 151 нейтроном.

Д. И. Менделеевым были оставлены места в таблице для элементов, которые в то время на земле ещё не были найдены. В этой таблице, в клетке между молибденом и рутением, вместо названия элемента стояло «№ 43».

Учёные долго искали 43-й элемент, никто не сомневался, что он существует. Менделеев его утвердил, включив в свою замечательную таблицу. Следовательно, надо искать. Менделеев не мог ошибиться.

И он был найден, сначала на солнце и звёздах, а затем в недрах земли. Но найден в ничтожных количествах. Его можно было обнаружить тонкими методами анализа, но выделить его не удалось.

Этот элемент ныне создан руками человека, в атомном котле, и получен в значительных количествах, позволивших определить все его свойства. Эти свойства полностью подтвердили место, отведённое ему Менделеевым. 43-й элемент получил название технеция.

На протяжении последних лет из лабораторий учёных поступают всё новые и новые сведения об открытии ими новых изотопов. Закончено строительство ещё одного нового элемента — сто протона.

Результаты этих работ трудно переоценить — не исключено, что они поведут к открытию таких элементов и таких процессов, которые значительно упростят получение энергии из атомных ядер.

Из ядерной физики в последние годы в качестве самостоятельной ветви возникла новая отрасль, отрасль ядерной физики, изучающая не само ядро, а те частицы, из которых ядро сложено.

Изучение этих частиц привело к изумительным открытиям. Оказалось, что так называемые элементарные частицы — протон и нейтрон — вовсе не элементарны. Эти частицы являются также сложными частицами. Мы ещё не знаем, из чего они состоят, насколько они сложны и что сложнее — элементарная частица или атом, но одно бесспорно, что эти частицы, так же как и атом, делимы.

Исследования привели к тому, что в атомных ядрах обнаружены такие частицы, которые раньше отмечались только в космическом излучении. Появилось девять новых частиц, часть их в двести—триста раз больше электронов. Эти частицы получили название мезонов. Открыто несколько мезонов с различными массами, обладающих различной энергией, а также не несущих электрического заряда; открыты частицы, более тяжёлые, нежели протоны и нейтроны, — гипероны.

Изучение новых частиц потребовало создания новых, виртуозных методов экспериментирования. Некоторые из этих частиц имеют продолжительность «жизни» много менее одной стомиллиардной доли секунды. Частица появляется и тут же исчезает, поглощаясь другой частицей. И вот за короткий промежуток времени в одну стомиллиардную долю секунды нужно её зафиксировать, «взвесить», определить её энергию. Необходимо было создать все средства для такой фантастической техники.

Куда приведут эти работы, пока ещё трудно сказать, но уже одно очевидно, что господствовавшее представление об элементарности протонов и нейтронов под давлением неоспоримых фактов рушилось.

Изучение новых частиц и их взаимодействия с ядрами атомов других элементов даёт всё более обильные материалы о познании материи и сил, действующих внутри мельчайших частиц, сдерживающих их вместе.

Для исследования элементарных частиц строятся огромные машины-ускорители. В таких машинах частицам сообщаются скорости, приближающиеся к скоростям частиц космического излучения. За одну секунду частица совершает путь, во много раз превышающий путь вокруг земного шара по экватору.

Развитие этой новой техники может привести к созданию практических возможностей в широких масштабах превращать один элемент в другой и получать именно то, что нужно человеку для удовлетворения всех его потребностей, а не довольствоваться только тем, что даёт ему природа.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕННАДИЙ ФИШ

★

НА КОЛХОЗНУЮ ТЕМУ

1

Немногие из писателей знали, насколько огромен и тяжёл труд крестьянина так, как знал это Глеб Успенский. Мало кто сумел с таким сочувственным вниманием и уважением к мужику показать беспросветную нищету, в которой изнывал этот не покладавший рук труженик. И в лесной новгородской стороне и в засушливых самарских степях Глеб Успенский старался найти причину крестьянских бед и бедности, мучительно отыскивал путь, идя по которому крестьянин мог создать себе жизнь, достойную называться человеческой. При этом каждый раз Успенский приходил к одной и той же мысли:

«Замечательно...» — писал он, — что «все они изнывают и нищают потому, что им и мысли не приходит о том, чтобы работать товариществом...»

В своих беседах с крестьянами он часто убеждал их в преимуществах коллективного труда на земле.

В лесной стороне, под Чудовом, на мызе Лядно, принадлежавшей писателю Каменскому, близко связанному с «Народной волей», Глеб Успенский делился этими мыслями с крестьянином Леонтием Беляевым, которого потом увековечил в книге «Крестьянин и крестьянский труд» под именем Ивана Ермолаевича.

«— Скажите, пожалуйста, — говорил ему Глеб Успенский, — неужели нельзя исполнять сообща таких работ, которые не под силу в одиночку? Ведь вот солдат, ваш работник, который сплетничал, и другие — каждый из них мучается, выбивается из сил, врёт и обманывает, и в конце концов нищенствуют все... Но, соединив свои силы, своих лошадей, работников и т. д., они были бы сильнее самой сильной семьи... Ведь тогда незачем отдавать малолетних детей в работу и т. д.

— То есть это сообща работать?

— Да.

Иван Ермолаевич подумал и ответил:

— Нет. Этого не выйдет...

Ещё подумал и опять сказал:

— Нет! Куды!..»

Какие же доводы против коллективного труда на земле приводил Иван Ермолаевич? Почему он считал его настолько неосуществимым, что отвергал самую мысль о нём? А вот почему:

«...Тут десять человек не поднимут одного бревна, а один-то я его как перо снегу, ежели мне потребуется... Нет, как можно! Тут один скажет: «Бросай, ребята, пойдём обедать!» А я хочу работать... Теперь как же будешь — он уйдёт, а я за него работай! Да нет — невозможно это! Как можно! У одного один характер, у другого — другой!»

Дело, оказывается, — по мнению Ивана Ермолаевича — в разнообразии характеров людей, которое должно мешать коллективной работе. Или, наоборот, для того, чтобы коллективный труд на земле был успешным, требуется, мол, постричь всех под одну гребёнку, нивелировать все индивидуальные особенности, характеры, привычки людей.

Аргумент Ивана Ермолаевича через полвека повторил на собрании в Гремячем Логу, когда зашла речь об образовании колхоза, и один из персонажей «Поднятой целины» — Ахваткин:

«— Я про себя, дорогие граждане, скажу: вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе. Ить не ужились! То бабы меж собой заведутся, водой не разольёшь, то мы с Петром не заладим. А тут весь хутор хотят в мала-кучу свалить. Да тут неразбери-поймёшь получится. Как в степь выедем пахать, беспременно драка. Иван моих быков перегибал, а я его коней не доглядел. Тут надо милиции жить безысходно.. Один

больше сработает, другой меньше... Работа наша разная... Я буду стараться в колхоз, а другой, как наш Кандыба, будет на борозде спать. Как я с таким буду работать...»

Разве такие мысли не являются одним из самых главных аргументов, который и по сей день выставляют против социализма апологеты «западного образа жизни»?

В отличие от Ивана Ермолаевича, мы знаем, что отказаться от мелкого единоличного хозяйства в своё время мешало не различие характеров, а экономический строй. Точно так же, как при развитии капиталистического строя никакие сильные характеры не в состоянии помешать концентрации капиталов в сельском хозяйстве, прозябанию, уничтожению, экспроприации миллионов мелких хозяйств. Вспомним хотя бы правдивые страницы «Гроздьев гнева», этого трагического романа Стейнбека.

Учёные апологеты буржуазии также прекрасно знают, что дело не в характерах отдельных людей. Поэтому некоторые буржуазные экономисты и философы, вроде С. Булгакова, стремились ещё доказать, что мелкое единоличное хозяйство является именно такой формой земледелия, которая диктуется самими законами природы. Что же касается характеров, то пока воротили монополистических трестов, экспроприруя землю, сгоняют с неё сотни тысяч крестьянских семейств, превращают их в безработных, обрекают на вымирание, — наёмные газетчики и утончённые поэты, идя по стопам Ницше, прославляют культ сильной личности и видят — перевеирая Дарвина — в этом лишь естественный отбор, который приводит к выживанию «наисильнейших», «наилучших» и тем самым якобы способствует «улучшению породы» человеческой.

Мечта писателя-демократа Глеба Успенского о таком крупном хозяйстве, в котором поэзия земледельческого труда сочеталась бы с умственным трудом, воплотилась — правда, в другом облике — в наше время в советском социалистическом обществе.

Как же при этом обстоит дело с многообразием характеров? Ведь если верить Ивану Ермолаевичу, оно должно быть тем меньше, чем шире и глубже внедряется коллективный труд в крестьянскую жизнь.

И когда сейчас читаешь лучшие из произведений нашей литературы, книги о советском крестьянстве, произведения, авторы которых умеют отличить погоду от климата, произведения, в которых точность глу-

бокого исследования сочетается с правдивостью художника, — со всей ясностью видишь, что и сомнения, обуревавшие Ивана Ермолаевича, и обвинения противников социализма опровергнуты самой жизнью, оказались ложными. Видишь, что коллективное хозяйство на земле не только не подавляет индивидуальности, не только не стремится нивелировать характеры отдельных тружеников, но, наоборот, в своём развитии множит разнообразие людских характеров во всей их неповторимости. Более того, в крупном, многоотраслевом, механизированном коллективном хозяйстве во много раз полнее, многограннее могут проявляться и развиваться индивидуальные свойства и склонности каждого участника товарищеского труда. И, наоборот, там, где не считаются с многообразием склонностей, талантов, личных особенностей, где, словно согласившись с утверждением Ивана Ермолаевича о несовместимости разнообразия характеров с успешным ведением коллективного хозяйства, стремятся свести всё к одному шаблону, — там это хозяйство хиреет, а порой и разваливается.

Ложному тезису буржуазной литературы о крушении личности при социализме, построенному на одном лишь тенденциозном умозрении, наша литература противопоставила целую галерею живых, реальных, индивидуальных образов и характеров, сильных своей подлинной художественной правдой. Сомнения колеблющихся и клевету врагов литература опровергает образами, взятыми из гущи самой жизни.

В этом, по-моему, одна из важнейших исторических заслуг нашей литературы.

Какие разные люди строят колхоз в Гремячем Логу! Как непохожи характеры бывшего матроса, рабочего-путильца Давыдова и середняка Кондрата Майданникова, неистового, пусть ошибающегося иногда, но самоотверженно преданного партии Макара Нагульнова, под внешней грубостью которого скрывается тонкая душа, и Андрея Размётнова, которому отец в наследство оставил одну лишь дедовскую шашку, сельского кузнеца, художника своего дела Ипполита Шалого и только начинающей свою сознательную жизнь, безответно влюблённой в Давыдова Варюхигорюхи. Но всех их объединяет убеждённость в исторической, в человеческой правоте творимого ими дела — и в этом главное! Многообразие характеров в их взаимодействии, проявляющемся порой в рез-

ком столкновении, говорит нам о том, что Гремячий Лог таит в себе творческие возможности, которые, будучи верно направлены, сделают его процветающим колхозом.

То, что до тех пор было лишь революционным предвидением, стало уже очевидным в годы первого колхозного подъёма, когда многое прояснилось в живой практической деятельности колхозов, когда были найдены организационные принципы, помогающие использовать силы людей так, чтобы лучше двигалось общее дело.

На один только день из станичного колхоза «Маяк Революции» в соседний колхоз на хутор Стукачи прибыли гости, чтобы проверить, как выполняется договор социалистического соревнования. С какими разными, неповторимыми при всей своей типичности характерами встретился здесь читатель! Кто хоть раз прочитает эту проникнутую народным юмором, малую по числу страниц, но весомую повесть, никогда не забудет яростного в своей правоте ночного сторожа деда Абросима, степенного бригадира Андрея Дядюшкина из станичного колхоза и его родного брата, недавно демобилизованного младшего командира Николая Дядюшкина, председателя соревнующегося со станичным хуторского колхоза. Тут же, поблизости от Стукачей, работают герои других очерков В. Овечкина: «неуживчивая» Прасковья Максимовна и Прохор Лыков — «пропащий» мужик, лишь в колхозе нашедший возможность с пользой для всей деревни предаться своей страсти к рыболовству.

Когда после Отечественной войны мы открыли страницы нового романа Галины Николаевой о колхозе в деревне Крутого-ры, то и там нашли таких разных и незаурядных людей, как Авдотья Бортникова, её свекровь Степанида и молодая комбайнерша Фроська. И опять мы увидели, что лучше всего их способности могут развиваться в колхозе. И различие их привычек, склонностей, талантов тогда, когда они были приняты во внимание колхозом, помогли колхозу набирать силу. Повесть о том, как рос, развивался, крепнул характер Авдотьи Бортниковой, которая вне коллектива могла бы сломиться под тяжестью нахлынувших обстоятельств, — одна из памятных страниц нашей литературы. Даже пристрастие к торговле на рынке старшей Бортниковой, Степаниды, оказалось полезным колхозу! А смелый, решительный ха-

рактер Фроськи, всем существом своим познавшей свойства комбайна, которым она управляла, привёл к тому, что звеньевые границы полей, эти внутриколхозные межи, были уничтожены на благо всему хозяйству. И хотя по страницам романа бродили такие «идеальные» герои-подвижники, как Алёша, но не их безжизненные идиллические фигуры, а образы именно этих живых людей с их несхожими судьбами и резко выраженными характерами определили успех произведения.

Вспоминаешь и демобилизованного старшину Смирдова, по влечению души ставшего пасечником. Смирдов — не традиционный пасечник-старик, в уединении пасеки хранящий опыт предков, а молодой парень-пчеловод «с взглядами преобразователя природы». Сколько своеобразных людей населяет рассказы Владимира Фоменко, рисующего колхозную жизнь на Дону!

Видишь и умудрённого житейским опытом «голову сельсовета» Грегора Панасовича Бублейникова, переходящего из одного рассказа Ефима Дороша в другой, отчаянного «ругателя» прицепщика Терентия Петровича «Из записок агронома» Г. Троепольского, Марью Г. Медынского и ещё немало других людей — героев нашей литературы, посвящённой колхозной теме, и ещё раз убеждаешься в том, что многообразие характеров — неотъемлемая черта, одно из неизменных условий развития колхозного строя.

Глубиной показа характеров, их формирования, их изменения под воздействием экономических законов социализма во многом определяется степень зрелости нашей художественной литературы. Поэтому-то лишь в той мере, в какой они раскрывают это своеобразие характеров, становятся оригинальными, приобретают и свою творческую индивидуальность литераторы, пишущие о советской деревне.

И, памятуя о многих недостатках и недочётах в иных произведениях, о «мелкой вспашке» вместо «поднятия целины» и прочих немаловажных грехах нашей прозы, никак нельзя забывать ту большую её заслугу, о которой было сказано выше.

2

Из большого потока ежегодно выходящих книг, посвящённых людям советской деревни, время вершит, разумеется, отбор. И есть справедливая закономерность в том, что в строю остаются лишь произведения,

наиболее ярко показывающие правду жизни, а следовательно, и своеобразие характеров. Почти каждый год умножает число книг, которые становятся постоянными спутниками советского человека и, как говорил Н. Чернышевский, «способствуют теснейшему сближению всех членов нации в одно плотное духовное целое».

Истекший литературный год богаче предыдущих хорошими произведениями о колхозной деревне. Богаче и потому, что рядом с уже известными, любимыми, выдержавшими испытание временем героями встали новые, со своеобразными, несхожими характерами, и потому, что характеры эти развиваются и действуют в той новой обстановке, которая создалась в деревне в результате исторических решений партии.

Знаменательно, что на призыв партии всемерно участвовать в борьбе за крутой подъём сельского хозяйства писатели откликнулись быстро, оперативно и не скоропелками, не однодневками, а произведениями, ставшими подлинными друзьями читателей, потому что, как говорится в древнем изречении, «железо острит железо, а друг острит глаз друга своего». Так и эти произведения обостряют зрение, позволяют проникнуть в глубину процессов, которые протекают в сельском хозяйстве и в душах тружеников советского земледелия.

До сих пор в литературной среде распространено мнение, что быстрота писательского отклика трудно совместима с высоким художественным качеством произведений. Думающие так забывают старую истину о том, что

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия.
Не может быть не возмущён,
Когда возмущена стихия.

После лета страшной засухи 1891 года начался в деревне памятный «голодный год». А уже в ноябре Чехов отослал в журнал свою повесть «Жена», как он писал редактору: «на злобу дня — о голодающих». Быстрота писательского отклика, злободневность, как видим, не превратила в однодневку это замечательное произведение.

Если бытие, помыслы, интересы писателя неразрывно связаны с жизнью, с интересами народа, не может быть и речи об отставании. Когда есть страсть, полностью овладевшая сердцем художника, он находит наилучшую форму для её выражения, и наоборот, как сказал Гельвеций, «у нас

нет языка для страстей, которые мы не испытываем».

Этот год принёс нам новые произведения, одновременно и остро-злободневные и по-настоящему художественные. Пусть иных читателей не смущает, что на титульных листах этих книг порой поставлен подзаголовок «Очерки из жизни одного отстающего колхоза»; эти произведения художественно более весомы и творчески оригинальнее, чем многие разбухшие тома, на титуле которых красуется слово «роман».

Читатель снова повстречался с героями «Районных будней», мыслями, судьбой и делами которых он уже несколько лет глубоко заинтересован.

Борзова в новых очерках нет. Но всё время приходится вспоминать о нём, потому что следы борзовщины ещё видны повсюду. Какой бы революционно звучащей фразой ни прикрывались Борзовы, по существу они действуют, как злейшие враги социализма, потому что, разрушая материальную заинтересованность колхозников в общем, товарищеском труде, они подрывают основу основ социализма — союз рабочего класса с крестьянством. Для того, чтобы это своевременно разглядеть, писателю надо было обладать партийной, политической зоркостью, а для того, чтобы создать такой одновременно индивидуализированный и типический образ, — талантом большого художника. В очерках этого года, продолжающих «Районные будни», читатель видит, как уже знакомые ему герои, окрылённые решениями сентябрьского Пленума ЦК партии, которые отнюдь не обещали им сразу же лёгкую жизнь, «своими руками» начали перестраивать колхозное хозяйство.

В этом же году рядом с Авдотьей Бортовой встала «девчонка как девчонка — синие лыжные штаны из-под серого пальтишка, вязаная шапка, скуластенка, милостивая мордашка, косицы уложены на затылке и привязаны к вискам чёрными бантами. И надо же было случиться такому — она и оказалась новой агрономшей!» Такой появляется в Журавинской МТС Настя Ковшова, и перед читателем постепенно, в действиях, раскрывается характер этой слабенькой с виду девушки, попавшей в сложнейшую обстановку и противостоявшей людям с уже определившимися сильными характерами, но людям, которые порой за деревьями не видят леса и теряют перспективу общего движения.

«— В настоящее время у нас налицо временное противоречие между мощью левой техники и слабостью ремонтно-эксплуатационных возможностей. Такие временные противоречия неизбежны в процессе всякого развития», — вразумляет Настю Ковшову парторг МТС Федя, лучший лектор в районе.

Слова эти в общем правильные. Но что поделал, если они заворачивают Федю, успокаивают его — всё, мол, идёт так, как должно идти, неизбежно, — а на Настю действуют совершенно иначе! Понимая неизбежность подобных временных противоречий, Настя стремится сделать всё, что только зависит от неё и от окружающих её людей, чтобы время, отведённое историей на эти противоречия, было наиболее кратким, а общее дело возможно меньше страдало от них. В «Повести о директоре МТС и главном агрономе» перед читателем раскрывается история любви двух молодых людей — директора МТС Алексея Чаликова и агронома Насти Ковшовой. Казалось бы, старая песня, но как по-новому, без всякого нажима, естественно показывает развитие этого чувства писатель, в каких острых коллизиях между этими, вначале противостоящими друг другу людьми раскрываются их характеры, возникает и крепнет любовь! И тот, кто, иронизируя, убеждает нас, что проблемы квадратно-гнездового сева кукурузы лишь механически могут быть связаны с описаниями интимнейших чувств, читая эту повесть, пусть попробует отделить интимнейшие переживания героев от того общего дела, которым поглощён сейчас советский народ.

Правда, из рассказа Чаликова трудно понять, почему превратились в отсталые те колхозы, которым отдаёт теперь всю свою энергию Настя. И сама она в его изображении выглядит порой чуть ли не как святая подвижница среди мытарей, книжников и фарисеев. Такое отношение объяснимо в рассказе влюблённого человека, но к чему сводится роль писателя, слушающего эту повесть, если он её никак не корректирует? Его присутствие в таком случае лишь простой, не всегда оправданный литературный приём. Но при всём том с каждой новой страницей повести читатель всё больше понимает, почему Чаликов полюбил Настю Ковшову и за что именно он её любит. И мы сами полюбили её за те же качества — за её верность идеалам, за то, что без громких слов она делает лишь то,

в правильности чего убеждена, за то, что ведёт себя даже героически, а также и за то, что сама не понимает своего героизма (может быть, больше всего именно за это!).

Мне довелось разговаривать со специалистами-механизаторами, которые доказывали, что в спорах с главным инженером МТС во многом был прав инженер, а не Настя Ковшова. Один директор МТС даже посмеялся, прочитав слова Алексея о той лёгкости жизни, которая началась сразу после сентябрьского Пленума ЦК партии: «Раньше, бывало, какого-нибудь строительного материала не допросишься, теперь сами присылают... Раньше, бывало, с кадрами мученье... — теперь сами пошли».

— Слишком уж ему легко стало... Само по себе, без твоих усилий ничего не пойдёт. Под лежачий камень вода не течёт, — справедливо говорил этот директор. — Решения сентябрьского Пленума указали пути к подъёму сельского хозяйства, но ведь для их реализации нужно время. Нужен труд. А кое-где нужна даже и борьба — с теми, кому удобнее жить по старинке! — говорил он.

— Вероятно, многие захотят так, без драки, попасть в большие забянки. Рисуй острые конфликты, но все они, мол, были до сентябрьского Пленума. А потом снова — тишь да гладь, божья благодать. Та же теория и практика бесконфликтности — только на новый манер! — сказал участвовавший в этой беседе литератор.

И всё же, несмотря на такую «облегчённость» и на неточности, которые могут уловить специалисты, правда характеров в этой повести завоёвывает сердца читателей. В скольких повестях, рассказах, пьесах наших дней реальные конфликты между влюблёнными подменялись недоразумениями или капризами одного из них, вызванными лишь авторским произволом. Немало таких колхозных Эдвард и колхозных лейтенантов Гланов разгуливало по страницам наших книг. Здесь же даже в служебном положении героев заложено зерно возможных конфликтов. Агроном, по сути дела, должен быть «представителем урожая» колхоза и спуска не давать механизаторам, если они работают только как подрядчики, требовать от них работы высокого качества. Возникающие при этом конфликты обостряются тем, что разгораются они не между людьми, равными по своему положению, а между начальником и подчинённым. Здесь место уже не водевильным

недоразумениям, не шальным капризам, вызванным произволом автора, а самым подлинным коллизиям, для преодоления которых требуется немалая сила воли и принципиальность.

Думая о судьбе Насти Ковшовой, невольно сравниваешь её с судьбой схожей с ней девушки-агронома, также приехавшей после окончания института в колхоз, — Елены Дмитриевны Лукиной, о которой повествует талантливая книга Михаила Жестева «Под одной крышей».

Здесь уже не степь, а лесной, озёрный край. Поросший ольхой, круто сбегаящий к светлой воде речной берег. Тенистые, засаженные берёзами улицы деревни Замостье, в которой живут и действуют герои книги. Алексей Темляков, человек идеи, студент, с пятого курса института вернувшийся в родную деревню для того, чтобы помочь поднять разваливающееся хозяйство укрупнённого колхоза. И Егор Васильевич, бывший председатель райисполкома, который, став председателем укрупнённого колхоза «Замостье», перенёс туда канцелярский стиль руководства, и «бич трактористов» тринадцатилетний Васька, влюблённый в машины, и безответная, милая, работающая девушка Феоктиста Журавлёва — Феничка, человек с кристальной душой и золотыми руками, и целая галерея образов колхозников, бригадиров, пусть порой намеченных лишь штриховым рисунком, но со своей особой историей, своей судьбой. И среди них та, которая всего только несколько лет назад помогла Алексею Темлякову стать человеком идеи. Но теперь она, к горькому разочарованию Алексея, совсем другая. Поздно ночью, тайком от мужа встретив Алексея, она убеждает его уехать обратно в город.

«— Ты не понимаешь, что делаешь. — Елена Дмитриевна схватила его за руку. — Это я виновата, я знаю, Лёшенька, жизнь совсем не то. Если бы не семья, я бы давно всё бросила и уехала отсюда. Скажи, ну какая польза здесь от агронома? Надо сначала сделать так, чтобы навоз вывозили, а уж после говорить о науке. Так не только я смотрю. Так все смотрят. Нас ругают за план, за отчётность, но только не за работу. Так что же тебе делать здесь. ...Уезжай обратно, кончай институт, получай диплом.

— Диплом, диплом! — с пренебрежением перебил Темляков. — Надоело слушать. Неужели нельзя жить без диплома?

— Жить можно, — устало улыбулась Елена Дмитриевна, — но должность заниматься нельзя! Пора понять это, Лёша...

— А я не хочу понимать. Прежде всего надо быть полезным, а после дипломированным.

— Значит, не уедешь?

— Нет.

— Но ты не знаешь, как ещё больно тебе здесь будет.

— Больней, чем сейчас, когда я вижу вас совсем не такой, как прежде, не будет.

— Жизнь меня сделала такой. Ничего ты не знаешь, Лёша! Ничего! — Она что-то хотела сказать ещё, но только встряхнула головой и неслышно исчезла в ночи».

Всем образным строем своего повествования автор, отлично знающий то, о чём он пишет, показывает правоту Алексея, его победу... Это история возрождения колхоза, который чуть не потерпел крушение, не справившись с новыми трудностями, возникшими при укрупнении. Много мы читали справедливых слов о преимуществах укрупнённого колхоза, но, пожалуй, это первая книга, где образно показано, какие новые трудности возникают в таком колхозе, в какой борьбе они преодолеваются.

И когда слушаешь выступление председателя колхоза имени Димитрова в Ленинградской области товарища Ю. Омельченко или читаешь его статью о том, как за последние два года колхоз из отстающего превратился в передовой, куда не только возвратились все уехавшие ранее старожилы, но приезжают люди из других мест, — то многое кажется уже знакомым, близким, понятным, за цифрами видишь живые лица, страсти, горести и радости. Видишь поэтому, что прочитал книгу писателя-ленинградца М. Жестева. Такова обобщающая сила литературного образа.

Эта сила присуща и героям талантливой книги «Весной 1954 года» Сергея Залыгина. Рядом с людьми среднерусской равнины, рядом с алтайскими и ленинградскими колхозниками, известными по другим книгам, очерки С. Залыгина показывают нам людей степной Сибири. Уже в новых условиях, создавшихся после исторических решений партии, мы видим директора Башлакова, который поднимает отстающую МТС.

Этого директора боятся, но уважают (он научит!), и больше того — уже начали любить. И любят-то его и уважают даже такие, а вернее сказать, в первую голову

именно такие люди, которые на своей «шкуре» испытали воздействие строгих приёмов воспитания, применяемых Назаром Матвеевичем Башлаковым. Это степенный Андрей Мохов, бывший «вечный передовик», и расхлябанный, безалаберный Ефим Еремеев — соревнующиеся между собой бригады тракторных бригад, люди со столь несхожими, но одинаково запоминающимися характерами. Жена бригадира Мохова, вздыхая, говорит про Башлакова:

«— Строгий у них директор!.. И когда только этой строгости к ним, к трактористам, не нужно будет? Мы тут как переживали — отца-то нашего снял с работы! С работы снял, а тут сын из армии возвращается. Пришёл Серёга-то после службы и прямо с порогу: «Ну, дожид, отец!» Сраму-то, ей-богу! И так сказать, ещё при старом директоре отец-то наш прилично зарабатывал. Зарабатывал, а домой — едва любая половина. Остальное — всё на встречи да на гулянки. Он со своими, с деревенскими, мало и гулял, отец-то. Всё в город. Там у него знакомство. Теперь, видать, конец этому делу от Назара Матвеевича вышел. У нас вон в посёлке, в Сарайке, тракторист прибил жену. А та говорит: пожалуюсь директору эмтээса! Так он что хочешь — хоть в суд, хоть куда, только не к Башлакову. Этим она его и держит, вроде бы направляется теперь мужик... Вот Алёнка-то, она Назара Матвеевича тоже счень даже уважает... Как приедет, зайдёт к нам, она завсегда к нему на руки. Волосы ему гладит. Рыжий он, ей интересно!

— Вовсе не рыжий! — сказала Алёнка. — Не рыжий. Вот! — и отвернулась от нас».

Чувство юмора, умение подчеркнуть комической деталью серьёзность положения, присущие Овечкину, сильны и у Залыгина и у Жестева. И когда порой в разговорах об этих книгах слышишь упрёки в том, что те или иные положения в них анекдотичны, вспоминаются слова Максима Горького, который, радуясь удаче одного литератора, писал, что кое-что в его книге некоторым может показаться анекдотичным «только потому, что оно свежо, ново».

Помыслы Мартынова, главного героя цикла «Районные будни», сосредоточены на том, как нужно поставить в районе партийную работу, чтобы по-настоящему, производя линию партии, возглавить борьбу за изобилие. И каждый раз он приходит к одному и тому же выводу: нужно создать условия, способствующие возможно полному

проявлению лучших сторон характера каждого агронома, каждого тракториста, каждого колхозника. Основная задача партийного руководителя, убеждается Мартынов, — так расставить работников, чтобы каждый не только мог расти, но и помогал росту товарищей, росту своих подчинённых и своих начальников. Не случайно Мартынов считает, что и партработник должен быть «инженером человеческих душ». К такому же выводу подводит читателя и Залыгин, показывая работу директора МТС конкретно, с точным знанием как технологии труда своих героев, так и глубин их душевной и интеллектуальной жизни. На эти же мысли натадживает нас и Жестев, рассказывая о трудах и днях колхоза «Замостье». Все эти книги пронизаны размышлениями авторов о том, как лучше организовать труд, чтобы силы всех творческих индивидуальностей, их инициатива действовали с большей отдачей обществу и, следовательно, сами эти люди от него больше получали. Размышления о стиле руководства характерны и для очерков Анатолия Калинина «На среднем уровне» и «Лунные ночи», и для повести Гр. Бакланова «В Снегирях», и для повести Ивана Антонова «Разлив на Алатырь-реке», опубликованной в переводе с языка эрзя в последнем (двадцатом) выпуске альманаха «Год тридцать восьмой».

Я назвал произведения семи авторов, посвящённые жизни деревни после сентябрьского Пленума ЦК партии.

Казалось бы, они написаны об одном и том же. Действие развёртывается или завершается в них весной одного и того же прошлого года. В каждом из этих произведений показаны отстающий колхоз или МТС, которые стремятся стать передовыми. В каждом из них есть и секретарь райкома, овладевающий искусством руководства, есть хороший и плохой председатель колхоза, и даже в каждом из них имеется образ писателя, порой наблюдающего жизнь в качестве разъездного корреспондента, как в очерках Залыгина, порой вмешивающегося в происходящие события, как у Овечкина, Калинина, Жестева и Ивана Антонова, а порой, как в повести Николаевой, лишь выслушивающего исповедь героя.

Казалось бы, эти произведения должны быть похожи друг на друга! Но ничего подобного не случилось. С каждой страницей всё больше убеждаешься, что они различны и каждое из них оригинально.

Различие их не только в том, что одно напоено ароматом весенней сибирской степи, а в другом действие происходит где-то у берегов Дона; в одной повести в лицо героям дуют знойные ветры юго-востока, а в другой комбайны вязнут на заболоченных почвах северо-запада. Что и говорить, своеобразие природы каждого края кладёт свои дополнительные краски на палитру художника, тем более, что речь-то идёт о сельском хозяйстве, где непогода и ведро, где почвы и солнце, столь несхожие в разных зонах, с железной необходимостью входят в сюжет произведений. Но не это различие, конечно, создаёт оригинальность каждого из названных произведений, а следование правде жизни, стремление увидеть вещи такими, как они есть, для того, чтобы помочь людям быстрее сделать их такими, какими нам хочется, чтобы они были. Умение разобраться в обстоятельствах, увидеть, какие из них являются временными, наносными и какие главными, ведущими, и создаёт оригинальность.

Разве есть более общая тема в живописи, чем мать с младенцем на руках? Но разве кто-нибудь скажет, что эта общая тема ограничила своеобразие таланта Рафаэля или Мурильо, Леонардо да Винчи или Боттичелли и десятков других живописцев, прославившихся именно своей разработкой этой общей темы, своим отношением к этой общей и всем с первого раза доступной теме? Из книг о творческой манере многих из этих художников можно составить целые библиотеки.

Как бы хотелось прочитать статью о различии стиля, манеры, лица наших писателей, разрабатывающих общую тему. А ведь материала для этого предостаточно. Вспомним, к примеру, как ещё совсем недавно считалось, что нет ничего скучнее, чем описание какого-нибудь заседания. И вот перед нами колхозное собрание в Стукачах. На повестке дня — проверка договора социалистического соревнования между двумя колхозами. Вот другое собрание — районного партактива, на котором разбирается состояние массово-воспитательной работы в колхозах, когда вместо Мартынова, простуженного, осипшего, сидящего в президиуме с обвязанным горлом, делает доклад предрика Руденко («В том же районе»). И третье собрание районного партактива, посвящённое решениям сентябрьского Пленума ЦК партии («Своими руками»).

Рассказы об этих собраниях по-настоящему волнуют, увлекают читателей. Они обсуждаются ими на многочисленных партийных, колхозных собраниях и вызывают желание повторить то, о чём было сказано и сделано в этих очерках.

А между тем каждое из собраний, описанных в разбираемых книгах, выглядит по-иному, по-разному, в коротких репликах раскрывается своеобразие характеров действующих людей — в полном соответствии с их положением, с различными обстоятельствами. И мне хотелось бы узнать от критика — и, думается, не мне одному, — в чём секрет мастерства писателя?

Как по-разному, например, строят авторы сюжеты своих произведений. В очерках Залыгина события разворачиваются вокруг предписания из области о том, чтобы каждая МТС отрядила на вывозку перегной по три трактора. Это предписание кажется вначале случайной деталью повествования, а потом вокруг него начинается разворачиваться действие: выясняется обстановка, раскрываются постепенно в движении один за другим характеры — директора МТС Башлакова, затем двух соревнующихся бригадиров — Еремеева и Мохова, председателя колхоза Паустова. Всё большее число людей, различные факты и обстоятельства втягиваются в развивающийся сюжет, и завершается он рассказом об одном дне секретаря райкома Фоминых, характер которого и партийное лицо в повествовании определяются также отношением к этой бумажке — предписанию из области.

Совсем не похоже друг на друга организуют сюжет своих книг М. Жестев и Гр. Бакланов. Если первый стремится здесь же благополучно завершить все многочисленные фабульные линии, то Бакланов оставляет своих героев в тот момент, когда перед ними встают новые трудности, ещё не преодоленные.

«Ко многому надо было привыкать заново» — такими словами кончается повесть «В Снегирях».

И читателю остаётся большой простор для мыслей о том, что дальше будет с оступившимся председателем колхоза Денисовым, как и куда повернёт его жизнь. Здесь, можно сказать, писатель следует совету Максима Горького «немножко недосказывать, предоставлять читателю право шевелить мозгом, — так он лучше поймёт, большому научится».

Не оставляя надежды прочитать статью об особенностях стиля, о поэтике наших писателей, занятых колхозной темой, я хочу здесь говорить не о различии их творческих почерков, а о том, что их объединяет. Это—активное, партийное стремление к наиболее точному познанию реальной жизни, для того чтобы усовершенствовать её. Все они показывают, что лишь при наиболее развитии творческой активности, творческой индивидуальности каждого советского гражданина и всё общество будет становиться богаче. А для этого необходимо воспитание каждого характера коллективом и воспитание характера самого коллектива. Вот почему таким понятным становится разговор председателя передового колхоза в Тихачёве Ивана Никитича Бакунева с Алексеем Темляковым из книги М. Жестева.

«— ...Вот ты сказал — были Тихачёво и Замостье под стать друг другу... Под стать — это верно, а всё же были они разные. Как люди! Характером были разные. А раз характером, то и судьбой.

— Человек — это одно, а колхоз — другое, — возразил Темляков. — Тут коллектив.

— И у коллектива свой характер. И коллектив требует воспитания. Разве не так? Так вот, видно, оказались Тихачёво и Замостье колхозами разного воспитания и характера. Помните, наши бабы увидели — тракторист плохо пахал, подзол выворачивал, встали на борозде и ни с места. С тех пор нигде так хорошо трактористы не работали, как в Тихачёве. Вот ещё, вспомника сам, куда из района всякие людишки то за поросёночком, то за картошкой ездили? К нам или к вам? К вам! Добрые вы были! Не с нашей, а с вашей фермы корову завезшему райзо по колхозной цене дали! Невелик убыток тысяча рублей, велик урон от того, что из-за таких радетелей колхозник перестал считать себя хозяином в колхозе...»

Не лёгкое это искусство — воспитание характера коллектива!

«— ...Переставить вещи в кабинете с места на место — легче лёгкого, — думает в повести Гр. Бакланова Ермаков, сменивший на посту секретаря райкома Ларионова. — Гораздо труднее изменить ларионовский стиль руководства. А он живуч, он напоминал о себе на каждом шагу».

«Кажется, старая истина: один человек, даже самый умный, за всех думать не мо-

жет, так же как переделать все дела у него не хватит рук. Но всякий раз, когда Ермаков видел бестолковщину или не ладилось что-либо у людей, он с трудом удерживал желание взяться самому. Это было куда проще, чем научить человека, вспитать хорошего руководителя. Стоило только начать, позволить себе раз, и дальше всё пошло бы попрежнему, а сам он из партийного секретаря превратился бы в хозяйственника, оглушённого текучкой, не видящего людей.

Решения Пленума ЦК твёрдо требовали от него дать больше инициативы на месте. Только всенародным усилием можно было одолеть великое дело, начатое этой весной».

Но если образ Ермакова намечен писателем эскизно, не всегда живёт своей полной жизнью и является как бы вариантом Мартынова, то образ председателя колхоза, старика Табакова, преисполненный подлинной поэзии, написан с большой впечатляющей силой. Это особенный председатель. «Больше трёх-четырёх лет он на одном месте не сидит: поставил колхоз на ноги — сейчас же его перекидывают в другое отстающее хозяйство. А на прежнем месте долго живёт добрая память о нём». Табаков — настоящий, выдвинутый самим народом вожак масс, но не только потому, что он отличный организатор или знаток сельского хозяйства, а и потому, что он подлинный воспитатель характеров людей. Прибыв в новый колхоз, он не сомневался в том, что справится, «хотя ещё не знай, как и за что прежде всего будет браться. Но он совершенно твёрдо знал: был бы дружный колхоз, а урожай будет...»

Пусть тот стиль руководства, который с таким усилием вырабатывает для себя Ермаков, кажется присущим Табакову, как дыхание, но он является величайшим искусством, которое тем больше, чем меньше оно видно с первого взгляда. Тонким воспитателем, инженером душ Табаков встает в каждом своём деле, в каждой, казалось бы, случайной беседе. И в разговоре с сыном о выборе жизненного пути, и в разговоре с племянником, ушедшим от своего отца, когда Табаков советует ему вернуться в отчий дом, и в сцене собрания, где он незаметно для комсомольцев переворачивает жизнь комсомольской организации.

«По правде говоря, вначале Табаков опасался, что нелегко будет расшевелить

ребят: слишком уж всё у них тут не помолодому официально. Но ошибся. Оказалось, нужны только умелые руки, самое лучшее можно лепить из них». И заслуга автора в том, что, вникая в самую душевную суть, он раскрывает процесс «лепки» естественно и убедительно.

Стремление раскрыть опыт воспитателя, художественно показать, как воспитываются люди, считающие себя не только хозяевами своего колхоза, но и хозяевами страны, — люди коллективного деяния, мысли о таком стиле руководства, который бы ускорял процесс воспитания в этом направлении, — черта, объединяющая названные здесь произведения.

3

Огромны и неисчерпаемы возможности, заложенные в колхозном строе. Социалистическое сельское хозяйство неоспоримо доказало свои решающие преимущества перед мелкоотварным крестьянским хозяйством, а также перед крупнокапиталистическим производством. Победа советского народа в Великой Отечественной войне во многом была обусловлена силой колхозного строя. Велика и техническая оснащённость нашего сельского хозяйства. И всё же в послевоенные годы оказалось, что огромные возможности крупного социалистического сельского хозяйства используются ещё плохо. Уровень производства сельскохозяйственной продукции не полностью удовлетворяет растущие потребности народа, не соответствует технической оснащённости сельского хозяйства и возможностям, заложенным в колхозном строе. Более того, положение в ряде важных отраслей сельского хозяйства оказалось неблагоприятным. Здесь сказались, конечно, и тяжкие последствия небывалой ещё по своей разрушительной силе войны. Но когда были залечены раны, нанесённые вторжением гитлеровских орд, когда была укреплена и вновь поднята могучая индустриальная база, которая обеспечивала быстрые темпы развития сельского хозяйства, выяснилось, что «есть и другие причины отставания ряда важных отраслей сельского хозяйства, причины, коренящиеся в недостатках нашей работы, в недостатках руководства сельским хозяйством, то есть причины, зависящие от нас самих» (из постановления Пленума ЦК КПСС 7 сентября 1953 года).

На Пленумах Центрального Комитета

Коммунистической партии эти причины были вскрыты со всей принципиальной остротой. Среди них были и нарушения ленинского принципа о необходимости материальной заинтересованности людей в подъёме урожаев, в развитии животноводства, и шаблон в руководстве сельским хозяйством, и попытки внедрять всюду одну и ту же агротехнику, и некоторые искривления в налоговой политике, и, наконец, та система планирования, которая сковывала творческую инициативу как специалистов, так и рядовых тружеников сельского хозяйства. Существовавший порядок планирования «не диктовался ни интересами государства, ни интересами колхозов и колхозников».

Однако даже при этих трудных обстоятельствах многие колхозы добивались и высоких урожаев и достигали относительно высокого уровня благосостояния.

Это не могло происходить без борьбы, без величайшего напряжения, без самых острых конфликтов между передовыми людьми деревни и всем тем косным, бюрократическим, отсталым, против чего и были направлены решения сентябрьского и последовавших за ним Пленумов ЦК КПСС.

Жизнь изобиловала острейшими конфликтами, а в литературе имела хождение, словно созданная по заказу Борзовых, теория бесконфликтности, дезориентировавшая некоторых молодых и даже не молодых писателей. В театрах, в кино, отпугивая зрителя от колхозной темы, появились пьесы и фильмы, к которым по справедливости можно было отнести слова Достоевского: «Ведь это водевиль французский, который выдают нам за русский реализм».

М. Жестев рассказывает о споре Егора Васильевича, председателя колхоза в Замостье, с Темляковым.

«— ...Очень жаль, — говорит Егор Васильевич, — что не были вы на последнем районном совещании передовиков. Там наш завптицефермой Двухка выступал и сам секретарь райкома товарищ Чижов ему хлопал. А за что? Двухка заявил, что он готов отказаться от усадьбы.

— Откажешься, если две тысячи надо платить.

— Важна тенденция.

— Вот именно, тенденция! И себя возвысить и государство без денег оставить.

— Ерунда! А тенденция такая: не нянчиться с усадьбами. А вы предлагаете мне итти навстречу, оказывать содействие, да

ещё в такую пору. Нет, молодой человек, надо понимать, что такое политика! Я партбилет с тридцатого года в кармане ношу. Привык! Понятно?»

В этом споре Егора Васильевича с Темляковым разве не становились на сторону Егора Васильевича весьма видные критики? Они видели в фактах отказа колхозника от коровы или приусадебного участка не результат искривления налоговой политики, а ведущую тенденцию сегодняшнего этапа развития сельского хозяйства, рост сознательности отдельных колхозников!

Теперь, конечно, во всём этом разобратся гораздо легче, чем несколько лет назад, но разве и сейчас многие редакции не ориентируют своих очеркистов на показ исключительно передового, только ведущего, забывая, что дело литературы и её методы всё же отличаются от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и что передовое не рождается готовым, а крепнет и входит в жизнь только в борьбе с тем, что тянет назад, мешает. На Всесоюзном совещании очеркистов Владимир Фоменко рассказывал, как весной прошлого года он получил задание описать сев на Дону:

«Еду и вижу, бригада, о которой я должен писать, действительно работает превосходно. Но рядом творятся совершенно безобразные вещи: узкорядных сеялок нет, сеют не теми сеялками, семена перепутали. И что же я делаю? Я отворачиваюсь от этих вещей, и хотя боковым зрением вижу всё, что делается в этой второй бригаде, но прямым зрением вижу только то, что мне хочется отразить. Я стараюсь отмахнуться от плохого.

— ...Мне кажется,— справедливо говорил Фоменко,— что если исключить из своей практики это «боковое зрение», то очеркист не сделает настоящей партийной, страстной, горячей работы».

Были литераторы, которые стремились то, что давало им «боковое зрение», ввести в живую ткань повествования. Но они, подобно герою повести Ивана Антонова «Разлив на Алатырь-реке» корреспонденту Виктору Пиллигину, не могли преодолеть косности редакций, также привыкших к определённой шаблону.

Но если «боковое зрение» помогало некоторым писателям видеть теневые стороны жизни, хотя они о них и не писали, то находились литераторы, у которых и этого «бокового зрения» не было. У них было, так сказать, «избирательное зрение», позволяю-

щее из всего многообразия жизненных явлений видеть только те явления, которые хочется увидеть, отрывая их от других, соседствующих, сопутствующих, противостоящих. Как бы ещё раз подтверждалась правота И. Павлова, сказавшего: «если в голове нет идеи, глаза не видят».

Именно такого писателя и изображает в своей книге М. Жестев:

«Я вспомнил всё, что писал о Замостье, вспомнил все свои разговоры с замостинцами, в которых будущее колхоза мне рисовалось в самом заманчивом виде, и вдруг всё обернулось по-другому. Может быть, я увлёкся и в поисках хорошего не замечал плохого, проходил мимо него, а когда и видел, то не придавал ему особого значения? Разве, например, и прежде не процветала во многих семьях половинщина? Одни члены семьи были колхозниками и работали в поле, а другие вышли из колхоза и построились на плиторазработках, в учреждениях райцентра, в лесничестве? А теперь вот многие из тех, кто ещё оставался в колхозе, тоже ушли на сторону. Где же ты был, писатель, почему не видел этого, не обратил на это внимания, а устремил свои глаза на колхозное поле, где Анна Зепина на звеньевых деланках выращивала большие урожаи! А может быть, ты побоялся сказать горькую правду? Нет, если бы я её увидел, то не утаил».

И многие действительно не видели весьма существенных, крупных явлений, которые были шире и сложнее, чем деланка Анны Зепиной. В поисках решений писатели часто выбирали простейшие. Примером этого могут служить многие книги о плохих и хороших председателях колхозов.

Роль человека, возглавляющего коллективное хозяйство, не может быть преуменьшена. Неопенима заслуга нашей литературы, которая создала немало глубоких образов руководителей колхозной деревни. По призыву партии тысячи проверенных жизнью, обладающих большим организаторским и житейским опытом и знаниями людей направляются сейчас из городов на эту важнейшую работу. Ныне, когда снято многое из того, что раньше мешало, председателю раскрыть свои способности, его творческая роль ещё больше вырастет. Многое, очень многое зависит от председателя, но... и он зависит от очень многого!

Есть обстоятельства, помогающие ему, и есть обстоятельства противостоящие, которые не всякий даже и сильный человек

всегда сумеет преодолеть. Об этих обстоятельствах, об этих причинах отставания, коренившихся в общих недостатках руководства сельским хозяйством, было сказано в решениях Пленумов ЦК партии.

Но когда, обходя стороной все эти причины, литераторы всё своё внимание сосредоточивали лишь на личных свойствах колхозного председателя, способного якобы преодолеть все препоны собственным произволом, то часто получался своего рода торжествующий субъективизм, который бессознательно перекликался с волюнтаризмом некоторых экономистов, полагавших в то время, что и законы экономики можно изменять по своему произволу.

Немало появлялось у нас произведений разного литературного качества, не лишённых порой точных наблюдений и отдельных метких характеристик, произведений, которые проповедовали этакий своеобразный культ личности председателя. Личность — всё; обстоятельства — ничего. Экономические вопросы, организационные, даже проблемы агротехнического порядка зачастую подменялись одним психологическим анализом, постановкой лишь чисто этических проблем. При этом общая картина, изображающая противоречия в деревне как борьбу этих этических начал, превращалась иногда в кривое зеркало, в котором тощие фигуры становятся шарообразными. Но даже и в чисто этических вопросах у литераторов, не видевших взаимосвязей, не обладавших большим политическим кругозором, партийной принципиальностью, порой начиналась путаница. Ясно, что корыстолюбивый пьяница — явление отрицательное. Ну, а как быть с таким человеком, который не себе в карман кладёт утаённое, а в общее колхозное хозяйство? Который при этом не пьёт, а, наоборот, трезвым известен поведением?

Ведь вот в повести «В Снегирах» чудесной души человеку, но незадачливому председателю колхоза доярка говорит:

«—Ты бы, что ли, Авдеев, воровал уж, а то всё равно из твоей святости ни нам шубы не выходит, ни тебе».

А в сложной обстановке порой и таким передовым людям, как директор Понькинской МТС Ефремов, приходилось, как он сам шутя сказал на Всесоюзном совещании, для успеха общего дела «подпольно» проводить в Шадринске агротехнику Терентия Мальцева. Даже таким прекрасным организаторам, подлинным воспитателям

коллектива, как, к примеру, председатель колхоза «12 лет Октября» Малинина, один сезон пришлось утаивать от районных руководителей, что на колхозной ферме из-за нехватки других кормов коровам дают картофеля больше, чем было тогда дозволено «наукой!» Вот и нашлись литераторы, которые такие вынужденные манёвры захотели посчитать за норму жизни.

Больше того, некоторые вообразили, что человек, который кладёт нечистым образом добытое добро в артельный котёл, тайком обходит советский закон и мораль социалистического общежития, если это только идёт на пользу колхозу, может быть не отрицательным, а — с некоторой, конечно, скидкой — положительным явлением и даже стать прототипом положительного героя. Он, мол, перехитрил обстоятельства.

Наиболее ярко и откровенно такая тенденция выразилась в нашумевшей новелле Померанцева о председательнице колхоза «Бой-бабе». Полагая, что он проявляет заботу о колхозной инициативе, Померанцев в этой новелле — может быть, и сам того не желая — сделал героем ловчилу, идеализируя обман государства. Благодаря душевно-искренней интонации образ «Бой-бабы» показался некоторым читателям привлекательным, а её неблагоприятное поведение внутренне оправданным. Свообразным художественным ответом на это вредное выступление явились повесть В. Тендрякова «Падение Ивана Чупрова» и очерк С. Залыгина «Разговор с Пислегиним», показавшие, к какому логическому концу может привести «философия» блата. Полностью разоблачил «Бой-бабу» образ Пислегина. У него были те же качества, что и у «Бой-бабы». Более того, Пислегин — человек значительно большего размаха и масштаба, чем она. Он организатор первой в области МТС, он пригонял в степь со станции железной дороги первые тракторы. Вместе с водителем он сидел на машине, прокладывавшей первую борозду, и видел, как толпы босых ребятишек неслись по этой борозде, как крестились женщины и старики. Это человек решительный, хитрый, находчивый, умеющий приказать. Его Веселовская МТС всё время шла первой. И постройки лучше, чем у всех... Он ничего не клал себе в карман, но создал тайную свиноферму в степях Казахстана, организовал рыболовецкую бригаду на каком-то дальнем озере, выручка от которой шла на строительство МТС, на покупку горючего

для тракторов. Эти тракторы давно уже были списаны, на балансе МТС не числились. И работали где-то на стороне.

Такой человек многим мог бы показаться героем.

«...у него единственная почка больна. Каждые шесть или даже четыре часа ему нужен укол, и он делает это сам, без помощи врача. У него всегда с собой шприц и лекарство, делает он уколы где придётся: дома, в поле, иногда в машине, приходилось даже зимой в кошёвке. Если укола не сделать во-время, через час человек лежит, у него состояние тяжёлобольшого.

..Я готов простить ему многое», — пишет Залыгин.

Но затем постепенно, шаг за шагом, писатель показывает неизбежность падения, обречённость «единоличности» Пислегина, оторванного от общенародного дела при всей его исключительно энергичной деятельности. Этот ответ Залыгина Померанцеву, намного превосходящий своей художественной силой, внутренней убедительностью, естественным развитием характера образ «Бой-бабы», показывает, как иногда семя сорняка можно принять за полновесное янтарное зерно пшеницы.

«— Государственного ума не хватило. Свой есть, а государственного маловато!» — говорит Пислегину Башлаков, отказываясь принять его на работу в свою МТС.

О том же рассуждает и председатель колхоза у Жестева, хотя и по-другому:

«...Главное, ты, дед Антон, пойми одно: все мы под одной крышей живём. У тебя окно не разбито — у меня ветер не дует; а твои двери с петель сорвало — ко мне холод идёт! Выходит так: у тебя хорошо — у меня лучше, а у тебя плохо — у меня хуже. Значит, ваши убытки и на нашем колхозе сказываются. И кредиту меньше и удобрений. Да где-то, наверно, новую машину выпустить не могут, потому что ты не только недодал хлеба стране, а ещё сам у неё просишь...»

Это — чувство хозяина своей земли, чувство единого, государственного, неделимого целого. «Все мы под одной крышей живём» — должно присутствовать во всех делах, должно быть не только мировоззрением, но и мироощущением каждого советского гражданина, быть принципом воспитания характера отдельного человека и характера коллектива. А как же может возглавлять коллектив человек, сам таким чувством не обладающий?

Это чувство присуще Никите Максимовичу Табакову, председателю колхоза из повести «В Снегирях», который про Денисова, хозяйственного председателя, говорит: «Он, как курица, всё под себя гребёт, забота у него дальше своего колхоза не летает, а как перелетит за околицу, так на землю садится».

Потому-то и полюбился так читателям овечкинский Мартынов, что всё его поведение, все его слова проникнуты этим чувством государственности. И более чем странным кажется, что, восхищаясь «Бой-бабой», Померанцев ссылается на произведения В. Овечкина. Ведь «Бой-баба» плюёт на всё и на всех, думает лишь о своём колхозе. Позиция же Овечкина — это позиция его героя Мартынова, думающего о том, как сделать, чтобы все колхозы росли быстрее, чтобы ладилось общее дело.

4

Разумеется, ни хорошие, ни плохие председатели, которые во многих романах и повестях действовали вне реальных, жизненных противоречий, как бы автономно от них, не могли полностью удовлетворить советского читателя, потому что в них была не вся правда, а только одна из её, хотя и очень существенных, сторон.

И когда читатель в кабинете второго секретаря райкома Мартынова увидел председателя самого богатого в районе колхоза «Власть Советов» Демьяна Васильевича Опёнкина, тучного, с большим животом, в мокром парусиновом плаще, когда он услышал их тяжёлый, откровенный разговор, — сп, может быть впервые за долгие годы, из художественного произведения узнал о том, что практика зачастую складывается так, что хорошему председателю во сто крат тяжелее живётся, чем плохому, и берут такие обстоятельства, когда в результате разных пертурбаций трудодень в колхозе, собравшем высокий урожай, весит столько, сколько и в колхозе, где люди работали гораздо хуже и меньше. Потому с такой силой и прозвучали «Районные будни» Валентина Овечкина, что читатель из них узнал не только о том, что хороший председатель лучше плохого, но увидел такую обстановку, в которой обстоятельства часто складывались так, что могли и хорошего председателя сделать плохим. Об этом даже не было сказано. Но образы с такой силой убедительности показывали это, что фамилия человека, с характером и

деятельностью которого во многом и были связаны эти обстоятельства, сразу же стала нарицательной — борзовщина. Удача не столь частая.

Есть люди, обладающие силой долго и энергично противостоять обстоятельствам. И есть такие, которые после некоторой борьбы склоняются перед ними.

Осенью 1952 года Мартынов разъезжал по тракторным бригадам вместе с директором МТС Готовым, человеком когда-то, до войны, отлично работавшим, но теперь как бы опустившимся, ставшим равнодушным. После этой поездки Мартынов сказал Готову:

«— Как бы не пришлось тебе уступить своё место более подвижному человеку. Очень уж ты спокоен. Флегматик ты!

— Таков характер у меня, что поделаешь,— ответил Готов.

— Характер?.. Характер — это и есть сам человек... Один, скажем, меланхолик, другой — флегматик. Отчего этот меланхолик загрустил? Может быть, всем недоволен, не верит ни в свои силы, ни в силы народа? А другой равнодушен ко всему, живёт по принципам: «моя хата с краю», «не лезь поперёд батьки в пекло», «выше головы не прыгнешь»?

— На твою власть — ты бы флегматиков и меланхоликов и в партию не принимал? Заглянул бы в анкету: «Вопрос: темперамент? Ответ: спокойный». Не надо таких!..

— Видишь ли, товарищ Готов, твоё спокойствие — это просто политическая пассивность...

Готов усмехнулся:

— Пассивность... А я слушал, Пётр Илларионович, как ты с трактористами разговаривал и удивлялся твоей активности: «Что ещё, по вашему мнению, нужно поправить? Что ещё нужно изменить?» — будто от тебя это всё зависит: завтра же последуют нужные решения, и пойдут у нас дела как по маслу. Слушал я тебя и, по правде сказать, посмеивался в душе.

О том, почему Готов стал таким, каким мы его увидели осенью 1952 года, в очерке «На переднем крае», становится известным из разговора тех же героев в феврале 1953 года (очерк «В том же районе»).

«...Очень уж много развелось у нас возле колхозного строя бюрократов!

— Устал с ними бороться?

— Так не поборешь их! Не в моих силах.

— Ой ли?..

— Ну, если, скажем, в области спланируют чего-нибудь так, что всё твоё к чер-

тым насмарку, — что я сделаю?.. Или приехал какой-нибудь представитель. Ты тут всё тщательно продумывал, расставлял, увязывал — как разные работы сочетать, чтоб ничему не в ущерб, чтоб и на будущий год нам с хлебом быть. А он слушать ни о чём не хочет! Давай ему только то, за чем его послали. Ему лишь своё выполнить, командировку отметить, да поскорее в баню, к жене домой. Приказывает, угрожает! Так на кой леший я здесь нужен — директор? Садись в моё кресло и командуй за меня!

— Больно податлив! Первому встречному своё кресло уступаешь! Тебя Центральный Комитет посадил в это кресло!.. А ты не пробовал жаловаться на таких гастролёров в обком, в Цека?

— До бога высоко, до царя далеко.

— Вот за эту поговорку тебе выговор следовало бы вклеить!

— Валяй, до кучи. Их у меня есть уже штук пять...»

Не в пример Мартынову и Опёнкину Готов согнулся под силой обстоятельств...

Пусть здесь ещё не всё так ясно, как это стало нам ясным после исторических решений партии о сельском хозяйстве, но очерки Овечкина останутся на долгие годы в нашей литературе именно потому, что, читая их, мы вместе с автором, вместе с Мартыновым, вместе с Опёнкиным, Марией Борзовой, с семидесятилетним стариком Тихоном Андроновичем Ступаковым и десятками других персонажей, густо населяющих эти очерки, вместе с лучшими сынами Коммунистической партии начали думать, как сейчас следует изменить эти «зависящие от нас самих» обстоятельства в сельском хозяйстве, изменить их так, чтобы они не мешали, а помогали расти всему народу, способствовали развитию творческой инициативы и благосостоянию каждого в отдельности и всех вместе.

Да, Опёнкин сумел противоборствовать, устоять. А вот Степан Тихонович Морозов, председатель колхоза из очерка А. Калинина «На среднем уровне», не устоял.

«Нельзя сказать, чтобы Степан Тихонович совсем упал духом. Он ещё иногда воспаляется. Но тот, прежний Степан Тихонович, и этот — два разных характера. Бывало, встречая противодействие своим начинаниям, он только больше наливался силой. Сейчас быстро гаснет. Усталое поведёт глазами как-то в сторону и, не договорив, на полуслове сядет. Начатое не доводит до конца».

Настасья Ковшова устояла и победила, и таких, как она, немало. А вот Елена Дмитриевна, о судьбе которой поведал нам Жестев, — и таких тоже немало, — не устояла, обстоятельства пригнули её, сделали тише воды, ниже травы.

Стойкие люди, уверенные в своём курсе штурманы, смогут, конечно, так управлять парусами, чтобы и против ветра привести корабль в намеченную на карте гавань. Но, может быть, можно так изменить эти обстоятельства, чтобы они не били, как ветер, в лицо, не замедляли шаг, а дули бы в спину, ускоряя его. А нельзя ли дело организовать так, чтобы помочь не согнуться и такой хорошей девушке-агроному, какой вначале была Елена Дмитриевна, сделать так, чтобы и Насте Ковшовой облегчить борьбу за общее дело?

Ведь вот Оля Михайлова, из повести Бакланова, девушка-агроном, так же как Настя Ковшова и Елена Дмитриевна, сразу после института приехала в Лесные Озёра и оказалась в схожей ситуации. Ей тоже нелегко было бороться с неправдой. Но она не согнулась, как героиня Жестева, и не стала подвижницей, как героиня Николаевой, — ей нужно было оставаться лишь собой — честным и мужественным человеком. Это было в прошлом году, уже после сентябрьских решений партии.

Последние решения партии о сельском хозяйстве направлены как раз на то, чтобы смести с дороги все мешающие делу обстоятельства. Повышение материальной заинтересованности колхозников в результатах их труда; борьба с канцелярскими методами руководства, с шаблоном в земледелии; изменение системы планирования, предоставляющее максимальную возможность развивать творческую инициативу тем самым людям, которые трудом рук своих создают все богатства земли; посылка на постоянную работу в село десятков тысяч передовых людей города, освоивших слаженную заводскую культуру труда; мобилизация усилий учёных на скорейшее разрешение практических задач сельского хозяйства; создание новых, более совершенных машин... Впрочем, вряд ли стоит перечислять эти усилия, направленные на то, чтобы в возможно более краткие сроки обеспечить стране обилие продовольствия и сырья для лёгкой промышленности. Дело касается всего народа в целом и каждого гражданина в отдельности. Эти мероприятия способствуют, как сказал в своём докладе на сен-

тябрьском Пленуме ЦК партии Никита Сергеевич Хрущёв, тому, чтобы в сердце каждого специалиста, каждого учёного, каждого труженика сельского хозяйства зажёгся дух неукротимого преобразователя земледелия и животноводства. Создаются такие обстоятельства, которые попутным ветром надувают паруса Мартыновых, Башлаковых, Опёнкиных, Ковшовых, Темляковых, Ерёминых и противоборствуют Борзовым, Пислегиным и таким простым, легче других разоблачаемым жуликам, как Двушка.

5

У нас часто говорят об отставании художественной литературы. Если за этими словами стоит чувство, которое Горький называл единственно священной в человеке, — вечная неудовлетворённость собой, неудовлетворённость сделанным, желание сделать лучше, чем было, — то это правильно. Но, как часто эти слова говорятся и для того, чтобы общей фразой прикрыть нежелание критиков подробно разобраться в литературном хозяйстве. А оно у нас самое разнообразное.

Есть и такие литераторы, которые отстают, заново открывая давно открытые и даже уже закрытые Америки.

Есть такие, которые умозрительно, не изучив действительности, конструируют сюжеты и выдумывают героев, стремясь предугадать конъюнктуру.

Но есть и такие, которые по праву могут назваться, как говорил Горький, «чувствительным» народа, которые, несмотря на сложность обстановки, находятся «на переднем крае» той великой битвы за процветание, которую ведёт сейчас руководимый коммунистами советский народ.

Я читаю прекрасный рассказ Владимира Фоменко «Девчата».

Суходей. Несколько девушек-колхозниц работают на поле. И природа, и поле, и каждая из девушек написаны словами точными, выразительными. Девчата опыляют кукурузу. Между разговорами о делах девичьих возникает спор.

«...Ветер доносит громкий, как всегда возмущённый голос Кати:

— ...Что ж по-вашему, когда совсем жизнь наладится, только пшеничка и будет, а кукуруза — нет?

Локтева что-то отвечает... Я подхожу ближе.

— Понимать надо,— доказывает Катя.— Думаете, существует кукуруза, и всё? А вашему, планы животноводства в СССР...— это не кукуруза? Знаете, какое у кукурузы будущее? Великое!»

Споря между собой, девушки переопыляют кукурузу, создавая гибридные семена. Причём всё рассказано так занимательно, детали психологически выписаны так красочно и автор обладает таким знанием дела, что рассказ этот, при случае, мог бы выполнить даже и роль инструкции по созданию межсортовых гибридов кукурузы.

Эти девушки не стали бы сеять кукурузу в холодную, неподготовленную землю лишь для того, чтобы отчитаться: задание, мол, перевыполнено. Для них это не очередное мероприятие, а захватывающее, творческое дело жизни.

Впрочем, прочтите сами этот злободневнейший рассказ, не пожалеете. А написан он в 1948 году.

Можно напомнить и о том, какую роль сыграл роман Алексея Коженикова «Живая вода», как появление его на свет ускорило внедрение новой системы орошения. Разве и здесь были бы уместны слова об отставании литературы?

Разве решения сентябрьского Пленума ЦК партии не ответили на многие сомнения и мучительные мысли Мартынова и Опёнкина, не показали, что поиски героев очерка «Районные будни», написанного летом 1952 года, шли в том же направлении, что и поиски всей партии?

Нет, видимо, было бы неправильно и сюда отнести упрёк в отставании.

«Совершенно недопустимо установление общих схем севооборота... Нужно помнить, что процент есть математическое выражение обезлички и безответственности. Плановое задание должно быть выражено в тоннах, а не в процентах площади культуры. Иначе будет убита всякая инициатива, закрыто поле применения социалистических форм труда и открыт широчайший простор бюрократическим отпискам, очковтирательству и проч.» — писал академик Вильямс.

А. Калинин мог и не знать об этом письме учёного, но сама жизнь подсказала ему то же самое. Вспомните разговор писателя Михайлова с секретарём райкома Ерёминим и секретарём обкома Тарасовым в «Лунных ночах» Анатолия Калинина. Очерк этот был напечатан в номере журнала «Октябрь», который был подписан к печати 9 марта,

то есть в тот самый день, когда в центральной печати было обнародовано решение партии и правительства о переходе на новую систему планирования сельского хозяйства.

«...— Да, это могло бы стать золотым дном,— заметил Ерёмин.

— Что же мешает? — быстро спросил Тарасов.

— Планирование, — сказал Ерёмин.

— До сих пор я всегда думал, что планирование помогает, — сказал Тарасов.

— Я, конечно, имею в виду то планирование, которое связывает по рукам и ногам колхозы, — пояснил Ерёмин.

О том, что практиковавшаяся система планирования сковывала развитие хозяйства, можно было вычитать и в очерке П. Борискова «Колхоз в райцентре», где председателем колхоза избирается бывший начальник райплана и сам на своём опыте убеждается в порочности своей прошлой работы. Очерк этот был напечатан в январском номере петрозаводского журнала «На рубеже» за 1955 год.

А разве не о новой, принятой в этом году, системе планирования мечтал ещё в прошломоднем, может быть лучшим рассказе Е. Дороша (председатель колхоза Иван Федосеевич (именем которого и назван рассказ), вспоминая слова Суворова о том, что каждый солдат должен знать свой манёвр.

«...— Чтобы и председателю колхоза так говорили: применяйся, дескать, к местности...— знай свой манёвр! Для чего бы я стал держать тогда овец, если у меня все условия для молочного хозяйства? Или зачем на пятьдесят гектаров цикория сеять, когда мы их обработать не в силах, а машины ещё для этого не придумали? Лучше уж мы посеём двенадцать, даже десять гектаров, да будут они у нас ухожены как следует, тогда мы с них столько же соберём, как с пятидесяти. А остальную землю можно ещё чем-нибудь занять. Теперь-то она считается под цикорием, на самом же деле цикория-то за сорняками не видать. Сказали бы мне, — мечтально вздыхает Иван Федосеевич, — сдай такой-то продукции в таком-то количестве, а где там посеять да сколько — это уж мой манёвр».

Немногом больше года прошло, и мечта Ивана Федосеевича стала воплощаться в жизнь.

Конечно, речь идёт о произведениях разнокачественных. Мы можем упрекать их в разных для каждого произведения недо-

статках, но разве правильно было бы говорить здесь об отставании?..

Ведь именно из книги М. Жестева я впервые столь осязательно узнаю, как неправильно складываются часто взаимоотношения между городскими промышленными предприятиями-шефами и колхозами, как это приводит к тому, что вместо «смычки» между рабочим классом и крестьянством порой получается, как говорит там секретарь райкома, «размычка», как из-за этого увеличивается себестоимость заводской продукции, не говоря уже о стоимости хлеба, в которую почему-то не засчитывается труд прибывающих на аврал рабочих. И не решённая ещё по-настоящему, эта проблема встаёт не в отвлечённых рассуждениях, а в реальных образах, в столкновении характеров и даже в «притчах».

«...Недавно я встретил одного знакомого, — рассказывает секретарь райкома Чижов, — и спрашиваю: — Как живёшь? — «Ничего, — отвечает, — поступил на ленинградский завод». — «А сейчас в отпуску?» — «Да нет, — говорит, — на работе». — «Позволь, как так — на работе? Завод-то ленинградский — значит, твоё место в Ленинграде, а не дома!» — «А я, — отвечает, — нанялся на завод, чтобы работать в своей деревне, при колхозе... Чем из города людей посылать, да всякие проездные и командировочные платить, заводу выгодней на месте нанять...» Видите, какой новоявленный шеф?»

И когда Чижов предлагает своё решение этой ещё не решённой проблемы, то с ним можно согласиться или не согласиться, но я благодарен писателю за то, что он заставил и меня думать об этом. И здесь слова об отставании тоже неуместны. Здесь скорее речь может идти об отставании нашей литературной критики, которая не умеет своевременно найти, определить, какие явления в нашей литературе передовые, какие «на среднем уровне», а какие тянут нас назад.

Это, конечно, происходит не по злому умыслу критиков, а потому, что в большинстве своём они знают жизнь деревни гораздо меньше, чем те писатели, произведения которых критикуют. Поэтому их суждения редко выходят за пределы чисто литературных критериев или умозрительных догадок — может так быть в жизни или не может быть. А ведь как бы могла помочь настоящая, нелицеприятная критика, которая слыхала бы литературные образы с реальной жизнью и своевременно пока-

зала ведущие тенденции в литературе и те тенденции, которые могут затормозить и порой тормозят её развитие!

Возможно, что некоторые критики упрекут меня в том, что я преувеличиваю достоинства тех книг, о которых идёт речь, и словно не замечаю их недостатков. Нет, я отлично вижу, что если Владимир Фоменко превосходно владеет материалом, о котором идёт речь в его рассказах, то Галине Николаевой приходится преодолевать недостаточное знание того дела, которым заняты её герои. Мне жалко, что, рисуя портреты своих героев, М. Жестев часто ограничивается лишь пунктирной линией. Я прекрасно вижу, что Ефим Дорош гораздо тщательнее отбирает слова, они у него весомее, каждая строка у него «самовитее», чем, предположим, у Анатолия Калинина, который иногда небрежен, не так тщательно относится к «словесной выделке» своих очерков и уступает по глубине психологического рисунка С. Залыгину, но зато превосходит и того и другого в политической зоркости, в ясности, с которой он ставит и разрешает предельно острые конфликты и положения, причём тогда, когда они действительно назревают; а Е. Дорош, прекрасно ведущий повествование, умеющий выписать отдельно стоящий характер, сторонится того, чтобы показать эти характеры в столкновении, и рассказывает по большей части о конфликтах, уже разрешённых до того, как началось повествование. Я вижу недостатки этих произведений, но говорю в первую очередь об их достоинствах потому, что они мне дороги и сами по себе и по той тенденции развития, которая выражена в них ярче, чем в других книгах. И к тому же я уже не в том возрасте, в котором, как сказал Гёте, считают, что любимая женщина и любимая книга не могут иметь недостатков.

Читая новые произведения о деревне, видишь, как на берегах великих рек Сибири, на чернозёмных полях Средней России, в знойных, выжженных солнцем степях юго-востока, где бесценна каждая капля воды, и на северо-западе, где так дорог каждый солнечный день, действуют новые обстоятельства, созданные теми решениями и теми мерами, которые приняты партией в последнее время. Видишь, что, несмотря на всё многообразие характеров людей, различные местных условий, обстоятельства эти всюду способствуют развитию жизни в одном и том же направлении.

Они укрепляют в колхознике чувство хозяина своей земли, чувство ответственности за ведение своего коллективного хозяйства и личную заинтересованность в его процветании.

Читая эти книги, видишь также, как при изменившихся обстоятельствах изменяются и сами люди.

Мы уже знаем о споре Мартынова с Гловым. В этом споре оказался прав Мартынов. Но, может быть, к удивлению и самого Мартынова, выяснилось, что при иных обстоятельствах и характеры людей изменяются, в них с новой силой пробуждается то лучшее, что было заложено, но при старой обстановке не могло должным образом проявиться.

«Старик будто стряхнул с себя десяток лет, его МТС быстрее и лучше всех справилась с уборкой, дала высший по району урожай, перевыполнила план вспашки под зябь...» И когда из города прибыл на место Глова инженер, Мартынову удалось отстоять Глова, хотя для этого пришлось поспорить с секретарём обкома и с заместителем министра сельского хозяйства...

Последние страницы очерка «Лунные ночи» разве не убеждают нас, что Степан Тихонович Морозов, председатель колхоза имени Кирова, с которым мы познакомились в очерке «На среднем уровне» в те дни, когда люди с сожалением говорили: «Был не председатель колхоза — орёл», — при поддержке Ерёмкина вскоре снова воспарит.

А вот уж совсем никогда не был раньше орлом Егор Васильевич, председатель крупнённого колхоза «Замостье». Скорее даже наоборот — был формалистом, при котором колхоз в последние годы неуклонно шёл вниз. После сентябрьского Пленума ЦК партии его должны были снять и лишь временно оставили, пока не пришлют другого. Но оказалось, что и этот человек умеет работать и работает гораздо лучше, чем раньше. И к тому времени, когда прибыл новый товарищ, несмотря на то, что секретарь райкома сам его горячо рекомендовал, колхозники постановили оставить на председательском месте Егора Васильевича. Ведь и он, этот уже пожилой человек, при изменившихся обстоятельствах стал другим, за многие годы впервые показал, что у него не только в кармане партийный билет, но и сердце партийца.

Нет, нелегко достаётся эта перестройка характера. История о том, как трудно было бороться за возрождение Елены Дмитриев-

ны, преодолевая её сопротивление, как, воспитывая её критикой, Темляков воспитывал и весь коллектив и самого себя, как было возвращено её мужу право на самоуважение, а ей возвратили «прежнего Григория, который жил с ней одними интересами друга и мужа, помогавшего ей в работе, а значит и прежнему, большую, настоящую любовь», — эта история одна из самых волнующих историй в книге Жестева.

А не создан ли уже новый литературный штамп? — может усомниться какой-нибудь критик-скептик.

Но в данном случае одному автору трудно было заимствовать «приём» у другого и потому, что книги эти написаны в одно и то же время, и потому, что они наполнены очень точным местным жизненным материалом, и потому, что они показывают изменения душевного мира людей, совсем не похожих друг на друга, действующих в разной обстановке, каждый из которых, в отличие от схематических персонажей, детально и художественно убедительно индивидуализирован, имеет своё собственное лицо, характер и судьбу. Судьбы эти раскрываются каждым автором по-своему, оригинально.

Гораздо естественнее думать, что общая тема, общие положения возникли потому, что писатели эти — в разных условиях, по-разному одарённые, каждый по-своему видящие жизнь, — правильно подметили те подлинные процессы, которые характерны для наших дней.

Общая тема только делает содержание этих книг понятным и близким широчайшим массам читателей и лучше позволяет раскрыться подлинной индивидуальности художника, его действительной оригинальности, потому что, как писал Чернышевский: «У кого есть содержание, тот не будет хлопотать, чтобы отличаться оригинальностью. Он не может не быть оригинальным, потому и не думает об этом».

Стоит прочитать, к примеру, главу «День Арсения Петровича» из книги С. Залыгина, чтобы понять, как далёк этот очерк от понятия «штамп», что невозможно было бы написать его человеку, не владеющему в такой степени материалом, в какой овладел им Залыгин. Какое мастерство должно быть у писателя, какая внутренняя свобода, чтобы так, час за часом, проследить, как изменяется мнение секретаря райкома Фоминых, как он колеблется, ищет, как оправдать свою нерешительность, советует-

ся. И мы видим, как новые обстоятельства, характеры людей, которыми он призван руководить, обогащают его, подталкивают, заставляют к вечеру наконец принять решение и начать бороться за него, то решение, которое противоречит директиве из области и которого утром он ещё боялся.

Читатель видит такого секретаря райкома, который при других условиях мог бы превратиться в чиновного канцеляриста, в своеобразного Борзова, а при новых обстоятельствах, толкающих его на учёбу у народа, он если и не станет таким, как Мартынов или Ерёмин, то всё же может стать неплохим секретарём, вроде Чижова.

Вообще надо сказать, что секретарь райкома уже перестал быть в нашей литературе «Deus ex machina», каким он был ещё недавно. Он никогда не ошибался и, наоборот, всегда поправлял ошибки других, он никогда не посвящал других в свои мысли, но вещал готовые истины. В тех произведениях, о которых здесь, идёт речь, секретари райкомов — живые люди, их мысли, переживания, обиды, открытия и ошибки раскрываются перед читателем во всей своей глубине и сложности. Читатель начинает понимать и поэзию партийной работы и огромную её творческую роль.

6

Нельзя сегодня писать о деревне, забывая о новой агронауке, творимой совместно трудом учёных и колхозников. Мысли о науке, то или иное практическое разрешение научных проблем, естественно, входят в сюжет и в обрисовку характеров действующих лиц. Но в сельском хозяйстве разговоры о науке «вообще» — это краснобайство. Разговор о науке должен быть всегда конкретен. И если бы не было других «примет времени» — в повести «В Снегирах», — то по беседе Оли Михайловой с девочками можно было бы определить время действия... После сентябрьского Пленума — весна прошлого, 1954 года.

Как-то в жаркий день на поле, во время обеденного перерыва, Оля Михайлова, молоденький агроном из повести Гр. Бакланова, рассказывала девочкам, усевшимся на земле, о бактериях, живущих вокруг корней растений, о новой теории почвенного питания растений, на которой, кстати сказать, и основаны прогрессивные предложения академика Лысенко об удобрении полей малыми дозами органо-минеральных смесей. Предложения эти были встречены

«в штыки» многими деятелями науки, но практика подхватила их.

Председатель колхоза Денисов, до тех пор с недоверием относившийся к девушке, случайно оказался свидетелем этой беседы на поле. И писатель показывает нам, как эта беседа заинтересовала Денисова и стала переломным пунктом в его отношении к молодому агроному.

Во многих названных здесь произведениях говорится об опытах и открытиях колхозного учёного Терентия Мальцева из Зауралья.

В 1950 году была создана первая государственная опытная станция в колхозе «Заветы Ленина». С осени прошлого года на одной только Украине таких станций стало уже больше двадцати. Казалось бы, что они перестают быть исключительным явлением. Но всё же, когда в заключительной главе книги М. Жестева мы узнаём, что в колхозе «Замостье» организуется такая же, то — пусть простит нас писатель — мы не верим ему. И не только потому, что такие станции создаются лишь в тех колхозах, которые прославлены или своими учёными или блестящей организацией, чего нет в «Замостье», а потому, что мы видим здесь произвол автора, пожелавшего благосполучно закруглить своё повествование. Оно началось с рассказа о неудавшейся организации научной станции в колхозе, — пусть, мол, это дело закончится удачей. Так называемое в поэтике «кольцевое» построение фабулы. М. Жестеву недостаточно вызванное всем ходом повествования горячее сочувствие читателей Темлякову, ему захотелось и административно поощрить своего любимого героя. Алексей покинул вуз, чтобы помочь колхозу. Так мало того, что он заочно кончает институт, — пусть будет ещё вознаграждён за своё самоотвержение должностью заведующего станцией. Так небольшое отступление от жизненной правды для того, чтобы следовать канонам, литературному шаблону, требующему от каждого произведения, книги развязки, отомстило за себя, ослабило концовку хорошей книги. М. Жестев, сам не без иронии относящийся к тем людям, которые после недавних решений партии «полагают, что теперь без особых усилий, словно золотой осенней листвой, колхозы сразу будут осыпаны всеми благами и щедротами земли», — словно забыл об этом под конец своей книги, завершая все фабульные линии счастливыми, благостными развязками,

словно роздал ордена после серьёзной боевой операции. Но операция-то ещё не закончена. И поэтому во много раз более прав перед читателем оказывается Овечкин, который, не уступая ни одного слова жизненной правды литературному канону, всем образным строем своих произведений показывает, что постановление партии не есть уже само по себе разрешение всех труднейших задач, а лишь руководство к действию, показ направления, по которому следует двигаться вперёд, что всё намеченное в нём ещё предстоит сделать «своими руками».

Предстоит большая борьба для того, чтобы творчество масс сделало живой реальностью те великой важности решения, которые приняты партией. И здесь, в этой борьбе, неопределима роль передовой литературы. Разве всюду уже разбита борзовщина, разве карьеристы, прикрывающиеся самими «идеологически выдержанными» речами, сразу, сами по себе, исчезнут и все пережитки уже ушли в прошлое? Разве на зональных совещаниях по сельскому хозяйству, прошедших в этом году по всему Союзу, мы не убедились в том, что даже такие важнейшие, кардинальнейшие решения, как введение новой системы планирования, на практике часто искажаются и теми, кто просто не понял их, и теми, кому привычнее работать по старинке?!

В одном из своих выступлений Терентий Мальцев говорил:

«Привыкнув прочно придерживаться шаблонных правил в руководстве сельским хозяйством, сельскохозяйственные органы нашей области теперь, после резкого осуждения методов их работы, могут по привычке и незаметно для самих себя снова впасть в шаблон при исправлении своих ошибок. Опасность эта велика... Бывало... в колхозах прокладывались новые, прямые дороги, а старые, кривые перепахивались и засеивались. Однако по привычке колхозники не один год свёртывали на эти старые дороги и проезжали по прежним, но теперь перепаханым и засеянными дорогам. Подобно этому и в данном случае, неровен час, можно свернуть с нового пути на прежний, старый путь. А шаблон в руководстве сельским хозяйством, каким бы он ни был — старым или новым, — он больше ничем не может быть, как самим собой, то есть шаблоном».

Об одной из таких попыток свернуть с нового пути на старый, о конфликтах, кото-

рые возникают в борьбе за воплощение в жизнь исторических решений партии, о целой россыпи золотых крупинки нового народного опыта, увиденного в колхозах Мордовии, и рассказал писатель Иван Антонов в своей правдивой повести «Разлив на Алатырь-реке».

Какое огромное поле открывается для боевой деятельности нашей литературы, для сатиры и для лирики, для прозы и для драматургии, для всех писателей, в каком бы жанре они ни работали! Сколько новых народных талантов раскроется, сколько неповторимых характеров будет выковано в борьбе за выполнение решений партии. Сколько будет найдено нового, открыто, изобретено, выращено! И разве не великое счастье для писателя, по крупинкам собирая это новое, утверждая его в сознании миллионов требовательных читателей, участвовать в этой борьбе?

Немало уже сделано, но, как пишет в «Василии Тёркине» Твардовский:

Не гляди, что на груди,
А гляди, что впереди!

А впереди — край едва лишь початой работы.

Партия подняла советский народ на осуществление гигантской операции — освоение целинных земель.

И раньше, ещё до революции, было известно, что в бескрайних просторах целинных земель таится большое богатство. Назывались они тогда «колониационным фондом». Некоторые деятели буржуазной науки считали эти «фонды» вообще непригодными для земледелия. Другие же, наоборот, советовали переселить туда «избыточное» крестьянское население, страдавшее от малоземелья в центральных областях России; они думали, что таким путём можно будет уйти от революции и спасти помещичье землевладение. Горячие прения об этом разгорелись во время обсуждения аграрного вопроса в Государственной думе первого и второго созыва.

Анализируя эти дебаты, выступая против тех, кто утверждал, что окраинные земли не годятся для земледелия, Ленин писал: «.Непригодным в значительной своей части этот фонд является в настоящее время не столько в силу природных свойств тех или иных окраинных земель, сколько вследствие общественных свойств хозяйства в коренной Руси, свойств, обрекающих технику на застой, население на бес-

праве, заботость, невежество, беспомощность».

Неосвоенные земли, утверждал Ленин, будут «становиться тем шире и тем доступнее, чем свободнее будет крестьянство в коренной России и чем больший простор получит развитие производительных сил».

Октябрь семнадцатого года освободил крестьянство от гнёта помещиков, коллективизация — от гнёта самого многочисленного класса эксплуататоров — кулачества. Могучий рост социалистической индустрии сделал возможным решение насущной, теперь всенародной задачи. Передний край этой великой битвы — там, в степях Алтая, в степях Казахстана, куда со всех концов Советской страны отправились десятки тысяч посланцев советского народа.

И всё же острые газетные зарисовки Ильи Сельвинского, неглубокая, хотя и не лишённая наблюдательности книжка И. Шухова «Покорители целины», темпераментные очерки о целине Игоря Коссаковского, опубликованные в карело-финском журнале «На рубеже», и даже лучшие из тех, что мне довелось прочитать, — очерки Вл. Солоухина о том, как создаётся новый совхоз на целине, и С. Гехта «Встречи на целине» («Знамя» № 7 за 1955 год) — можно считать лишь заявочными столбами на золотоносных участках. Ни одного

подлинного самородка литература наша здесь ещё не получила, и, пожалуй, только начинается намывка крупинок золота из тонн литературного песка.

Ещё нет книг о людях, оставивших сейчас свои привычные дела, переломивших течение своей жизни для того, чтобы, отправившись в деревню, в МТС, в совхозы, принести туда свой организаторский опыт, поднять производственную культуру на полях и фермах до уровня, достигнутого уже в промышленности, и сделать всё, чтобы достижения, открытия науки, её последние рекомендации, быстрее преодолев сопротивление рутинёров, становились из «отвлечённой науки» конкретной практикой.

Партия в своих решениях, посвящённых сельскому хозяйству, в борьбе за изобилие стремится развязать инициативу народных масс, сделать так, чтобы каждый творческий характер мог возможно полнее проявить все свои возможности. И тем самым решения эти помогают подъёму и нашей литературы, литературы социалистического реализма, потому что, только показывая многообразные характеры в их развитии, в преодолении трудностей, неизбежных при решении новых задач, и способствуя этим самым воспитанию характера коллектива, может расти наша литература, которая «призвана не только отражать новое, но и всемерно помогать его победе».



Б. РУНИН

★

ВЕТЕР ИСТОРИИ

Как отраднo, взяв в руки книгу неизвестного тебе доселе автора, внезапно открыть для себя целые пласты народной жизни, жизни мощной и вечной, суровой и бодрой, неумолимой в своём развитии, непрерывной в своём становлении. Ещё вчера ты ничего не знал ни об описанном тут клочке земли, ни о людях, которые издавна там живут, ни о том, что с ними было раньше и что случилось потом, а теперь и земля эта у тебя перед глазами и сами её обитатели властно вошли в твои думы, в твоё сознание, в твоё представление о мире, обогатив его своими судьбами, своим опытом.

В сущности так бывает всегда, когда имеешь дело с книгой серьёзной и правдивой, с художником вдумчивым и честным, проникнутым деятельной любовью к своему народу и непреодолимым стремлением рассказать о нём правду, всю правду, и только правду. И, может быть, не стоило бы об этом говорить заранее, предваряя всяческие обязательные и необходимые мотивированные суждения, но хочется уже с самого начала, не боясь некоторой, возможно даже излишней, восторженности тона, именно так начать этот разговор о книге «Берег ветров» эстонского писателя Ааду Хинта. Ведь слишком часто мы, критики, в своём стремлении всё объяснить, обозначить и определить не успеваем порадоваться вместе с читателем всегда изумляющему чуду искусства, чуду творчества, способного воплотить на малом пространстве нескольких сотен страниц целый неизведанный мир. А именно это радостное чувство и испытываешь, читая «Берег ветров».

2

Картины, которые нарисовал в своей книге Ааду Хинт, относятся к началу века. Обдуваемый ветрами Балтики пустынный ост-

ров Сааремаа. Скупая северная природа. Жители — неторопливый, крепкий, верный национальным устоям, трудолюбивый народ, привыкший к своей неплодородной каменной земле, к своему суровому морю. Издавна установившийся порядок жизни — тяжкий труд на помещика, полный опасностей рыбацкий промысел, постоянное, но тщетное стремление выбиться из нищеты, призрачные мечты о счастье. Свадьбы, рождения, похороны... И гнёт, двойной гнёт — с одной стороны царское самодержавие, с другой — местные бароны из немцев.

Но и этот устоявшийся и, казалось бы, незблемый уклад жизни незаметно подтачивается, разрушается, видоизменяется под влиянием могучих социальных процессов, происходящих в мире. Расслоение деревни затронуло и этот пустынный берег залива Каугатома. Всё больше и больше молодёжи покидает родные места, чтобы пополнить ряды наёмных рабочих на предприятиях и стройках Таллина и Риги, всё чаще сыновья покидают отцов, чтобы стать матросами на больших кораблях, бороздящих далёкие моря. И всё чаще сами отцы становятся батраками. Потомственные землепашцы и рыбаки, они превращаются в пролетариев. И таких — сотни. А единицы «выходят в люди», богатеют, скупают землю, приобретают корабли и тянутся стать в один ряд с баронами.

И вот этот глухой, расположенный «на отшибе» уголок Российской империи оказывается волей истории втянутым в революционную борьбу 1905 года. И здесь зреет народный гнев, и здесь накапливаются силы, которые требуют выхода. Революционная волна докатилась и до этого малолюдного острова. Вооружается народ, пылают баронская мыза, проникшие и сюда призывы партии находят отклик в сердцах простых людей.

События полувековой давности, воскрешённые пером одарённого и взыскательного писателя, проходят перед нами во всей своей убедительности и достоверности, заставляющей позабыть о художественном вымысле, потому что он стал правдой. Обстоятельно и неторопливо, шаг за шагом, страница за страницей раскрывает писатель этот мир, эти судьбы, эти характеры, такие колоритные, словно вырубленные из цельного куска дерева, этих крепких, настоячивых, упорных и мужественных людей, среди которых прошли его детские и юношеские годы.

Сначала перед нами медленно, словно проступая из морского тумана, возникает приход Каугатома, вернее — его часть, незначительный отрезок берега у рыбацкой пристани Питканина. Постепенно эта прибрежная полоска суши заполняется людьми, оглашается их голосами, и как-то неожиданно мы вдруг оказываемся вовлечёнными в круг их забот и помыслов, в систему установившихся отношений и репутаций, в тот несложный, на первый взгляд, перечень их поступков и дел, который составляет существо здешней жизни. А в поле нашего зрения попадают всё новые и новые люди — мужчины и женщины, старики и подростки, девушки и парни. Вся эта масса движется, разговаривает, работает, спорит, размышляет, словом — живёт, хотя каждого человека в отдельности мы ещё плохо различаем.

На первых порах может даже показаться, что автор зря не заботится о том, чтобы сразу индивидуализировать своих островитян, что он допускает здесь ошибку, что, увлечённый общим, он позабыл об отдельном. Даже имена у него нарочито повторяются, как бы подчёркивая массовость изображаемой сцены. «В ограде было теперь разом три Виллема, четыре Кусти, пять Михкелей и три Пеэтера», — между прочим сообщает автор. Толпа эта пестрит, колыхается, и мы поначалу не знаем, кому из множества персонажей отдать предпочтение, на ком следует сосредоточить свой читательский интерес.

Но это не случайный просчёт, а характерный для Ааду Хинта художественный приём количественного нагнетания подробностей, широкого охвата мельчайших обстоятельств существования людей, из которых исподволь, но неуклонно складывается глубокое понимание их бытия. И уже здесь автор достигает таким путём своей

цели: мы пока что приобретаем к местным условиям, погружаемся в эту неповторимую атмосферу душевного здоровья народа, нам с самого начала ясен фон, на котором будет развёртываться дальнейшее повествование.

Быть может, самое примечательное в этой описательной первой сцене, посвящённой весеннему лову окуней, являющейся экспозицией романа, то, что писатель сумел нарисовать столь живописную картину ожившего берега преимущественно через восприятие слепца, старого песельника Каарли Тиху (ослепшего ещё на турецкой войне). Такая трудная изобразительная задача по плечу только зрелому, опытному художнику, достигшему высокого уровня мастерства, хорошо знающему свои возможности, уверенному в своих силах. В том, что это именно так, убеждает и чёткость композиционного принципа «Берега ветров». Повествование у Ааду Хинта развивается с расчётливой последовательностью, свидетельствующей о продуманности и ясности творческого замысла и вместе с тем с подкупающей естественностью, создающей иллюзию произвольного следования фактам. Строгая логика сочетается здесь с отсутствием всякой преднамеренности.

Постепенно из общей массы начинают выделяться главные действующие лица. По мере чтения их фигуры становятся всё более рельефными, они вырисовываются всё с большей отчётливостью. Психологические, биографические и портретные детали незаметно, от эпизода к эпизоду откладываются в сознании читателя, с каждой страницей проясняются и уточняются взаимоотношения людей, и, по мере того как обозначается главное русло повествования, приобретают определённую жизненные позиции героев.

На первый план выступает семья Тиху, представленная тремя поколениями: старый Реэдик и его жена Ану; их сыновья Матис и Тынис; сыновья Матиса и его жены Вийи — Пеэтер и Сандер. Судьба этой семьи и становится сюжетной основой романа.

3

Старый Реэдик умирает, не пожелав перед смертью исповедоваться, чем восстанавливает против своего рода пастора Гиргенсона, зятя здешнего помещика барона Ренненкампа. По-разному складывается жизнь сыновей Реэдика — Матиса и Тынниса.

Первый всю жизнь бьётся на своём, вернее арендуемом им, клочке земли, второй уходит в море, добывается диплома капитана и возвращается в родные края, сколотив капиталец, который он хочет вложить в дело. Тынис одержим мыслью образовать артель и совместными усилиями построить корабль. Воодушевлённые идеей взаимопомощи, местные бедняки организуют товарищество на паях и под руководством старого корабельного мастера Михкеля строят корабль, названный по общему решению «Каугатома».

Страницы, посвящённые коллективному труду и традиционному обряду крещения корабля, венчанию корабля с морем, — одни из самых ярких в книге.

Люди вложили в общее дело все свои силы, всё своё умение, все свои сбережения. С «Каугатомой» связаны их надежды на лучшее будущее. Но законы общества, в котором они живут, против них, и надеждам этим не суждено осуществиться. «Каугатома» плавает по морям и уже даёт доход, однако Тынис, как главный пайщик, оттесняет земляков от участия в деле и в конце концов становится единоличным владельцем судна.

В Тынисе просыпается хищник, жадный и жестокий. Он отказывается от брака с батрачкой местного богатея Хольмана, Лийзу, и женится на её внезапно овдовевшей госпоже. Всеми способами он приумножает свой капитал. Всё дальше отходит он от своего брата Матиса.

А Матиса преследуют неудачи. Сын его Сандер совместно с волостным писарем Антоном Сааром опубликовал в либеральной таллинской газете корреспонденцию о тяжкой жизни островитян, о произволе барона, о бесчинствах пастора. В результате семья Матиса изгнана с хутора. А тут начинается война с Японией, Сандер уходит на фронт и после Цусимы пропадает без вести.

Внезапно приезжает другой сын Матиса — Пеэтер. Вот уже пять лет, как он работает в Таллине на фабрике и посещает вечернюю школу для рабочих. Сподвижник Миханла Ивановича Калинина, который в ту пору работал на таллинском заводе «Вольта», втягивают Пеэтера в революционную деятельность, и теперь ему приходится скрываться от полиции. Партия посылает его на родину.

Пеэтер пробуждает у земляков дух протеста против помещичьей эксплуатации, под-

нимает их на борьбу. Крестьяне во главе с Матисом идут к барону, чтобы предъявить ему свои требования. Барон стреляет в Матиса и ранит его. Этот выстрел становится сигналом для активных действий. Проходит некоторое время, и вот уже барон, а затем и пастор заключены восставшим народом в кутузку при волостном правлении. Теперь уже нет надежды на мирный исход событий. Необходимо запастись оружием, которое можно закупить только на материке. «Война так война! — коротко решили мужики». Для этой цели решено снарядить в Таллин быстроходную «Каугатому». Но Тынис отказывается от такого предприятия, и народ силой захватывает судно. На этой почве между Матисом и Тынисом происходит окончательный разрыв. Отныне их жизненные позиции непримиримы — братья представляют собой в этой сцене два противоположных борющихся лагеря.

Заканчивается книга разгромом помещичьей усадьбы, подожжённой крестьянами. Как и начало книги, финал её даётся через восприятие слепого пессельника Каарли, чей образ, пожалуй, с наибольшей силой воплощает в себе дух народа, его мудрость и смекалку, его лукавый юмор и творческую одарённость, его душевную бодрость и нравственную мощь.

«Конечно, он ничего не видел, пламя почудилось его внезапно озарившемуся воображению. Но у Каарли так и осталось убеждение, что он видел пожар мызы, и позже он не устал рассказывать об этом другим. Однако рассказывать это Каарли мог лишь недели две, а потом он вместе с другими участниками восстания стоял под дулами винтовок, и после их грохота он действительно уже ничего не видел и не слышал.

И огни погасли, кроме одного. Это было пламя страстных слов «Интернационала», которое продолжало гореть и под пеплом, чтобы позже, через годы, снова мощно разгореться».

Так кончается книга. Ещё до того, как рассказать о восстании на острове, автор сделал нас очевидцами полной трагизма и жестокости сцены расстрела на таллинском «Новом рынке» 16 октября 1905 года, когда царские войска открыли огонь по безоружной рабочей демонстрации. И хотя страницы эти трудно читать без содрогания, хотя автор не скрывает, что в дальнейшем народное выступление на Сааремаа тоже будет зверски подавлено, что на острове будут

свирепствовать каратели и многие герои, которых мы успели хорошо узнать и полюбить, будут расстреляны, — тем не менее финал книги проникнут историческим оптимизмом. Он заставляет вспомнить о том, что первая русская революция пробудила к борьбе за свободу все народы России, угнетаемые царизмом, что опыт этой революции не прошёл даром, а дал возможность выработать единственно правильную тактику, которая и привела к победе.

4

Как уже говорилось, Ааду Хинт стремится рассказать о своём народе правду. По разным поводам можно упрекать его — порой за чрезмерную замедленность действия, иной раз за излишнюю обстоятельность описаний, кое-где за нежелательную монотонность хроникальных страниц, даже, если уж очень быть требовательным, за однообразие второстепенных характеристик. Да и основные действующие лица, конечно, удалась автору далеко не в равной степени. Так, например, образ Пеэтера, который является носителем передовых идей, человеком, наиболее близким нам по духу, пожалуй, обеднён писателем. Рядом с такими выразительными фигурами, исполненными добротного реализма, как слепой Каарли, корабельный мастер Михкель, пастор Гиргенсон и особенно Тынис Тиху, представленными нам во всём богатстве социально-психологических особенностей, Пеэтер выглядит несколько схематично. Неоправданно скупо дан также образ сельского интеллигента писаря Антона Саара.

Но при всём том вы нигде не почувствуете в книге фальши. Верность правде жизни органически присуща автору «Берега ветров»; он достигает её свободно и непринуждённо, бесхитростно рассказывая о своих героях всё, что ему о них известно. А знает он о них очень много — и всё, что касается главного интереса их бытия, и всё, что касается обыденности их существования.

Жизненные стремления героев Ааду Хинта, их духовный склад, их моральные запросы и материальные нужды, их быт и нравы, навыки и представления, повседневные заботы и отвлечённые помыслы прослежены здесь поистине с эпическим размахом. Писатель очень чутко и внимателен ко всему, что характеризует его ге-

роев в смысле их социальной дифференциации, и в то же время он создаёт отчётливое синтетическое представление о национальном характере.

Исторические судьбы, социальные и географические условия, формировавшие этот характер на протяжении многих веков, создали особый человеческий сплав, особый психический склад, полный интереса и неповторимого своеобразия. Здравый смысл, практицизм и осторожная неторопливость северного землепашца соединились тут с отвагой, свободолобием и решимостью воина, издавна привыкшего к борьбе за свою национальную независимость. А исконная крестьянская замкнутость и стремление к обособленности хуторянина причудливо сочетаются в этих людях с широкими представлениями о мире, с привычкой к далёким странствованиям, с интересом к чужим странам, свойственным прирождённым морякам.

Видимо, картины, нарисованные в «Береге ветров», да и образы жителей острова Сааремаа, о которых пишет Ааду Хинт, несколько своеобразны и на взгляд эстонца. Очевидно, уклад жизни островитян в этом смысле тоже специфичен, окрашен особым местным колоритом. Но это вовсе не значит, что «Берег ветров» — произведение узко местное, географически и тематически локальное, ограниченное в отягчении возможностей широких художественных обобщений, как неверно было бы считать, например, «Тихий Дон» не эпопеей из жизни русского народа, а всего лишь «областническим» произведением о донском казачестве.

При всём стилевом, хронологическом и каком ещё угодно различии подобное сопоставление не так уж случайно. Недавно в Таллине на эстонском языке вышла вторая книга «Берега ветров», после знакомства с которой гораздо отчётливее вырисовываются общие контуры монументального замысла Ааду Хинта.

Пока вторая книга не вышла в переводе, вряд ли стоит подробно касаться её. Скажу только, что время действия в ней доводится до кануна первой мировой войны, а место действия остаётся прежним. Что касается основных героев, то они попрежнему представлены фамилией Тиху. Это, с одной стороны, «тенгасский барин» Тынис, а с

другой, жена Сандера — Маре и её сынишка Эник, в лице которого нам предстоит встретиться с четвёртым поколением славного рода. И хотя вторая книга, как и первая, сюжетно завершена и может рассматриваться как самостоятельно существующая, в дальнейшем угадывается и её продолжение. Очевидно, семейная хроника рода Тиху, с тремя поколениями которого мы уже познакомились, имеет все данные перерасти в национальную эпопею о жизни эстонского народа на протяжении нескольких десятилетий двадцатого века.

Не будем сейчас гадать о том, в четвёртом или в пятом томе пространное повествование Ааду Хинта получит своё окончательное завершение (автор, во всяком случае, намерен довести его до 1940 года, ставшего незабываемым рубежом в истории народов Прибалтики). Гораздо важнее уяснить идейную суть такого замысла, возвращающего нас к началу века, а потом шаг за шагом приближающего читателя к нашему времени. Проследить и осмыслить, начиная с дальних истоков, социальные и политические процессы в жизни эстонского народа, особенности его революционной борьбы, протекавшей в единстве с борьбой русского пролетариата, сдружившей его с русскими рабочими и крестьянами, — это ли не плодотворная задача? И то, что Ааду Хинт подошёл к ней как истинный художник, владеющий секретом создания ярких типических характеров, не боящийся противоречий жизни, не подгоняющий их под отвлечённую рациональную гладенькую схему, а смело идущий им навстречу, творчески воссоздавая картины прошлого, — делает «Берег ветров» произведением особенно ценным.

Да, общность исторических судеб и политических стремлений у эстонских и русских тружеников возникла не в 1940 году, когда Эстония окончательно вошла в лагерь социализма, а гораздо раньше. Она отчётливо проявилась уже в начале века, когда русский пролетариат под руководством Коммунистической партии возглавил борьбу за социализм на всём пространстве Российской империи, в том числе и в бывшей Эстляндии. И в данном случае мы имеем дело не с раскрашенной иллюстрацией на историко-революционную тему, выполненной к юбилейной дате, а с реальной жизнью людей, с наглядными проявлениями их страстей и желаний.

5

Насыщенность социальным содержанием сочетается в «Береге ветров» с художественной конкретностью, с обилием красочных характеров, представляющих самые различные слои общества, с глубоким проникновением в «психологию фактов», во внутренний мир изображаемых персонажей. Тут и беднота и богатеи, блюстители власти и духовенство, сельские ремесленники и моряки дальнего плавания, представители родовитой аристократии и городские рабочие, коммерсанты и революционеры. Они проходят перед нами в многообразии своих сословных и индивидуальных навыков и стремлений, идеалов и предрассудков, окружённые обилием бытовых деталей, самых различных примет времени и места.

Мы ясно представляем себе, чем эти люди в жизни заняты, как они пахут, косят, ловят рыбу, ходят в море под парусом, как любят и отдыхают, веселятся и горюют, как мыслят и разговаривают. Словом, они живут перед нами, со всей непосредственностью проявляя свою сущность, в зависимости от обстоятельств, в которые они поставлены, в зависимости от сложных взаимоотношений, которые между ними возникают, в зависимости от логики событий и от перемен, которые с неизбежностью порождает время, ход истории.

Ааду Хинт отнюдь не закрывает глаза на слабости и недостатки даже своих любимых героев в сфере их частной жизни. В своём отношении к понятиям чести, справедливости, верности, короче говоря, к понятиям добра и зла писатель выступает как носитель истинно народных представлений. Жизнь порой ставит человека в такое положение, когда его гораздо легче осудить, чем понять. И, говоря о простых людях, о людях из народа, Ааду Хинт прежде всего старается понять их поведение, никогда не снижаясь до назидательного морализирования. Народу чужда ханжеская мещанская мораль, он шире, великодушнее, проще и целомудреннее прописной благопристойности, словно говорит нам писатель.

Но Ааду Хинт вовсе не объективист в плане социальных отношений, и его никоим образом нельзя обвинить во всепрощении. Нет, он суров и безжалостен, когда дело касается людей, чуждых народу, далёких от народной жизни, от трудовых забот, таких, как барон Ренненкампф, пастор Гир-

генсон, жена Тыниса Тиху госпожа Анете или полицейская ищайка Артур Тикк. Тут Ааду Хинт выступает перед нами в несколько ином качестве, прибегая к средствам сатиры, к саркастическому осмеянию всей этой публики.

Благотворное сочетание в пределах одного произведения этих двух начал — строго объективного и откровенно разоблачительного — могло бы стать предметом специального разговора. Однако по условиям места я не буду углубляться в эту интересную для исследования проблему. Отмечу только, что, обращаясь к иронии и сарказму, Ааду Хинт не теряет своих качеств последовательного реалиста, и его ядовито-высмеянные персонажи ничуть не проигрывают в достоверности рядом с остальными героями. Несмотря на некоторую неизбежную гиперболичность, они не нарушают общих пропорций повествования и всей эмоциональной атмосферы романа, его красочной палитры, а скорее дополняют её новым оттенком.

В этой связи хочется ещё отдельно коснуться образа Тыниса Тиху (пожалуй, самого яркого в книге). На него не распространяется сатирическое отношение автора к угнетателям народа, несмотря на то, что «тенгасский барин» по своим стремлениям и социальному положению непосредственно примыкает к лагерю эксплуататоров, а потом и возглавляет его в приходе Каугатома.

Значит ли это, что Ааду Хинт пощадил своего Тыниса Тиху? Нет, но он не осмеивает его, а разоблачает иными средствами, глубоко вскрывая внутреннюю логику этого образа. Тынис Тиху — образование сложное, многоплановое, противоречивое. Это делец, ещё не установившийся в своей капиталистической сущности, в своей накопительской подлости. Почему же здесь оказалась неуместной сатира? Потому что, достигнув некоторого материального могущества, Тынис ещё не окончательно порвал с породившей его средой. Выходец из низов, потомок многих поколений простых рыбаков, пахарей и матросов, он ещё сохранил в себе остатки душевного здоровья своих предков, не до конца утратил нравственную связь с трудовым людом.

Где-то в тайниках своей души «тенгасский барин» ещё ощущает себя порой «здешним», кюласооским Тынисом, сыном старого Рездика, братом непокорного Матиса. В нём ещё сильна народная закваска,

и если он любит продемонстрировать свой демократизм, выказать себя перед односельчанами таким свойским парнем, то тут сказывается не только расчёт на популярность, но и инстинктивное уважение к прочности народных устоев, к силе, таящейся в низах. А с другой стороны, такое его поведение продиктовано и чувством неуверенности в завтрашнем дне, сопутствующим росту его богатств, неосознанным пониманием одиночества перед лицом надвигающегося исторического шквала.

В могучей фигуре Тыниса Тиху стяжательство уживается с размахом, жестокость — с великодушием, важность — с ущербностью, одиночество — с энергией. Есть в этом образе нечто такое, что роднит его с горьковскими богатеями, выбившимися в люди, гордыми своими успехами и в то же время не сумевшими обрести душевный покой.

6

В работе над многотомной эпопеей, посвящённой судьбе народа на большом временном протяжении, на крутых исторических переломах, Ааду Хинту есть у кого поучиться. Мировая литература знает немало эпических полотен, отражающих глубинные социальные процессы в форме семейной хроники. Тут можно назвать и «Сагу о Форсайтах» Дж. Голсуорси, и «Будденброков» Томаса Манна, и «Семью Тибо» Роже Мартен дю-Гара, и много других подобных произведений. Но в том-то и дело, что идейная суть «Берега ветров» заставляet с осторожностью отнестись к таким ассоциациям, потому что эта книга органична и характерна именно для литературы социалистического реализма, а не реализма критического. Ведь здесь говорится о том, как накапливается революционная энергия масс, как аккумулируется воля народа к борьбе за своё освобождение, как растёт и зреет его революционное самосознание. Ааду Хинт старается избежать прямых оценок событий, развёрнутых авторских высказываний. Но психологическая перспектива его образов, общая идейно-художественная направленность его романа неминуемо приводят нас к чётким политическим выводам. Образными средствами писатель приводит нас к пониманию исторических задач, стоявших перед народом, к идее о необходимости переустройства общества, в котором живут его герои.

Это — во-первых. А во-вторых, «Берег ветров» в смысле художественного своеобразия — явление, возникшее на национальной почве, имеющее под собой не только прочные народные корни, но и определённые культурные традиции. Я позволяю себе, не зная оригинала, судить о стиле Ааду Хинта и делать на основании его особенностей некоторые выводы потому, что перевод романа, выполненный Л. Фатсевой, А. Даниэлем и А. Боршаговским, внушает всяческое доверие и явно заслуживает высокой оценки. Работа над переводом «Берега ветров» несомненно сопряжена с большими трудностями. Обилие действующих лиц и связанное с ним разнообразие речевых характеристик, влияние на речь некоторых персонажей иноязычной лексики (немецкой и русской), характерные проявления местного крестьянского говора, наличие специальной терминологии, часто встречающиеся словечки и выражения, заимствованные из морского жаргона, — всё это требует большой чуткости и гибкости при передаче на другом языке.

Переводчики «Берега ветров», повторяю, хорошо справились со своей нелёгкой задачей, но между прочим, так сказать, в скобках, мне всё же хотелось бы сделать одно замечание. Дело в том, что почти все персонажи романа, кроме имени, надслены ещё географическим прилагательным, производным от названия хутора, или мызы, или островка. Эта принадлежность места жительства или места рождения человека, устойчиво сопутствуя его имени, говорит сознанию героев гораздо больше, нежели фамилия. Такова местная особенность, и против неё трудно было бы что-либо возразить, если бы автор несколько не злоупотреблял ею, а переводчики, невольно, конечно, не подчёркивали её необычностью звучания. Ведь текст романа буквально пестрит всеми этими труднопроизносимыми «талистерский Куст», «раннавальская Алма», «лайкивская Тийна», «сааремааские жители», «каугатомаские мужики» и т. д. и т. п.

Мне кажется, что здесь нельзя идти по пути механического прилагательства к географическому названию окончаний «ский», «кая» или «ские», а следует сообразоваться с природой русских прилагательных, чтобы они не звучали противоестественно. Ведь не говорим же мы «Нарваские ворота», «охтаский житель», «Ригаский залив», а — «Нарвские ворота», «охтенский житель»,

«Рижский залив», каждый раз придавая такому географическому прилагательному удобное и привычное для русского уха звучание, преобразуя его применительно к особенностям русской речи. И не прошли сказать «Алма из Раннавалья», чем «раннавальская Алма»?

Думаю, что при работе над переводом второй книги романа этот недостаток будет учтён. Однако вернёмся к основному предмету нашего разговора.

Так вот, национальная форма, если понимать её широко, как содержательную форму (не ограничиваясь чисто внешними признаками, вроде наличия местного словесного орнамента или вкрапленных там и сям пословиц и поговорок), ощущается в «Береге ветров» с достаточной отчётливостью. Она сказывается в самом строе повествования, неторопливого и подробного, эмоционально сдержанного и образно целесообразного, одинаково далёкого как от патетических эффектов, так и от психологической витиеватости.

Эта органичность формы проявляется и в логике сюжетного развития, твёрдо последовательного, на первый взгляд несколько замедленного, но внутренне динамичного, прочного и основательного в мотивировках, в трезвом отборе деталей; и в деловой предметности описаний; и в бесхитростном, всегда естественном юморе; наконец, в смысловой определённости интонации, эпически спокойной, исключаяющей какие бы то ни было разночтения, как бы вобравшей в себя одновременно скромность и достоинство.

Во всех этих чертах вы ощутите художественное выявление определённого психического склада, некой исторически сложившейся устойчивой общности жизненных навыков и духовных потребностей, которые с неизбежностью сказываются в истинных созданиях национальной культуры. Когда читаешь, даже в переводах, лучшие произведения эстонских писателей, чувствуешь, что эти черты шире индивидуальной манеры Ааду Хинта, так же как и тяготение к раскрытию характеров в обыденных, повседневных обстоятельствах, как и стремление выразить поэзию жизни через её сугубую прозу.

Тут перед нами открывается образная пластика, чем-то напоминающая народную деревянную скульптуру, с её тенденцией к строгой простоте, к «демократизму» формы, с её грубоватой обнажённостью мате-

риала, такого привычного, обиходного и вместе с тем таящего в себе возможности монументального воплощения действительности.

И, если уж зашла речь о предшественниках Ааду Хинта, о литературных традициях, которым он следует, то здесь прежде всего должно быть упомянуто имя эстонского писателя А. Таммсааре, автора классического пятитомного романа «Правда и право», где рассказывается о жизни нескольких поколений эстонцев, начиная с последней четверти прошлого века. Если же

говорить о влиянии современных образцов, то, конечно, «Тихий Дон» был упомянут выше не случайно.

«Берег ветров» вырос перед нами на безбрежном просторе творческих достижений народов нашей страны, там, где скрещиваются пути лучших национальных традиций, национальной классики и классики русской, советской. Благоговение взаимного обогащения культур, основанного на дружбе социалистических наций, получила в произведении Ааду Хинта ещё одно красноречивое подтверждение.



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



В. Тендряков. Очерки о колхозных буднях.— Евг. Долматовский. С доброй улыбкой.— П. Антокольский. Новое о Пушкине.— А. Дирингерова. Характер и творчество.— А. Анфиногенов. Репортаж об Арктике.— Ал. Исбах. Летопись французского Сопротивления.— Л. Лазарев. Слово и зрелище.

Литература и искусство

Очерки о колхозных буднях

Алексей Темляков кончает институт, осталось немного: сдать госэкзамены, защитить диплом, и он агроном с высшим образованием. Уже тревожат вопросы: что за работа ждёт впереди, куда ехать, какой выбрать себе путь? А путей много. Могут послать и директором совхоза, могут поставить и главным агрономом МТС, могут выдвинуть на председателя крупного колхоза. Можно даже поступить в аспирантуру тут же, при институте, — исследования, диссертация, в будущем высокое научное звание, кафедра, свои ученики. Это ли не заманчиво!

Но вот из родного села Замостья, где Алексей уже не был несколько лет, приходит от матери письмо. Мать пишет, что в замостинском колхозе, где не так давно жили справно, в эту зиму едва прокормили скот, и то не на своём, а на покупном сене; народ разошёлся кто куда, трудодень мизерный — триста граммов хлеба, а о деньгах и не мечтай. В колхозе пошатнулась жизнь, в колхозе плохо!

И Алексей решается на время перейти на заочное, оставить институт, поехать в свой колхоз. Это с пятого-то курса, когда диплом уже почти в руках, отказаться от перспектив творческой научной работы! Недаром же его многие предупреждают: «Смотри, парень, просчитаешься. Затянет жизнь — останешься недоучкой...» С точки зрения здравого смысла эти опасения не лишены основания.

Михаил Жестев. «Под одной крышей». «Советский писатель», М. 1955.

Но Алексей твёрдо стоит на своём решении. Он должен ехать в колхоз. Долг советского гражданина, и в первую очередь долг коммуниста, человека с высокопартийной моралью, обязывает его быть там, где трудно.

Мне кажется, и сам автор книги «Под одной крышей», Михаил Жестев, похож на своего героя Алексея Темлякова.

Много хорошего в нашей жизни. Можно писать о грандиозных стройках, о смелых учёных, о выдающихся колхозах. М. Жестев направил своё внимание на пошатнувшийся колхоз, даже подзаголовком своей книги поставил: «Очерки из жизни одного отстающего колхоза». Он показывает не только передовое, но и отстающее, не только достоинства, но и недостатки; больше того, о достоинствах автор говорит скупно, сдержанно, без славословия, а для показа недостатков не жалеет ни места в своей книге, ни красок. Прав ли он? Не принизит ли это нашу жизнь? Не помешает ли это в нашей общей, сложной и многотрудной борьбе за построение коммунистического общества?..

Стал аксиомой тот факт, что литература наша обязана воспитывать читателя в духе коммунизма, литература наша должна быть партийной. Но в чём конкретно выражается партийность литературы?..

Обычно отвечают: в показе нового, передового. Против этого не возразишь.

Однако это новое часто понимается поверхностно, я бы сказал, даже вульгарно. Показать колхозника, который по будням

ест блины с маслом, и умолчать о колхознике, который вынужден в холщовом «сидоре» возить из райцентра домой хлеб буханками, так как своего хлеба, заработанного на трудовни, не хватило, — не значит ещё показать новое.

Если вспомнить, что партия настойчиво призывает вскрывать ошибки, не замазывать их, не подменять парадностью и восхвалением, то станет понятно, что произведение, выставляющее напоказ блины и отвернувшееся от колхозника, которому туго с хлебом, не является произведением партийным. Наоборот, оно выступает против принципов нашей партии.

И за то, что М. Жестев выбрал объектом для своих очерков отстающий колхоз, — честь ему и хвала. Место советского писателя, как и всякого другого коммуниста, не только там, где хорошо и благополучно, но и там, где трудно, где пока ещё плохо!

У М. Жестева есть такой эпизод.

Учитель начальной школы выбран секретарём колхозной парторганизации. Он по своему умён, разбирается в хозяйстве колхоза, даже имеет незаурядные способности агитатора. Все данные за то, чтобы быть партийным вожаком. Ан нет!..

Лето, косяба, горячие дни... Партийный секретарь агитирует колхозников, чтобы все как один активно выходили на работу. У самого же у него — каникулы, свободное время, и он идёт тоже косить, но только не на колхоз, а... для своей коровы. Попробуй упрекнуть его за это!

Он агитирует, чтобы колхозники во время уборки берегли дорогое время, не разъезжали по базарам, а сам, пользуясь опять же свободным временем, едет продавать ягоды из своего сада в Ленинград.

Против откровенного хапуги, беззастенчиво пользующегося колхозной или социалистической собственностью, есть определённые статьи в уголовном кодексе, но ни один прокурор не решится применить закон к такому секретарю парторганизации, о котором упомянул М. Жестев. Этот секретарь формально прав — косит для себя сено в свободное время, никто не может запретить продавать ягоды где и когда ему вздумается. Нет такой статьи, чтобы привлечь его к ответственности, а вреда в жизни он приносит несколько не меньше откровенного, неприкрытого хапуги.

Вот таких-то литература и должна вытаскивать за шиворот на суд общественности, обличать со всей непримиримостью.

М. Жестев обладает умением тонко подметать и показать читателю отрицательное, спрятанное под какой бы то ни было окраской.

Егор Васильевич Бутырин в недавнем прошлом занимал ответственный пост, был председателем райисполкома. Сейчас он председатель большого укрупнённого колхоза. Колхоз его одновременно и нищ и богат. С одной стороны, тысячи гектаров пахотной земли — раздолье для хлебороба, поёмные луга, строевой лес, в распоряжении прекрасная техника МТС, с другой стороны — убогий трудовень, на полях сорняки вместо хлеба, бескурмица в зимнее время. Колхоз захлебнулся своим богатством, не в силах справиться с ним, сидит на сокровищах и день ото дня хиреет.

Председатель Егор Васильевич примирился с убожеством колхоза, не видит выхода, как манны небесной ждёт того дня, когда его отстранят от колхоза, переведут на более спокойную работу.

Почему же так получилось, что этот Егор Васильевич, некогда руководивший целым районом, несколькими десятками колхозов в нём, теперь не в силах справиться с одним?

Автор без особых предисловий прямо отвечает на этот вопрос. «...Он и раньше не утруждал себя глубоким проникновением в жизнь деревни и оценивал любой колхоз по тому, как тот укладывался в срок различных кампаний и принимал планы райисполкома. Он так же и теперь рассматривал свою работу в колхозе. Прежний Егор Васильевич как бы властвовал над нынешним, он лишь несколько опростился, потерял районную масштабность, но остался таким же, каким он был. Его жизненная, а вместе с ней и служебная философия была коротка и несложна. Главное — уложиться в срок и выполнить план! А остальное — зажиточность колхозников, товарность, механизация и агротехника — всё это нечто второстепенное. Во всяком случае, такое, за что председателя могут поругать, но что не грозит ему серьёзными неприятностями».

Всё ясно, Егор Васильевич ни больше ни меньше как службист, единственным руководящим принципом для которого является: «А как бы не всыпали!» Он чиновник, но чиновник особый, ему чуждо чёрствое бездушие, он хотел бы помочь колхозникам, он даже пытается что-то сделать и делает, но по-чиновничьи.

Бригадир Никита Фёдоров навозил на строительную площадку скотного двора дикий камень. У него простой расчёт: подвозка леса обойдётся дорого, камня кругом много, его всё равно нужно собирать и отвозить с полей, чего лучше, использовать как строительный материал — дёшево, прочно, удобно.

Но Егор Васильевич и слушать не хочет: «Ты что мне тут разные фантазии разводишь! — кричит он на бригадира. — Покажи мне типовой проект, чтобы из валунов скотный двор был».

А, к несчастью, таких типовых проектов нет в районе, нет официально утверждённой бумаги, значит, по мнению Егора Васильевича, не может быть и речи о строительстве.

Когда он был председателем райисполкома, то просто выполнял роль передаточной инстанции: сверху приходили бумаги, он их спускал вниз. В колхозе же, более чем где-либо, надо руководить конкретно, надо быть вдумчивым хозяином. Недаром же Алексей Темляков, в прошлом студент, в будущем секретарь партийной организации, говорит: «Хороший председатель колхоза наверняка сможет быть хорошим председателем райисполкома, но весьма сомнительно, чтобы плохой председатель райисполкома стал хорошим председателем колхоза».

Однако под чиновничьей оболочкой у Егора Васильевича где-то глубоко теплятся чувства советского человека. Он скрывал их до тех пор, пока не видел выхода, пока Алексей Темляков, Никита Фёдоров, Анна Зепина и другие колхозники, наконец, постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС не заставили его поверить — выход есть! Тогда в характере Егора Васильевича происходит перелом.

Перелом этот закономерен, другое дело — насколько убедительно написан он.

В один прекрасный день Егор Васильевич, считавший себя временным явлением в колхозе, твердивший: думайте, как хотите, «не мне, а вам в колхозе жить...», вдруг достаёт запарник, помогает его установить, потом «неожиданно перенёс свою активность на конюшню... Потом он заставил овощеводов очищать от снега парники...» Его охватила хозяйственная горячка.

Всё это могло быть, всё это даже как-то подготовлено предыдущими столкновениями с Алексеем Темляковым, жестокими доказательствами правоты нового секретаря,

которые подтверждает сама жизнь. И тем не менее перелом выглядит несколько примитивно.

Не может такой перелом в человеке совершиться безболезненно, без душевной драмы, пусть незаметной, скрытой от окружающих, но тем более, должно быть, понятной читателю. Слишком просто отказывается Егор Васильевич от всего прошлого, и просто потому, что автор не потрудился заглянуть в духовный мир своего героя. Слова его, завершающие главу о переломе: «...Как подумаешь, что скажут: был у нас председатель Егор Васильевич, это при нём как никогда худо жили, — так сердце щемит...» — далеко не достаточны, чтобы заменить истинные переживания героя.

На страницах современных книг встретить образ партийного секретаря не редкость. Куда большая редкость найти среди них секретаря не из тех резонёров, которые исправляют ошибки некими безоговорочными рецептами.

Образ Алексея Темлякова не таков. Живя одной жизнью с колхозниками, он беспрестанно присматривается, анализирует эту жизнь, делает выводы, без громких фраз борется за их воплощение. Он сделал открытие, что трудности в колхозе возникли оттого, что с укрупнением колхоз стал во много раз богаче.

«Да, да! Именно потому, что богаче! — говорит он. — Богатство неизбежно несёт большие трудности, если оно не по плечу руководителям колхоза. Беда пришла от увеличения пашни, лугов, скота, машин. Они требовали больших расходов. И получилось, что плохо используемое богатство много брало и мало давало...»

Как это верно подмечено! Как это часто в отстающих колхозах можно услышать жалобы: «Вот когда мы одной деревней жили — горюшка не знали. А нынче навесили нам на шею кудрявинцев и пестуновцев, посватались мы с ними на убожество». При этом все забывают, что «кудрявинцы» и «пестуновцы» «сватались» не с пустыми руками, принесли богатое приданое: луга, пашни, леса, выпасы... И обязательно в том колхозе, где слышатся такие разговоры, сидит в председателю какой-нибудь Савелий Митрофанч, который вроде и добросовестный человек, но когда под его доглядом была одна деревня — колхоз не колхоз, а большая семья, — хватало у него и хозяйственной смекалки, а теперь одних бригадиров целый взвод, попробуй спра-

виться. Кряхтит этот Савелий Митрофанч: «Трудно...», с тоской вспоминает прежнее житьё.

Слова Темлякова о богатстве и трудностях, связанных с ним, лишний раз напоминают, как нужны в наше время квалифицированные, высокообразованные кадры колхозных председателей. Выход из этих трудностей не в обелсении, не в разукрупнении богатства, а в том, чтобы богатством распоряжались хозяйственные головы.

Не резонёрскими наставлениями воспитывает Алексей незадачливого председателя Егора Васильевича, — он бьёт его железной логикой жизненных фактов. Постройка скотного двора из валунов выгодна — факт! Егор Васильевич вынужден признать это. Выгоднее не отказывать колхозникам в лошадях для пахоты личных усадеб — факт! Егор Васильевич снова признаёт... Алексей Темляков не просто доказывает свою правоту, он воюет за свои идеи, борется и побеждает. И вот уже Егор Васильевич сам принимает решение гарантировать выдачу денег на трудодень. Это в некоторой степени риск, могут придрачься ревизоры: не по смете, не по букве устава распределяется денежный доход. Егор Васильевич идёт на риск: «Ради такого дела... и ответ нести — честь!»

Победа Темлякова стала победой Егора Васильевича: последний победил в себе чиновную косность!

Темляков целеустремлён, вся его жизнь отдана колхозу, но в изображении этой целеустремлённости автор теряет чувство меры. Кроме того, что Темляков — секретарь парторганизации, всё он к тому же должен иметь какие-то индивидуальные качества. У него нет каких-либо личных переживаний, автор не допускает мысли, чтобы он, молодой ещё парень, мог взглянуть на девушку иначе, как с точки зрения руководителя хозяйства: какую-де пользу можешь принести колхозу? Все простые смертные в книге влюбляются, женятся, даже переживают семейные драмы, — Алексей Темляков выше всей этой суеты, шутка ли — партийный вожак в колхозе!

Но главный упрёк М. Жестеву надо предьявить со стороны художественной изобразительности.

Как-то, ожидая поезда на вокзале в Свердловске, я увидел человека, неторопливо шагающего через чемоданы и узлы. Сугуловатый, тяжёлые сильные руки свисают к коленям, смуглое восточное лицо,

сухие с проседью волосы спадают на угрюмые брови, под коршунным носом усы. Появилась даже какая-то оторопь, словно встретил знакомого, а тот не узнаёт меня, — так этот человек был похож на Григория Мелехова в зрелом возрасте, из четвёртого тома «Тихого Дона». Только взглядевшись, заметил: глаза не те, у Григория должны быть усталые, с тяжёлым пристальным взглядом, у этого — спокойные, простовато-житейские. И уже не тот облик. Даже такую, казалось бы, мелочь, как глаза, нельзя ни на йоту изменить, если образ создан в полную силу изобразительного мастерства. А кто из нас не встречал людей, похожих на Пьера Безухова, Ноздрёва, Дон-Кихота?

Разумеется, нельзя требовать от всех писателей, чтобы они с такой яркостью, с такой запоминающейся зрительностью создавали свои образы, как это делали великие художники слова. Но беда в том, что образы из очерков М. Жестева зрительно почти не ощущаются.

На первый взгляд это кажется странным: автор, знакомя своих героев с читателем, каждому даёт по возможности точный портрет. Читаешь дальше, и этот портрет выветривается из памяти, герой теряет лицо, внешне становится похожим на других. Редкие из героев, вроде Двухки или «кума пожарного», — исключение. Страдают зрительной безликостью и основные персонажи — Егор Васильевич и Темляков.

Мне кажется, что волшебной зрительной яркости героев классики достигают не только точным и красочным описанием их внешности, но и полным соответствием этой внешности их поступкам, их индивидуальной «манере жить» на страницах произведения. Нелепость подвигов Дон-Кихота гармонирует с его неуклюжей, долговзвой фигурой. Поведение Пьера Безухова в светском обществе подчёркивается, а иногда как бы даже обуславливается его флегматичной внешностью.

У М. Жестева эта связь внешнего облика героя с его поступками если и присутствует, то в очень слабой степени.

Вот наглядный пример.

Автор пишет: «...открылась дверь, и в комнату вошла колхозница — вдова и мать троих детей, Ольга Петровна Анфисова». Дальше идёт обычный разговор, где Анфисова спрашивает об условиях работы в МТС и просит Темлякова похлопотать перед председателем, чтобы тот отпустил рабо-

тать прицепщиком её сына Петьку. Разговор такой может вести женщина и со скромным и со склочным характером, бойкая и тихая — любая. Разговор — нивелированный! После того как она ушла, словами Темлякова даётся ей характеристика.

«...Вряд ли кто в Замостье знает всё, что происходит в деревне, лучше Анфисовой. К ней, как железная стружка к магниту, притягиваются все деревенские разговоры, слухи, новости. Если тракторист потерял гайку, об этом Анфисова узнаёт раньше, чем в МТС. Если на живца паромщик Кирьян где-нибудь в заводи поймает щуку, то и это Анфисовой становится известно чуть ли не прежде, чем самому Кирьяну. Слух, нюх, зрение преотличнейшие у Анфисовой. Но ещё больше развито у неё воображение. И если тракторист потерял гайку, то Анфисова, узнав об этом первая, будет утверждать, что сама видела, как у тракториста отлетело целое колесо, а обыкновенная килограммовая щука, которую поймал паромщик Кирьян, обязательно превратится в пудовую».

Интересный характер: можно бы написать сочный образ. Подобная Анфисовой деревенская кумушка, прежде чем завести разговор о сыне, непременно выложила бы перед Темляковым кучу новостей, просьбу свою пересыпала бы бесчисленными отступлениями, да ещё своим, только для неё характерным языком. Этого нет, верить приходится бирке, а не индивидуальной жизни героя.

Авторский приём навешиванья бирки характерен и для более значительных персонажей, чем Анфисова.

В начале книги дан портрет Алексея Темлякова: «...вошёл незнакомый молодой человек. Высокий, в защитного цвета плаще, видимо, сшитом из солдатской палатки, в громоздких тупоносых сапогах, какие обычно носят сплавщики...» Через несколько страниц Темляков показывается в другой одежде: «...В майке, в летних выцветших солдатских галифе и белом полотняном берете он больше походил на ротного повара, чем на будущего агронома». Других портретов нет. Тупоносые сапоги и белый полотняный берет как черты образа — случайны, они не присущи ему, не соотнесены с поступками Темлякова. Эти поступки тоже не помогают окрасить образ так, чтобы выглядеть индивидуальными, его поступками, а не другого. И если бы автор не заявил

вначале, что Темляков — студент, что ему «лет двадцать семь, не больше», то трудно бы догадаться, молод он или в преклонном возрасте, не говоря уже о том, что ни лицо его, ни повадки не представляются отчётливо.

Такая зрительная, физическая бесцветность героев очень сильно снижает идейно верное, местами по-настоящему глубокое произведение.

Мне кажется, как в идейной направленности вещи, так и в силе её художественного воздействия значительную роль играет концовка. Читатель, закрывая книгу, остаётся под впечатлением последних страниц. Это впечатление сильно сказывается на отношении ко всему произведению. Некоторые литераторы считают, что чем благодушнее, безоблачнее конец произведения, тем оно идейно весомее. Поэтому они к концу стараются повздоровшую пару молодых непременно женить, недостатки на производстве заменить сносшибательными успехами, отрицательных персонажей повернуть так, чтобы они предстали сугубо положительными. После такой концовки на душе у читателей должно быть умиротворение, жизнь непременно покажется в сплошных розовых красках, остаётся одно — успокоиться и забыть все страсти, кипевшие в начале и в середине книги. А наша литература должна будоражить, а не убаюкивать читателя, должна звать на борьбу с подлостью, с тем, что мешает нам жить.

Тем более странно видеть в неприглаженной вещи М. Жестева довольно-таки сладенький конец. На последних страницах в колхозе безоблачное процветание: все, кому нужно, благополучно переженились, семейные драмы утихли, отрицательные герои исправились. После такой концовки так и хочется сказать с облегчённым вздохом: «Ну и слава богу, всё в порядке. Будем жить тихо и покойно». А нам ещё рано облегчённо вздыхать, рано складывать оружие и наслаждаться покоем.

Недостатки в книге «Под одной крышей» есть, они серьёзные, но значительны и её достоинства. Читатель должен быть благодарен автору уже за то, что тот с большим знанием жизни, с подкупающей честностью помог ему не только выйти на парадную улицу колхозной деревни, но и заглянуть в её сокровенные закоулки.

В. ТЕНДРЯКОВ.

С доброй улыбкой

Книга юмористических рассказов — редкое явление в нашей литературной повседневности. Если в области сатиры, фельетона, памфлета работают многие мастера, то просто юмористический рассказ — юмористический не потому, что над ним стоит такая рубрика, а потому, что в нём много смешных ситуаций, острог, шуток, — к сожалению, не привлекает внимания наших писателей. А между тем жанр этот читатель любит, в русской литературе есть немало блестящих образцов весёлого рассказа.

Юмористические рассказы Б. Ласкина нередко появляются на страницах журналов и газет, с успехом исполняются с эстрады. Издательство «Советский писатель» выпустило недавно первую книгу Б. Ласкина «В жизни так случается», в которой собраны лучшие рассказы писателя.

Героями этих рассказов являются по преимуществу хорошие советские люди — студенты, военные, рабочие и инженеры, дети. Неожиданные встречи, весёлые совпадения, радостные события, смешные столкновения лежат в основе сюжетов тридцати пяти коротких рассказов.

Автор не стремится во что бы то ни стало рассмешить читателя, он с доброй улыбкой наблюдает за своими героями, показывает их с лучшей стороны, не забывая их слабостей. Представляя их читателю, он как бы говорит: посмотрите на этих людей, любимых мною, — над перипетиями их жизни можно иногда весело посмеяться, иногда грустно улыбнуться.

Естественно, что такая позиция автора обязательно влечёт за собой какую-то долю сентиментальности. Тут всё дело в мере: там, где Ласкин сентиментальностью не злоупотребляет, она ничуть не мешает течению его рассказа.

Особенно удачны рассказы Б. Ласкина о детях. В рассказе «Член правительства» описывается, как школьники встречают свою учительницу Прасковью Степановну, избранную депутатом Верховного Совета. Мальчик, вызванный к доске, «...отвечает чётко, даже торжественно, и можно подумать, что он адресуется непосредственно в Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик». И волнение учеников и скром-

ность старой учительницы написаны достоверно и точно.

А вот другой портрет школьника — на этот раз суворовца (рассказ «Военный товарищ»). Суворовец приезжает в Москву.

«— Посмотри, какой очаровательный малыш! — раздался за спиной у Феди певучий женский голос.

«Надеюсь, что речь идёт не обо мне», — хмурясь, подумал Федя и на всякий случай прибавил шагу».

И вот мы уже полюбили «мальчика с пальчика» с погонами на плечах, в котором достоинство военного неразрывно с самым обыкновенным чудесным мальчишеством. Это не просто развлекательный рассказ — он таит в себе серьёзную мысль.

Серьёзность намерений автора юмористических рассказов — очень важное обстоятельство, делающее эту книжку значительной. Это утверждающий юмор.

В лучших рассказах Б. Ласкина естественно, ярко проявляются черты и особенности нашей советской жизни, быта советского общества. Венгерский токарь приезжает к своему другу — советскому новатору («Летний день»); старик профессор, которому очень надоели играющие во дворе волейболисты, оказывается вдохновенным «болельщиком», когда мучившая его волейбольная команда отстаивает спортивную честь своей страны («Победа»), и т. д.

Автор утверждает чистые и благородные отношения между людьми. Рассказы о любви — их немало в книге — повествуют о робких и трогательных встречах, о первых признаниях.

Умело находя смешное, автор старается найти радостное. Счастливые концовки венчают почти все рассказы, но не кажутся лакировкой.

Несколько рассказов посвящено одной теме — возвращению с фронта. Эти рассказы разнообразны. Лучшим из них мне кажется рассказ «Ученик», повествующий о том, как в свою родную школу на урок географии является майор. Он говорит о реках, которые изучал в школе, а затем переправлялся через них вместе с полком.

«Мария Михайловна лукаво посмотрела на майора и сказала:

— Я вспоминаю, когда майор Денисов был моим учеником, он был образцом поведения. Это был тихий, примерный мальчик...

Ребята с уважением посмотрели на

майора, а Сеня Рябышев заметил, что майор почему-то немножко покраснел».

Много внимания уделяет автор молодёжи. Его молодые герои, по преимуществу студенты или военные, — вдумчивые, но очень весёлые люди. Правда, автору не всегда удаётся дать разнообразные типы — все герои немножко похожи друг на друга, слишком часто подтрунивают друг над другом и разговаривают одинаковым, чуть ироническим языком. В рассказе «Свадебный пирог» все три студента, любящие одну девушку, — и Сергей, и Димка, и тот, от имени которого ведётся повествование, — почти близнецы, хотя о близнецах написано в другом рассказе («Средь бела дня»). И когда девушка отдаёт предпочтение одному из героев — Димке, читатель не убеждён, что автор должен был поставить именно это имя, а не другое. Спору нет — все три студента очень симпатичные молодые люди. Но одинаковыми им быть не к чему.

Похожие на Димку и Сергея студенты фигурируют и в других рассказах. Да и военные (главным образом майоры) в разных рассказах очень схожи по облику и по манере разговора. Молодые люди одинаково знакомятся, одинаково неловко ведут себя друг перед другом. Когда рассказы появлялись в периодической печати по отдельности, читатель, конечно, не мог уловить этот недостаток работы Б. Ласкина.

В этой книге есть и сатирические рассказы.

Отличным кажется мне рассказ «Кавказский пленник». Сергей Сергеевич Тюрков прибывает в командировку по вопросам материально-технического снабжения на Черноморское побережье. Прельщённый южной природой, он надолго задерживается здесь. Снявшись у уличного фотографа в виде всадника с шашкой в одной руке и с букетом цветов в другой, герой посылает деловое письмо в трест и фотографию — жене, но перепутывает конверты.

Б. Ласкин не делает грозных выводов, когда пишет о любителе погреться на солнышке за государственный счёт. Он просто высмеивает лихого «зам. зав. отделом материально-технического снабжения с шашкой в одной руке и с букетом в другой». Однако рассказ остаётся сатирическим, разоблачительным.

Очень неплох и другой сатирический рассказ «Фестиваль в городе Н.»

«Чрезмерное раздутие штатов» — эта суховатая фраза с юридическим колоритом как

нельзя более точно могла обрисовать положение дел в городской филармонии.

Недюжинный дар комбинатора помог Маймайскому создать такое штатное расписание, в котором административно-хозяйственные персонажи получили новые наименования, чарующие своим многообразием.

Не предусмотренному штатами гражданину Зацепе Ф. Ф. была придана звонкая профессия музыкального эксцентрика.

Нелегальные шофёры директора — братья Кирилл и Мефодий Зуевы — именовались кратко и несколько интригующе: «Мраморные люди».

Здесь действует эстрадный приём, сразу угадываемый читателем, но не становящийся от этого менее смешным. Конечно, предстоит представление, в котором все лжеартисты должны будут выступить. Читатель с нетерпением ждёт комического окончания махинаций директора со штатами и весело смеётся над состоявшимся представлением. Юмористическими средствами достигается сатирический эффект.

Жанр весёлого рассказа заслуживает всяческой поддержки. Б. Ласкин упорно и самоотверженно в течение многих лет работает над весёлыми рассказами. Я употребил слово «самоотверженно» не случайно: есть у нас в литературной среде некоторое пренебрежение к этому жанру. Он считается «низким», «эстрадным», «развлекательным», стоящим чуть ли не за пределами литературы. Справедливо ли это?

Весёлый рассказ — полноправный жанр советской литературы. Тем более следует указать на некоторые характерные недостатки, свойственные творчеству Б. Ласкина и других писателей-юмористов. Выше уже было сказано о просчётах в индивидуализации языка героев. Когда все участники того или иного описываемого события слегка подтрунивают друг над другом, читатель от этого попросту устаёт и уже не замечает остроумных фраз.

Вполне естественно, что сюжетом для юмористического рассказа становится анекдот (в литературном понимании этого слова), но очень досадно, когда смешная ситуация навязывается автором своим героям. Ласкин несколько злоупотребляет описанием «розыгрышей». Персонажи рассказов не попадают в смешное положение, а как бы «организуют» весёлую ситуацию, специально работают над её подготовкой, а потом, опережая улыбку читателя, хохочут сами.

Некоторые рассказы кажутся растянутыми. Автор, словно не доверяя убедительности выбранной им ситуации, неоднократно варьирует в диалогах одну и ту же тему. Этот эстрадный приём повтора вряд ли правомерен при издании рассказов.

Все эти «издержки» жанра, впрочем, не затемняют того светлого впечатления, кото-

рое производят рассказы из книги Б. Ласкина «В жизни так случается». Думается, что весёлые рассказы не должны оставаться привилегией «Крокодила» или последней страницы «тонкого» журнала. Весёлые рассказы — жанр серьёзный и требуют к себе серьёзного отношения.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ.

★

Новое о Пушкине

В пушкиповедении, как и в любой другой науке, могут быть открытия. Это прежде всего находка нового, дотоле неизвестного текста, новой рукописи. Такая находка, естественно, большой праздник для всей нашей культуры. Считалось, что он выпадает редко, что рукописное наследие великого русского поэта исчерпано полностью, что только случайная удача ещё может улыбнуться настойчивому искателю. И действительно, многие из таких искателей были благодарны судьбе, если обнаруживали долговую расписку гения.

А между тем за последние тридцать лет печатный текст академического собрания сочинений величайшего русского поэта вырос очень значительно по сравнению с до-революционными изданиями. Не говоря уже о таких широко сейчас известных произведениях, как «Монах» или «Тень Фонвизина», обнаружены черновики всех поэтических произведений Пушкина; наконец, обнаружена самая большая по объёму рукопись Пушкина: его незавершённая «История Петра».

В широко опубликованном творческом наследии великого поэта многое нуждается в исследовании. Здесь требуется внимательный глаз историка и литературоведа. Недавно полностью опубликованные черновики «Онегина» или «Медного всадника», не говоря уже о других пушкинских черновиках, до сей поры ждут смелого следопыта, который решится проникнуть в творческую лабораторию гения, чтобы сделать из них обобщающие выводы, ответить на вопрос, как работал Пушкин, какого единственного решения искал он, чем руководствовался в выборе решения. Само собой разумеется, такие ответы имели бы первостепенное значение для всей науки о Пушкине. Именно они и способны двигать эту науку. Такую

И. Фейнберг. «Незавершённые работы Пушкина». «Советский писатель», М. 1955.

работу начал несколько лет тому назад автор рецензируемой книги — И. Фейнберг. Она должна быть продолжена им самим и другими.

Недавно опубликованная книга И. Фейнберга «Незавершённые работы Пушкина» представляется нам явлением очень большой значимости, результатом открытия, которое серьёзно углубляет наше знание Пушкина как историка и художника слова.

Семнадцать лет прошло с тех пор, как в десятом томе академического издания Пушкина впервые была опубликована рукопись незавершённой «Истории Петра». Да, она была найдена, эта рукопись, найдена и напечатана, но не прочтена! Суждение редактора академического тома о её характере, о том, что она представляет собой лишь черновые конспекты, которые Пушкин составлял при чтении многотомного свода исторических источников, изданных в конце восемнадцатого века И. Голиковым, — этот разговор первого редактора в течение семнадцати лет считался окончательным и кассации не подлежащим. В течение семнадцати лет во всех вышедших с той поры изданиях рукопись «Истории Петра» преподносилась читателям точно таким же образом. В течение семнадцати лет никто из последовавших редакторов не обмолвился ни единым словом, чтобы опровергнуть своего предшественника.

И. Фейнберг взял на себя труд, по видимости очень простой, но о его сложности говорит уже то, что труд этот потребовал нескольких лет изысканий. В первой части такой труд не только обязателен для каждого редактора, но и естественен для каждого читателя: Фейнберг прочёл страницы пушкинской рукописи, прочёл внимательно и непредубеждённо. Следующий этап работы оказался неизбежным: он сличил написанное Пушкиным с источниками, напечатанными в своде Голикова. При этом

обнаружилась вещь неожиданная и в известной мере сенсационная: пушкинские записи никак не сводятся к конспектированию чужой работы. Работа Пушкина над созданием истории Петра продвинулась значительно дальше, нежели это предполагалось до сих пор. Многие куски записей по стилю и характеру своему являются образцами творческой прозы Пушкина. Они носят на себе следы художественной отделки. Более того, они говорят о самостоятельных взглядах Пушкина на историческое значение Петра, на его личность.

Работа исследователя развернулась дальше. Он обнаружил в пушкинской рукописи не замеченные ранее следы знакомства Пушкина с первоисточниками (рукописными и архивными), которые не могли быть опубликованы в царствование Николая I. Он обнаружил также следы знакомства Пушкина с многими русскими и иностранными историческими работами, заведомо бывшими под рукой у Пушкина: эти книги сохранились в его личной библиотеке, по этим книгам видно, как внимательно хозяин читал их!

Вся эта долгодетная и упорная работа дала И. Фейнбергу право на ответственные и принципиально важные утверждения, которые нельзя назвать иначе, как открытиями в пушкиноведении.

К каким же выводам пришёл исследователь?

Рукопись пушкинской «Истории Петра», последней его незавершённой работы, о недоступности которой скорбел ещё Белинский, рукопись, потерянная в девятнадцатом веке и найденная только в 1917 году, эта важная рукопись Пушкина вот уже семнадцать лет лежала у всех перед глазами, вот уже семнадцать лет печатается во многих сотнях тысяч экземпляров, но она оставалась непрочитанной и неосвоенной, то есть по сути дела пребывала под спудом и была почти недоступна читателю. Её выдавали за нечто другое, несравненно меньшее по значению.

Работа Пушкина над «Историей Петра» в целом далеко не завершена. В ней многого не хватает. Но это не меняет дела, не колеблет решающего вывода, сделанного нашим исследователем.

И. Фейнберг прочёл в рукописи Пушкина смелую для того времени, новаторскую и самостоятельную оценку деятельности Петра. В этом случае пророческий дар Пушки-

на далеко опередил весь девятнадцатый век, все его научные традиции, всю дворянскую и последующую буржуазную историографию. Пушкин ещё ближе к нам, советским людям, нежели мы думали до сих пор.

Исследователь пришёл ещё к одному выводу, насущному в пушкиноведении: Пушкин был не только глубоким и своеобразным историком, не только страстно ищущим подлинной исторической правды писателем. Его исторические замыслы и познания гораздо шире, чем было известно до сей поры. Интерес Пушкина к родной истории, обусловленный всем развитием его духовной личности, в тридцатых годах стал едва ли не господствующим в атмосфере его поисков и занятий.

В дальнейшем изложении И. Фейнберг расширяет свои выводы на основании изучения других «незавершённых работ» Пушкина. Но если по отношению к «Истории Петра» за Фейнбергом стоит давняя традиция, хотя бы в том смысле, что о существовании этой потерянной рукописи исследователи знали, то в дальнейшем Фейнберг выступает как пионер: до него в пушкиноведении вообще не было попыток обнаружить следы автобиографии поэта.

Давно уже было известно, что после 14 декабря 1825 года Пушкин был вынужден сжечь свои записки и дневники. Считалось, что они погибли целиком для поколений русских читателей, поиски следов уничтоженного считались безнадежными. Так обстояло дело. И. Фейнберг по-другому ставит вопрос. Всё ли уничтожил Пушкин в тот трудный час своей жизни? Не удалось ли Пушкину сохранить часть этого многолетнего труда, тем или другим образом спрятать его и даже дать угадным отрывкам, которые могли быть напечатаны, иное, не возбуждающее внимания цензуры назначение?

Поиски Фейнберга изобретательны и смелы. Он решается извлечь эти отрывки из пушкинских писем, из его примечаний к собственным произведениям, наконец, из пёстрого свода, издавна печатавшегося под общим заголовком «Застольные беседы» («Table-talk»). Фейнберг убедительно доказывает, что материал, таким образом извлечённый, как он ни разнообразен на первый взгляд, всё же представляет собой искусственно разъятые части единого по замыслу произведения.

Привлекателен прежде всего самый метод исследователя: читая книгу, мы воочию

видим, как трагически боролся гениальный поэт за свой труд, обречённый самодержанием на гибель, как боролся он за возможность сохранить след своей бурной жизни и след бурной жизни своих друзей-декабристов в живых записях, как отстаивал Пушкин написанное от огня, от забвения. Это одна из самых высоких по смыслу и значительных страниц в творческой биографии Пушкина. Она потрясает воображение читателя.

Может быть, картина, нарисованная Фейнбергом, является гипотезой, не бесспорной в частностях? Может быть, — но самый факт её общего правдоподобия говорит в пользу автора, точнее — в пользу его плодотворного метода.

Такое же значение имеет и последний раздел книги, посвящённый пушкинскому замыслу написать «историю своего времени». Фейнберг выясняет, что Пушкин собирал запретные в его время рассказы участников исторических событий — об убийстве Павла I, о ссылке Сперанского — и вносил подающиеся убедительному раскрытию записи об услышанном или прочитанном в свой так называемый дневник тридцатых годов. Пушкин рассчитывал, как доказывает Фейнберг, использовать этот материал в задуманной им истории царствования Александра I.

Соображения и догадки Фейнберга убедительны ещё по одной причине. Ведь точно таким же образом, как это сделал Пушкин со своей автобиографией и историческими записями, сберегли свои записки его друзья-декабристы. И что ещё более показательно, сам Пушкин сберёг таким образом отрывки из X главы «Онегина», посвящённой декабристам.

Мы не привели здесь ни одного конкретного примера, ни одной частности, характеризующей книгу Фейнберга. Сделано это сознательно. Изложение в книге настолько логично, так связаны в стройное целое все мысли и утверждения автора, и в то же время, несмотря на академическую сдержанность автора, книга настолько увлека-

тельна, что вырывать из неё куски и детали представляется делом нецелесообразным. Пусть читатель оценит их самостоятельно.

Мы только что упомянули об академической сдержанности автора. Сама по себе, конечно, она весьма похвальна и несёт на себе печать достоинства серьёзного учёного. Но, хочет того Фейнберг или нет, его книга является не только новаторской в своих выводах, но и полемической. Ему приходится не только защищать свои взгляды, но и вести наступление. В истории «незавершённых работ Пушкина» ряд пушкинистов показал свою лень и нелюбопытство, инерцию олимпийского покоя и общественную робость. Несмотря на то, что части работы И. Фейнберга уже с 1949 года печатались в «Вестнике Академии наук СССР» и других авторитетных журналах, автору всё же стоило немалых усилий пробивать толщу недоверия к своей работе. Почему это случилось? Почему смелая мысль, дающая в руки читателей новый ключ для понимания одной из важнейших сторон пушкинского творчества, оказалась мыслью беспризорной и находила на своём пути двери, тщательно охраняемые, и уши, тщательно затыкаемые ватой.

Вопросы это не праздные. Они имеют большое значение для всего развития нашей культуры.

Один из важных выводов, который можно сделать из вышесказанного, напрашивается сам собой. Необходимо новое, по-новому отредактированное издание пушкинской «Истории Петра». В этом издании должен быть раскрыт и показан читателям замысел Пушкина. Страницы пушкинской прозы должны быть достаточно ясно отделены от черновых программ и набросков. Исторические источники, которые использует Пушкин, должны быть также приведены в книге, приведены таким образом, чтобы они не затрудняли чтения, но помогали понять мысль Пушкина. Такое издание необходимо и для пушкиноведения и для всей нашей исторической науки.

П. АНТОКОЛЬСКИЙ.

★

Характер и творчество

Товарищ штатпроп! Сообщаю: сегодня в первую смену, то есть в шесть утра, на шахтном дворе проходило собрание, посвящённое борьбе за мир. Шахтный двор наш Вы, наверно, хорошо помните: отсюда виден «пейзаж майбутнього» — сосокори, дубки, клёны и акации. Столик мы вынесли под деревья. Первым выступил и поставил свою подпись старый крепильщик Герасим Иванович Приходько. Потом — бабушка Варя, потом — почётные шахтёры братья Филатовы: младший — рукоятчик шахты и старший — газомерщик. В своей речи Герасим Иванович остановился на политическом значении этого факта — подписи на листах Воззвания борьбы за мир — и на текущем моменте нашей шахты, трудящиеся которой берут на себя в связи с этим новые, добавочные обязательства.

Подписываясь, каждый шахтёр обещал, как у нас говорят, работать с плюсом.

Что ещё сказать Вам? Шахта идёт с превышением в плане добычи, плюсует медленно, но верно.

Учётчик социалистического соревнования П. Брилёва».

Это письмо, полученное штатным пропагандистом Пантелеевым с шахты «Красная звезда», сразу знакомит нас с сутью писательской манеры Б. Галина. В коротеньком письме — и точность строгого воинского доклада, и мягкий тон лирического воспоминания, и широкое дыхание мировых событий, и трудовая жизнь одной из донбасских шахт. В богатстве и разнообразии интеллектуальных и эмоциональных элементов, в их смелом чередовании, в не банальных ассоциациях, в отличном знании описываемого и заключается, на наш взгляд, обаяние очерков Б. Галина, собранных в книге «Чудесная сила».

В очерках говорится о том, как группа инженеров боролась за создание лучшей модели горного комбайна. В жизни, наполненной трудом, обнаруживается необычная красота человеческой души, человеческих деяний.

Осенью 1943 года инженеры-конструкторы завода горного оборудования Гурин и Гвинерия возвращаются с Урала в Донбасс, только что освобождённый нашими войсками. В вещевом мешке они везут

чертежи объекта «Б-6-39». Этот объект, «горный комбайн Бахмутского, 6-й вариант 39-го года», до войны давал уже добычу, но был уничтожен при отступлении. Задача Гурина и Гвинерии заключается в том, чтобы восстановить модель машины и усовершенствовать её. Тихий, хмурый, строгий Гвинерия проходит в очерках как бы на втором плане, на первом — написанный яркими красками ведущий конструктор Гурина. «Его крепкая, плотная фигура с чуть выдвинутым вперёд правым плечом являла стремительность и настойчивость».

Подобно Лобанову, герою романа Д. Гранина «Искатели», Гурин нетерпимо относится к безразличным, холодным людям, ему по душе лишь те, кто «схвачен делом за сердце». Он старше и опытнее Лобанова, его нетерпимость — результат большой любви к людям; он всегда «проектирует в человеке лучшее», в то время как у Лобанова вначале появляется враждебность к работникам, недостаточно, по его мнению, образованным, не способным понять его творческие замыслы. В этот момент жизни Лобанову угрожает опасность презраться в кабинетного учёного. Лишь под влиянием парторга Борисова изменится отношение начальника лаборатории к его сотрудникам — и только тогда создаётся та атмосфера взаимного доверия, уважения, дружбы, без которой невозможен в наших условиях плодотворный творческий труд.

Характерной чертой Гурина является умение «находить себе многих». Он как раз обладает тем качеством, которое даётся Лобанову не сразу. Гурин не представляет себе работы без поддержки хорошего, дружного коллектива. Он ни на минуту не забывает и о тех, которым должен служить его горный комбайн. Это его свойство и является причиной расхождения между Гуриным и его учителем Карашуком. В их борьбе мы склонны видеть не только столкновение двух различных характеров, но и двух разных, враждебных друг другу мироощущений.

Карашук — знающий, талантливый инженер, одарённый изобретатель. Он обладает умом, эрудицией, воображением. И всё же многие его изобретения не получают практического применения. Карашук считает, что его сфера — «чистая» мысль, творческий замысел, а реализация изобре-

Б. Галин. «Чудесная сила». «Советский писатель», М. 1954.

тения его не интересуется: пускай, мол, другие дозодят, хватят и того, что я даю руководящую идею. В лице Карашука писатель показал трагедию учёного, замкнувшегося в мире собственной мысли, как в башне из слоновой кости, вдали от практической жизни, в то время как в условиях нашей действительности научная мысль непрестанно обогащается творческой инициативой людей практики. Барское пренебрежение к этим людям, нежелание считаться с коллективом приводят Карашука к одиночеству, которое кончается творческим банкротством.

Гурин — не только технический руководитель молодых инженеров, он воспитывает в них высокие моральные качества. Помощники «ведущего» — это люди дерзновенные, смело ищущие собственных творческих путей, как Курасов, восторженные практики, как Миша Фёдоров и Катя Ромашенко, энтузиасты, уверенные в том, что, внедряя горный комбайн, они «делают историю», как Громыков.

Всех этих людей объединяет одна общая черта: глубокое чувство ответственности за доверенное дело, за судьбу людей, за будущее страны...

Группу инженеров-конструкторов окружают другие персонажи очерков: старый рабкор Приходько — «командир общественного мнения», как он себя с гордостью называет, считающий своей задачей помогать рабочим перенимать всё хорошее и критиковать негодное; заместитель начальника шахты «по общим вопросам» Иващур, видящий смысл своей работы в том, «щоб краше в свити жилося»; врач Сильвестров, который не уходит на пенсию, потому что недостроено ещё новое здание поликлиники; старичок с белым пухом на голове механик Степанченко, «апостол малой механизации», как его называют шахтёры, горячо поддерживающий ростки нового, творческого, где только они появляются. Это люди, примечательные своей талантливостью, преданностью делу, своим молодым, несмотря на их возраст, здоровьем.

Есть в очерках и люди другого склада. Руководящие работники Дорوفеев и Блажко озабочены лишь выполнением плана. Они не намерены рисковать своим положением ради внедрения новинки механизации. Заместитель главного инженера Иночкин — холодный карьерист — мечтает об учёной степени и удобной жизни научного

работника. Эти «приблизительные», по определению Кати Ромашенко, люди явно теряются среди положительных героев книги, и не только потому, что составляют количественное меньшинство: писатель сумел так убедительно и ярко показать высокие моральные и интеллектуальные качества настоящих людей, что по сравнению с огромным зарядом их здоровой энергии, жизнерадостности, любви к делу жалким кажется зло, носителями которого являются отрицательные персонажи.

Преобладание светлых красок в очерках не производит впечатления искусственности, нарочитости, лакировки. Такого результата писатель добился, на наш взгляд, тем, что раскрыл многогранные характеры своих героев, наделил их пытливым интеллектом, всесторонними интересами.

Гурин не только энтузиаст горного дела, но и человек, живо интересующийся литературой, искусством. В словах Ленина о том, что коммунист должен «находить себе многих», в мысли Макаренко «хорошее в человеке приходится всегда проектировать» Гурин видит для себя принципы руководства и применяет их на практике. Пушкинская мысль о разнице между вдохновением и восторгом наталкивает ведущего конструктора на понятие активного вдохновения, «когда человек идёт вдохновению навстречу, не ожидая, пока оно само придёт и озарит». Катя Ромашенко возит в своём рюкзаке, рядом с готовальней, «Фауста». На первой странице её дневника, наполненного цифрами и схемами, выведена строка из Гёте: «Кто хочет действовать, тот позабудь покой». Курасов всю войну не расставался с томиком Пушкина «Неизданное и черновое». В его сознание глубоко запали слова поэта о постоянном труде, «без коего нет истинно великого». Лекция по биологии открыла перед Курасовым лабораторию учёного. Он узнал, что иногда новые открытия имеют своей исходной точкой исследование совсем других вопросов. Эта идея помогает молодому инженеру понять путь собственных творческих исканий.

Основное действие очерков Б. Галина происходит в послевоенные годы. В парткоме шахты висит карта мира. Когда коммунисты приходят из армии и становятся на учёт, они рассказывают, как это водится, парттуру о своей жизни и, по его просьбе, наносят на карту наиболее памятные места своих боёв. Миша Фёдоров го-

ворит, например, о том, как он форсировал Днепр и во время этой операции влюбился в Катю Ромащенко, участницу того же сражения. «Как офицер прорыва, я шёл со своей ротой в авангарде», — скромно и гордо говорит Миша. Партгруппорг Калинин отмечает свой последний военный рубеж на Тамани, а начальник техотдела Афанасьев — на Висле. Эти рассказы, отметки на карте, полузабытые полковые и дивизионные песни, которые поют Миша с Катей, воспоминания о недавних героических событиях раскрывают читателю, как именно в тяжёлых условиях войны выработались у многих людей стойкость и умение преодолевать трудности, которыми они отличаются и в мирном труде.

Писатель последовательно и на множестве примеров проводит мысль, что положительные качества человека — это результат не только его индивидуального развития, но и того пути, которым прошёл весь народ. Будучи мальчиком, инженер Курасов видел Чкалова. Приложив блокнот к его плечу, Чкалов написал привет Москве перед дальним беспосадочным полётом, и Курасов свято хранит листок со следами чкаловского карандаша. Пантелеев работал в Сталинграде, когда с конвейера тракторного завода сошла первая машина. В его душе остались живыми волнения тех дней. Рабкор Приходько присутствовал при беседе Горького с шахтёром Изотовым, а Гонтар лично видел великого писателя на Сортовском заводе и запомнил его слова: «Имею дерзость считать себя революционером». Пожелтевшие листки сталинградской многогазированной «Даёшь трактор», «Правды» двадцатых и тридцатых годов, тома журнала «Северный вестник» 1888 года с очерками Менделеева — все эти детали подчёркивают преемственность культурных,

идейных ценностей, живую связь между настоящим и прошлым.

Рассказывая о первом создателе горного комбайна, Гурин говорит: «Бахмутский должен жить!» Пантелеев решает напомнить людям о скромном технике горного дела, умершем до войны, замечательном человеке, незаурядном самородке. Он собирает по крупинкам всё, что касается Бахмутского, воссоздаёт образ изобретателя и человека. Поиски Пантелеева составляют одну сюжетную линию очерков, работа Гурина и его товарищей — вторую. Повествование ведётся то от первого лица (Пантелеевым), то от имени автора. Двуплановость композиции, неожиданные переходы от настоящего к прошлому держат в напряжении внимание читателя.

У нас последнее время много было разговоров о том, что производственная тема скучна, что образы людей, показанных только в сфере производства, однобоки. Книга Б. Галина опровергает эти утверждения. В ней очень мало места уделяется быту и отсутствует любовная линия. Характеры людей раскрываются главным образом в их отношении к труду, в их творчестве. И тем не менее никто не упрекнёт автора в какой-либо ограниченности. Б. Галина умеет пользоваться публицистическим материалом так, что этот материал вызывает эмоции, трогает и волнует. В этом мы видим особенность писательского таланта Б. Галина, художественное своеобразие его богатых мыслями очерков.

К сожалению, книгу Б. Галина утяжеляют некоторая растянута повествования и излишние повторения. Думается, что эти недостатки вполне устранимы при подготовке книги к следующему изданию.

А. ДИРИНГЕРОВА.

★

Репортаж об Арктике

Подзаголовок этой небольшой книжки — «Записки репортёра». Чем продиктовано это пояснение: предусмотрительностью автора, решившего заранее оградить себя от высоких требований критики? Или, напротив, этим точным указанием как бы предлагается — и читателю и критике — рассматривать книгу в свете боевых тра-

дий одного из самых оперативных литературных жанров?

Откровенная причастность к жанру репортажа по какой-то непонятной стыдливости в последнее время утверждается редко. Гораздо чаще появляются «Дорожные тетради», «Путевые заметки», авторы которых считают себя свободными от непростых обязанностей, падающих на каждого, кто ведёт литературный репортаж, но, однако, не дарят читателя решительно

П. Барашев. «В краю Большой Медведицы. Записки репортёра». «Молодая гвардия», М. 1954.

ничем из того, что сулит облюбованный ими подзаголовок. В результате, книг, обладающих достоинствами подлинного репортажа — оперативностью отклика, энергичностью повествования о ярких и значительных событиях, — у нас всё ещё мало.

Так что же собой представляют репортёрские заметки П. Барашева, озаглавленные «В краю Большой Медведицы»?

Из предисловия к книге читатель узнаёт, что автор их — журналист, принявший в 1954 году участие в высокоширотной арктической экспедиции Академии наук СССР и Главсевморпути. И сразу же после этого мы читаем рассказ о верном спутнике журналиста — дорожном чемоданичке, который вот уже пять лет в пути бывал чаще, чем дома. И хоть на нём не осталось «разноцветий марок», но метины были. «Вот попереёк крышки чернеет старая... трещина, которую когда-то чирканула на фибре пятидесятиградусная стужа». Это было в полёте на мировой Полюс холода — Оймякон. Другие следы оставила на нём Камчатка, «путь по пыльным дорогам Саянских гор и Тувы, выючные тропы Тянь-Шаня и кочевые недли в береговой Большеземельской тундре...»

Продолжая знакомство с книгой, мы уже с живым, понятным интересом следим за тем, как журналист, впервые оказавшийся в Арктике, готов стать «невесомым», только бы облегчить самолёт при посадке на узкую (и, наверное, не очень уж прочную!) льдину, как ему «...нногда с непривычки в голову по ночам вдруг снова приходила цифра 3949 (глубина Ледовитого океана в том месте, где дрейфовал лагерь. — Л. А.), и тогда пол палатки казался каким-то очень уж ненадёжным, в спальном мешке делалось донельзя неуютно и сон, проклятый, не брал до самого утра...» Без этого умения правдиво, искренне выразить своё отношение к увиденному и испытанному репортаж не существует.

Расспрашивая человека, побывавшего за Полярным кругом, люди Большой земли прежде всего хотят услышать из уст очевидца, действительно ли там очень холодно и не случилось ли встретиться с белыми медведями... Обычность этих вопросов понятна, но, к сведению вопрошающих, следовало бы отметить, что за последние десять — пятнадцать лет в Советской Арктике произошли достаточные перемены,

чтобы к этим вопросам можно было прибавить сотни не менее интересных, причём отнюдь не специального, научного характера.

Используя документы далёкого и близкого прошлого, оживляя в памяти читателя эпизоды героической борьбы за освоение сурового края льдов, П. Барашев хорошо найденной деталью, метким бытовым штрихом, выразительной цифрой показывает, как изменились условия жизни и работы в Арктике.

Бориславский газ в баллонах, отборный каменный уголь (свой, арктический, из Сангары), упакованный в крепкие промасленные мешки, тракторы, построенные в Липецке, и горьковские автомашины «ГАЗ-69» — всё великое разнообразие грузов и оборудования, необходимых для ведения научно-исследовательских работ в небывало широких масштабах, доставлялось на дрейфующие станции людьми, которые, находясь над Северным полюсом, ведут себя так: «Второй пилот пьёт крепкий чай. Задков, ответив штурману добродушно: «Полюс так полюс», продолжает вполголоса напевать что-то, а три бортмеханика — Мирошников, Тягунов и Кунаков — мирно дремлют, подложив под лобу промасленные мозолистые ладони».

Автору этих строк доводилось несколько раз участвовать в полётах на Северный полюс. Сопоставляя свои впечатления, я могу свидетельствовать, что более всего поражает в полярниках именно эта будничность, которая в короткий срок стала нормой отношения наших людей к заветнейшей из точек планеты и которая зафиксирована П. Барашевым с образцовой точностью репортёра. Надо ли добавлять, что этот новый взгляд на «СП» — Северный полюс — складывался в процессе самоотверженного, воистину героического труда? И что, следовательно, самая интересная из встреч, ожидающих путешественника по высоким широтам, — встреча с людьми, посвятившими себя борьбе за покорение Арктики.

Рассказ об одном из таких полярников, Михаиле Семёновиче Комарове, лучше других удался автору записок. На примере необычной судьбы этого человека П. Барашев хорошо показал, как велика приверженность тружеников Севера к своему краю. Когда оказалось, что ушиб, полученный во время аварии самолёта, оставил тяжёлые последствия и с лётной работой

надо кончать, Комаров подыскал для себя другое занятие в Арктике — стал «авиационным специалистом». Должность скромная, но среди участников послевоенных экспедиций в высокие широты нет, пожалуй, человека, который не был бы лично благодарен этому редкостному умельцу, «полярному Кулибину», как его здесь зовут.

Уже простой пересказ такой биографии не может не волновать. К сожалению, автор репортажа слишком робок, очень скован, как бы не уверен в себе, когда пытается представить других участников дрейфующей станции «Северный полюс-3». Он, как правило, идёт по внешней канве биографий, не пытаясь заглянуть во внутренний мир своих героев, пересказывает услышанное или увиденное без стремления

осмыслить существенное в характерах людей.

Тут можно было бы сделать скидку на жанр — мол, репортаж есть репортаж!.. Но жизнь есть жизнь, и жанры служат только к её разностороннему изображению. И потому нас удручает у П. Барашева шаблон в портретных характеристиках, частая искусственность в диалогах, в которых герои не столько говорят, сколько «резаюмируют» и «подытоживают», юмор частенько искусственный, безвкусный, неоправданный (особенно в главе «Рассказ о гидрологе Саше»). Всё это вызывает досаду. Хочется пожелать автору самого серьёзного, настойчивого труда в совершенствовании искусства изображения человека.

А. АНФИНОГЕНОВ.

★

Летопись французского Сопротивления

Книгу Жана Лаффита «Командир Марсо» открываешь с волнением. Словно идёшь на свидание с друзьями, с которыми расстался в сложной боевой обстановке. «До свидания» называлась последняя глава его романа «Роз Франс». Писатель обещал написать новую книгу, продолжить рассказ о жизни и борьбе своих героев. И вот после долгих месяцев разлуки они вновь появляются перед тобой, возмужавшие после тяжёлых испытаний, закалённые в огне борьбы. И опять оживают в памяти страницы «Роз Франс». Мы полюбили героев этой книги, французских патриотов-подпольщиков, участников героического движения Сопротивления. Мы с сожалением расставались и со скромной, неутомимой, простой французской женщиной, учительницей Мари Вернон (Роз Франс), обаятельный образ которой без излишних прикрас нарисовал писатель, и с волевым, непреклонным Марсо, организатором и руководителем подпольщиков, и с грубоватым, острым, неунывающим докером Леру, и с весёлым, жизнерадостными сестрой и братом Соланж и Жераром, и со многими другими.

Новая книга Жана Лаффита сейчас особенно важна. По справедливому замечанию литературного критика «Юманите» Жака

Гошерона, она появилась «своевременно, ибо сейчас не время предавать забвению прошлое». В дни, когда французские парламентарии, вопреки интересам своего народа, подписали парижские соглашения, в дни, когда многие министры и депутаты способствуют возрождению немецкого вермахта, особенно полезно прочесть книгу писателя-борца, напоминающего о том, как сжигали немецкие фашисты французские деревни, как они расстреливали сотни французских патриотов.

Роман «Командир Марсо» посвящён последним месяцам войны. Франтирёры департамента Дордонь продолжают напряжённую борьбу с врагом. Их не останавливают ни зверства, ни жестокие расправы фашистов с населением и партизанами. Их вдохновляют победы Советской Армии, полки которой уже вступили в Западную Европу. Отрядами партизан, о которых идёт речь в романе, командует майор Марсо, металлург с верфей Жиронды, старый работник коммунистической партии. Связь партизан с партийными организациями поддерживает Роз Франс.

Ещё в 1950 году, закончив работу над книгой «Роз Франс», Жан Лаффит, генеральный секретарь Всемирного Совета Мира, сказал, что эту книгу он считает своим первым настоящим романом, так как книга «Живые борются» являлась простым свидетельством без всякого художественно-

Жан Лаффит. «Командир Марсо», Роман. Перевод с французского И. Тихомировой. Издательство иностранной литературы, М., 1955.

го домысла, а книга «Мы вернёмся за подснежниками» (история взрыва Сент-Ассизской радиостанции) написана была для восстановления истины, искажённой деголлевцами. О своей книге «Роз Франс» Лаффит говорил: «Я хотел написать роман об участии женщин в движении Сопротивления, о том, какую значительную роль они сыграли в освобождении родной земли не только как помощницы, но как активные участницы».

Своим произведением Лаффит как бы отвечает на призыв редактора «Юманите» Андре Стиля ко всем французским литераторам-патриотам: «Мы должны бороться не только как общественные деятели, но и как писатели. Мы должны рассказать о том, что происходит в уме и сердце рабочего, который отказывается производить оружие, в уме и сердце девушки, бросающей на рельсы, чтобы остановить поезд с военным грузом... Только тогда мы сможем создавать произведения, способные волновать и приводить в движение широкие народные массы».

В романе Жан Лаффит сумел отразить решающую роль народных масс в освободительном движении. Образы отдельных героев особенно рельефны на фоне массового героизма. Большое внимание уделил писатель роли коммунистической партии в борьбе с оккупантами. Коммунисты вдохновляли и организовывали борьбу французских партизан. Движение Сопротивления показано в романе как массовое народное движение. В нём принимали участие патриоты из самых разных социальных групп французского народа. Коммунисты были костяком, но к ним примыкали и люди других убеждений.

Здесь мы видим и командира сектора, уже знакомого нам майора Марсо, умеющего сочетать внутреннюю пылкость со спокойствием и хладнокровием в боевой обстановке, и комиссара по кадрам, горячего и неутомимого Пайрена, и попрежнему скромную, неутомимую Роз Франс, врача Жана Серве, командира батальона Ролана, отважного, хотя и не всегда дисциплинированного, папашу Дюшана, старого виноградаря, и многих других.

Люди разных профессий, разных убеждений вошли и в партизанскую группу «мушкетёров». Основные участники группы взяли себе имена героев романа Александра Дюма. Командир группы д'Артаньян — рабочий из Бордо; Портос — рабочий из Пе-

рингё; Атос — бывший владелец гаража, социалист; Арамис — студент из Бордо, коммунист, уже знакомый нам по книге «Роз Франс». К основному ядру «мушкетёров» примыкают Роже Бери, крестьянин, сочувствующий радикалам; католик, крестьянин старик Пикмаль; коммунист, токарь завода Рено, бежавший из концлагеря Парижанин; юноша пекарь Поль Пейроль.

Образы «мушкетёров» обрисованы в романе с большой любовью. Эта маленькая отважная группа, пёстрая по своему составу, показывает примеры истинного героизма, её участники как бы воплотили в себе лучшие черты всего движения французского Сопротивления, летописцем которого становится Жан Лаффит. Мы с волнением следим за судьбой каждого. Мы радуемся их успехам и скорбим, когда полюбившиеся нам партизаны гибнут в борьбе. Эпизод гибели партизана Эмилио, сцена смерти Арамиса могли бы стать самостоятельными новеллами, они проникнуты глубокой трагической патетикой, скорбью без отчаяния. Герой пал, теснее сомкнулись ряды, борьба продолжается...

Наиболее интересен в романе образ самого Марсо. Автор рисует его в разных планах. Перед нами и Марсо — руководитель, организатор, вожак. Перед нами и Марсо — человек огромной личной отваги, не боящийся смерти, готовый пожертвовать жизнью во имя коммунистической партии, во имя родины. Прикрывая отступление группы партизан, Марсо остаётся один, лицом к лицу с врагами, и после жаркого боя сохраняет патрон для себя, не желая сдать в плен. В эти последние, казалось бы, минуты своей жизни Марсо собирает всю силу воли, думает о близких, о друзьях, о борьбе. Он любит жизнь и бьётся за неё. И когда майору Марсо удаётся спастись, читатели радуются вместе с его друзьями по роману, потому что они полюбились героя, потому что образ его правдив и убедителен.

Лаффит показывает нам и личную жизнь майора Марсо, его любовь к Роз Франс. О любви этой в романе рассказано сдержанно, лаконично, но с проникновенным лиризмом. Личная линия: командир Марсо — Роз Франс органически влетает в сюжет романа.

Образ Марсо дан в движении, в развитии, во всей своей многогранности.

Вторым по значимости образом романа является образ Роз Франс. Скромная

французская учительница, только начинавшая в предыдущем романе свою революционную деятельность, здесь показана как мужественный, закалившийся в боях человек, сохранивший всю свою душевную чистоту, всё своё обаяние. С большой силой изображено мужество Роз Франс на допросе в гестапо; психологически верно, убедительно, с художественным тактом раскрывается её любовь к Марсо.

В романе много различных проблем, связанных с сущностью движения Сопrotивления. Здесь и борьба против сектантства, за создание широкого национального фронта, объединяющего народ вокруг коммунистов. Здесь и образы тех патриотов, попавших в ряды деголлевской «Тайной армии», которые боролись искренне и стремились к союзу с франтирерами. Здесь и сближение двусмысленной позиции английских и американских «советников», проводящих в борьбе против немцев политику «выжидания», больше всего боящихся вооружённого народа.

«Надо при всех условиях уметь выжить», — усмехаясь, говорит англичанин Чарли, услышав о героической схватке франтиреров с фашистами, расстрелявшими жителей Мюссидана.

«Нельзя допустить, чтобы коммунисты извлекли для себя выгоду из движения Сопrotивления», — добавляет американец.

В романе даны и образы деголлевцев, помещиков и аристократов, и бывших вишистов, тормозящих настоящую партизанскую борьбу, боящихся коммунистов больше, чем немецких захватчиков. Рядом с ними отвратительные образы предателей-французов, которые сотрудничали с гестаповцами.

Широко развёрнута в романе интернациональная тема: в секторе майора Марсо действуют отряды, состоящие из людей раз-

личных национальностей, между ними группа, сформированная бежавшими из немецкого плена советскими воинами.

Книга написана неровно. Некоторые эпизоды напоминают сводки боевых донесений или военные корреспонденции в газетах. В целом роман продолжает летопись Лаффита о движении Сопrotивления, летопись, которой были посвящены предыдущие книги писателя.

Следует отметить хороший перевод И. Тихомировой. Несколько замечаний: вряд ли правильно переводить в контексте обращение «Mon commandant» как «товарищ майор». Слишком подчеркнута в переводе в сцене объяснения с Роз Франс инвалидность майора Марсо после его ранения. Лаффит нигде не приводит самого слова «инвалид». Он пишет, передавая слова Марсо: «Je ne suis plus un homme, comme les autres» («я теперь не такой человек, как другие»), а в переводе: «Я теперь уже не тот, что был. Инвалид» и т. д. Вряд ли стоит дополнять здесь автора. Но это мелочи, которые отнюдь не должны снизить значения хорошей работы переводчика.

В одной из своих статей о французской литературе, говоря о писателях, близких к социалистическому реализму, Роже Гароди писал: «Этим писателям стало ясно, что правильное отображение действительности в художественном произведении возможно только с позиций литератора, сознающего свою ответственность за победу определённых исторических сил». Это положение Роже Гароди можно целиком отнести к Жану Лаффиту. Писатель французского Сопrotивления сумел создать роман, несомненно играющий большую роль в нынешней борьбе прогрессивных сил французского народа против реакции, за дело мира.

Ал. ИСБАХ.

★

Слово и зрелище

С особым интересом открываем мы сборник статей «Вопросы кинодраматургии». Составлен он на основе прочитанных на всесоюзных семинарах по кинодраматургии бесед и лекций видных мастеров кино. В сборник включены также интересные материалы, характеризующие взгляды М. Горького, А. Толстого, В. Вишневского,

«Вопросы кинодраматургии». Сборник статей. Выпуск 1. «Искусство», М. 1954.

П. Павленко и С. Эйзенштейна на различные вопросы сценарного мастерства.

Привлекает внимание сама тема сборника. О литературной природе и художественной специфике киносценария немало спорили и спорят. И хотя многие проблемы, вероятно, предстоит решить только в будущем — в творческих дискуссиях, одно и сейчас уже абсолютно ясно: без хорошего сценария не может быть хорошего фильма,

слабый сценарий не в силах спасти даже отличный режиссёр и блестящие актёры.

В сборнике высказаны некоторые противоречивые суждения. И хотя в предисловии об этом говорится извиняющимся тоном, мы склонны считать, что постановка острых и спорных вопросов — одно из достоинств опубликованного коллективного труда. Скажем больше, нам кажется, что следовало это делать более последовательно, и тогда бы противоречивые точки зрения не только сосуществовали в сборнике, но и сталкивались. А такая полемика, безусловно, потребовала бы от авторов более обоснованного изложения своих взглядов.

Одна из проблем, которая ставится в большей части статей, — это проблема правильного, художественно оправданного соотношения в сценарии слова и средств кинематографической выразительности.

«Некоторые кинокартины слишком литературны, — отмечает А. Довженко в статье «Слово в сценарии художественного фильма», открывающей сборник. — Кинодраматург и постановщик, как бы позабыв о богатейших средствах выразительности кинематографа, положились всецело на волю слов и плывут по их течению, полагая, что так и надо, что нам-де нечего бояться слова, что нам есть о чём сказать человечеству. Последняя истина, безусловно, неоспорима, и наша советская литература и всё наше искусство говорят человечеству о самом главном, раскрывая перед ним путь народов к счастью. Но отсюда отнюдь не следует, что кино должно игнорировать свои, одному ему присущие изобразительные средства».

Определённость такого рода высказываний, которые поддерживают и С. Герасимов, и М. Ромм, и Б. Барнет, показывает, что речь идёт о серьёзном недостатке нашей кинодраматургии. И действительно, вспомним, как много в наших фильмах последних лет «разговорных» эпизодов, где герои говорят общие и само собой разумеющиеся вещи, диалог построен без учёта активного восприятия фильма зрителем, отчего падает драматическое напряжение картин. У многих, например, осталась в памяти сцена встречи Шевченко с Чернышевским и Добролюбовым из кинофильма «Шевченко», сделанная как монтаж цитат. Быть может, так писать эту сцену было проще и спокойнее: ни один редактор или критик не сможет заявить, что Чернышевский или Добролюбов так не говорили. Но в дей-

ствительности трудно себе представить, чтобы кто-нибудь из героев декламировал в беседе с друзьями отрывки из своих статей, а ведь именно так выглядит этот эпизод в картине.

Ответственность за довольно широко распространившееся игнорирование специфических средств кинообразности, что неизбежно влекло за собой снижение идейно-художественного уровня фильмоз, несут не только творческие работники кино — сценаристы и режиссёры, но и те редакторы и критики, которые требуют, чтобы зрелищная часть фильма лишь иллюстрировала диалог. И диалог в кино вытеснял зрелищность, как в театре он порой заслонял собой действительность.

Глубокое овладение присущими кино изобразительными средствами — важная задача, стоящая сейчас перед сценаристами. Заслуга авторов ряда статей сборника «Вопросы кинодраматургии» в том, что они прямо и недвусмысленно говорят об этом, что они обнажают самое слабое и уязвимое место кинодраматургии последнего времени. Не менее ценно и другое — то, что они на многочисленных и большей частью интересных примерах показывают, как разнообразен и богат образный язык кино, какие огромные возможности открываются перед художником, мастерски владеющим им. И это очень полезно молодым кинодраматургам и писателям, пробующим свои силы в кино. Так, на наш взгляд, очень интересен в статье М. Ромма «Литература и кино» разбор с точки зрения «кинематографического видения и письма» некоторых эпизодов из произведений Пушкина, Толстого, Флобера. Здесь со всей очевидностью и отчётливостью предстают те требования, которые кино предъявляет к писателю, — конкретность видения, зрелищность, лаконичность, действительность, пластичность, выразительность самого действия. И выясняется, что кинематографичность — не просто жупел, которым пугают непосвящённых. Это реально существующие, законные и понятные требования. И они ни в коей мере не противостоят художественным особенностям, характерным для литературы высокой пробы, хотя, конечно, к ним не сводятся.

Успеха в кино достигают лишь те писатели, которые, работая над созданием сценариев, отдают себе отчёт в том, что «кино, — как говорил П. Павленко, — имеет свои жестокие и непреложные законы», и не

пренебрегают этими законами, а стремятся изучить их и использовать в своей творческой практике.

Проблема слова в сценарии художественного фильма поставлена в сборнике широко: в статьях говорится о специфических особенностях диалога в кино, об отличии его от диалога в пьесах, о различных способах описания действия в сценарии и некоторых других, хотя и частных, но серьёзных вопросах. И если мы остановились лишь на вопросе правильного соотношения в сценарии диалога и специфических средств кинообразности, то только потому, что он кажется нам наиболее важным в настоящее время.

Оценивая сборник в целом, следует указать и на его недостатки. Не все материалы в нём равноценны. Статьи, посвящённые анализу отдельных фильмов («Чапаева» и «Сельской учительницы»), описательны. Они не связаны с проблематикой статей, в которых поставлены общие и наиболее актуальные вопросы современной кинодраматургии. Статья «Горький и творчество кинодраматурга» скорее напоминает обзор высказываний великого писателя, чем серьёзное, основательное исследование.

Составителям следовало бы позаботиться о том, чтобы сборник был более целенаправленным; он бы от этого только выиграл. В данном случае многотемность не является достоинством. В книге помещены две статьи о сценарии исторического фильма. Однако в них не охарактеризованы все

особенности этого жанра, не вскрыты пороки и слабости исторической кинодраматургии. Остался вне поля зрения авторов вопрос о сложившейся в довоенные годы замечательной традиции историко-революционного фильма, который был одним из самых больших и ценных завоеваний нашего кино. В сборнике одна статья о кинокомедии, одна — об экранизации произведений классической литературы, одна — о сценарии документального фильма. Все эти статьи неплохи, но ведь каждый из упомянутых вопросов мог бы стать темой специального сборника. Только тогда можно было бы рассчитывать на большой, серьёзный творческий разговор.

Надо упрекнуть тех авторов статей, которые злоупотребляют примерами и иллюстрациями из своих сценариев и фильмов. И беда здесь не столько в том, что это порой становится навязчивым и выглядит нескромно, а в том, что авторское изложение эпизодов, отрывков, сцен не всегда бывает объективным. Слишком часто автор рассказывает о своих желаниях, намерениях, замысле, а не о том, что на самом деле видит зритель на экране.

Издательство «Искусство» и Комиссия по кинодраматургии ССП выпустили нужную, своевременную книгу. Хочется надеяться, что хорошее начинание будет продолжено и за первым выпуском «Вопросов кинодраматургии» вскоре последуют второй, третий...

Л. ЛАЗАРЕВ.



РЕПЛИКИ

ЭТИ КНИГИ НУЖНЫ

Интерес читателя к литературе не ограничивается чтением художественных произведений. Читателя всегда интересует личность писателя, его жизненный путь, творческие искания... Где познакомиться с биографией писателя (ещё интереснее — с автобиографией), с самыми краткими данными, характеризующими его творческий путь, оценку его современной критикой и т. д.?

Оказывается, у нас уже более двадцати лет не издавалось справочных книг о писателях-современниках. Сборники, выпускавшиеся в двадцатых годах, сильно устарели, да и достать их — даже в крупных библиотеках — нелегко. Совершенно необходимо подготовить и издать «Биобиблиографию советских писателей», которая охватила бы деятельность наиболее известных представителей нашей литературы. Разумеется, в это число должны войти и писатели, завершившие свой жизненный путь.

Несколько страниц, посвящённых каждому писателю в этой книге, должны содержать фотопортрет, биографию (или автобиографию), краткую (аннотационную) характеристику творческого пути и указатель важнейших произведений писателя, а также основной литературы о нём. Рассчитанная на самого широкого читателя, такая

книга должна быть выпущена многотысячным тиражом.

Давно назрела надобность и в том, чтобы значительно расширить наше представление о жизни и деятельности ряда выдающихся представителей советской литературы. Даже собрания сочинений классиков нашей литературы содержат лишь часть их творческого наследия. По существу лишь М. Горькому, В. Маяковскому, Д. Фурманову, Н. Островскому были посвящены специальные сборники материалов, дополняющих тексты, которые вошли в собрания их сочинений.

Но кому не ясно, что мы обедним нашу науку и ограничим знакомство читателя с советской литературой, не издав сборников материалов и документов, посвящённых Алексею Толстому, Демьяну Бедному, Валерию Брюсову, Александру Блоку, Александру Серафимовичу, Вячеславу Шишкову, Константину Тренёву, Всеволоду Вишневскому, Петру Павленко, Борису Горбатову, Аркадию Гайдари?

Всеми этими материалами располагают наши исследователи, которым помогут хранители литературных архивов, — нужна лишь издательская инициатива, которую в данном случае следовало бы проявить Гослитиздату.

В майской книжке «Нового мира» за этот год Б. Шиперович, рецензируя библиографический справочник «Советская художественная литература и критика 1952—1953», составленный Н. Ма-

цеевым, предлагает объединить материалы, опубликованные ранее Н. Мацеевым, в сводный библиографический указатель советской художественной литературы за все годы её существования. Думается, что такой свод был бы громоздким, да кроме того, период с 1938 по 1953 год достаточно хорошо представлен в последних трёх указателях Н. Мацеева.

Но в чём действительно ощущается острая нужда, это в создании нового библиографического справочника, посвящённого советской литературе 1917—1937 годов. Материалы по этому периоду, собранные Н. Мацеевым, дают возможность издать такой сборник быстро и хорошо. Это должно стать предметом заботы издательства «Советский писатель».

Таковы насущные нужды читателей, литераторов и учёных в деле освоения опыта советской литературы.

И. ЭВЕНТОВ.

★

ОБ АРХИВЕ ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА

Десять лет назад в культурной жизни нашей страны произошло важное событие. Правительство Чехословацкой Республики, незадолго до того освобождённой Советской Армией от гитлеровской оккупации, передало в дар Академии наук СССР хранившиеся в Праге материалы из заграничного архива Герцена, а также Огарёва. Это обширное собрание — «пражская коллекция» — объединяло в себе две крупные части огромного, когда-то единого архи-

ва издателей «Колокола», претерпевшего после их смерти немало злоключений и постепенно разрознившегося.

Разработка и публикация материалов «пражской коллекции», принятые в последние годы «Литературным наследством», привели к дальнейшему сосредоточению бумаг Герцена и Огарёва на их родине. «Литературное наследство» получило из-за границы много новых материалов и среди них два собрания документов, отсложившихся всё от того же лозаннского архива семьи Герценов, — «софийскую коллекцию» (поступила в подлинниках, дар Болгарской Академии наук) и «амстердамскую коллекцию» (поступила в фотокопиях).

Так, разными путями, через многие десятилетия после смерти Герцена вновь собрались, теперь уже в Москве, родном городе автора «Былого и дум», почти все части его заграничного архива — великого национального достояния русского народа.

Собрались, но не воссоединились, так как хранятся все эти части единого целого пока что в разных местах: бумаги, полученные от сына Герцена, — в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, «пражская коллекция» — в Центральном Государственном архиве Октябрьской революции, «софийская коллекция» и «амстердамская коллекция» (микрофильм) — в Академии наук СССР.

Можно ли говорить о нормальных условиях разработки огромных ценностей герценовского архива, когда многие документы, в него входящие, напоминают раз-

рубленные и разбросанные по разным местам куски го-голевской «красной свитки». Так, например, начало статьи Герцена «Ответ «Биржевым ведомостям» хранится в «пражской коллекции», а конец этой же статьи — в библиотеке им. Ленина.

В аналогичном положении находятся многие рукописи, в частности рукописи «Былого и дум». Они имеются и в библиотеке им. Ленина, и в «пражской коллекции», и в «софийской коллекции». То же и с «Письмами к старому товарищу». Герценовская рукопись в последней редакции этого знаменитого произведения оказалась в «пражской коллекции», а наброски первоначальной редакции — в библиотеке им. Ленина.

Наследство нужно не просто хранить, его нужно научно разрабатывать и делать всенародным достоянием. Важным же условием нормальной эксплуатации материалов заграничного архива Герцена является сосредоточение их в одном месте. В каком? Где?

По нашему мнению, ответ тут может быть только один: в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Именно здесь задолго ещё до революции было положено начало собиранию документального наследия основателя Вольной русской типографии и его друга и соратника Огарёва, что привело к созданию крупнейшего в этой области фонда первоисточников.

Интересы изучения наследия Герцена и Огарёва, в особенности интересы осуществляемого сейчас Академией наук СССР научного издания собрания сочинений Герцена в тридцати томах,

требуют скорейшего воссоединения всех частей 'заграничного архива' издателей «Колокола».

С. МАКАШИН.

★

ВЫСТАВКА И ПРОИЗВОДСТВО

Недавно, попав на московскую выставку декоративных искусств, я пришёл в восхищение от разнообразия представленных там художественных вещей: тканей и других чудесных бытовых изделий, выражающих великолепный вкус художников, их создавших.

И задал себе вопрос: что означает эта выставка, какие она будет иметь практические последствия? Получат ли распространение эти чудесные вещи в промышленности и торговле?

Зашёл в выставочный комитет, где меня встретили весьма доброжелательно, но на вопрос, где и как можно приобрести вещи, подобные выставленным, мне ответили, что почти всё это уникальные вещи, большинство которых, к сожалению, не пойдёт ни в производство, ни в продажу и не найдёт широкого распространения. Почему?

— Да потому, — сказала художник-декоратор Ф. Т. Севортян, — что производственники, от которых это зависит, считают, будто эти красивые ткани и керамика не найдут сбыта, так как якобы не отвечают широкому покупательскому вкусу.

Откуда такое убеждение? Нельзя недооценивать возрастного вкуса наших покупателей, нашего народа, которого никак не удовлетворяют серость, низкий художественный уровень ряда

наших бытовых и декоративных вещей.

Когда я спросил, можно ли всё же приобрести что-либо из выставленного, мне, как это ни странно, предложили номера телефонов и адреса художников — авторов экспонатов.

Но ведь это отнюдь не лучший и, прямо скажем, не всем доступный способ приобретать красивые вещи. А если изделия с декоративной выставки нашли бы отклик на производстве, они могли бы стать достоянием всех людей и было бы опровергнуто глубоко неверное, я бы сказал, барское мнение, будто хороший вкус — это чья-то узкая привилегия.

Убеждён, что со мной согласится множество людей, которых так же, как меня, огорчает безвкусица в производстве ширпотреба. Многие из экспонатов выставки декоративных искусств должны во что бы то ни стало пойти в производство.

Ю. ЗАВАДСКИЙ.

★

О ПАМЯТНИКЕ ГРИБОЕДОВУ

(К двадцатипятилетию со дня его закладки)

Мы чтим наших классиков за то, что они писали не только для своих современников, но и для далёких потомков и, подобно Пушкину, воздвигли себе «памятник нерукотворный». Но всенародная слава и любовь наша к великим писателям должна выражаться не только в миллионных тиражах, которыми издаются их произведения. Она должна быть ощутима и на наших улицах и площадях,

которые мы привыкли называть именами писателей-классиков, украшаем «памятниками рукотворными». Мы с гордостью смотрим на величественные монументы Пушкина, Гоголя, Горького. Но почему так медленно осуществляются памятники другим великим писателям, чьи имена тесно связаны с Москвой, — Лермонтову, Белинскому, Льву Толстому, Грибоедову?

В 1929 году, когда Москва отмечала столетие со дня смерти Грибоедова, близ дома, где он жил (улица Чайковского, дом № 17), состоялась торжественная закладка памятника. Москвичи на протяжении многих лет, проходя мимо этого места, с уважением и надеждой глядели на него. Но вот прошло четверть века, и мы спрашиваем с тревогой: когда же будет воздвигнут памятник?

Между тем сооружение памятника было бы данью нашего уважения не только к Грибоедову, но и к декабристам, другом которых он был. Недаром в своё время они так восторженно встретили появление «Горя от ума» — произведения, полного особого политического смысла, изданного в полном виде лишь через тридцать три года после смерти автора. Недаром Герцен называл Чацкого декабристом и недаром горестное восклицание Чацкого «Молчалины блаженствуют на свете» вдохновило Салтыкова-Щедрина на создание одной из самых ярких его книг — «В среде умеренности и аккуратности». Впрочем, значение Грибоедова в истории русской литературы не нуждается в доказательствах. Мне думается, что Союз писателей должен

принять все меры, чтобы решение правительства о сооружении памятника великому писателю было осуществлено Министерством культуры.

Ив. РОЗАНОВ.

★

РЕПЛИКИ УСЛЫШАНЫ

В связи с репликой В. Лукашевича «Художественные открытки» сообщаем:

В этом году издательство Изогиз должно выпустить свыше 450 названий открыток общим тиражом 22 миллиона экземпляров. Будут репродуцированы картины, хранящиеся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Музее имени Пушкина, Русском музее, Музее восточных культур и ряде музеев РСФСР.

Помимо отдельных открыток, поступающих в продажу, будут выпущены папки — комплекты открыток, снабжённые небольшой вступительной статьёй и аннотациями к каждой картине. Будут изданы комплекты открыток со скульптур, хранящихся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже, Музее имени Пушкина.

Вышел и поступил в продажу комплект открыток — репродукций картин Дрезденской галереи.

В настоящее время ведётся работа над созданием перспективного плана изданий художественных репродукций и открыток, рассчитанного на пять лет. Этот план будет поставлен на широкое общественное обсуждение.

В 1956 году издание художественных открыток зна-

чительно увеличится. Намечены к изданию комплекты открыток — репродукций картин А. А. Иванова, В. И. Сурикова, В. Г. Перова, В. Е. Маковского, И. И. Левитана; по зарубежному искусству — комплекты «Итальянская живопись XV—XVIII вв.», «Французская живопись», «Прогрессивное искусство Западной Европы XIX и XX вв.»; комплекты открыток — репродукций картин Дрезденской галереи, индийского и ки-

тайского изобразительного искусства.

Однако издание художественных открыток всё ещё затруднено рядом причин. Остро стоит вопрос о создании квалифицированных кадров полиграфистов, недостаточен ассортимент открыточной бумаги, красок для цветной печати. Полиграфическое исполнение художественных открыток часто вызывает ряд справедливых нареканий. Эти вопросы требуют пристального вни-

мания Главиздата и Главполиграфпрома Министерства культуры СССР.

Распространение художественных открыток сейчас ещё плохо организовано: предложение В. Лукашевича о проведении подписки на эти издания заслуживает внимания. На наш взгляд, следовало бы осуществить его уже в 1956 году.

Зав. редакцией художественных репродукций и открыток Изогиза
А. АХМЕТЬЕВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

А. Адриановский, А. Фомин. Китайский народ в борьбе за социализм. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

В помощь партийному работнику. 448 стр. Цена 6 р. 80 к.

В. В. Загладин. Борьба французского народа за мир и национальную независимость. 176 стр. Цена 2 р.

Из истории борьбы Маркса и Энгельса за пролетарскую партию. 752 стр. Цена 10 р. 70 к.

И. Козырев. Борьба большевиков за армию и флот в период революции 1905—1907 гг. 180 стр. Цена 2 р. 20 к.

Н. Н. Некрасов. Химизация в народном хозяйстве СССР. 240 стр. Цена 5 р. 25 к.

И. В. Самыловский. Экспансия американского империализма на Ближнем и Среднем Востоке. 136 стр. Цена 1 р. 65 к.

Х. Т. Эйбус. Очерки новой и новейшей истории Японии. 336 стр. Цена 6 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Авдеев. Повести и рассказы. 420 стр. Цена 7 р. 5 к.

Н. Браун. О самом близком. 200 стр. Цена 2 р. 80 к.

О. Берггольц. Поэмы. 200 стр. Цена 5 р. 30 к.

Л. Войтоволская. Костры в степи. Роман. 444 стр. Цена 7 р. 45 к.

Д. Гранин. Искатели. Роман. 472 стр. Цена 8 р. 10 к.

В. Кожевников. Тысяча цзиней. Рассказы. 364 стр. Цена 6 р. 50 к.

Вл. Луговской. Лирика. 212 стр. Цена 3 р. 55 к.

Н. Скосырев. Ваш покорный слуга. 220 стр. Цена 4 р.

Е. Строгова. Вдохновение и упорство. 392 стр. Цена 7 р. 10 к.

Б. Соловьёв. Поэзия и жизнь. Статьи. 644 стр. Цена 13 р. 5 к.

А. Яшин. Три поэмы. 244 стр. Цена 6 р. 35 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Педро Антонио Аларкон. Треугольная шляпа. Правдивая повесть о событиях, воспетом в романах и переданном здесь так, как оно произошло. Перевод с испанского. 103 стр. Цена 1 р. 20 к.

Мулк Радж Ананд. Избранное. Перевод с английского. 428 стр. Цена 8 р.

В. Я. Брюсов. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Стихотворения. — Поэмы. 750 стр. Цена 16 р. Том 2. Переводы. — Статьи. 651 стр. Цена 13 р.

Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. 880 стр. Цена 21 р. 50 к.

Теодор Драйзер. Собрание сочинений в двенадцати томах. Перевод с английского. Том 12. Публицистика последних лет. 415 стр. Цена 15 р.

Калидаса. Сакунтала. Драма. Перевод К. Бальмонта. 140 стр. Цена 3 р. 50 к.

Эффенди Капиев. Избранное. 452 стр. Цена 9 р. 10 к.

И. А. Крылов. Сочинения в двух томах. Том 1. Проза. 472 стр. Цена 7 р. 75 к. Том 2. Басни, стихотворения, пьесы. 511 стр. Цена 7 р. 10 к.

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собрание сочинений в восьми томах. Том 7. Черты из жизни Пепко. — Хлеб. 732 стр. Цена 12 р.

Болеслав Прус. Сочинения в пяти томах. Перевод с польского. Том 1. Повести и рассказы. 472 стр. Цена 10 р. 50 к. Том 2. Повести и рассказы. 544 стр. Цена 10 р. 50 к.

Рабиндранат Тагор. Сочинения в восьми томах. Перевод с бенгальского. Том 1. Крушение. Роман. 284 стр. Цена 8 р.

Фридрих Шиллер. Собрание сочинений в семи томах. Перевод с немецкого. Том 1. Стихотворения. — Драмы в прозе. 780 стр. Цена 12 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. И. Ленин. О молодёжи. 320 стр. Цена 5 р. 30 к.

М. Ганина. Первые испытания. Повесть. 216 стр. Цена 6 р. 35 к.

Анатолий Калинин. Неумирающие корни. Рассказы. 159 стр. Цена 4 р. 40 к.

И. Касумов, Г. Саидбейли. На дальних берегах. Повесть. 256 стр. Цена 6 р. 90 к.

Алексей Кудашев. Ледяной остров. 320 стр. Цена 7 р. 10 к.

Евгения Руднева. Пока стучит сердце. Дневники и письма Героя Советского Союза Евгении Рудневой. 128 стр. Цена 3 р. 85 к.

Бадим Собко. Стадион. Роман. Авторизованный перевод с украинского. 271 стр. Цена 7 р. 80 к.

Леонид Соболев. Зелёный луч. Повесть. 200 стр. Цена 4 р. 70 к.

ДЕТГИЗ

Героический год. 1905 год в художественной литературе. 336 стр. Цена 8 р. 60 к.

Б. Грязнов. Возвращение. Повесть. 168 стр. Цена 4 р.

Т. Ефимов. Встречи с друзьями. В Китайской Народной Республике. 190 стр. Цена 3 р. 35 к.

Жизнь и творчество Б. С. Житкова. 592 стр. Цена 14 р. 60 к.

В. Лебедев. Преобразователь природы. Повесть о Мищурине. 248 стр. Цена 4 р. 80 к.

Б. Ляпунов. О большом и малом. 168 стр. Цена 3 р. 95 к.

Ю. Нагибин. Мальчики. Рассказы. 104 стр. Цена 3 р.

Д. Родари. Приключения Чиполлино. Перевод с итальянского. 232 стр. Цена 5 р. 5 к.

В. Скотт. Роб Рой. Перевод с английского. 400 стр. Цена 8 р. 20 к.

М. Страхова. За волю. Историческая повесть. 152 стр. Цена 3 р. 30 к.

Н. Томан. В погоне за Призраком. Приключенческие повести. 160 стр. Цена 3 р. 35 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. Р. Вильямс. Избранные сочинения. 1006 стр. Цена 35 р.

Значение научных идей В. В. Докучаева для борьбы с засухой в лесостепных и степных районах СССР. 182 стр. Цена 6 р. 85 к.

История Москвы. Том V. 818 стр. Цена 50 р.

Материалы и исследования по археологии Москвы. 363 стр. Цена 26 р. 50 к.

И. П. Минаев. Дневники путешественников в Индию и Бирму (1880 и 1885—1886 гг.). 249 стр. Цена 12 р. 40 к.

ГЕОГРАФИЗ

В. Ф. Бурханов. Новые советские исследования в Арктике. 52 стр. Цена 85 к.

Книга Марко Поло. Перевод старофранцузского текста. 375 стр. Цена 9 р. 40 к.

«ИСКУССТВО»

Янка Купала. Драматические произведения. 293 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. Крон. Пьесы. 344 стр. Цена 12 р. 55 к.

А. Мачерет. Актёр и кинодраматургия. 191 стр. Цена 9 р. 90 к.

М. Сагаева. В. В. Ванин. 254 стр. Цена 17 р. 80 к.

МЕДГИЗ

Н. Н. Блохин. Кожная пластика. 228 стр. Цена 8 р. 55 к.

Вопросы патологии и физиологии сердца. 260 стр. Цена 13 р. 40 к.

Е. Я. Гинзбург, Д. В. Мессель. Физиотерапия и физиопрофилактика детских болезней. 368 стр. Цена 12 р. 50 к.

В. Ф. Зеленин. Как укрепить сердце. 136 стр. Цена 4 р. 15 к.

К. В. Лапин. Санитарное просвещение на селе. Очерки. 328 стр. Цена 10 р. 5 к.

А. Д. Сперанский. Избранные труды. 584 стр. Цена 26 р. 25 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

А. Кандрёнков. Год работы по-новому. 127 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Лорх. Картофель. 154 стр. Цена 5 р. 80 к.

Сила партийного слова. Сборник статей о массово-политической работе на селе. 239 стр. Цена 2 р. 70 к.

Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV—XIX вв. 394 стр. Цена 11 р. 25 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,
М. К. Луконин, **С. Б. Сутоцкий**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 28/VI-55 г. Подписано к печати 23/VII-55 г.
А 03466. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 1410.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.